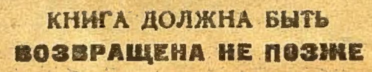
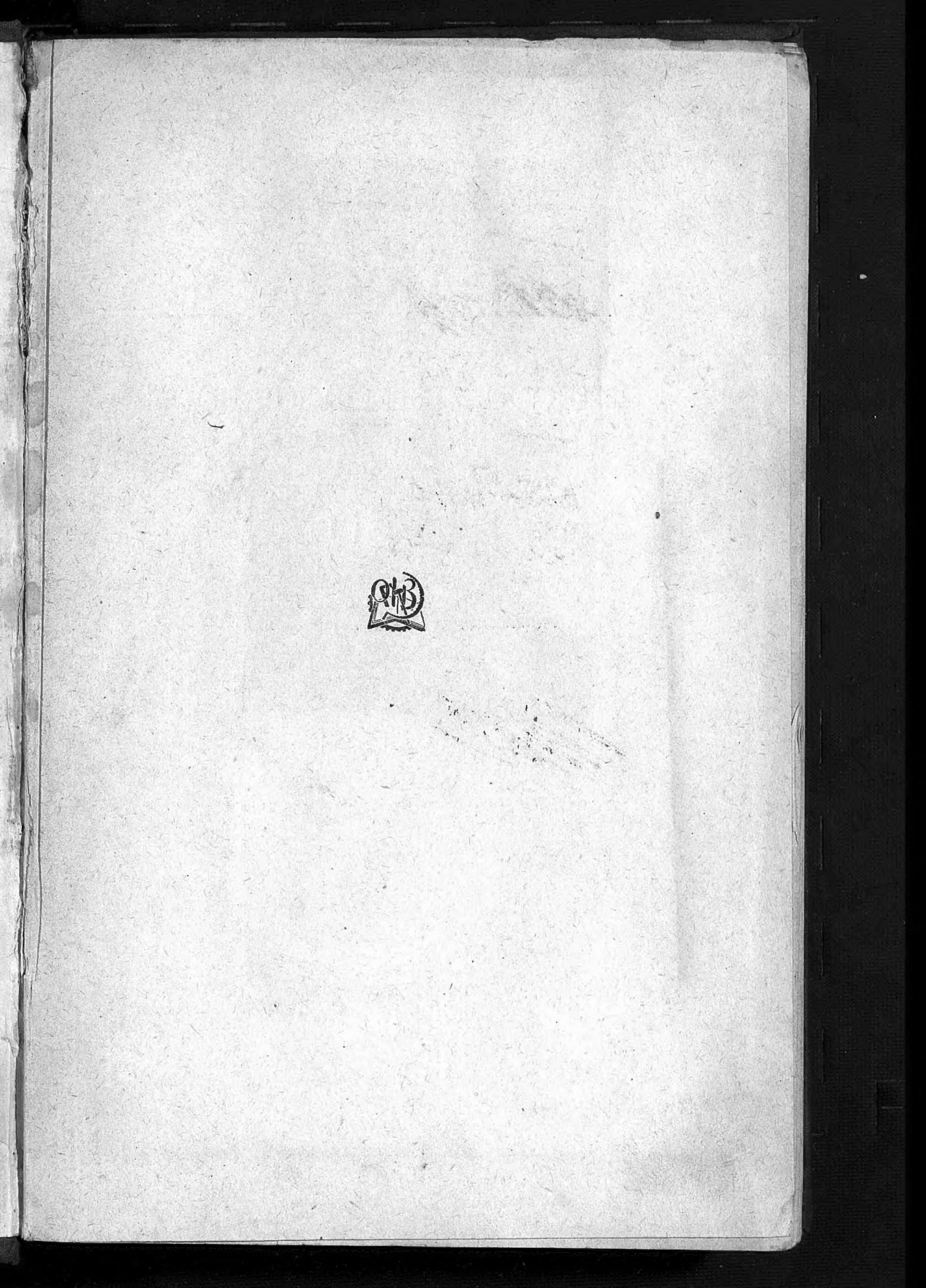
Ж. ВАНДРИЕС

ЯЗЫК



ОБРАБ. 20 к.



LE LANGAGE

INTRODUCTION LINGUISTIQUE A L'HISTOIRE

PAR

J. VENDRYES

PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE PARIS

Ж. ВАНДРИЕС

ПРОФЕССОР ПАРИЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЯЗЫК

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

***

ПРИМЕЧАНИЯ

П. С. КУЗНЕЦОВА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
И С ПРЕДИСЛОВИЕМ

Р. О. ШОР

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1937

Книга известного современного французского языковеда, профессора Ж. ВАНДРИЕСА «Язык» замечательна показом многообразных сторон языка на богатейшем фактическом материале. Автор стремится выявить в развитии языка и языков его социально-историческую обусловленность.

Неточности и спорные моменты в общей исторической концепции автора оговорены и разъяснены в предисловии и примечаниях к книге.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая читателю в русском переводе книга известного современного французского языковеда Ж. Вандриеса, специалиста в области языков классических и кельтских[1], задумана автором как введение в изучение истории человечества.

Включение науки о языке в круг наук исторических и общественных или во всяком случае утверждение необходимости использовать данные этой науки для освещения исторических проблем и получения исторических материалов характерно для так называемого «социологического» направления в лингвистике.

Действительно, хотя еще основоположники сравнительно-исторического языковедения говорили о необходимости включить науку о языке в круг наук, изучающих историю человечества, хотя еще Гримм настаивал на значении языка как важнейшего «живого свидетельства о народах»[2], дальнейшее развитие языковедения в XIX в., его переход на позиции биологизма, крайне сузило исторический кругозор языковедов. И если еще Шлейхер сохранял при биологической концепции языкового развития стремление охватить движение языка в мировом масштабе и вскрыть закономерности языкового процесса, единого во всем мире, то младограмматики, отбросив из лингвистики понятие языка как организма, отбросили из нее и эти основополагающие проблемы, сведя изучение языка к хронологическому распределению звуков и форм отдельных групп изучаемых «родственных» языков.

Современное буржуазное языкознание вновь пытается использовать лингвистические факты для освещения как древнейших, так и исторически засвидетельствованных эпох в истории человечества. Но эти нерешительные попытки построения языкознания в связи с историей общества, опирающиеся на идеализм или эклектизм в качестве своей философской основы, в конечном

---

[1] Ему принадлежит ряд исследований в области акцентологии, ряд исследований о строе языков латинского, кельтских, по вопросам эпиграфики и многие другие; им написана совместно с А. Мейе грамматика классических языков.

[2] *J. Grimm*, Geschichte der deutschen Sprache, 1848.

счете обречены на половинчатость и путаницу в решении основных проблем.

Только в СССР, в стране победившего социализма, стало возможным и необходимым на основе материалистической диалектики пересмотреть все основные языковедные понятия. Изучение связи языка и мышления в развитии общественного производства дает разрешение ряду основных проблем науки о языке, представляющихся неразрешимыми буржуазным ученым.

Если разработка отдельных частностей еще далеко не закончена, то все же у нас есть все основания отличать «историзм» буржуазных социологов-языковедов от подлинной истории языка, которая строится на основе исторического учения Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.

О наличии стремления и в советской лингвистике углубить и укрепить историзм в концепции языка свидетельствуют слова ближайшего ученика и сотрудника ак. Н. Я. Марра—академика И. И. Мещанинова[1]: «Выход из создавшегося затруднения не будет найден, пока язык, как и прочие выявления человеческой жизни, не вырисуется на общем фоне той истории, каковую человек, в отличие от животного, творит сам».

Итак, само по себе признание науки о языке наукой исторической и даже более точно—наукой общественно-исторической еще недостаточно для правильного разрешения основных проблем, ею выдвигаемых,—проблем генезиса языка, его развития, основных движущих сил этого развития. Как же разрешает автор предлагаемой читателю книги эти основные, кардинальные вопросы науки о языке как науки исторической?

Автор всячески подчеркивает, что он эмпирик-языковед. Как эмпирик-языковед он заранее предупреждает читателя о том, что будет следовать фактам и избегать гипотез[2]. Своей задачей он ставит прежде всего анализ строя языка, этого сложнейшего, тончайшего и точнейшего орудия, созданного человеческим обществом, анализ всего многообразия его засвидетельствованных форм и их исторических изменений.

И бесспорно,—предлагаемая ныне в русском переводе читателю книга действительно богата конкретными лингвистическими материалами; именно в этом ее сильная сторона, ее безусловная ценность.

Тонкий и глубокий анализ множества лингвистических фактов в области фонетики, грамматики и словарей самых разнообразных языков, богатейший подбор отдельных эпизодов из истории языков и диалектов, в особенности блестящие этюды по анализу грамматического строя и стиля языков классических и столь своеобразных языков кельтских—вот то положительное

---

[1] Акад. *И. И. Мещанинов*, Проблема классификации языков в свете нового учения о языке, Л. 1934 г., стр. 3.

[2] Ср. *Вандриес*, Язык, стр. 16, 17.

в книге, что безусловно обогатит лингвистический опыт советского читателя. Но как бы автор ни хотел оставаться «только лингвистом»[1], анализ языка как исторического явления неизбежно приводит его к оперированию основными философскими и социологическими понятиями—понятиями общества, общественных классов, общественного сознания.

Переходя к общим проблемам, автор перестает руководствоваться только фактами, как он обещает в начале книги. В разрешении основных, кардинальных проблем языкознания он не может не занять известной философской и социологической позиции, а всякая неточность, всякая ошибка в занятой им позиции неизбежно должны привести к нечеткому, недостаточному, а то и неверному освещению подлинных отношений языка, сознания и общества.

* * *

Обратимся прежде всего к проблеме происхождения языка. В разрешении этой проблемы Вандриес намечает ряд правильных положений. Старой теории чудесного дара языка человеку и не менее старой теории искусственного сочинения языка человеком, пережитки которых сохранились в ряде теорий, подчеркивающих независимость и трансцендентность языка и мышления, Вандриес хочет противопоставить социальную теорию происхождения языка.

«Неверно,—говорит он,—представление о языке как об идеальной сущности, развивающейся независимо от человека и преследующей свои собственные цели»[2]. В действительности язык теснейшим образом связан с обществом, ибо он возможен только в обществе, ибо он создается обществом. Язык есть факт социальный par excellence, результат социальных связей. Эта мысль красной нитью проходит через всю книгу, наглядно подтверждаемая ее богатыми лингвистическими материалами.

Однако, выдвинув эти правильные, хотя и не доведенные до своего логического конца положения, автор вместе с тем объявляет проблему происхождения языка недоступной для языковедения. В противоречии с приведенными выше указаниями он на той же странице своей книги объявляет язык фактом индивидуальной психологии, всеми своими корнями уходящим в глубины индивидуального сознания.

Приводя в другой связи ряд интересных наблюдений над языком как средством выражения аффектов, он невольно внушает читателю мысль, что именно в чувстве, что только в аффекте нужно искать корни происхождения языка. Эти указания подкрепляются специальным исследованием об аффективном харак-

---

[1] Ср. *Вандриес,* Язык, стр. 16.
[2] *Вандриес,* Язык, стр. 322.

тере речи у детей, о том, что для ребенка именно аффективный язык—отправная точка в развитии его речевой деятельности, что и у взрослого, овладевшего речью, в живом разговорном языке чувственный момент окрашивает и как бы обволакивает со всех сторон логический язык мысли.

Такое понимание приводимых автором фактов естественно следует из высказанного им во введении предположения об исконной связи происхождения звуковой речи с первобытным синкретизмом искусств. Тем самым разрешение проблемы происхождения языка направляется по неверному пути. Ибо не в интенсивности переживаний изолированного индивида и не в художественной деятельности первобытного человека следует искать истоки речевой деятельности, не в них подлинное, соответствующее действительности разрешение проблемы происхождения языка. Последнее можно найти лишь в том случае, если, не уклоняясь в сторону наблюдений над аффективным языком, продолжать наблюдения над связью языка и общества, углубляясь к первым периодам существования человека, к периодам становления самого общества и человека. Только установив роль труда в возникновении человеческого общества, только рассмотрев основные стороны первоначальных исторических отношений в этом становящемся человеческом обществе, только вскрыв исконное единство языка и сознания, можно разрешить проблему происхождения языка.

***

Не дав удовлетворительного разрешения проблемы происхождения языка, автор естественно затруднил себе разрешение ряда вопросов, связанных с развитием *языка и мышления*. Рассмотрение этого кардинального для общей теории языка вопроса дано у Вандриеса в двух планах: в плане вопроса о связи грамматического строя языка с определенным укладом мышления и в плане проблемы прогресса в языке.

Анализируя богатый фактический материал грамматических изменений языков (преимущественно европейских), автор приходит к утверждению о невозможности установления связи между грамматическим строем языка и известной стадией развития мышления.

Разумеется, вопрос о связи грамматического строя языка с укладом мышления должен решаться с большой осторожностью. Особенно нужна эта осторожность, когда исследователь имеет дело с установившимися, исторически сложившимися формами языка. Вандриес справедливо предостерегает от слишком поспешных заключений от строя языка к строю мышления, в особенности в позднейшие периоды существования языка; он безусловно прав в критике целого ряда поспешных обобщений,

которыми так грешила лингвистика в анализе мышления и языка народов первобытной культуры. Но все же формы языка (в том числе и его грамматический строй) останутся нам непонятными, если мы не будем их рассматривать как закономерности развития самого языка в его единстве с сознанием; в таком случае они превращаются—так и получается у Вандриеса—во внешнюю, наложенную извне на язык моделирующую его форму, происхождение которой остается загадочным и необъяснимым.

С другой стороны, вряд ли научное мышление может примириться с утверждением Вандриеса, что процесс грамматического развития языка в целом должен быть сведен к постоянному балансированию, к движению по кругу.

Справедливо указывая на недостаточность так называемой морфологической классификации языков, справедливо указывая на наличие в современных развитых языках очень сложных переходных этапов и пережитков более ранних структур, Вандриес все же неправ, рассматривая вообще грамматическое развитие языка как самодвижение. Ибо не подлежит сомнению, что мы можем найти—не во внешних формальных признаках, но в основных синтаксических категориях языка—соответствие и отражение этапов все более и более развивающегося мышления. Недаром сам Вандриес—в противоречии с высказанным им скептическим отрицанием грамматического развития в языке—отмечает как общий закон этого развития переход от конкретных и частных категорий к более абстрактным и общим.

* * *

С наибольшей ясностью недостаточность, скажем резче, порочность основных методологических предпосылок Вандриеса выступает перед нами в главах, посвященных общественным основам языка и связям языка с обществом.

Отметив наличие известных противоречий между языком как фактом индивидуальной деятельности говорящего и языком как достоянием и орудием общества, Вандриес правильно выдвигает именно социальное и общее в языке как основной объект, подлежащий изучению лингвиста. «Развитие языков,—говорит он,—это... только один из видов развития общества»[1]. Но, выдвинув в качестве основного предмета изучения общественное бытие языка, Вандриес самое общество рассматривает лишь как результат группировки индивидов, как совокупность коллективного сознания. Поэтому-то наряду с множеством отдельных ценных наблюдений, наряду с множеством фактов, вскрывающих связь и теснейшую зависимость языкового развития от тех или иных исторических условий—от развития международных связей, от плотности населения, от хозяй-

[1] *Вандриес*, Язык, стр. 322.

ственного уклада,—он в то же время во многих случаях оперирует вымышленными, не имеющими опоры в действительности, понятиями.

Таково например положение о «престиже» языков господствующих наций и классов, прикрывающее факты угнетения и насильственной ассимиляции языков малых национальностей в классовом обществе. Такова трактовка понятия об общественном классе, который сливается у Вандриеса—как у всей буржуазной социологической школы языкознания—с понятием всякой общественной прослойки и профессиональной группы. Отсюда совершенно неправильное рассуждение автора об «антагонизме людских группировок» как об общечеловеческом явлении там, где в действительности речь идет о классовой борьбе.

Правильно поставив вопрос о наличии общих закономерностей в языковом процессе в целом, в развитии всех языков, правильно также отбросив ряд упрощенных разрешений этого вопроса, Вандриес упускает самое главное: различие закономерностей существования и развития языка в различных общественно-исторических формациях. Он не учитывает того, что формы эти различны в первобытном коммунистическом обществе, в дофеодальном родовом обществе, в феодальном и в капиталистическом обществе и что они изменятся в социалистическом обществе. Он не учитывает существенного различия в так называемых «общих языках» в античнo-рабовладельческом обществе и в период становления буржуазных государств, в период создания наций. Точно так же он не различает изменений исторического содержания понятия диалекта (диалект племенной, территориальный, социальный) и склонен отожествлять социальные диалекты с профессиональными говорами. Наконец он схематизирует весь многосложный процесс языкового взаимодействия, сводя его к явлениям унификации и диференциации как основных руководящих принципов языковой жизни, тогда как в действительности мы имеем в этих понятиях ненаучное обобщение весьма разнообразных и различных социально-исторических фактов. По существу Вандриес исходит из представления одного общества, общества современного ему—буржуазного.

Закономерности, наблюдаемые им в судьбах языков в этом обществе, он, с одной стороны, склонен переносить в прошлое, не выявляя достаточно глубоко разницы в закономерностях языкового развития на разных этапах общественного развития, а, с другой стороны, непрочь проецировать и в будущее. С уверенностью говоря о языках, обреченных на вымирание (что вполне правильно в отношении существования языков национальных меньшинств в капиталистическом обществе), он совершенно не осознает возможности другого разрешения судеб этих языков в социалистическом обществе.

Правда, и в области наблюдений над связью языка и общества Вандриес собрал много ценного фактического материала, хотя, как мы уже указали, и нуждающегося во многих случаях в другом истолковании. В частности положительными моментами в его построении являются: скептическое отношение к теории нации как продукта воли к единству и сознания сопринадлежности—теории, искажающей подлинный характер этой исторической категории; его подчеркивание смешанного характера всех исторически известных нам языков; его остроумное опровержение расовой теории в языкознании; его тонкая, хотя и не идущая до конца, критика сравнительно-исторического метода. Но эти частные положения не изменяют основной ошибки в социально-исторической концепции Вандриеса.

* * *

Поэтому-то и последняя проблема из основных языковедческих проблем, затрагиваемая Вандриесом в его книге, не может быть им разрешена удовлетворительно. Приняв закономерности существования языка в преходящей исторической формации буржуазного общества за закономерности вневременные и постоянные, за закономерности его существования в человеческом обществе вообще, Вандриес не может ответить на вопрос о приложимости понятия прогресса к истории языка.

Правильно осмеяв поспешные и ненаучные построения, сводящие прогресс в языке к наличию или утрате тех или иных особенностей морфологии или фонетики, правильно отметив наличие изменений в языке, отражающих изменения в мышлении, именно наличие общего движения и семантики и морфологии языка от конкретного и детального к обобщенному и отвлеченному,—Вандриес подходит вплотную к вопросу о возможности прогресса в социальном бытии языка.

Но именно здесь ученый не может обойти основных противоречий капиталистического общества—противоречий, создаваемых национальным и классовым угнетением. Эти противоречия правдиво отражены им в двух образах—в образе бретонца, обреченного не подниматься над уровнем своего задержанного в развитии, культурно отсталого языка, и в образе неграмотного крестьянина, возвращающего французский язык—язык культурного народа—вспять, к формам мышления первобытного человека[1].

Неудивительно, что уверенность в присущем языковому развитию прогрессе сменяется у Вандриеса безвыходной растерянностью, что вывод, к которому он приходит,—это вывод безнадежного скептицизма: «Ничем нельзя доказать, что в гла-

---

[1] *Вандриес*, Язык, стр. 312, 320—321.

зах обитателя Сириуса мышление культурного жителя земли не есть вырождение»[1].

Этой безнадежности буржуазного ученого, ограничившего свой кругозор закономерностями развития языка в той общественной формации, в которой ему суждено жить, и потому не могущего увидеть прогресс в его развитии, мы, уверенные в исторической обреченности буржуазного общества, вправе противопоставить слова вождя народов, полные бодрости и глубокой уверенности в победе нового общественного строя, в которых он указал пути развития языков в обществе, строящем социализм: «Расцвет национальных культур (и языков) в период диктатуры пролетариата в одной стране в целях подготовки условий для отмирания и слияния их в одну общую социалистическую культуру (и в один общий язык) в период победы социализма во всем мире»[2].

Такова подлинная формула прогресса в языке.

* * *

Предлагая советскому читателю русский перевод книги Вандриеса, мы сочли необходимым расширить несколько примечания, включив в них наряду с параллелями на материалах русского языка к языковым фактам, приводимым Вандриесом, критические замечания по существу каждого раздела. Дополнена некоторым русским материалом и приложенная к книге Вандриеса библиография. Текст в нескольких местах слегка сокращен.

Москва 1936 г.

Р. Шор

---

[1] *Вандриес*, Язык, стр. 321.
[2] *Сталин*, Политический отчет ЦК XVI съезду ВКП(б).

Ж. ВАНДРИЕС

ЯЗЫК

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ

Στρεπτὴ δὲ γλῶσσ' ἐστὶ βροτῶν·πολέες δ'ἔνι μῦθοι
Παντοῖοι·ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνθα καὶ ἔνθα.

[Гибок язык человека; речей для него изобильно
Всяких; поле для слов и сюда и туда беспредельно.]
«Илиада», песнь XX, ст. 248—249.

Я предполагал посвятить эту книгу
моему учителю и другу
АНТУАНУ МЕЙЕ;
в согласии с ним я посвящаю ее
памяти французских лингвистов,
павших за Францию,
и в особенности памяти
моего товарища
РОБЕРА ГОТЬО.

Ж. В.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Место, отводимое языку в труде, посвященном истории человечества[1], не нуждается в долгих обоснованиях. Предшествующие томы этой серии уже познакомили читателя со сценой, на которой должна была разыгрываться великая драма истории. Читателю уже было показано главное действующее лицо ее со всеми материальными ресурсами, находящимися в его распоряжении. Но даже вооруженный такими орудиями первобытный человек не мог бы сыграть роль, ему предназначенную, не имей он в своем распоряжении языка.

Одновременно орудие и опора мысли, язык позволил человеку и осознать самого себя и общаться с себе подобными, сделав возможным установление обществ. Нам трудно себе представить первобытное состояние, когда человек был бы лишен этого действенного орудия. История человечества с самых истоков предполагает наличие организованного языка; без языка она не могла бы развиваться.

Если бесспорно, что изучение языка следует предпослать общей истории, то можно спорить о характеристике этого изучения. Язык—явление сложное: его изучение соприкасается с различными дисциплинами и объединяет различные категории ученых.

Язык—физиологический акт, поскольку он осуществляется деятельностью известных органов человеческого тела. Он также—акт психологический, поскольку он предполагает сознательную деятельность ума. Равным образом язык—акт социальный, поскольку он удовлетворяет потребности общения между людьми. Наконец язык есть исторический факт, засвидетельствованный в крайне разнообразных формах в очень различные эпохи на всем пространстве земного шара.

Следовательно изучение языка может быть делом физиолога, классифицирующего различные работы органов речи; делом психолога, анализирующего механизм мысли с учетом данных психопатологии; делом социолога, прослеживающего влияние

[1] Книга Ж. Вандриеса «Язык» вышла в серии трудов «Эволюция человечества».—*Ред.*

организации общества на развитие языков; наконец делом историка, распределяющего языки по семьям и определяющего их географическое распределение. Каждый из этих ученых может написать книгу, которая касалась бы лингвистики, но отправные точки которой и конечные выводы лежали бы вне пределов последней.

Но автор настоящей книги по специальности своей языковед и предпочел держаться исключительно в границах лингвистики. Он исходил из языкового факта, каким дает его наш опыт. Из анализа языкового факта вывел он и план своей книги.

Языковеды различают в языке три различных элемента: звуки, грамматику и словарь. Этому делению соответствуют три первые части книги, посвященные соответственно изучению каждого из этих трех элементов: изучению в одно и то же время статическому и динамическому языковых фактов, цель которого выделить из этих фактов причины их изменений и подвести читателя к изложению четвертой части книги. Четвертая часть ставит своей целью изучение языков. Она последовательно имеет дело с определением языков, различными их видами, путями их образования, развития, дробления, с соприкосновением языков между собой, с их воздействием друг на друга, наконец с проблемой языкового родства.

Таким образом книга идет от простого к сложному. Звуки действительно—более простой элемент языка, чем слова и фразы, составляющие языки. Такое построение книги повело к тому, что первые ее главы, наиболее технические, оказались пожалуй наиболее сухими. Зато последние главы, если читателя не отпугнули первые, откроют ему более широкий горизонт. Пятая часть, в сущности дополнение, посвящена письму. Наконец книга обрамлена, с одной стороны, вводной главой о происхождении языка и, с другой стороны, заключительной главой о проблеме прогресса в языке.

Так вокруг языкового факта, взятого за центр, сгруппированы все части этой книги. Несмотря на крайнее разнообразие материала книги, часто захватывающего и соседние дисциплины, читатель без сомнения признает, что книга образует собой единство, следствие той точки зрения, на которую стал автор. Только в редких случаях ему казалось полезным дополнить языковые данные вторжением в область соседних наук; автор хотел бы, чтобы эти исключения были признаны целесообразными. Но, как правило, он ограничился трактовкой фактов с их лингвистической стороны, полагая, что это лучший способ заинтересовать представителей других дисциплин, которым он не мог бы сказать ничего нового, вступив в разрабатываемую ими область.

Надо сказать, что такой подход сделал задачу автора в достаточной мере трудной.

Изучать язык с лингвистической точки зрения—это значит притти к построению системы общей лингвистики. Всякому, кто мало-мальски знаком с положением науки о языке, достаточно известно, что нет более опасной задачи. Ученый, который захотел бы успешно выполнить эту задачу, должен был бы быть в состоянии охватить все формы всех известных языков, должен был бы владеть всеми языками земного шара. Существует ли такой идеальный ученый? Вряд ли.

Если бы нужно было указать среди наших современников ученого, наиболее приближающегося к такому идеалу, знатоки-лингвисты быть может не почувствовали бы затруднений. Но во всяком случае остается несомненным, что доныне нет книги, в которой была бы полностью осуществлена программа общей лингвистики[1].

Конечно и в этой книге читатель не найдет полного изложения общей лингвистики. Ограниченность места, если не говорить о других причинах, не дала возможности автору отважиться на подобную попытку.

Он попытался рассматривать изучавшиеся им факты как отдельные моменты обширной истории, которую еще предстоит написать. Пересматривая по очереди все основные вопросы лингвистики, не опуская сознательно ни одного из них, он считал своей обязанностью остановиться только на некоторых, наиболее характерных, примерах. Этот эпизодический метод заключает в себе то неудобство, что он разрывает связь развития идей. Автор обошел эту трудность. Как и все в истории и в жизни, язык представляет собой непрерывную цепь явлений— непрерывную в том смысле, что между ними нет резких границ, что между вершинами, где каждое из явлений дано в полном своем развитии, лежат ряды фактов, представляющие постепенные переходы. Достаточно было следовательно соблюсти эти естественные переходы—переходы, обусловленные самой природой изучаемых фактов. Если бы автор попытался заключить всю действительность в отвлеченные формулы, строго связанные одна с другой, книга обнаружила бы ряд существенных пробелов; но автор прикрывает эти пробелы, заменяя подобную застывшую и негибкую, претендующую на полноту и четкость систему гибким построением, соответствующим отобранным заранее фактам и согласующимся с ним.

Поступая таким образом, автор надеется, что он сделал свою задачу выполнимой, не лишив своей работы интереса. Он не дает в руки читателю учебника общей лингвистики; он только пытается дать ему представление о том, что такое лингвистика,

---

[1] Это утверждение не вполне верно с момента появления в 1916 г. книги *Ф. де Соссюра* «Курс общей лингвистики» (переизданной в 1922 г.). Но, несмотря на богатое содержание, этот посмертный труд не дает методического и полного изложения общей лингвистики (см. *Мейе* в «Bulletin de la Société de linguistique». Paris, t. XX, p. 32).

какими вопросами она занимается и каковы ее главные достижения.

Даже в этих пределах задача эта покажется быть может безрассудно смелой. И если автор все же сделал эту попытку, то это благодаря ценной поддержке, найденной им у ряда друзей, заинтересовавшихся его работой; автор считает своим приятным долгом принести им здесь свою благодарность. Г-н А. Мейе, толкнувший автора на эту работу, взял на себя труд прочитать ее в рукописи и обсудить с автором некоторые из ее проблем; если бы читатель сумел найти здесь следы его влияния! Другой друг и товарищ автора, г. Жюль Блок (Jules Bloch), также прочитал всю рукопись и сделал автору много ценных замечаний. Автор не считает возможным умолчать о помощи, которой он обязан своим дорогим собратьям по лингвистическому обществу гг. Делафосс (Delafosse), Дени (Deny), Годефруа-Демомбин (Gaudefroy-Demombynes), Исидору Леви (Lévy), Леви-Брюль (Lévy-Bruhl) и Пельо (Pelliot). Благодаря им книга обогатилась оригинальными фактами, полученными из первых рук.

В тех местах, где их любезность была использована автором, книга выиграла в точности, которая должна считаться всецело их заслугой. Не на них падает ответственность за недостатки книги, взятой в целом.

Ж. Вандриес

Мелэн (Melun), июль 1914 г.

Пост-скриптум. Рукопись этой книги, оконченная в 1914 г., была сдана в печать только в 1920 г. Эта задержка не нуждается в оправдании, так как она в достаточной мере объясняется событиями этих лет.

Однако автор считает необходимым предупредить читателя, что он представляет ему работу, законченную семь лет назад.

Автор ни в чем не изменил первоначального плана книги, ограничившись несколькими мелкими поправками, в которых ему помогали гг. М. Мартэн (Martin), Эрнест Маркс (Ernest Marx) и Анри Грапэн (Henri Grappin), которым он счастлив выразить свою благодарность.

ВВЕДЕНИЕ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯЗЫКА[1]

Когда говорят, что проблема происхождения языка не относится к языковедению, это всегда вызывает удивление. Однако же это истина. Непонимание ее вводило в заблуждение большинство писавших о происхождении языка за последние сто лет. Главная их ошибка была в том, что они подходили к своей задаче со стороны лингвистической, смешивая происхождение языка с происхождением отдельных языков.

Языковеды изучают как устные, так и письменные языки. Они изучают их историю, пользуясь наиболее древними документами, имеющимися на этих языках. Но в какие бы древние времена ни проникал исследователь, он всегда имеет дело только с языками уже высоко развитыми, имеющими за собой большое прошлое, о котором мы не знаем ничего. Мысль о том, что путем сравнения существующих языков можно восстановить первичный язык,—химера. Этой мечтой тешили себя когда-то основатели сравнительной грамматики[2]: теперь она уже давно оставлена.

На некоторых языках мы имеем памятники более древние, чем на других. Некоторые из современных языков нам известны в формах, которым более двадцати столетий. Но даже и наиболее древние языки из известных нам, «языки-матери», как их иногда называют, не заключают в себе ничего относяще-

---

[1] Хороший исторический обзор вопроса см. в книге *Borinski*, Der Ursprung der Sprache, Halle 1911, S. 3—20, также у *Jespersen*, Progress in Language, London, p. 328—365. Вопрос имеет целую литературу. Главные имена, отмечающие направление и этапы работы: *J. J. Rousseau*, Essai sur l'origine des langues (посмертная работа); *Herder*, Geburt der Sprache mit der ganzen Entwicklung der menschlichen Kräfte, 1770; *J. Grimm*, Ueber den Ursprung der Sprache, 1851; *Steinthal*, Ursprung der Sprache in Zusammenhang mit den letzten Fragen alles Wissens, 1851; *Renan*, Essai sur l'origine du langage, Paris 1862.

[2] В частности *F. Bopp*, Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litthauischen, Gothischen und Deutschen, Berlin 1833; ср. *Delbrück*. Einleitung in das Sprachstudium. Leipzig 1908, 2; *V. Thomsen*, Sprogvidenskabens Historie, Köbenhavn 1902; *W. D. Whitney*, Language and the Study of Language, New-York and London.

гося к первичному периоду развития языка. Как они ни отличны от современных языков, они только показывают изменения, какие происходят в языке, но ничего нам не говорят о том, как язык образовывался впервые.

Ничего не дают нам в этом отношении также и языки диких народов. Дикарь—не первобытный человек, хотя часто так его неправильно называют. Иногда дикари говорят на языках настолько же сложных, как и самые сложные из наших языков. Иногда же их языки проще самых простых наших языков. И сложные и простые языки являются результатом развития, исходная точка которого лежит вне пределов нашей досягаемости. Если есть различие между языками так называемых цивилизованных народов и языками диких, то оно лежит скорее в мыслях, которые нужно выразить, чем в самой форме их выражения. Языки диких могут дать нам полезные указания об отношениях между мыслью и языком[1], но не о том, какова была изначальная форма языка.

Можно попытаться обратиться за разрешением этого вопроса к языку детей[2].

Но и эта попытка будет тщетной. Детский язык нам укажет только, как усваивается уже организованный язык, но он нам не сможет дать никакого представления о том, чем мог быть язык в начале своего развития. Наблюдая усилия, употребляемые ребенком при повторении того, что говорят взрослые, мы получаем ряд указаний относительно причин языковых изменений. Но ребенок возвращает только то, что ему дали: он оперирует только элементами, данными ему окружающими, он только комбинирует из них свои слова и фразы. Он совершает подражательный акт, но не творческий, не самодовлеющий. Новшества, вводимые ребенком в язык, бессознательны. Они—результат естественной лени, которая удовлетворяется приблизительным воспроизведением, но не результат творческой воли.

Таким образом, идет ли речь о наиболее древних из известных нам языковых памятников или о языках диких народов, или о языках, на которых учатся говорить дети, языковед всегда имеет дело только с организмом, давно сложившимся, созданным трудами многочисленных поколений в течение долгих

---

[1] *Lévy-Bruhl*, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Paris 1910, p. 76.

[2] О детском языке см. особенно *Clara* und *William Stern*, Die Kindersprache, Leipzig 1907; *Meumann*, Die Sprache des Kindes, Zürich 1903 («Abhandlungen herausgegeben von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Zürich»); *Ch. Roussey*, Notes sur l'apprentissage de la parole chez un enfant, «La Parole», Paris 1899, 1900; *M. Grammont*, Observations sur le langage des enfants. Mélanges linguistiques offerts à A. Meillet, Paris 1908, p. 61—82; *O. Bloch*, Notes sur le langage d'un enfant, «Mémoires de la Société de linguistique», Paris, t. XVII, p. 37, *J. Ronjat*, Le développement du langage observé chez un enfant bilingue, Paris 1913.

веков. Проблема происхождения языка лежит вне его компетенции. В действительности эта проблема сливается с проблемой происхождения человека и с проблемой человеческого общества: она относится к первобытной истории человечества. Язык возникал по мере того, как развивался человеческий мозг и создавалось человеческое общество.

Невозможно сказать, в какой форме человек начал говорить, но можно попытаться определить те условия, которые дали человеку возможность заговорить: эти условия в одно и то же время психологические и социальные.

***

Самое общее определение, которое можно дать языку,—это назвать его **системой знаков**[1]. Поэтому исследовать происхождение языка—это значит исследовать, какие знаки естественно были в распоряжении человека и как он принужден был начать ими пользоваться.

Под знаком в данном случае надо понимать всякий символ, способный служить для взаимного общения людей. Так как знаки могут быть различной природы, то и языки могут быть различными. Все органы чувств могут служить базой для создания языка. Есть язык обоняния и язык осязания, язык зрительный и язык слуховой. Мы имеем дело с языком всякий раз, когда два индивидуума условно придают определенный смысл данному действию и совершают это действие с целью взаимного общения. Духи, которыми надушено платье, красный или зеленый носовой платок, торчащий из кармана пиджака, более или менее продолжительное пожатие руки—все это элементы языка, если только два человека условились использовать эти знаки для передачи приказания или сообщения.

Однако же среди всех возможных языков есть один, который доминирует над всеми другими разнообразием форм выражения, которыми он располагает; это язык слуховой, называемый также произносимой или членораздельной речью; только с этим языком мы будем иметь дело в этой книге. Он иногда сопровождается, а еще чаще заменяется языком зрительным. У всех народов в большей или меньшей степени жест сопровождает слово, мимика лица одновременно с голосом передает чувства и мысли говорящего. Мимика—это зрительный язык. Но письмо также зрительный язык, как и вообще всякая система сигналов.

Зрительный язык по всей вероятности так же древен, как и язык слуховой. У нас нет никакого основания предполагать и во всяком случае никаких доказательств тому, что один из них предшествовал другому.

Большинство зрительных языков, употребляемых ныне, являются только производными от языка слухового. Это верно отно-

---

[1] *B. Léroy,* Le langage, Paris 1905.

сительно письма, как мы в этом убедимся в другом месте этой книги; это также верно относительно сигнальных кодов. Код морских сигналов например имеет целью дать зрительные эквиваленты словам и фразам существующих языков. Он нам не дает никакого материала относительно происхождения знаков как выразителей мыслей. Тот или иной знак выбран предпочтительно перед другим в результате условности, условности произвольной, но этот произвол предопределен заранее данными условиями. Подобные языки уже по своему существу искусственны.

Но нам известна и естественная форма зрительного языка— язык жестов[1]. Некоторые дикие народы пользуются им наравне с языком слуховым. В этом случае речь идет не о жесте, сопровождающем речь, как это бывает и у цивилизованных народов, речь идет о системе жестов, выражающих без помощи слов мысли, подлежащие сообщению, так же, как это могло бы сделать слово. Это язык зачаточный, но имеющий свои преимущества: он может употребляться на таких далеких расстояниях, когда звук не слышен, но движения видны; особенно же он удобен в тех случаях, когда мы не хотим привлечь внимание присутствующих звуком голоса. Школьники пользуются подобным немым способом общения в классе. Следовательно язык жестов м о ж е т иметь у т и л и т а р н о е п р о и с х о ж д е н и е. Однако же то обстоятельство,что у диких народов особенно часто он употребляется женщинами, подсказывает другое объяснение. Причина, вызывающая различие в языке у двух полов, обычно связана с религией[2].

Слова, употребляемые мужчинами, запрещено произносить женщинам, поэтому женщинам приходится пользоваться своим специальным словарем, приходится создавать его, приходится даже прибегать к жесту для замены слова. Сохранение языка жестов может таким образом быть объяснено религиозными запрещениями (см. стр. 175, 206). Но каково бы ни было его происхождение, язык жестов только суррогат слухового языка, к которому он приспосабливается.

Язык глухонемых также скопирован с языка слухового. Посредством жеста мы передаем глухонемым приемы обычного языка; мы даем им возможность общаться между собой и читать то, что пишут люди нормальные. Таким способом заменяют работу одних органов чувств работой других, чтобы дать глухонемым возможность обмениваться знаками языка.

Факты языка глухонемых ставят нас перед вопросом о генезисе лингвистического употребления знака. По этому поводу можно задаться вопросом, есть ли язык человека явление при-

---

[1] *Wundt*, Völkerspsychologie, Bd. I, Die Sprache, Strassburg 1911—1912, S. 128.

[2] *Van Gennep*, Religions, moeurs et légendes, Paris 1908 — 1909, p. 265 et suiv.

обретенное, результат воспитания или же он явление инстинктивное и спонтанное. Язык нормальных детей не дает нам никакого материала для разрешения этого вопроса. Дети с рождения открыты всем воздействиям внешнего мира; прежде чем начать произносить звуки, они уже связаны своим слухом с окружающим миром, а когда они начинают говорить, они уже вовлечены в ткань социального общения. Напротив, у глухонемых при начале обучения языку необходимо пробудить сознание знака. Неспособные усвоить слуховой язык глухонемые благодаря своему недостатку свободны от влияния, которое говорящие оказывают на нормальных детей с их рождения: но они пользуются зрением и отдают себе отчет в том, что такое общение посредством языка. Чтобы ответить на поставленный вопрос, нужно было бы проникнуть в сознание человеческого существа, которое благодаря прирожденному недостатку было бы оторвано от внешнего мира или которое можно было бы с его рождения совершенно изолировать от воздействия со стороны ему подобных.

Достаточно высказать второе предположение, чтобы понять его бессмыслицу. Как можно держать живое человеческое существо вдали от людей и запретить ему пользоваться органами чувств настолько, чтобы его мозг функционировал как бы в камере-обскуре, без связи с внешним миром! Известен странный опыт, произведенный, по словам Геродота (II, 2) фараоном Псамметихом. Псамметих пожелал узнать, какой народ древнее— фригийцы или египтяне; для этого он велел воспитать двух детей с самого рождения вдали от людей так, чтобы эти дети совершенно не слышали человеческого голоса. Через несколько месяцев испытания было обнаружено, что дети просили есть, произнося βεκος, что значило по-фригийски «хлеб». Из этого Псамметих заключил, что фригийский язык древнее египетского. Из этого опыта можно было с равным правом заключить, что способность речи у человека врожденная. Но опыт Псамметиха очевидно недостаточно правдоподобен и искренен.

Есть факты, которые кажутся более доказательными. Это опыты, произведенные над глухими и слепыми от рождения и таким образом лишенными общения с внешним миром. Известны например француженка Мария Эртен (Marie Heurtin) [1] и американка Елена Келлер (Helen Keller) [2].

Материал, относящийся к последней, особенно интересен. Ей удалось приобрести настолько обширное образование, что она могла читать и писать на нескольких языках литературные и философские труды. Если удалить из ее работ романтическое освещение, навеянное ее окружением, то эти работы могут дать поучительные указания.

---

[1] *Louis Arnould*, Ames en prison, Paris 1919.

[2] *W. Stern*, Helen Keller, Die Entwicklung und Erziehung einer Taubstummblinden, Berlin 1905.

Язык у Елены Келлер был результатом воспитания. Опубликованная о ней работа[1] передает волнующую сцену, когда после нескольких безуспешных усилий ей удалось втолковать значение языкового знака. В этот день пала завеса, скрывавшая от нее мир: он появился перед ней с сетью сложных связей, соединяющих вещи со словами. Но интерес этой сцены главным образом индивидуальный. Елена Келлер находилась вне обычных условий. Она была в совершенно исключительном положении. Первые люди, которые заговорили, не приобщились к пониманию знака тем путем, каким была приобщена эта несчастная.

Развитие языка у ненормального субъекта, ранее лишенного общения с миром из-за своего уродства, не может нам дать представления об эволюции, происшедшей в обществе, состоявшем из нормальных особей.

Язык образовался в обществе. Он возник в тот день, когда люди испытали потребность общения между собой. Язык возникает от соприкосновения нескольких существ, владеющих органами чувств и пользующихся для своего общения средствами, которые им дает природа: жестом, если у них нет слова, взглядом, если жеста недостаточно.

Показательным мог бы быть только такой опыт, если уж итти по пути Псамметиха: собрать двух или нескольких детей, совершенно оторванных от всякого воспитательного влияния, не имеющих никакого представления о том, что такое язык. К какой бы расе они ни принадлежали и вне зависимости от их наследственных предрасположений, они конечно самостоятельно создали бы свой язык. Но понятно он не был бы языком фригийским. Потребность неизбежно заставила бы орган функционировать. Так должен был возникнуть язык. Язык—явление социальное, по существу он есть результат социальных связей. Он стал одной из сильнейших связей, соединяющих общество, и он обязан своим развитием факту существования общественного объединения.

* * *

Язык как социальное явление мог возникнуть только тогда, когда мозг человека был уже достаточно развит, чтобы пользоваться языком. Два человеческих существа могли создать язык для своего пользования только потому, что они были уже готовы к этому. С языком дело обстоит так же, как и с другими человеческими изобретениями. Часто спорили о том, был ли при возникновении языка один язык или их было много. Этот вопрос не представляет никакого интереса. В тот день, когда ум достаточно развит, открытие происходит само по себе в нескольких точках одновременно: оно в воздухе, как принято говорить, его появление предчувствуется, как осенью падение зрелых плодов.

---

[1] *Gérard Harry*, Les miracles des hommes, Paris, Larousse.

Психологически лингвистический акт состоит в том, чтобы придать знаку символическую значимость. Этот психологический процесс отличает язык человека от языка животного[1]. Неправильно противопоставлять один из них другому, говоря, что второй—это язык естественный, а первый—искусственный и условный. Человеческий язык не менее естественен, чем язык животных, но человеческий язык принадлежит к более высокому порядку явлений в том смысле, что человек, придав знакам объективную значимость, может ее изменять до бесконечности благодаря ее условности. Различие между языком человека и языком животного лежит в оценке природы знака[2].

Собака, обезьяна, птица понимают себе подобных; у них есть крики, жесты, песни, соответствующие состоянию радости, испуга, желания, голода; некоторые из этих криков так хорошо приспособлены к специальным нуждам, что их почти можно перевести фразой на человеческий язык. И все же животные фраз не произносят[3]. Они не могут изменять элементов своего крика, как бы последний ни был сложен, как мы меняем наши слова, являющиеся в фразе элементами, способными замещать друг друга.

Для животных фраза не отличается от слова. Более того: само это слово, крик или сигнал, как его ни назвать, не имеет независимой объективной значимости. Поэтому слово это не имеет условного значения, а следовательно язык животного неспособен ни меняться, ни прогрессировать. Нет никаких признаков того, что крик животных был прежде не таким, каков он теперь.

Птица, испускающая крик, чтобы привлечь руку, дающую ей корм, не сознает своего крика как знак[4]. Язык животного предполагает неразрывное соединение знака и обозначаемой им вещи. Для того, чтобы эта связь разорвалась и знак приобрел значение, независимое от своего объекта, нужен психологический процесс, являющийся исходной точкой человеческого языка.

---

[1] *Steinthal*, Abriss der Sprachwissenschaft, Berlin 1881; *R. M. Meyer*, в «Indogermanische Forschungen», Strassburg 1891, Bd. XII, S. 307.

[2] Эта мысль очень ярко формулирована Боссюэтом: «Речь может влиять на животных только как струя выдыхаемого волнуемого воздуха, но не своим значением, основанным на определенном установлении, а только последнее означает „говорить и понимать"» (Логика, I, XXIV). Ср. «Трактат о познании бога и самого себя», гл. V: «Одно воспринимать звук или слово, поскольку они воздействуют на воздух, затем на уши и на мозг, и совершенно иное—воспринимать их как знак, установленный людьми, и вызывать в своем разуме обозначаемые ими предметы. Это последнее и есть понимание языка. У животных нет никакого следа такого понимания».

[3] *L. Boutan*, Pseudo-langage. Bordeaux 1913, «Actes de la société linnéénne de Bordeaux»; ср. *Meillet*, «Bulletin de la Société linguistique», Paris, XVIII, p. 177.

[4] О языке птиц см. тонкие наблюдения *M. Bréal*, «Revue des revues», III, 1900, p. 629—632, перепечатано в «Bulletin de la Société de linguistique», Paris, t. XI, p. 110—115.

Загадка психологического развития человека может быть частично разъяснена данными антропологии. В этой науке мы узнаем, насколько череп пещерного человека похож на череп человекообразной обезьяны. В черепе из Шапель-о-Сен (Chapelle-aux-Saints) место, предназначенное для извилин, в которых локализируют способность к речи, крайне ограничено. Допустимо следовательно предполагать, что развитие языка осуществилось благодаря естественному развитию человеческого мозга. Эта гипотеза не обязывает нас признавать безоговорочно знаменитую теорию Брока о мозговых локализациях[1].

Известно, что эта теория в наше время пользуется признанием в значительно меньшей степени. Теперь можно не соглашаться с ней. А последние исследования как будто совершенно опровергли ее. Главная ее ошибка—это упрощение слишком сложного вопроса. Локализируя речь в третьей левой лобной извилине, Брока дал только грубое приближение. Особенно он ошибался, утверждая, что в мозгу есть большие отдельные области, соответствующие большим делениям наших переживаний. Он ошибался в оценке отношения между языком и мыслью. Неверно представлять себе мозг построенным по плану грамматики, разделенным на клетки для различных частей речи. Вся масса языковых фактов распределена в мозгу свободнее и шире, чем это казалось Брока. В основе заболевания, двигательной афазии, на которой основана теория Брока, лежит обыкновенно местное повреждение. Но афазия сенсорная, такая, как ее определяет Вернике, часто предполагает общее умственное поражение. С другой стороны, часто происходят явления замещения, посредством которых соседние центры берут на себя функции поврежденных центров. Кроме того расположение корковых слоев таково, что повреждение может вызвать совершенно различные расстройства, даже если оно коснулось третьей левой лобной извилины, в зависимости от точки извилины, которая поражена[2]. Словом, если общий принцип локализации слова может считаться бесспорным, то подробности локализации остаются еще не разработанными.

Следовательно надо быть осторожным в интерпретации данных доисторической антропологии. Беря эти данные без критики и измеряя, как мы это сделали бы с черепом нашего современника, череп пещерного человека, можно притти к заключению, что пещерный человек был лишен дара речи. Это несомненно означало бы, что мы отодвигаем слишком далеко начало развития человеческого языка. Но нет никакого сомнения, что пещерный человек имел мозг менее приспособленный для язы-

---

[1] По этому вопросу см. превосходное суммирующее изложение *Dagnan-Bouveret*, «Revue de métaphysique et de morale», Paris 1908, t. XVI, p. 466 et suiv.; также труды *Dr. P. Marie* и книгу *Dr. F. Moutier*, L'aphasie de Broca, Paris 1908.

[2] *Wundt*, Völkerpsychologie, Bd. I, Die Sprache, Strassburg, S. 494.

ковой деятельности, чем наш. И можно также думать, что его умственная деятельность оставляла желать лучшего.

У этого отдаленного нашего предка, мозг которого был еще не приспособлен к рассуждению, язык мог возникнуть в чисто эмоциональной форме. Это должно было быть вначале простое пение, ритмически сопровождавшее ходьбу или ручную работу[1], крик, похожий на крик животного, выражающий боль или радость, страх или голод. Затем крик, приобретя символическое значение, стал играть роль сигнала, повторяемого другими, и человек, находя в своем распоряжении этот удобный прием, использовал его для общения с себе подобными, вызывая или предупреждая какое-либо действие с их стороны. Действительно, прежде чем стать средством рассуждения, язык должен был быть средством действия и одним из самых действенных средств, бывших в распоряжении человека. Раз сознание знака возникло в уме, оставалось только развивать это изумительное открытие: усовершенствование речевого аппарата шло вместе с развитием мозга. Внутри первых человеческих объединений закрепление языка происходило по законам, управляющим всяким обществом. В частности в коллективных церемониях одинаковые речевые или хоровые акты воспроизводились всеми членами группы[2].

Таким образом элементы крика или пения приобретали символическое значение, которое каждый индивидуум сохранял затем для личного употребления. И мало-помалу, благодаря возрастающей частоте социальных сношений, в конце концов установился в своем несравненном богатстве этот сложный аппарат, служащий для выражения чувств и мыслей, всех чувств и всех мыслей.

Эта гипотеза, хотя и недоказуемая, не лишена правдоподобия. Интерес ее—в объяснении того, как язык явился естественным продуктом деятельности человека, результатом приспособления способностей человека к социальным нуждам[3].

Нужно только итти от осознания знака. Овладев сознанием знака, язык развивается дальше путем последовательных диференциаций.

***

Согласно тому, что было сказано на стр. 19—21, было бы безрассудным пытаться внести большую точность в этот вопрос, пытаться узнать, как произошла эта диференциация, через какие этапы она прошла от крика-сигнала до способов выражения, составляющих богатство таких языков, как например французский. Исходя из мысли, что в каждом языке должны быть налицо

---

[1] *K. Bücher*, Arbeit und Rhythmus, Leipzig 1912.

[2] *Borinski*, Der Ursprung der Sprache, Halle 1911.

[3] «Речь, первое общественное установление, своей формой обязана исключительно естественным причинам» (*Ж. Ж. Руссо*, Опыт о происхождении языков).

основные элементы в отличие от позднейших приобретений, языковеду предъявляют требование распределить языковый материал на различные слои и указать, какие из них образовались первыми. Порой языковеды решаются отвечать на этот вопрос. Нужно открыто признать, что здесь не может быть полноценного ответа. Метод, состоящий в том, чтобы заключать от известного к неизвестному, в данном случае непригоден. Принципы, на которых основано развитие языков, нам известных, не могут быть применены с уверенностью к языкам людей, мышление которых отлично от нашего. Изучение языков нам говорит, что развитие языка не идет логически последовательно, по прямому пути. Было бы ошибочным представлять себе, что план грамматики Пор-Рояля довлел над сознанием человечества с момента возникновения языка как программа, подлежащая последовательному методическому выполнению.

Сверх того между лингвистической формой и содержанием, подлежащим выражению, никогда не бывает естественной природной связи. Налицо всегда только случайная связь. Долгое время полагали, что первоначальный языковый процесс заключался в том, чтобы дать название вещам, т. е. создать словарь. Эту мысль выразил Лукреций в часто цитируемом стихе:

Utilitas expressit nomina rerum[1],

в котором он впрочем вполне правильно приписал возникновение языка удовлетворению потребностей. Во Франции в XVIII в. Шарль де Бросс[2] попытался объяснить внешнюю форму слов выражаемым ими смыслом. Целью этих исследований было составление некой символики звуков, которая будто бы послужила людям основой для создания их слов. Эта попытка в наше время вызывает улыбку. Важно вовсе не то, что выбрано то или другое слово для названия того или другого предмета, но то, что по своеобразному молчаливому соглашению между говорящими словам дано общественно обязательное значение. Они взяты за объекты обмена, подобно тому как взамен платы натурой люди перешли к пользованию звонкой монетой или бумажными деньгами.

В более близкое к нам время некоторые языковеды измыслили теорию, по которой весь словарь будто бы создан на основе криков, подобных лаю собак, или на основе ряда звуков, вызывающих путем подражания представления предметов[3].

Это было в то же время, когда ученые-индологи объясняли всю мифологию блеском молнии или ходом солнца. Языковеды

---

[1] «Польза дала имена вещам».

[2] Traité de formation mécanique des langues, Paris, 1765; *R. M. Meyer*, «Indogermanische Forschungen», 1891, T. XII, S. 243.

[3] Подробности см. *Jespersen*, Progress in Language, p. 330 et sequ.; *Borinski*, Der Ursprung der Sprache, S. 11, 39.

и мифологи тогда удовлетворялись упрощенным представлением о вещах. Тогда спорили о том, что возникло первым — имя или же глагол, глагол, выражающий действия, или же имя, обозначающее представления и качества предметов. Но как бы ни казались нам далекими друг от друга имя и глагол, между этими двумя «полюсами» нашей грамматики нет обязательного противоречия. Что означает лай собаки: *я голодна* или же *дайте мне есть*? *это вкусно* или *я кончила есть*?

Ни то ни другое или же и то и другое вместе. Мы можем передать этот лай безразлично глаголом или именем, повелительным наклонением или прошедшим временем. Несмотря на все наши усилия, между примитивным «лаем» и нашими самыми древними языками остается незаполнимая пропасть.

Попытка найти первоначальные формы языка есть результат уподобления языковедения естественным наукам, геологии, ботанике или зоологии. Это неточное уподобление сослужило плохую службу лингвистике. Если нужно найти для языка какую-либо аналогию, скорее надо было бы ее искать в общественных науках. Мишель Бреаль сравнивал индоевропейское спряжение с значительными политическими или судебными установлениями, парламентами или королевским советом; учреждения эти, рожденные первичною потребностью, мало-помалу диференцируясь, расширили свои функции до того, что следующая эпоха, найдя их механизм слишком громоздким, часть его отсекла, функции его распределила между различными и независимыми учреждениями, хотя и связанными все же до известной степени (и с очевидным доказательством своего первоначального единства) со своим прототипом[1].

Это сравнение может быть применено к языку, так как язык есть общественное установление. Однако же в языке есть элементы более устойчивые, менее подверженные человеческому произволу, чем политические учреждения. Это звуки, с которых мы и начнем наше исследование языка.

---

[1] «Mémoires de la Société de linguistique», Paris, t. XI, p. 284.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗВУКИ

ГЛАВА I

ЗВУКОВОЙ МАТЕРИАЛ ЯЗЫКА[1]

Звуком называют действие, оказываемое на ухо некоторыми колебательными движениями воздуха. В языке эти колебания производятся речевым аппаратом говорящего. Наука о звуках языка, иначе фонетика, должна следовательно заключать три отдела, посвященных изучению производства, передачи и восприятия звуков. Продукция и восприятие суть два явления одинаковой важности в языке, потому что для того, чтобы язык осуществился, нужны по крайней мере два собеседника: всякое слово произносится, чтобы быть услышанным. Восприятие звука, иначе называемое слушанием, играет также значительную роль в языковых изменениях: ведь именно с помощью слуха говорящий приобретает и закрепляет свою фонетическую систему. Теоретически говоря, изучению слушания следовало бы отвести возможно большее место в фонетике.

Однако же на практике фонетика долгое время ограничивалась изучением только производства звука. Языковеды почти не занимаются слушанием; они отдают эту работу в руки физиологов. Это ограничение имеет свои основания. В языке слуховые образы, возникающие у слушающего, имеют значение только в том случае, если этот последний может их превратить в образы двигательные, становясь в свою очередь говорящим. Другими словами, слушающий должен владеть в потенции тем, что говорящий выполняет в действии. Только при этих условиях может существовать язык. Следовательно в фонетике мы можем отвлечься от воспринимаемой слухом стороны языка: когда два человека говорят между собой, слушание предполагает в равной степени возможность произнесения. Это только два аспекта одной и той же функции: их границы совпадают. Анализ нерв-

[1] Основные работы по фонетике принадлежат: *Rousselot*, *Roudet-Poirot*, *Passy*, *Sweet*, *Jespersen*, *E.Wheeler*, *Scripture*, *Vietor*, *Gutzmann*, *Sievers*, *Trautmann*.

ных центров без сомнения может помочь их разграничению, но этот анализ выходит за пределы фонетики.

Передача звука в наше время начинает как будто становиться главным объектом изучения фонетистов[1]. Они сосредоточивают свои усилия главным образом на анализе колебаний; это—обширное поле исследования, приближающееся к чистой физике; его нельзя разрабатывать без основательной математической подготовки. Фонетика в этих работах приобретает особую точность; в частности у ней есть средства определять звуки посредством частоты и формы их колебаний. Мы здесь останемся верны привычкам старой школы, ограничиваясь изучением продукции звука, т. е. произнесения (фонации), и описанием результатов этого произнесения, т. е. ф о н е м.

***

Речевой аппарат человека заключает в себе следующие основные части: мехи—т. е. легкие; звучащую трубу—дыхательное горло, заканчивающееся двойным утолщением—голосовыми связками. Это, следовательно, духовой инструмент с двойным мундштуком. Уже в расположении голосовых связок обнаруживается превосходство человеческого аппарата над музыкальными инструментами. Голосовые связки обладают гибкостью, недоступной мундштуку, скажем, гобоя. Благодаря сложному приспособлению, приводящему в движение несколько пар мускулов, голосовые связки могут принимать различные положения. Их можно держать закрытыми или открытыми в большей или меньшей степени, заставлять колебаться всей массой или частью и изменять степень их напряжения. Язык использует все разнообразие ресурсов, проистекающее из такого их устройства.

Однакоже речевой аппарат был бы очень несовершенным, если бы он состоял из одних только голосовых связок. Он мог бы производить одни только гласные и притом намного менее диференцированные, чем обычно нами произносимые.

Действительно, ток воздуха, выбрасываемый легкими, заставляя дрожать голосовые связки, производит «голос». Так как эти колебания могут продолжаться столько времени, сколько хватит запаса воздуха в легких[2], так как амплитуда и сила их могут изменяться, «голос» имеет три отличительные свойства: длительность, музыкальную высоту и силу. Голос изменяется кроме того и сам в зависимости от качества гласного, благодаря тому, что работа мускулов поднимает и опускает гортань, то удлиняя, то укорачивая звучащую трубу.

[1] См. особенно у *Rousselot*, Principes de phonétique expérimentale, Paris 1897; *Peirot*, Phonétique, Leipzig 1911.

[2] *Roudet*, De la dépense d'air dans la parole et de ses conséquences phonétiques, «La Parole», t. II, Paris 1900, p. 201—230.

Необходимое дополнение речевого аппарата представляют собой все полости, в которые открывается голосовая щель, а именно зев, полость носа и в особенности полость рта. Стенки всех этих полостей, в большей своей части эластичные, служат голосу резонаторами, придающими каждому гласному свойственный ему тембр. В этих резонаторах есть органы гибкие и растягивающиеся, которые могут изменять его размеры и емкость. Прежде всего это—небная занавеска, которая может закрывать воздушному потоку доступ в носовую полость и мешать резонансу с этой стороны. Но главным образом это язык, который вместе с голосовой щелью играет в произнесении основную роль. При произнесении гласного «а» язык лежит почти плашмя. Но при произнесении других гласных язык перемещается, чтобы создать резонатор, соответствующий каждому из них. То он передвигается вперед и поднимается, уменьшая объем передней части рта, то он отходит назад и уменьшает тем самым объем задней части рта.

В первом случае он образует резонатор для гласных, называемых передними или палатальными. Это, начиная с «а», открытое «è», закрытое «é», открытое «i» и закрытое «i». Во втором случае язык образует задние или велярные гласные. Так же начиная с «а», это открытое «ò», закрытое «ó», открытое «u» и закрытое «u». В обоих рядах, переднем и заднем, «i» и «u» являются наиболее закрытыми гласными, при образовании которых язык занимает самое высокое положение, т. е. в наибольшей степени приближается к нёбу. «А» из всех гласных наиболее открытый. Каждый из гласных отличается своим тембром, зависящим от соответственных резонаторов, а в последнем счете от положения языка. Во французском парижском «а» легко отличимы три варианта: закрытое «а» в pâte, открытое в patte и среднее в carotte.

Не только один язык играет роль резонатора для гласных. Нужно также принимать во внимание губы, положение которых меняется при различных гласных. Всем известная сцена из пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве» дает достаточно точные указания относительно работы губ при произнесении гласных, а один отрывок из Дионисия Галикарнасского нам показывает, что греки, в очень малой степени фонетисты, понимали в этом деле не меньше современников Мольера. (Περὶ συνθέσεως ὀνομάτων. «О сложении имен», гл. XVI). Действительно нетрудно заметить, что при произнесении «u» губы выпячиваются вперед и округляются, как при недовольной гримасе, что при произнесении «i» углы губ раздвигаются и оттягиваются назад. Это два крайних положения, между которыми располагаются положения, соответствующие произношению различных «о» (открытого и закрытого) и различных «е» (открытого и закрытого). Язык использовал эту возможность одновременной работы губ и языка, чтобы создать гибридный ряд, ряд зву-

ков типа французского «eu». Комбинируя положение языка при произнесении гласных переднего ряда («è» открытого, «é» закрытого и «i») с положением губ, необходимым для произнесения гласных заднего ряда («ò» открытого, «ó» закрытого и «u»), мы получаем почти точно три французских звука: «eu», открытое в beurre, «eu» закрытое в queue и «u»—в flûte, фонетически обычно обозначаемое через «ü».

Переходя от одного языка к другому, мы обычно наблюдаем большие различия в разновидностях гласных; в английском языке например нет почти ни одного гласного, общего с гласными французскими.

***

Обычно принято делить фонемы на согласные и гласные. Практически различие между первыми и вторыми может найти свое обоснование в определении слога (см. стр. 61 и сл.). Однакоже одни и те же фонемы часто могут играть в слоге роль согласного или гласного. Между гласными и согласными есть различие в функции, но нет в сущности различия в их природе, и граница, их разделяющая, не ясна. И согласные и гласные составляют часть «естественного ряда, только конечные элементы которого четко отличаются»[1]. На одном из полюсов ряда находятся гласные («a», «e», «o») того типа, как мы их только что описали. На другом полюсе находятся согласные взрывные глухие («p», «t», «k»). Эти согласные не что иное как шумы; они образуются током воздуха, остановленным какой-либо преградой. Эта преграда обычно возникает во рту: она образуется то губами, то кончиком или спинкой языка. В первом случае взрывный бывает губным, во втором случае—зубным, в третьем—задненёбным. Но есть также преграды, артикуляция которых происходит дальше вглубь, за пределами ротовой полости: это согласные взрывные гортанные, фарингальные или межсвязочные.

Так как губы смыкаются для взрыва всегда в одном и том же месте, то может образоваться только один взрывный губной глухой; и действительно, что касается места образования взрыва (вне зависимости от его силы), звук «p» одинаков во всех языках. Но зато кончик языка подвижен, и спинка языка может перемещаться вдоль всего твердого и мягкого нёба. Таким образом есть место для различных соприкосновений, и можно себе представить различные виды зубных и задненёбных в зависимости от места взрыва. Чаще всего преграда производится кончиком языка, прикасающимся к верхним зубам, поэтому такой согласный носит название зубного, как французское «t». Но кончик языка может также упираться в альвеолы, как это бывает при произнесении английского «t» в словах take, tire, это—соглас-

[1] *Rousselot*, цитируемый *E. Roudet*, Eléments de phonétique générale, Paris 1911, p. 76.

ный альвеолярный. Наконец кончик языка, загибаясь назад, может касаться твердого нёба, и тогда получится звук, который некоторые языковеды называют какуминальным или церебральным. Он, как и альвеолярный, есть вариант зубного.

Звуки, называемые задненёбными, имеют еще больше разновидностей. Достаточно, чтобы какая-либо точка спинки языка коснулась какой-либо точки нёба, чтобы мы получили задненёбные согласные. Если взрыв образуется у твердого нёба, получается палатальное «k» (как во французском qui); если же взрыв происходит у мягкого нёба или в направлении к нёбной занавеске, получается велярное «k», «k» немецкого Kuh.

И велярные и палатальные в свою очередь имеют различные разновидности: отличают например препалатальные и постпалатальные, в зависимости от того, в более передней или в более задней части твердого нёба совершается взрыв.

Определивши место образования преграды, исследуем теперь самый механизм его. Воздух выбрасывается легкими; он проходит через голосовую щель, которая открыта и неподвижна; он проникает в полость рта, где находит внезапную преграду у губ, зубов или нёба, как уже было нами сказано. Затем внезапно смычка исчезает, и воздух продолжает свободно выходить. Таким образом в образовании каждого взрывного согласного есть три момента: смык (или имплозия), выдержка, которая может быть более или менее длительной, и взрыв (или эксплозия)[1]. При произнесении простого согласного, например «t», взрыв следует непосредственно за смыком, и выдержка сводится к почти незаметному по длительности моменту.

Эти три последовательных момента ясно видны в двойных согласных, которые суть не что иное как согласные долгие, произносимые к тому же с большей силой, чем краткие. Если отбросить вопрос о силе, то группа звуков «atta» отличается от группы «ata» тем, что между имплозией и эксплозией можно воспринять слухом выдержку. Неверно, что в «atta» две согласных, а в «ata» только одна. Обе группы заключают в себе совершенно одни и те же элементы между двумя гласными: имплозивный элемент, за которым следует эксплозивный элемент. Но в то время как в «ata» эксплозивный элемент следует непосредственно за имплозивным, в «atta» они отделены выдержкой, делающей смычку более длительной.

Мы ясно отличаем эксплозивный элемент от имплозивного, когда налицо перемещение точки соприкосновения. Предположим, что кончик языка упирается в зубы в момент прохода воздуха, но внезапно после окончания смычки спинка языка упирается в нёбо и взрыв происходит в таком положении. Мы

---

[1] *Rosapelly*, Valeur relative de l'implosion et de l'explosion dans les consonnes occlusives, «Mémoires de la Société de linguistique», Paris, t. X, p. 347—363.

получим «t» с имплозией и «k» с эксплозией, т. е. группу «tk» например в atka. Наоборот, если смыкается сначала спинка языка, а во время смыка кончик языка прикоснется к зубам, мы получим «k» с имплозией и следом за ним «t» с эксплозией, как в сочетании akta.

На основании всего сказанного можно судить о различии, которое существует между гласными такими, как «a», и согласными такими, как «t». С физиологической точки зрения между этими двумя фонемами нет ничего общего кроме того, что и та и другая производятся током воздуха из легких. Но между этими двумя крайними точками в ряду звуков есть достаточно места для переходных ступеней.

Представим себе, что закрытие произошло неполное и что воздух находит проход, хотя бы и очень узкий. Вместо взрывного или мгновенного мы получим в этом случае спирант или длительный, называемый также фрикативным, потому что для него характерен звук трения. Здесь мы уже не имеем дела с закрытой дверью, внезапно открывающейся, чтобы дать свободный проход накопившемуся воздуху, это—дверь чуть-чуть приоткрытая, через щель которой со свистом проходит воздух. Конечно, фрикативные могут образовываться во всех тех же местах, что и взрывные; на каждом месте смычки, где образуются взрывные, можно представить себе соответствующий фрикативный, если губы, кончик или спинка языка пропускают струю воздуха. Есть фрикативные зубногубные (французское «f»), зубные («s»), альвеолярные (английское th—thick, thank), палатальные «ch» (ch немецкого ich), среднепалатальные («ch»—французского cheval), велярные («ch» немецкого Buch), со всеми разновидностями, которые обусловливаются различиями в положении органов речи. Глубже полости рта могут образовываться также спиранты или фрикативные гортанные, фарингальные или межсвязочные, как например арабский «айн».

Есть ряд фонем промежуточных между взрывными и спирантами, они называются полувзрывными или лучше аффрикатами. Для них характерно неполное закрытие смыка; у них, как и у взрывных, есть имплозия, но за этой имплозией следует легкое движение размыкания, так что взрывный заканчивается спирантом. Аффриката—это неудавшийся взрывный. Некоторые языки широко пользуются аффрикатами; их можно обозначать посредством «^{p}f», «^{t}s», «^{k}ch». Южнонемецкие диалекты в течение долгого времени располагали первым и последним; можно ясно услышать их еще и теперь в немецких говорах Баварии или Швейцарии.

Говоря об аффрикатах и даже о спирантах, мы еще очень далеки от гласных. Однакоже это различие менее велико, чем между гласными и взрывными, потому что спиранты, как и гласные, обладают длительностью. Можно по желанию произнести протяжно, насколько хватит воздуха в легких, «f», «s» или «ch». Но

есть способ приблизить к гласным как взрывные, так и спиранты и аффрикаты: это придать им з в о н к о с т ь.

До сих пор мы предполагали, что во время произнесения согласного голосовые связки остаются неподвижными. Поэтому мы получали только согласные глухие, т. е. лишенные голоса (unvoiced, stimmlos у англичан и немцев). Но приведя голосовые связки в колебательное движение такое же, как при произнесении гласных, мы получим согласные звонкие (voiced, stimmhaft). Различие между звонкими и глухими заключается в том, что при произношении первых, при всех прочих равных условиях, голосовые связки дрожат. Можно легко почувствовать это различие, последовательно произнося взрывные: «p»—«b», «t»—«d», «k»—«g» или еще лучше спиранты: «f»—«v», «s»—«z», «x»—«j». Если мы, произнося их, заткнем себе уши, то мы сейчас же услышим, дойдя до звонких, отзвук дрожания голосовых связок, которое отдается в пустых полостях головы. Конечно все рассмотренные нами до сих пор ряды согласных—взрывные, аффрикаты, спиранты—могут быть звонкими; если бы мы хотели подсчитать количество возможных согласных, нам нужно было бы помножить число анализированных нами согласных на два, добавляя к каждому глухому соответствующий звонкий.

* * *

Теперь мы подошли к ряду фонем промежуточных между согласными и гласными, которые поэтому называются полугласными. С таким же правом можно их назвать и полусогласными: в самом деле, это скорее гласные с элементами согласных, чем согласные, звучащие с «голосом». В перечне гласных на стр. 32 гласные «u», «i», «ü» были даны как закрытые гласные, характеризующиеся тем, что при их образовании язык поднимается (спереди или сзади) так, что при этом он приближается к нёбу. Отсюда вытекает, что произношение «u», «i», «ü» сопровождается шумом от трения воздуха о язык и нёбо.

Этот шум от трения есть элемент согласного. Он конечно менее ясно воспринимается при произношении этих трех гласных, чем при произношении звонкого спиранта, но все же мы его замечаем, если сравним произношение этих трех звуков с произношением звука «a», Особенно легко его услышать, произнося последовательно различные гласные шопотом. В шопоте, лишенном голоса, звучание сводится к простым шумам[1]. Поэтому-то гласный «a» слышится хуже всех, в то время как «u», «i» «ü» благодаря элементу согласных, имеющемуся в них, слышатся более ясно.

Язык очень часто пользуется этим консонантическим элементом, делая из «u», «i», «ü» согласные. Это все та же фонема,

---

[1] О шопоте см. *Paul Olivier*, «La Parole», Paris 1899, p. 20.

но в двух различных употреблениях. Согласные, соответствующие «i» или «u», обыкновенно обозначаются через «у» или «w».

Они налицо во французских словах yeux, meilleur, oui, ouate; «ü» в функции согласного встречается редко и не имеет специального знака; его мы слышим во французских словах cuire, lui, tuer, puiser.

В категорию полугласных входят также плавные «l» и «r», последний носит иногда более точное название вибранта. Эти согласные, имеющие определенное место артикуляции во рту, образуются при определенном положении языка и могут сопровождаться или не сопровождаться голосом. Чаще всего они звонкие, но в целом ряде языков известны «l», «r» глухие. Плавный «l»—боковой (латеральный); его артикуляция такова: кончик языка упирается в нёбо, боковые края языка опускаются так, что воздух проходит по бокам. Следовательно «l» имеет общие черты с зубными, и действительно движение, выполняемое кончиком языка во французском языке, почти одинаково как для «l», так и для «d». Есть два вида «l»: первый это мягкий, характеризуемый подъемом передней части языка к твердому нёбу; второй «l» велярный, при артикуляции которого средняя и задняя части языка образуют ложкообразную ямку против мягкого нёба. Велярный «l» существовал в латинском языке, он есть также и в славянских языках.

Плавный «r» есть результат вибрации упругих частей полости рта и прежде всего языка. Есть «r» зубной, образуемый дрожанием кончика языка, и задненёбный, при котором дрожит спинка языка. Эти «r» конечно могут иметь те же разновидности, как и взрывные зубные и задненёбные. Наконец есть еще «r» увулярный (язычковый), образуемый вибрацией язычка; этот язычковый «r» называется картавым. Это один из труднейших звуков для тех, кто им не владеет с детства. Зубной «r»—это «r» современного английского языка, он образуется у альвеол.

Из предшествующего описания видно, что оба плавные имеют все качества согласных. И действительно в французских словах rateau, loquet, crapaud, claquer, tarin, milan, halte, article эти плавные играют ту же роль, что и взрывные во французских словах bateau, coquet, taquin, mitan, tact, aptitude. Но положение языка при произношении «l» и «r» образует резонатор, как и при гласных; кроме того плавные могут быть произнесены протяжно, и когда они бывают звонкими,—а это обычно,—они могут функционировать как гласные, образуя слог. В немецких словах Acker, Löffel последний слог содержит только «r» или «l», играющие роль гласного. Некоторые языки, как чешский, широко пользующийся «r» гласным, обозначают его знаком согласного, например krk (*шея*), prst (*палец*), vrch (*вершина*).

Будучи безразлично гласными или согласными, эти звуки могут входить в состав дифтонга (двугласного) как второй элемент.

Дифтонгом называют сочетание двух гласных в одном слоге; но эти два гласных в сочетании имеют неодинаковое значение; в двугласном есть сильный и слабый элементы; и слабый обычно бывает вторым по порядку. Закрытые гласные «i», «u» легче других могут служить слабым элементом дифтонга, т. е. его вторым элементом. Так образуются «еу», «оу», «ау», «ew, «ow», «aw»; то, что следует за первым гласным, не есть ни гласный, ни согласный—это второй элемент дифтонга. Факты многих индоевропейских языков доказывают, что роль второго элемента дифтонга отлична как от роли гласного, так и от роли согласного. Те же самые языки вместе с тем распространяют на «l» и «r» способность быть вторым элементом дифтонга. Литовский язык доныне сохраняет специальную трактовку дифтонгов «el» и «er», в точности параллельную судьбе дифтонгов «еу» и «ew»[1].

Есть еще одна важная категория фонем, о которой мы еще ничего не сказали, это—носовые. Во всех предшествующих описаниях предполагалось, что нёбная занавеска приподнята, закрывая доступ воздуха в носовую полость, но нёбная занавеска может опуститься к основанию языка; в этом случае воздух, поступающий из легких, проникает в носовую полость и выходит и через нос и через рот. В действительности полное закрытие осуществляется редко; даже артикуляция гласных, изученных до сих пор, всегда пропускает небольшое количество воздуха в носовую полость. Но язык использует полное открытие носовой полости для образования звуков, называемых носовыми. Кроме нескольких случаев, связанных со строением самих органов, все упомянутые выше фонемы могут быть носовыми. Когда при произношении данной фонемы без изменения артикуляции и положения языка нёбная занавеска остается опущенной, получается носовой, гласный или согласный. Всякий француз в достаточной степени знаком с носовыми гласными, которых в его родном языке внушительное количество. То, что мы изображаем на бумаге посредством «an», «on», «in», «un», представляет один звук, в котором к соответствующему каждой гласной тембру присоединяется носовой резонанс. Гласный назализуется (становится носовым) тогда, когда при его произношении нёбная занавеска опущена и часть воздуха, выходящего из голосовой щели, идет в носовую полость. Следует заметить, что вопреки орфографии, французские носовые гласные «an», «in», «un» не соответствуют гласным «а» «i», «u», но скорее «о», «е», «eu» закрытому.

Тот же механизм служит для образования носовых согласных. Все согласные могут быть носовыми; в некоторых языках существуют носовые «v», «l», «r». Но обычно называют носовыми смычные звонкие, сопровождаемые носовым резонансом. Если нёб-

---

[1] *Meillet*, Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes, Paris, p. 89.

ная занавеска опущена при артикуляции, мы получаем носовые «m», «n», «ñ» (пишется по-французски «gn»).

Эти фонемы могут быть произнесены протяжно, но воздух выходит только через нос, так как выход через рот прегражден. Есть столько же носовых, сколько есть звонких смычных. Носовые, соответствующие взрывным глухим, теоретически возможны, но осуществляются на практике крайне редко.

Мы только что видели, что носовые, могущие быть длительными и сопровождаемые голосом, резонируют в носовой полости, т. е., другими словами, они могут играть роль гласных так же, как и плавные. Многие языки имеют носовые гласные, и мы знаем, что они были и в индоевропейском праязыке. В наше время их можно легко услышать во втором слоге немецких слов Atem, bieten. С другой стороны, индоевропейский праязык использовал носовые («n», «m») как второй элемент дифтонга и обращался например с «en», «em», «on», «om» так же, как с «ei», «eu», «oi», «ou»; древнегреческий язык сохранил в своих ударениях следы этой судьбы носовых, и даже в наше время можно подтвердить это положение примерами из литовского языка.

***

Носовые значительно увеличивают собою список звуков, производимых речевым аппаратом человека, но мы еще далеко не исчерпали этот список. Число возможных звуков, вообще говоря, почти безгранично, потому что элементы, из которых они состоят, в большей своей части способны к различным сочетаниям и имеют много разновидностей.

Гласный произносится на известной ноте, с известной силой, в продолжение известного времени; высота, сила, качество — все это позволяет умножать разновидности любого гласного. А так как в одном и том же языке количество может быть различным, а высота и сила допускают также различные модуляции и интонации, то эти видоизменения сами в свою очередь заключают в себе основы для создания всех дальнейших изменений[1]. Количество играло в классических языках роль, о которой мы можем судить по древнему стихосложению. Аналогично обстояло дело и в санскрите. Что до высоты тона, то мы находим прекрасные примеры его в языках Дальнего Востока, в которых одна только интонация отличает слова разного смысла, звучащие в остальном совершенно одинаково. В китайском языке некоторые односложные слова, будучи произнесены с шестью различными

---

[1] О соотношении количества, высоты и силы в славянских и балтийских языках см. прекрасные работы *F. de Saussure* в «Mémoires de la Société de linguistique», Paris, t. VIII, p. 425; «Indogermanische Forschungen», Strassburg, Bd. VI, S. 157; *Gauthiot*, в «Mémoires de la Société de linguistique», Paris, t. XI, p. 336; *Ф. Фортунатов*, в «Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen», B. XXII, S. 153.

интонациями, могут приобрести шесть различных значений. Еще разнообразнее интонации в аннамском языке[1]: для слога «но» насчитывают до 15 различных интонаций, соответствующих самым различным значениям[2].

Есть еще другие возможные варианты даже в способе создания специального резонатора для каждого гласного. Есть так называемые твердый и мягкий приступы (fester Einsatz и leiser Einsatz у немцев). Различие между ними заключается в способе, посредством которого совершается открытие голосовой щели в момент произнесения начального гласного.

При твердом приступе голосовая щель открывается внезапно и четко отделяет гласный от предшествующих ему звуков: это—обычное явление в северонемецких говорах. Черта эта настолько характерна, что по ней одной можно отличить произношение немца от произношения француза или англичанина, для которых обычен мягкий приступ. Английский фонетист Эллис (Ellis) пользуется изящным сравнением, чтобы показать это различие. Наступление дня в утренних сумерках настолько постепенно и нечувствительно, что невозможно сказать, когда кончается ночь и начинается день. Это—мягкий приступ гласных. Наоборот, когда внезапно открывают в полдень оконные ставни, яркий поток света наводняет в одно мгновение всю комнату. Это твердый приступ. Различные приступы возможны не только при открытии голосовой щели. Некоторые языки, например датский, пользуются ими при закрытии голосовой щели. При окончании гласных имеет место удар или так называемый «шок» (Stoss у немцев, Stød у датчан). Два датских слова—anden (*утка*) и anden (*другой*) отличаются в произношении только наличием или отсутствием удара. Некоторые английские диалекты, в частности шотландский, дают также прекрасные примеры этого glottal stop[3].

Произношение согласных также заключает много важных разновидностей кроме изложенных выше. Две из них по крайней мере заслуживают упоминания здесь: это, во-первых, сила мускульного напряжения, и степень открытия голосовой щели, во-вторых.

Далеко не все языки тратят одинаковые усилия на производство артикуляционных движений. В некоторых языках усилие ничтожно, речь идет без перебоев, спокойно, на одном уровне. В других, наоборот, мускулы напрягаются, и это дает при слушании впечатление силы с резкими разрешениями, рывками и толчками.

В пределах одного и того же языка некоторые фонемы требуют большего мускульного напряжения, чем другие. Этот факт

---

[1] *Cadière*, Phonétique annamite, p. 79 и дальше, Paris 1901.
[2] *Grammont*, «Mémoires de la Société de linguistique», t XVI, p. 75.
[3] *Jespersen*, Lehrbuch der Phonetik, Leipzig 1913.

поразил еще древних греков, которые различали среди своих согласных звуки слабые и сильные. Обычно различие в интенсивности связано с противопоставлением звонких глухим. Так было в древнегреческом языке; так это и во французском, в котором согласные «p», «t», «k» одновременно глухи и сильны, а «d», «b», «g» звонки и слабы. Но есть языки, которые не знают этого деления или в которых звуки при этом делении распределяются иначе. Так например одно из различий французских взрывных от взрывных немецких заключается в том, что в немецком, особенно в южнонемецком, взрывные звонкие «b», «d», «g» сильны так, что французскому уху они кажутся промежуточными между звонкими и глухими, иногда даже ближе подходя к глухим. Наоборот, южнонемецкие взрывные глухие «p», «t», «k» часто слабы, когда они не придыхательные.

Другой принцип, служащий для отличия произношения согласных, основывается на степени открытия голосовой щели. Есть взрывные с открытой щелью и есть взрывные с закрытой.

При произношении с закрытой голосовой щелью (таково например французское произношение, славянское и древнегреческое) голосовые связки сближены в момент произнесения взрывного. Они таким образом совершенно приготовлены к тому, чтобы начать вибрировать при произношении гласного, следующего за взрывным, если взрывный глухой, и с самого начала имплозии, чтобы сделать взрывный звонким, если он должен быть звонким.

При произношении же с открытой голосовой щелью (таково произношение германских языков)[1] необходим некоторый период времени, чтобы голосовые связки начали вибрировать в момент имплозии для озвончения согласного или непосредственно после эксплозии, чтобы произнести гласный. Чаще всего в этих случаях бывает легкое запаздывание, недостаток координации между смыканием и началом вибрации. Главное различие между французским и немецкими взрывными зависит от того, что вибрации голосовых связок происходят в немецком языке позже, чем во французском. Это одна из причин того, что француз, слыша немецкие слоги «ba», «da», «ga», толкует их как «pa, «ta» «ka». Французский согласный звонок уже с начала имплозии, немецкий же согласный в начале своего произнесения глухой; он становится звонким только после некоторого периода времени (см. стр. 47).

Произношение с открытой голосовой щелью влечет за собой другое следствие. Во все время смыка воздух, нагнетаемый легкими, не перестает накопляться в полости рта, так как ничто не

---

[1] *Meillet*, Caractères généraux des langues germaniques, p. 36 и «Bulletin de la Société de linguistique», Paris, t. XVI; *Grammont*, Traité pratique de prononciation française, Paris 1914, p. 84.

препятствует свободному движению его к выходу из дыхательного горла. При произношении же с закрытой голосовой щелью голосовые связки хотя бы частью задерживают воздух. Из этого следует, что во время взрыва воздух прорывается с большей силой при произношении с открытой голосовой щелью; в произношении же с закрытой голосовой щелью последняя служит до некоторой степени регулятором воздушного тока. Сила этого тока в первом случае так велика, что обычно в момент взрыва слышен этот характерный шум выходящего воздуха, который называется неудачным термином «придыхание». Так как, с другой стороны, как только что мы уже сказали, вибрация голосовых связок в следующем гласном несколько отстает, то проходит некоторое время, в течение которого гласного еще нет, а согласного уже нет. Этот промежуток времени естественно занят придыханием, и таким образом получается согласный, называемый придыхательным. Вместо «p», «t», «k», произносят «ph», «th», «kh». Эту разновидность согласного легко услышать в устах южного немца, произносящего le pavé de Paris, une tasse de thé, un carreau de cassé.

***

Мы далеко не исчерпали при этом перечне всех возможных фонем. До этого момента мы принимали во внимание только фонемы, образуемые посредством выдыхания (экспирации). Но существуют также фонемы, образуемые вдыханием (инспирацией). Теоретически говоря, можно было бы все рассмотренные нами фонемы представить себе также, как образованные посредством инспирации. Количество фонем таким образом удвоилось бы. Термин инспирация (или вдыхание) впрочем не совсем верен, так как при артикуляции этих фонем воздух вовсе не вводится в дыхательный аппарат. В их артикуляцию входит как составная часть движение сосания. Их называют также «щелкающими»[1].

Инспирируемые или щелкающие фонемы достаточно редки. Утверждают, что в некоторых африканских языках они обычны. Но в фонетические системы индоевропейских языков они не входят. Только эпизодически они встречаются в некоторых языках. Установлено, например, что в современном бретонском языке конечный звук «p» в первом лице множественного числа (напр. karomp *мы любим* от karom) развился из щелкающего звука. В наших языках это случай исключительный[2].

Но зато щелкающими звуками широко пользуются все языки в качестве междометия. Так во французском языке щелкающий

---

[1] *Havet*, «Memoires de la Société de linguistique», t. II, p. 221; *Sacleux*, Mélanges de linguistique offerts à F. de Saussure, Paris 1908, p. 44.

[2] *Rousselot*, Principes de phonétique expérimentale, Paris 1897—1909, I, p. 492; *Loth*, «Revue Celtique», Paris, t. XVI, p. 201.

«t» служит для выражения сомнения или для привлечения внимания; инспирируя альвеолярный «t», показывают восхищение или удивление; инспирация звука «f» выражает или удовлетворение лакомки или чувство усилия или острой, но не сильной боли. Слово oui, когда идет речь о *да* сомневающемся или выражающем согласие, часто произносится с инспирацией, также и слово non, произносимое шопотом и небрежно.

ГЛАВА II

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Число возможных фонем (см. выше) почти бесконечно. Ни один музыкальный инструмент не может произвести столько разнообразных звуков, как речевой аппарат человека. Но далеко не всеми этими ресурсами пользуется человеческий язык. Число фонем любого языка достаточно ограничено.

Само собой разумеется, что нельзя судить о числе фонем какого-либо языка по числу букв его алфавита. Обычно в языке больше звуков, чем знаков для их обозначения. Так обстоит дело в языках французском, итальянском, английском, немецком. Во всяком случае, говоря вообще, число фонем в одном языке обычно не превышает 60. Часто оно значительно меньше.

Это число не должно показаться странным. Оно естественно объясняется характером многообразия звуков речевого аппарата; слишком большое число различных звуков затрудняло бы говорящего. Кроме того среди возможных звуков многие исключают друг друга благодаря устройству органов речи.

Во всяком языке фонемы тесно связаны друг с другом. Они представляют собой стройную и законченную систему, части которой согласуются друг с другом. Это основной принцип фонетики: он имеет исключительное значение, так как он устанавливает, что язык состоит не из отдельных фонем, но из системы фонем.

Говорящие на чужих языках очень хорошо чувствуют существование специальной фонетической системы для каждого языка. Переходя с одного языка на другой, они в момент произнесения каждого отдельного слова не думают о том, что нужно придать органам речи то положение, которое необходимо для воспроизведения входящих в это слово фонем. Так они никогда не заговорили бы свободно на этом языке. Им достаточно в момент перехода с языка на язык придать своим органам на все время речи общую установку.

Если же говорящий владеет иностранным языком хорошо, то органы его речи без сознательного его участия переключаются так, что все фонемы произносятся должным образом. Поли-

глот похож на играющего на фисгармонии, он одним передвижением клавиатуры придает всем произносимым звукам определенную окраску. Это переключение очень ясно чувствуется по усталости, которую мы испытываем, поговоривши некоторое время на мало нам привычном языке. Органы речи были поставлены в новые положения, предполагающие непривычные мускульные усилия. Добавочная работа, которой нагрузили органы речи, быстро вызвала усталость. Кто хочет, говоря на своем языке, подражать иностранному произношению, знает также, что ему достаточно, чтобы добиться желаемого эффекта, произвести такое артикуляционное переключение; проделавши его, можно прочесть одну и ту же страницу французского текста так, будто ее читает, скажем, немец или англичанин.

Существование фонетической системы есть результат закона равновесия. Между всеми органами, участвующими в произношении, устанавливается такое соотношение, что каждому положению одного из них стремится соответствовать аналогичное положение другого. Это соотношение, не ограничиваясь положением органов речи, распространяется и на расход мускульной энергии. Некоторые фонемы например произносятся с большей силой тока воздуха, чем другие, или же с большими артикуляционными усилиями. Кроме того с различиями в количестве обыкновенно связаны и различия в тембре. Во французском языке звуки «а» и «о» имеют, вообще говоря, различный тембр в зависимости от того, краткие они или долгие, например в pâte (*тесто*), patte (*лапа*), côte (*берег*), cotte (*юбка*), saute (*прыгай*) и sotte (*дурочка*) и др. Аналогичное различие существует в немецком языке между «е» кратким и «е» долгим, «о» кратким и «о» долгим. Так в stehen (*стоять*), Reh (*серна*) в противоположность к Stelle (*место*), retten (*спасать*), в Sohn (*сын*), Boden (*почва*) в сравнении с Gott (*бог*), kommen (*приходить*). Во многих языках дело обстоит так же.

Фонетическая система одного и того же языка отнюдь не является устойчивой в ходе его развития. Это станет совершенно понятным, если мы вникнем в то, как эта система передается и посредством каких условий поддерживается ее равновесие.

Фонетическая система усваивается в самом раннем возрасте и поддерживается нетронутой в течение всей жизни, если не считать несчастных случаев, которым могут подвергнуться органы речи. Но обучение этой системе не совершается сразу. В первые годы своей жизни, самые важные для развития языка, ребенок накапливает изо дня в день, непрерывно слова, которые он старается воспроизводить такими, какими он их слышит. Он учится произносить не звуки, а слова или даже группы слов. Поэтому необходимо, чтобы его органы речи приспособились воспроизводить звуковые сочетания, иногда очень сложные. Это редко ему удается с первого раза. Ему не раз приходится исправлять свое произношение по произношению окружающих

до того момента, когда ему покажется, что он воспроизводит слышимое совершенно точно.

Та форма, которую он усваивает окончательно в конце своего обучения языку, составляет его фонетическую систему. Он устанавливает ее ощупью, путем исканий, устраняя неудавшиеся звуки, приспособляя органы речи к совершенному воспроизведению нужных ему звуков[1]. Со временем артикуляционные движения производятся уже чисто автоматически. У органов речи есть память, подобная памяти пальцев пианиста, которые механически бегают по клавишам, в то время как глаз читает ноты на бумаге.

Передача произношения одним поколением другому претерпевает перерывы в том смысле, что ребенку приходится учиться всему заново. Нет сомнения, что при этом обучении какую-то роль играют наследственные предрасположения. Но ясно без пояснений, каким опасностям подвергается чистота произношения при передаче от одного поколения к другому. Очень редко бывает, чтобы, завершивши свое обучение языку, ребенок овладел фонетической системой совершенно в той же форме, в какой владеет ею старшее поколение. Некоторые фонетисты даже утверждают, что этого не случается никогда.

В этой сложной игре движений, составляющих фонетическую систему, случается, что какой-либо из органов усиливает или ослабляет, хотя бы в очень ничтожной степени, свое действие; что какой-нибудь мускул выполняет одно из движений слишком медленно и вяло или же слишком быстро и сильно. Отсюда несогласованность между фонетическими системами двух последовательных поколений. Эта несогласованность может свестись к пустякам, не отражаясь заметным образом на слышимом результате, но она однако чревата последствиями, так как предвещает ни больше, ни меньше, как разрушение равновесия системы. Иногда однако эта несогласованность видна ясно: ребенок произносит иначе, чем его родители; вместо рядов звуков, которыми они владели, он подставляет новый ряд. Так например ребенок может начать упирать кончик языка в альвеолы вместо зубов при произношении «t», и французские «t», «d» у него превратятся в английские.

Этот вид фонетических изменений представляет ряд важных особенностей. Прежде всего эти изменения б е с с о з н а т е л ь н ы. Ребенок, у которого язык не доходит до нужного места или же слишком выдвигается вперед, не сознает своего недостатка. Он полагает, что произносит так же, как и его родители, произнося в действительности иначе. Эта бессознательность изменения объясняет его устойчивость. Если бы ребенок сознавал свою ошибку, он старался бы исправить ее.

---

[1] См. работы, указанные в начале первой главы, сверх того *Meillet*, в «Revue internationale de sociologie», Paris, t. I, p. 311, t. II, p. 860.

Кроме того это фонетическое изменение абсолютно, т. е. оно совершается полностью и окончательно. Это не самостоятельное творчество, прибавляющее к существующей уже системе новый элемент, а только видоизменение уже существующего элемента; такое видоизменение предполагает, что ребенок уже более не способен точно воспроизвести услышанную фонему. Интересно отметить, что фонема, которая замещена какой-либо иной, обычно произносится с бо́льшим трудом, чем все другие фонемы, чуждые данной системе. Никому так не трудно произнести смягченное «l», как французам нашего времени, которые еще недавно им владели.

Наконец эти изменения происходят правильно, т. е. они совершаются в направлении, предопределенном предыдущими изменениями. Эта черта объясняется природой элементов, создающих равновесие всей системы. В каждой фонетической системе есть главные элементы, управляющие другими. Всегда можно, описывая систему любого говора, свести все детали этого говора к нескольким основным принципам, определяющим положение языка, силу воздушного потока, силу мускульного напряжения и т. д. Несомненно эти основные принципы правильны только для определенного отрезка времени, так как вся система в большей или меньшей мере от поколения к поколению изменяется; но пока они соответствуют действительности, они составляют как бы остов или скелет языка. Рассмотренные во временной последовательности, они указывают на тенденции развития языка. И действительно, сравнивая между собою различные исторические состояния языка, мы замечаем, что позднейшие изменения, отмеченные в языке, заключаются в зародыше в языковых явлениях предшествующих периодов.

* * *

Классический образец правильных фонетических изменений — это «передвижение согласных» в германских языках, то, что по-немецки называется Lautverschiebung[1]. Это явление имело место также и в других языках, например в армянском и осетинском. Его исходная точка заключается в различии между произношением с открытой или с закрытой голосовой щелью (см. стр. 41).

Когда у какого-либо народа, как например у германцев, есть привычка произносить согласные с открытой голосовой щелью,

[1] Это явление изложено здесь так, как оно обычно трактуется французскими лингвистами: *Meillet*, Caractères généraux des langues germaniques, p. 27; *Gauthiot*, «Mémoires de la Société de linguistique», t. XI, p. 192; *Vendryes*, Mélanges linguistiques offerts à Meillet, p. 130. Это истолкование принято не всеми: *Wundt*, Völkerpsychologie, Die Sprache» I, 2,405; *H. Meyer*, «Zeitschrift für deutsches Altertum», Bd. XLV, S. 107; *Hirt*, Der indogermanische Ablaut; *Feist*, «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», Bd. XXXVI, S. 307, Bd. XXXVII, S. 112.

глухие и звонкие согласные подвергаются ряду изменений, происходящих от запаздывания начала дрожания голосовых связок. С одной стороны, в сочетании типа «da» или «ba» дрожание голосовых связок не следовало непосредственно за имплозией, и таким образом большая или меньшая часть согласного становилась глухой, и в конце концов весь согласный целиком превращался из звонкого в глухой. С другой стороны, в таком сочетании как «ta» или «pa» между эксплозией взрывного и произнесением следующего за ним «а» образуется некоторый более или менее короткий промежуток. Но взрыв дает проход воздуху, отсюда естественна тенденция превратить взрывный в придыхательный или даже в аффрикату, если взрыв особенно силен и органы речи, несмотря на резкий толчок воздуха, стремящегося вырваться, не возвращаются немедленно в положение покоя. Тогда возникает произношение «tha», «pha» или же «tsa», «pfa». Как придыхательные, так и аффрикаты всегда имеют тенденцию стать спирантами («þa», «fa»), если ток воздуха делает смычку неполной[1].

Эти два процесса играют большую роль в истории германских языков. Ими объясняется то, что индоевропейским звонким взрывным всегда соответствуют в германских языках глухие: готское skapjan *(обрабатывать)*, itan *(есть)*, древневерхненемецкое melkan *(доить)* при латинском scabo, edo, mulgeo; а глухим взрывным соответствуют спиранты hlifan *(красть)*, þahan *(молчать)* при греческом κλέπτω, латинском taceo. Это два единственных изменения, характерных для германских языков[2]. Но спирант, происшедший из глухого взрывного, не всегда бывает глухим. Есть случаи, когда он звонкий. Датский языковед Вернер доказал[3], что спирант бывает звонким только в словах, в которых предыдущий слог в индоевропейском не носил на себе ударения.

Действительно, ряд различных тенденций пересек действия этих изменений. Например одна из них, отмеченная в ряде языков, заключается в том, что глухой спирант делается звонким в положении между гласными (открытие Вернера только внесло в нее корректив), другая заключается в том, что звонкие спиранты, как бы в результате самопоправки говорящего, сопротивляются своему ослаблению и становятся взрывными звонкими. Это явление свойственно немецкому языку. Так, английским словам thin *(тонкий)*, thumb *(большой палец)*, thorn *(шип)* в немецком языке соответствуют dünn, Daumen, Dorn,

[1] Знак þ изображает глухой зубной спирант, который слышится в английских thick или thank.

[2] Немцы привыкли, а за ними некоторые лингвисты других стран, называть это явление законом Якова Гримма, хотя оно было установлено до него датчанином Раском. См. *Pedersen*, Et Blick paa Sprogvidenskabens Historie, p. 52 и дальше.

[3] В известной статье в «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», Bd. XXIII, S. 97.

в которых раньше первым звуком был не взрывный, а спирант. Наиболее четко мы наблюдаем это явление в зубных, спорадически оно выходит даже за пределы немецкого языка (английское gold *(золото)* или wild *(дикий)* рядом с готским gulþ, wilþeis). В этих же пределах наблюдается такая же эволюция некоторых других спирантов. Так, в нескольких диалектах начальное «w» превращается в «b» в начале слова (bas—was, beil—weil)[1] или «j» становится «g» после «r» (Ferge—*кормчий*, Scherge—*приспешник*» из более древних verjo, scerjo).

Эти примеры показывают, что нельзя свести к единому принципу все изменения, происшедшие в германском консонантизме. Но замечательно, что через все колебания, объясняемые специальными условиями, проходит одна общая тенденция, обнаружившаяся в доисторических изменениях, и что она продолжает чувствоваться во всей истории германских языков; после того как древневерхненемецкий язык завершил к VI столетию н.э. второе передвижение согласных, современный немецкий язык, по крайней мере в южных областях, подготовляет уже третье передвижение; в другой части области, в датском языке, новое передвижение в настоящее время осуществляется[2].

Такое явление, как передвижение согласных, являющееся прекрасным примером правильности и непрерывности, в то же время показывает, что фонетическое изменение может захватить значительную часть населения. Чтобы оценить природу какого-либо изменения, недостаточно сравнить произношение ребенка с произношением его родителей, т. е. учесть в каждом поколении только изолированного индивидуума. Только то изменение имеет цену в глазах языковеда, которое выражается в говоре целой группы.

Фонетические изменения особенно часто осуществляются при переходе от одного поколения к другому, но все же следовало бы определить долю изменений индивидуальных и долю изменений, общих всем детям одного поколения. Может случиться, что ребенок в результате какого-либо прирожденного органического недостатка не способен произносить некоторые звуки, т. е. у него налицо дефект в произношении. Чаще всего эти индивидуальные недостатки интересуют только врача. Языковеду же они могут служить иногда только показателем общих устремлений языка. Иногда действительно они являются только преувеличением естественной тенденции языка; в таких случаях они симптоматичны, выявляя слабые стороны системы; они показывают, в каком месте системы сопротивление меньше всего и в каком направлении новые тенденции угрожают увлечь язык. Но эти случаи требуют от языковеда большой осторожности, и, вообще говоря, он может пройти мимо них; чтобы определить тенден-

[1] *Behaghel*, Geschichte der deutschen Sprache.

[2] *Braune*, «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», Bd. XXXVI, S. 564.

цию развития языка, недостаточно изучать язык изолированного индивидуума.

Долгое время полагали, что всякое фонетическое изменение исходит от индивидуума и есть не что иное, как обобщенное индивидуальное изменение. Это понимание вещей не точно. Ни один индивидуум не смог бы навязать своим соседям произношение, которое противоречило бы их инстинкту; нет способа навязать всем говорящим какое-либо фонетическое изменение. Чтобы то или другое изменение произношения стало правилом для данной социальной группы, нужно, чтобы у всех членов данной группы было естественное стремление осуществить его[1] самопроизвольно. Даже способность к подражанию в этом случае теряет свое значение. Ошибочное произношение не создает последователей и только ставит говорящего в смешное положение.

Этому можно было бы противопоставить влияние моды, которого нельзя в некоторых случаях отрицать. Мы знаем, что подражая семье Богарнэ, которые, как и все креолы, не произносили «r», высшее общество Директории пыталось уничтожить этот согласный. Это была мода инкрояблей, которая длилась короткое время и от которой ничего не осталось кроме следов в подписях под рисунками в альманахах. Древность знала такие же моды. Алкивиад имел привычку произносить все «r», как «l» (*Аристофан*, Осы, 44—46), и его сын ему в этом подражал. Катулл смеется над одним римлянином, своим современником, по имени Аррий, который в подражание греческому языку произносил латинское «c» с придыханием, говоря например chommoda вместо commoda.

Это те исключения, которые, будучи правильно истолкованы, только подтверждают правило. Заметим, что эти фонетические изменения не закрепились. Римляне продолжали произносить свое «c», как взрывный, история «k» в романских языках ни в чем не изменилась от моды, представителем которой был Аррий. Особенное произношение этого сноба осталось вне фонетической системы римлян. Возможно, что оно и удержалось в нескольких изолированных словах. Но в таком случае это не относится к фонетике, а к словарю. Впрочем можно поставить вопрос, не относился ли факт, высмеянный Катуллом, вообще к словарю, а не к фонетике.

Мало вероятно, чтобы Аррий менял все латинские «c» на «ch», т. е. чтобы он систематически подменял одну артикуляцию другой. По всей вероятности он это делал только в некоторых словах, чтобы придать им греческий вид. Совсем другое у инкрояблей, которые ввели в современный им французский язык—французский язык Парижа—артикуляционный навык другого французского диалекта, диалекта креолов с острова

---

[1] *Meillet*, «Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes», t. I, p. 311, t. II, p. 860, «Année sociologique», t. IX, p. 595.

Мартиник. Но исчезновение звука «r» во французском языке кажется явлением, совпадающим с общей тенденцией этого языка. По крайней мере это касается задненёбного «r», характерного для парижского говора. В некоторых положениях, например в последнем слоге после согласного или же между двумя гласными этот «r» мало слышен в настоящее время. Может быть, не будь влияния школы и традиционного письма, он уже исчез бы из французского языка. Английский «r» альвеолярный, артикулируемый совершенно иначе, также находится на пути к исчезновению; многие англичане, сами того не замечая, уже не произносят его.

* * *

В языковедении принято называть фонетические изменения законами[1]. Таковы так называемые законы Гримма, относящиеся к передвижению согласных в германских языках. Уже по тому, что сказано выше, можно установить, что в этих случаях надо понимать под термином «закон». В свое время было высказано знаменитое положение: «Фонетические законы действуют слепо, со слепой необходимостью» (Die Lautgesetze wirken blind, mit blinder Notwendigkeit)[2]. Эта фраза, вызвавшая в свое время горячую полемику, в наше время может вызвать только улыбку. Самое малое, что можно о ней сказать, это что она рискованна, придавая фонетическому закону ничем не оправдываемое значение. Фонетический закон не является причиной действия. Он не необходим в научном смысле слова, неправильное употребление слова «закон» ввело исследователей в заблуждение.

Закон существует, чтобы управлять человеческими поступками, и следовательно его действия направлены на будущее. Так, уголовный закон регулирует судьбу виновных, а гражданский указывает гражданам их поведение. Уже применение слова «закон» к истинам опытных наук (химия, физика) является неудачным расширением термина. Этому расширительному употреблению термина способствовало то, что соотношения между явлениями, открываемые в этих науках опытом,—соотношения постоянные; закон есть не что иное, как простая формулировка отношений; он следует за опытом, а кажется ему предше-

---

[1] См. библиографию у *Van Ginneken*'а, Principes de linguistique psychologique, 1907, p. 462; *Meillet*, Les lois phonétiques, «Revue internationale de sociologie», t. I, p. 311; *Wechsler*, Gibt es Lautgesetze? *Delbrück*, Das Wesen der Lautgesetze, «Annalen der Naturphilosophie», Bd. I, S. 277—308, 1902; *Vendryes*, Réflexions sur les lois phonétiques, «Mélanges linguistiques offerts à Meillet 1902», p. 113—130; *Baudouin de Courtenay*, Versuch einer Theorie phonetischer Alterationen, Strass. 1895.

[2] Эта фраза принадлежит немецкому лингвисту Герману Остгофу (H. Osthoff), 1890. В период между 1870 и 1880 гг. стали утверждать существование фонетических законов. См. *Schuchardt*, Ueber die Lautgesetze. Gegen die Junggrammatiker, Berlin 1885.

ствующим; и только неправильное словоупотребление приписывает закону императивную силу.

Законы фонетики нельзя уподобить даже законам физики или химии. Два последовательных состояния языка соединяются не необходимой по существу связью, а только случайностью; никогда нельзя заранее сказать, каково будет развитие того или иного звука, потому что в развитии звуков есть всегда большее или меньшее число привходящих, неизвестных нам факторов. Все же как формула происшедшего в прошлом изменения фонетический закон имеет абсолютный характер. Эта его черта вытекает из согласованности фонетической системы и из правильности ее изменений (см. стр. 47). Так как изменение связано не со словом, а с артикуляцией, все слова, заключающие в себе ту же артикуляцию, изменяются одинаково. В этом сущность фонетических законов; это—формулы, выражающие итог процесса, это—правила соответствий.

Посредством фонетических законов можно в несколько формул заключить историю звуков данного языка и дать ключ ко всем изменениям этих звуков. Если нам известно какое-либо слово языка, форма которого определяется фонетическим законом, мы знаем уже заранее форму всех других слов, подчиняющихся этому же закону. Если нам даны два диалекта, развивавшихся из одного и того же языка по определенным законам, их фонетическая система дана нам в этих же законах. Если я знаю, что древнее «t» в немецком языке изменилось в «z» в начале слов, а в английском языке сохраняется, то мне становится ясной не только форма Zähre (*слеза*) рядом с английской формой tear (*слеза*), но также и формы zehn (*десять*) и ten (*десять*), zwingen (*принуждать*) и twinge (*сжимать*), Zunge и tongue (*язык*) и т. д. Одно из этих слов подсказывает другое. Языковедам случалось a priori восстанавливать форму уже не существующего слова, и эта форма потом оправдывалась вновь найденным текстом. Фонетические законы лежат в основе всякой этимологии. Этимолог, не учитывающий их, работает впустую.

Легко также показать, насколько эти законы могут быть полезны при изучении иностранного языка. При усвоении нового языка можно извлечь большую пользу из формул соответствия между языком изучаемым и уже известным. Так например, зная что начальное латинское «f» в испанском языке перешло в «h», я уже заранее скажу, что вместо латинского facere (*делать*) в испанском будет hacer, так же латинское farina (*мука*) даст испанское harina, так же heno (*сено*), hierro (*железо*), hijo (*сын*), hoja (*лист*), humo (*дым*) и т. д. Есть своего рода чутье, которое в таких случаях руководит памятью и помогает с известной гарантией достоверности найти нужное слово. Но все же возможности ошибок не исключены. Есть даже специальные ошибки, вытекающие из неуместного или преувеличенного применения фонетических законов (гипердиалектизм

и гиперурбанизм, см. ниже). Например в только что приведенном случае мы бы ошиблись, желая a priori построить испанское слово для огня, основываясь на латинском focus, итальянском fuoco и французском feu; искомое испанское слово будет fuego—вместо ожидаемого huego. Дело в том, что переход начального «f» в «h» не совершается в испанском языке перед «u», за которым следует гласный. Гасконские диалекты в данном случае идут дальше испанского языка: на них говорится huek *(огонь)*, т. е. начальное «f» переходит в «h» во всяком положении[1].

Первой задачей лингвиста должно быть точное определение условий применений закона и его распространения в пространстве и во времени.

Действительно, фонетические изменения ограничены во времени. С момента, когда изменение произошло во всех словах, которые ему подлежали, закон, который его выражает, прекращает свое существование. Язык может создать новые сочетания, совершенно подобные тем, которые были затронуты предшествующим изменением, и эти сочетания останутся уже без изменения; в таких случаях принято говорить, что они уже не подпадают под действие этого закона. Поэтому все языки имеют дублеты, т. е. слова, происходящие из одного источника, но введенные в язык в разные эпохи. Более древние из них распознаются потому, что они дальше отошли от первоначальной формы. Они подверглись действию фонетических законов, которые уже прекратили свое действие, когда были введены в язык их дублеты. Во французском языке есть слова avoué *(поверенный)*, avocat *(адвокат)*, loyal *(честный)*, légal *(законный)*, происшедшие из одних и тех же латинских слов. Когда второй ряд этих слов вошел во французский язык (к тому же путями иными, чем первый), фонетические законы, изменившие форму слов первого ряда, уже перестали действовать.

Бывает также, что формулы соответствий, установленные между определенными языками, нарушаются последующими заимствованиями. Английскому «t» или «tt» внутри слова в немецком языке соответствует «ss»: немецкое besser *(лучше)*—английское better, немецкое Wasser *(вода)*—английское water. Но в обоих языках слово butter *(масло)* имеет одинаковую форму, также немецкое Messe *(литургия)*, английское mass *(праздник)*, christmas *(рождество)* и др. Эти слова, каждое посвоему, противоречит предшествующему закону. Причина в том, что butter, Messe, mass заимствованы из латинского языка.

Но даже пытаясь учесть условия, уточняющие применимость и распространение фонетических законов и позволяющие истолковывать как естественные факты то, что кажется

---

[1] *Meillet*, Linguistique historique et linguistique gé rale, «Scientia», Bologne 1908, p. 5.

исключением, не всегда возможно устранить все трудности. Некоторые из них присущи самому методу.

С одной стороны, фонетический закон лишь несовершенно объясняет характер изменения, результат которого он регистрирует, с другой, этот метод всегда только средняя, в которой суммируются различные сложные процессы.

Надо различать в фонетических изменениях те, которые происходят путем з а м е н ы (субституции), от тех, которые происходят посредством э в о л ю ц и и. Налицо имеется эволюция, когда спонтанно, благодаря естественному развитию, один звук превращается в другой. Так во французском диалекте Иль де Франса долгое закрытое «е» латинского языка последовательно изменялось в «we», затем в «wa», обозначаемое в современном языке «oi» древним начертанием, утратившим свою точность уже в XIII столетии; мы произносим lwa, rwa, pwar, lwar то, что пишем loi *(закон)*, roi *(король)*, poire *(груша)*, loir *(соня*, название животного*)*. Таково обычное произношение Парижа; если можно услышать подобное же произношение в говорах, далеких от столицы, то это чаще всего заимствование из говора Парижа, но не результат самостоятельного развития этих говоров. Доказательство этому можно почерпнуть в самих этих говорах, которые в более старых формах или в некоторых специальных словах иногда сохраняют свое исконное произношение. Например в каком-нибудь сельском диалекте можно услышать произношение ler вместо loir, рядом с произношением poire; произношение poire—подражание, т. е. заимствование[1].

Важность заимствований в области фонетических изменений обнаруживается при образовании всех литературных языков (стр. 254 и сл.). Так например, когда северонемецкие говоры замещают «i», «u» посредством «ai», «au», это—заимствование, а не факт самостоятельного развития. Так же, когда саксонец, усвоивший литературное немецкое произношение, говорит müssen, schön вместо missen, schèn,—это изменение в результате замены, а не эволюции[2].

Сама формулировка фонетического закона не показывает еще природы изменения; нужны еще добавочные свидетельства и специальные исследования, чтобы узнать, в какой части территории данное изменение спонтанно и естественно, и где оно уже есть результат замещения в результате подражания. Возможно—в особенности в истории древних языков—что очень часто, формулируя фонетический закон, охватывающий какую-либо обширную территорию, мы соединяем в этом законе различные факты и смешиваем, не желая того, факты замены с фактами эволюции.

---

[1] О характере заимствований в патуа см. *Grammont*, «Memoires de la Société de linguistiqe», t. X, p. 293; *Terracher*, Les aires morphologiques dans les parlers populaires du nord-ouest de l'Angoumois, 1914, введение.

[2] *Poirot*, «Année sociologique», t. IX, p. 603; *Bremen*, Deutsche Phonetik, S. 11. Для английского языка: *Storm*, Englische Philologie, S. 820.

Много других явлений не объясняются фонетическими законами. Когда говорят, что придыхание «h» и спирант «w» (дигамма) исчезли в греческом языке, выражают одной строкой очень сложный процесс, в котором замешана не одна только фонетика. Следует прочесть в книге Мейе («Aperçu de l'histoire de la langue grecque», Paris 1920, p. 24, 27, 167), каковы были превратности этих двух фонем, как обстоятельства политические и социальные способствовали тому, что в некоторых говорах они удержались, а в других исчезли. Действительно, хотя начальное «h» не оставило никаких следов в современных греческих говорах, история его исчезновения охватывает значительный период времени; его перестали призносить уже в очень раннюю эпоху в малоазиатском ионическом диалекте и эолийском диалекте острова Лесбоса, но можно найти достоверные следы его существования в христианскую эпоху. Еще больше времени потребовалось для исчезновения дигаммы: ионический и аттический диалекты потеряли ее еще в доисторический период, но в Лакедемоне ее еще произносили во время составления словаря Гезихия, и возможно, что в этой области она совершенно никогда не исчезала, так как в современном цаконском диалекте до сих пор говорят vanne *(ягненок)*= древнее Ϝαρνιον. Но все же остается правильным утверждение, что существовала в греческом языке тенденция, общая всем греческим диалектам, исключать как «h», так и «w» из своей фонетической системы: языковед имеет право говорить, что исчезновение этих двух звуков есть один из общих законов греческого языка, хотя бы цаконский диалект и составлял исключение. Формула выражает таким образом тенденцию языка и подытоживает фонетическую эволюцию, которая в действительности заключала в себе ряд вариаций, осуществлявщихся различно в зависимости от времени и от места.

Анализ большинства крупных фонетических изменений, характеризующих языки, привел бы нас к такому же выводу.

Фонетические законы, формулируемые языковедами, выражают всегда только среднюю фонетических процессов как в пространстве, так и во времени. Не сразу и не в один момент осуществляется фонетическое изменение на обширной территории, где говорят по-французски, по-немецки, по-гречески, по-латински или на другом каком-либо языке. И все же мы имеем право сказать, что во французском языке латинское «е» долгое закрытое изменилось в «wa» или что английскому двойному или простому «t» в немецком языке соответствует «ss».

Так, если мы возьмем все слова в словаре и просмотрим их, исключив все случаи заимствования, не останется ни одного, которое бы противоречило фонетическому закону. Для историка языка, который заинтересован только в конечном результате и окидывает взглядом общее его развитие, закон имеет как бы безусловную силу. Но тот, кто наблюдает устную речь и иссле-

дует обширную языковую область в момент осуществления фонетического изменения, увидит вещи совсем в другом свете; если он захочет фиксировать во времени и в пространстве дату наблюдаемого им фонетического изменения, ему неизбежно придется ограничиться описанием речи отдельного лица и сравнивать ее с речью его предков и прямых потомков.

Соединяя данные говоров одного и того же языка, взятые в различные эпохи их истории, мы получим для эволюции каждой фонемы правильную кривую. И даже, говоря географически, мы часто будем наблюдать на данной площади фонетическую ступенчатость; от селения к селению мы будем переходить через ряд промежуточных ступеней фонетической эволюции.

В современном бретонском языке есть тенденция превращать сложную фонему «c'hw» в простую «f». Эта фонема заключает в себе глухой задненёбный спирант со следующим за ним полугласным «w», произносимым как по-английски. На севере Бретани в леонардском диалекте эту фонему можно услышать вполне отчетливо; c'hwec'h—*шесть*, c'hwero—*горький*; на юго-западе, между Дуарненэ и мысом Раз (Raz), эти же слова уже произносятся fèc'h, fero со спирантом «f» как во французских fève или faire[1]. Теретически можно представить себе очень ясно этапы этой эволюции. Прежде всего звуки «c'h» должны были превратиться в простое придыхание, как греческое жесткое придыхание, как немецкое «h». Этот переход мы знаем в других языках, в частности в немецком. В то же время «w» стремился к тому, чтобы превратиться в зубно-губной спирант, и становился простым «v»—изменение, также много раз засвидетельствованное, которое можно назвать классическим, так как оно совершалось во многих языках: например в вульгарной латыни и в немецком. Следовательно древняя группа «c'hw» превратилась в «hw», а эта группа в свою очередь претерпела изменения, которые легко можно было ожидать. Воздушный ток «h» препятствовал дрожанию голосовых связок, и поэтому «v» превратился в глухой «f». Так, в древнеирландском сочетание «hv» (происходящее из «sw», а не из «c'hv», как в бретонском) правильно дало «f».

Следовательно превращение «c'hw» в «f» предполагает несколько промежуточных ступеней, но все они оправдываются и соответствуют фактам, отмеченным в других случаях.

Если мы покинем область леонардского диалекта и отправимся к Дуарненэ через Шатолен и Локронан, мы на территории бретонского языка встретим географически распределенные этапы, которые были восстановлены теоретически. На этой территории мы как бы проходим по историческим ступеням фонетической эволюции; мы переходим от «c'hw» к «hw», затем к «hv» и затем к «f». Географические площади этих фонем соприкаса-

---

[1] *J. Loth*, «Revue celtiqiue» t. XIII, p. 238; *Vendryes*, «Annales de Bretagne» t. XVI, p. 390.

ются, образуют ряд последовательных ступеней. Совершенно правильно общее положение, что переход «c'hw» в «f» есть общая тенденция современного бретонского языка. Но в действительности этот переход полностью осуществлен только на части территории, и он предполагает ряд сложных процессов, не указываемых фонетическим законом.

Исключения из фонетических изменений неизбежны. Мы уже видели несколько примеров, объясняемых тем, что часто слова входят в язык после того, как фонетический закон уже не действует. В этом случае все сводится к заимствованию и к дате этого заимствования. В истории всех языков большое число исключений есть следствие заимствований, т. е. внешних влияний.

Многие же исключения происходят от влияний внутри языка, от того, что называется аналогией. Аналогия состоит в том, что воздействие других слов языка задерживает или исправляет изменения, произведенные фонетическим законом в определенном слове. Переход например латинского «c» перед древним «a» во французское «ch»—это закон французского литературного языка. Мы говорим chien *(собака)*, chèvre *(коза)*, cheval *(лошадь)*, chantre *(певчий)* вместо латинского canem, capram, caballum, cantor. Из латинского слова capsa (*ящик*) получилось во французском языке châsse (*рака*). Из одного из южных диалектов мы заимствовали форму caisse, вошедшую во французский язык, когда вышеприведенный закон уже перестал действовать. Это один из примеров внешнего влияния. Но из латинского vincat—сослагательное наклонение от глагола vincere (*побеждать*)—мы ожидали бы форму qu'il vainche. Если же мы говорим qu'il vainque, так это потому, что мы в этом сослагательном восстановили взрывный под влиянием таких форм, как vaincu, в которой «c» сохранился совершенно правильно перед «u».

Аналогия все время исправляет действие фонетических законов или мешает им. Правильность развития фонем часто нарушается действием аналогии; на этом основании один из видных этимологов, друг порядка и ясности, заявил[1], что он иногда испытывает раздражение против разрушений, производимых аналогией. Действительно, нет почти ни одного фонетического процесса, который бы не был захвачен или нарушен аналогией. Часто аналогия основывается на смысле слова. Отсюда возникают случаи народной этимологии, также одного из «бичей» фонетики. О них в другом месте (стр. 172).

Сюда же относятся факты гиперурбанизма и гипердиалектизма[2]. Гиперурбанизмом называют преувеличение, к которому приводит желание говорить правильно и красиво. Италийский крестьянин, желая говорить на хорошем латинском языке и зная, что долгому «o» его родного диалекта часто соответствует

---

[1] *A. Thomas*, Mélanges d'étymologie française, t. 3, p. 32.

[2] *H. Oertel*, Lectures on the Study of the Language, p. 148 и дальше.

двугласный «au» в языке столицы, говорит plaustrum вместо plostrum *(телега)*, cauda вместо coda *(хвост)*, plaudere *(хлопать)* вместо plodere. Это гиперурбанизм. Этимологически в этих трех словах «о» долгое является более древним звуком. Но и горожанин, стремясь не говорить по-крестьянски, проявлял естественную склонность к гиперурбанизму, употребляя формы plaustrum, cauda, plaudere и т. п. Мы знаем, что эти формы действительно употреблялись в самом Риме и может быть даже уроженцами Рима. Сенатор Флор упрекнул однажды Веспасиана в том, что тот произносит plostrum; на это Веспасиан ответил шуткой, обращаясь к сенатору: «Salve, Flaure» *(Здравствуй, Флаур)* (*Светоний*, Веспасиан VIII). Прав был Веспасиан: plostrum правильная форма, а plaustrum—гиперурбанизм, им же могла быть и форма Flaurus.

Говоря на чуждом диалекте, легко сделать ошибку, не будучи уверенным в форме слова. Одна из частых ошибок заключается в излишней правильности, в излишнем пуризме. В эту ошибку часто впадали греки, когда они писали на чужом диалекте. В дорическом диалекте пифагорейцев много гипердиалектизмов. Так как эти авторы (или их переписчики) знали, что аттической «η» часто соответствует в дорическом диалекте долгая «α», они многие аттические «η» заменяли «α» в тех случаях, когда в дорическом нормально сохранялась «α»; таковы: например αἴσθασις *(чувство)*, κίνασις *(движение)*, ἀμετάβλατος *(неизменный)* и др. в писаниях пифагорейцев вместо αἴσθησις, κίνησις, ἀμετάβλητος. Надо думать, что в эпоху, когда греческие диалекты сливались в один общий язык (койнэ), такие ошибки были частыми при попытках писать на каком-либо чистом диалекте. Часто впадали в ошибку под влиянием пестроты диалекта, усеянного формами общего языка, в котором было трудно разобрать, что диалектично, а что нет. Даже лица, владевшие диалектом с детства, совершали в своей речи гипердиалектизмы.

* * *

В предыдущем мы встречали случаи, когда правильные фонетические тенденции вступали в конфликт с тенденциями другого порядка. Эти случаи должны часто встречаться в истории языков; на их счет надо отнести неправильности фонетической истории. В частности часто случалось, что народ переходил от одного языка к другому, и таким образом на одном языке говорили разные народы. Иногда победитель навязывал свой язык побежденному. Иногда условия политические или социальные заставляли народ принять язык своих соседей. Отсюда в развитии некоторых языков быстрые и странные изменения, ибо народ, принимающий новый язык, вносит в него иногда произносительные навыки оставленного им языка. Поэтому искони в фонетике вульгарной латыни Галлии искали влияния галльского

языка. Правда, в этом пункте у романистов нет общего мнения[1]. С другой стороны, достоверно, что аналогичные фонетические изменения можно наблюдать в языках народов различного происхождения, но географически соседних, как в ливском, одном из финских языков, и латышском[2], языке индоевропейском, или в армянском, языке индоевропейском, и грузинском.

Некоторые лингвисты склонны преувеличивать влияние смены языков, относя к ним происхождение главнейших фонетических изменений[3]. В действительности же есть спонтанные фонетические изменения, вытекающие из естественных изменений системы и вызываемые и оправдываемые самим фактом пользования языком.

Изучение развития языков позволяет выделить из ряда фонетических изменений те, которые вызваны внешними причинами. Языковед, который глубоко изучил фонетическую систему какого-либо языка в определенный момент его развития, без труда распознает в последующей истории этого языка результат естественных тенденций, которые в зародыше заключались уже в наиболее древнем его состоянии.

Такое изучение обещает дать результаты, имеющие общее значение. Соединяя и согласовывая данные, представляемые всеми языками, история которых известна, можно будет установить основной процесс фонетического изменения. Такая работа еще не проделана. Но даже и теперь любой языковед, знающий историческую фонетику нескольких языков, не колеблясь скажет, какое из двух засвидетельствованных фонетических состояний языка древнее и в каком направлении произошло фонетическое изменение.

---

[1] *Meyer-Lübke*, Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft, S. 170. Относительно влияния славянских языков на румынский см. *Densusianu*, Histoire de la langue roumaine, t. I. p. 241.

[2] *Jespersen*, Lehrbuch der Phonetik, S. 79.

[3] Особенно *Gamillscheg*, Ueber Lautsubstitution (Prinzipienfragen der Sprachwissenschaft), 1911, S. 162—191. *Delbrück*, Einleitung in das Sprachstudium, S. 152.

ГЛАВА III

ФОНЕТИЧЕСКОЕ СЛОВО И СЛОВЕСНЫЙ ОБРАЗ

Фонетические изменения, о которых шла речь до сих пор, вытекали из изменений фонетической системы языка. Причины этих изменений фонем надо искать в отношении этих фонем ко всей системе. Но этот тип изменений не единственный, с которым языковеду приходится иметь дело.

В языке нет изолированных фонем. Этим мы хотим сказать не только то, что фонемы не имеют самостоятельного существования и исследуются нами по отдельности только в отвлечении, так как во всяком языке они составляют единую систему. Этим мы хотим также сказать, что мы их не употребляем отдельно. Мы говорим только сочетаниями фонем. Самая короткая фраза, самое короткое слово предполагают ряд последовательных сложных артикуляционных движений, находящихся в соответствии между собою. Из этих сочетаний вытекают взаимодействия, вызывающие различного рода изменения фонем. Изменения, происходящие в фонемах как следствие их отношений к другим фонемам того же самого слова, могут быть названы комбинаторными изменениями. В истории языка их значение не меньше, чем изменений, описанных выше[1].

Но прежде чем приступить к их изучению, нужно определить границы фонетической группы, внутри которой происходят эти комбинаторные изменения, другими словами, определить фонетическое слово.

***

В связи с этим встает двоякий вопрос: во-первых, распадается ли фраза исключительно под углом зрения составляющих ее фонем на части, ощущаемые говорящим, и во-вторых, совпадают ли эти деления с делениями психологическими и грамматическими.

---

[1] *Sievers*, Grundzüge der Phonetik. Замечательное изложение фактов, относящихся к славянским языкам, у *Broch*, Slavische Phonetik, S. 185.

На первый вопрос можно не колеблясь ответить утвердительно, Нет никакого сомнения в том, что в любой фразе есть естественные фонетические деления. Эти деления к тому же бывают различных видов.

Одно из наиболее ясно ощущаемых—это деление на слоги. Каждый говорящий сознает это деление, как это доказывает патологическая психология[1]; наблюдались случаи ослабления памяти, при которых чувство слога остается при полном забвении слова. Больной например может указать на предмет, только называя число слогов в слове, обозначающем этот предмет. Не будучи в состоянии сказать ни слова «шляпа», ни слова «табурет», он знает и указывает пальцами, что первое из этих слов состоит из двух, а второе из трех слогов. У него выпали из памяти артикуляционные движения, которые необходимо воспроизвести, чтобы произнести слово, но он еще знает, каково было число этих движений. Правда, можно отвести это наблюдение под тем предлогом, что к этим фактам примешиваются привычки, приобретенные во время обучения чтению, и что здесь следовательно трудно отличить, что принадлежит письменному языку и что языку устному. Действительно, навыки руки, пишущей буквы, и навыки глаза, их воспринимающего, могут вмешаться в этот процесс и затемнить соотношение фактов.

Более прочные выводы можно извлечь из системы стихосложения. Во многих языках метрика основана на числе слогов, и это имеет место также и в языках, не знавших письма, в которых поэзия жила только устной традицией. Так, в Индии и в древней Греции при зарождении литературы составлялись длинные поэмы, в которых число слогов каждого стиха строго соблюдалось, по крайней мере если судить по прямым наследникам ведийских риши или зачинателям лесбийской лирики[2].

Начальные ступени развития письма подтверждают это свидетельство. В звуковом письме вначале обозначаемой единицей языка был слог. Деление речи на слоги предшествовало и даже задержало на более или менее длительный период деление на буквы (см. главу «История письма»). Для того чтобы выделить элементы слога, нужен был длительный тонкий анализ. Первые алфавиты предшествуют этому анализу: они силлабические.

Деление на слоги предшествовало даже делению на слова. В наиболее древних текстах во многих языках слова не отделены друг от друга. Конец слова по правилам силлабического письма соединяется с началом следующего слова. Это имеет место например в древних памятниках Индии. Еще в кипрском силлабическом письме греческие слова των αιλων, τον ἀργυρον обозначены так: to na i lo ne, to na ra ku ro ne.

---

[1] *Rousselot*, Principes de phonétique expérimentale, t. II, p. 969.
[2] *L. Havet*, Métrique grecque et latine, p. 166.

Деление на слоги навязывается каждому, кто хочет впервые обозначить на письме фразу, которую он слышит или произносит; известно, что малообразованные люди затрудняются делить речь на слова, но хорошо чувствуют отдельные слоги. Это последнее деление кажется более естественным, а деление на слова заключает в себе бóльшую долю условности, требующей обучения и практики; однакоже определить понятие слога — дело достаточно трудное[1].

Возьмем самый простой случай, когда налицо чередующийся ряд согласных и гласных. Скажем, сочетание звуков, как l'Académie des Beaux Arts, произносимое lakadémidébozar. Из данного нами выше определения гласных и согласных можно вывести принцип, на основании которого мы можем разделить эти слова на слоги. Все гласные требуют открытия рта; это открытие может быть различной степени, но все же всегда больше, чем для согласных. Некоторые согласные, а именно взрывные, произносятся даже с совсем закрытым ртом, другие же, произносимые с открытым ртом, характеризуются шумом от трения, что предполагает достаточно узкое отверстие. Группа звуков, как например взятая нами, предполагает ряд открытий и закрытий, иногда полных. Открытия соответствуют гласным, а закрытия согласным. Это все становится поразительно ясным на регистрирующем цилиндре кимографа. Следя за движением его пера, можно легко прочесть деление на слоги. Гласные обозначаются на цилиндре более или менее обширными кривыми, падение которых отмечают моменты смыкания, характеризующие согласные.

Самое трудное — это точно указать начало и конец слога. Рудэ (Roudet) учит, что деление на слоги (силлабация) имеет три стороны в зависимости от точки зрения. «Всякий раз, когда мы переходим от одного слога к другому, имеется, — говорит он, — резкое изменение, охватывающее одновременно силу экспирации, артикуляционное движение и слуховое восприятие»[2]. Это тройное деление позволяет в ряде случаев точнее определить границу слога; но часто это деление произвольно. Было бы таким же ребячеством пытаться отыскать его, как определить точно, где начинается долина, находящаяся между двумя горами.

Определение фонетического слова заключает в себе не меньше произвольности; часто бывают слоги и даже группы слогов, о которых мы не знаем, должны ли мы считать их отдельными словами или присоединить их как части к другим словам. В разных языках это деление будет в большей или меньшей степени четким.

---

[1] Эти строки были уже написаны, когда вышел в свет «Cours de linguistique générale», 1916. *Ф. де Соссюра*, где на стр. 64 и особенно на стр. 89 изложена очень оригинальная теория слога.

[2] *Roudet*, Eléments de phonétique générale, p. 182.

В ударении мы дожны были бы иметь средство для разрешения этой задачи. Мы же видели, что выход воздуха из дыхательного горла не происходит всегда одинаково. Трата воздуха не происходит беспрерывно, так как мускулы, управляющие воздушным потоком, то ускоряют, то замедляют его движения. Следовательно в зависимости от языка и от говорящего происходят ускорения, толчки, уменьшения скорости и остановки. Другими словами, речь заключает в себе ритмический принцип с усилениями и с ослаблениями. Так же, как мы разбиваем музыкальную фразу на такты, отвлекаясь от мелодии, так же можно найти в любой фразе, отвлекаясь от ее смысла, некоторое число делений, менее правильных, без сомнения, и более разнообразных по величине, чем в музыке, но в одинаковой мере определяемых периодической сменой сильных и слабых единиц. В языке есть вершины и долины.

Эти вершины имеют очень часто психологическое значение. Можно сказать, что мускульные движения, производящие усиление и высоту, определяются психологическими причинами. Ударение как бы вкладывает душу внутрь фонетического остова. По образному выражению древних грамматиков, ударение—«душа» слова; ударение—как музыкальное, так и экспираторное—придает слову его характер и индивидуальность. Однакоже ударения не достаточно для того, чтобы определить слово[1].

Прежде всего оно очень несовершенно отмечает границы слова. Правда, в некоторых языках место ударения определяется концом слова; в других ударение падает на последний или предпоследний слог и наконец в некоторых—на первый слог. Но эти случаи не исчерпывают всех возможностей; есть языки, в которых ударение свободное, не дающее никаких указаний относительно конца слова. Кроме того случается, что группа из нескольких слов имеет только одно ударение или, наоборот, есть два ударения на одном и том же слове. В праиндоевропейском языке, как это видно из греческого языка и из санскрита, были так называемые энклитики—маленькие словечки, не имеющие самостоятельности и примыкающие к предшествующему слову. В наших современных языках с экспираторным ударением некоторые группы слов произносятся в один прием с усилением выдыхания только на одном каком-либо слоге группы.

С другой стороны, мы знаем в санскрите слова с двумя ударениями, и в языках с экспираторным ударением часто развивается второстепенное ударение наряду с главным.

Нельзя установить окончательного постоянного соотношения между ударением и словом. Есть языки с музыкальным ударением, в которых некоторые важные разряды слов лишены ударения, как например санскритский глагол во многих своих

---

[1] Об ударении во французском языке см. тонкие замечания *Grammont*, Traité pratique de prononciation française, p. 121.

положениях: каково бы ни было значение глагола в санскритской фразе, в главном предложении он обыкновенно не имеет ударения. Следовательно, не нужно смешивать независимость, выразительность и ударяемость слова. В таких русских примерах, как *из-лесу, на-землю, по-саду*, имя существительное служит энклитикой к предлогу[1]. С другой стороны, заметим, что ударение вовсе не обязательно падает на самый важный слог слова: во французском языке например ударение падает на последний слог, т. е. чаще всего на словообразовательные элементы, суффиксы, а корень остается без ударения[2].

Все это обязывает нас определять фонетическое слово независимо от ударения.

Во многих языках конечный отрезок слова, пользуясь фонетическим термином, претерпевает особую трактовку, которой не знает ни отрезок начальный, ни отрезки внутренние[3]. Это — лучшее доказательство существования отдельного фонетического слова. Как это показал Готьо, вне зависимости от морфологической значимости слова, его размеров или его ударения конечный отрезок его всегда н е у с т о й ч и в. Этот общий принцип неустойчивости конца слова выражается в различных языках различно: неустойчивость бывает большей или меньшей. Но в самих вариациях, отражающих принцип, можно найти подтверждение самого принципа, так как неустойчивость тем больше, чем само слово более независимо и более автономно. Таким образом специальное произношение конечных слогов есть функция существования слова и дает возможность определить его границы.

***

Признав существование фонетического слова, можно изучить изменения, происходящие от взаимодействия составляющих его частей.

Последний из рассмотренных фактов (а именно неустойчивость конца слова) есть один из фактов общего значения, вытекающих из самого существования фонетического слова; он может служить примером комбинаторных изменений. Конечный звук изменяется в индоевропейских языках постольку, поскольку он конечный, т. е. в зависимости от места, которое он занимает, и вне всякой другой зависимости. Если в некоторых из этих языков не выдерживается полностью общий принцип ослабления конечных звуков, если даже в них встречаются исключения, позволяющие тому или другому конечному звуку остаться нетронутым, это происходит потому, что, с одной стороны, не все

---

[1] *Boyer et Spéransky*, Manuel de langue russe, p. 31, № 2, p. 91, n. 2; ср. *Vondrak*. Vergl. slavische Grammatik I, S. 243.
[2] *Jespersen*, Growth and Structure of the English Language, p. 26.
[3] *Gauthiot*, La fin de mot en indo-européen, p. 34—35.

языки проводят с достаточной четкостью выделение конца слова, с другой стороны, некоторые специальные процессы противодействуют общему закону неустойчивости конца слова. Так например конечное «m» уже очень рано перестало произноситься в латинском языке, но латинское слово «rem» сохранило свою конечную носовую, след которой еще виден во французском «rien». Дело в том, что здесь мы имеем дело с коротким словом, односложным, а короткие слова часто не подвергаются изменениям, обычным в длинных словах. И, наоборот, слова длинные представляют порой специальные изменения, связанные с тем, что слова эти длинны[1]. Такой именно случай представляют собой слова, особенно часто употребляемые; они вследствие своей частой употребляемости понимаются, еще не будучи досказаны, так что говорящий может не заботиться о полной их артикуляции и обычно произносит их в сокращенной форме; их фонетическая изношенность особенно ясно видна. Это обычно или вспомогательные орудия языка или же готовые формулы, в которых не нужна обычная четкость артикуляции, вынуждаемая необходимостью взаимопонимания. Во всех языках есть частицы, предлоги или союзы, происшедшие часто из старых самостоятельных слов, превратившихся в грамматические орудия (стр. 160). Таковы например в новогреческом языке частицы «θὰ» и «ἄς», обозначающие: первая—будущее время, а вторая—сослагательное наклонение[2]: *χάνω (теряю), θὰ χάνω (потеряю), ἀγαπῶ (люблю), θἀγαπῶ (буду любить*); *εἶμαι (я есмь*), *ἄς εἶμαι (чтобы я был*), *γράφω (пишу), ἄς γράφῃ (чтобы он написал);* первая восходит к θὲ νὰ, появляющемуся уже в XIII столетии, и есть не что иное, как стяжение θέλω ἵνα *(я хочу, чтобы);* второе есть стяжение ἄφες—повелительное наклонение в древнегреческом языке со значением *пусти* (ср. английское let us go—*пойдем*, let him write—*пусть он пишет*). В обоих случаях сокращение во многом переходит за границы обычных фонетических законов языка и объясняется грамматическим характером слов, в которых оно происходит.

Часто говорят по-французски: wimsyœ, wimmzel вместо oui, monsieur, oui, mademoiselle; *ваша милость* по-испански usted вместо vestra merced; по-немецки gmoen, moen вместо guten Morgen, phyátigot—behüte dich Gott; это неправильности. Была сделана попытка объяснить их посредством теории «динамики речи» (Sprechtempo): wimsyœ, gmoen—это якобы формы быстрой речи (формы аллегро), а oui, monsieur, guten Morgen—формы медленной речи (формы ленто). Но это истолкование неудовлетворительно. Правда, что быстрота речи может быть различной в различных языках. Французы и англичане говорят скорее, чем немцы, и северные немцы скорее, чем южные нем-

[1] *Meillet*, «Mémoires de la Société de linguistique», t. XIII, p. 26.

[2] *Pernot*, Grammaire du grec moderne, p. 125, § 236, rem. 1; Psichari, «Memoires de la Société de linguistique», t. V, p. 349.

цы. Но неверно, что внутри одного и того же языка то же самое слово существует одновременно в двух формах и что будто бы можно безразлично употребить одно или другое в зависимости от темпа речи. В действительности есть одно слово Morgen или monsieur, присутствующее в мысли, и слово moen или msyœ, произносимое органами речи. И это последнее представляет собой применение фонетической тенденции, доведенной до крайности; оно показывает, до чего бы могло дойти действие фонетической тенденции, если бы ничего не препятствовало ей; это подлинно «предельная форма слова»[1].

Из сказанного следует, что не все элементы внутри фонетического слова имеют одинаковое значение; есть слабые и есть сильные элементы; есть элементы преобладающие и подчиненные; есть элементы, сопротивляющиеся разрушительному действию фонетических процессов, и элементы, которые легко им поддаются[2].

Преобладание и устойчивость—это две основные черты, границы и причины которых в фонетической системе языка должен прежде всего определить историк языка. Фонетический строй каждого языка действительно представляет специфические преобладания и противодействия. Различия в фонетическом развитии разных языков объясняются борьбой фонем между собой в стремлении к равновесию. Но кроме фонетических процессов, специфичных для каждого данного языка, есть процессы общие, обнаруживающиеся во всех языках и являющиеся выражением естественных тенденций, одновременно физиологических и психологических. Таким образом явления, изученные в предыдущей главе, вытекают всегда из специального нарушения системы языка, в котором они происходят, если они даже происходят независимо друг от друга в разных языках; те же, о которых идет речь теперь, обусловлены общими процессами, принципы которых довлеют над частными специфическими условиями каждого из языков.

Есть различие между имплозивным и эксплозивным элементами взрывных; первый менее чувствуется ухом и поэтому менее устойчив, чем второй. Это различие подвергает имплозию различным воздействиям. Такое сочетание, как akta, заключает в себе имплозивное «k», менее устойчивое, чем эксплозивное «t», которое за ним следует (стр. 35). Две противоположные тенденции могут здесь действовать, и в результате их произойдет изменение группы. Или говорящий по небрежности не произведет артикуляции «k» и поместит сейчас же после имплозии кончик языка в положение для «t». Тогда получится atta с долгим «t». Этот процесс засвидетельствован в итальянском языке, где латинские слова actus *(сделанный)*, strictus *(туго стянутый)* пре-

[1] *Vendryes*, Réflexions sur les lois phonétiques, «Mélanges, linguistiques offerts à Meillet», p. 122.

[2] *Juret*, Dominance et résistance dans la phonétique latine, P. 1913.

вратились в atto, stretto; или же в своем желании поддержать артикуляцию «k» говорящий за имплозивным «k» произведет легкий взрыв в той же точке артикуляции, прежде чем перейти к взрыву «t»; это последнее произношение можно наблюдать по-французски у того, кто стремится к хорошему произношению; можно его обозначить: faqueteur вместо facteur. Взрыв «k», как бы он ни был краток, неизбежно превращается в зародыш гласной, иррациональной и едва слышной, обычно обозначаемой через немое «е». В первом случае налицо а к к о м о д а ц и я[1], во втором же—э п е н т е з а.

Возможен и третий путь. В первом случае обе фонемы сближают свои элементы до того, что они увеличивают взаимное сходство иногда до полной тожественности; во втором случае они отгораживаются друг от друга путем вставки новой фонемы, служащей им как бы буфером; в третьем же случае они подчеркивают свои различия, преувеличивая их и устраняя все черты сходства между собою; это путь д и ф е р е н ц и а ц и и[2], противопоставляемой аккомодации. Сохраняя тот же пример («kt»), можно указать, что в некоторых языках, как иранский и кельтский, первый взрывный группы «kt» превращается в спирант, и в р е з у л ь т а т е м ы п о л у ч а е м «cht».

Природа изменения, т. е. выбор между аккомодацией, эпентезой и диференциацией, зависит от общих условий фонетической системы языка. Все эти три процесса очень часто участвуют в устранении трудно произносимых сочетаний.

Причины, по которым языки устраняют фонемы или группы фонем, в большинстве случаев бывают органические. Трудность произношения, как и его легкость—понятия относительные, которые говорящий без сомнения ясно ощущает, но которые меняются от языка к языку. Их нельзя определить, не зная основательно структуры языка. В основе их лежат артикуляционные навыки. Таким образом сочетание, которое один народ сочтет трудным для произношения, его соседи произнесут без малейшего затруднения.

Но все же есть некоторые сочетания, которые благодаря естественному расположению органов речи представляют трудности для всех. Их можно назвать нестойкими сочетаниями. Всякий раз, когда эти группы случайно образуются, язык старается от них отделаться. Но способ их устранения бывает различный.

Так например сочетание «tn» относится к неустойчивым. Место артикуляции «t» то же, что и для «n»; поэтому в сочетании таком, как atna, языку не надо менять место в промежутке между двумя «а»; одно движение нёбной занавески и дрожание голосовых связок отличают артикуляцию «n» от артикуляции «t». Это очень тонкий-процесс, требующий точности. Он иногда

---

[1] *Vendryes*, «Mémoires de la Société de linguistique», t. XVI, p, 53, 1909.

[2] *Meillet*, «Mémoires de la Société de linguistique», t. XII, p. 14 и дальше, 1901.

выполняется, когда мы имеем книжное слово, как например Etna. Необходимо отметить, что имена собственные обыкновенно противостоят лучше, чем нарицательные, комбинаторным фонетическим изменениям. Но в словах ходового языка неустойчивое сочетание «tn» обычно упрощается. Иногда происходит аккомодация; нёбная занавеска опускается с самого начала, а голосовые связки вибрируют без перерыва между двумя «а». В результате получается сочетание anna (так в латинском annus, ср. с готским aþns, оба из более древнего atnos). Или же произойдет диференциация, которая может коснуться или взрывного или носового. Для того чтобы не находиться в состоянии неустойчивого равновесия, язык преувеличивает различие двух фонем, и мы получим или akna, как в умбрском, где латинскому слову annus соответствует akno, или atra, как в некоторых кельтских языках и в частности в бретонском, где traon *(долина)* происходит из более древнего tnaou. Наконец есть третий процесс, это—эпентеза. Так как трудность произношения создается стечением «t» и «n», то между ними вставляется гласный, устраняя этим трудность: таково валлийское tyno, произносимое teno с иррациональным «е», соответствующее бретонскому traon.

***

Во всех этих случаях шла речь о фонемах, находящихся в непосредственном соприкосновении; но те же самые процессы равновесия и взаимодействия происходят и в фонемах, отделенных друг от друга другими фонемами, даже в фонемах, принадлежащих двум различным слогам и находящихся друг от друга на некотором расстоянии в фонетическом слове. Эти процессы мы называем а с с и м и л я ц и е й, м е т а т е з о й и д и с с и м и л я ц и е й[1].

Говорят об а с с и м и л я ц и и, когда из двух фонем, отделенных друг от друга, одна заимствует от другой один или несколько элементов так, что она может стать ей тожественной. Чаще всего ассимилируемая фонема предшествует ассимилирующей, т. е. здесь налицо факт предвосхищения: говорящий, желая осуществить фонему внутри фонетической группы, произносит ее раньше, чем нужно, и таким образом дважды воспроизводит требуемую этой фонемой артикуляцию. Обычно ассимилируемая фонема достаточно близка к другой, чтобы объяснить ошибку. Таким образом вместо pequo *(пеку)* предки римлян говорили quequo, откуда coquo исторических текстов. Но ассимиляция может итти и обратным путем; так например во французской народной речи говорят juchque вместо jusque; здесь впро-

[1] Особенно см. *Grammont*, La dissimilation consonantique и его же многочисленные статьи о метатезе в различных языках, в частности в «Mémoires de la Société de linguistique», t. XIII, p. 73 и т. д.; также у *Pernot*, Etudes de linguistique néo-hellénique, I, p. 540.

чем ассимиляция заключается в замене свистящей посредством шипящей, не изменяя ее глухости.

Метатеза имеет ту же исходную точку, что и ассимиляция. Метатеза—это ошибка от недостатка внимания. Но результат метатезы другой. Вместо того чтобы повторять два раза то же самое артикуляционное движение, говорящий ограничивается тем, что он их перемещает; в конце концов метатеза сводится к перестановке элементов в двух отрезках одного слова. Так, вместо festra *(окно)* по-португальски говорят fresta; вместо debri *(есть)* некоторые бретонские диалекты говорят drebi. Древнегреческое слово κάτοπτρον *(зеркало)* превратилось в κάτροπτον.

Наконец диссимиляция—процесс, обратный по отношению к ассимиляции, состоит в том, что артикуляционное движение производится один раз вместо ожидаемых двух раз[1]. Так из латинского слова arborem произошли испанское слово arbol и провансальское albre. В обоих случаях, вместо того чтобы два раза воспроизвести артикуляцию «r», ограничиваются одной артикуляцией этого звука, вторую же артикуляцию замещают артикуляцией звука «l». Часто впрочем бывает, что диссимиляция сводится к полному исчезновению фонемы. Так в древнегреческом δρύφακτος *(деревянный барьер)*—из δρύφρακτος.

Порядок, в котором происходят три вышеуказанных процесса, обусловлен специальными причинами; их в каждом отдельном случае языковед должен уточнить; экспираторное ударение—одна из причин, управляющих механизмом метатезы и диссимиляции. Но кроме того надо также учитывать природу фонем и их соотносительное место внутри слова.

В результате комбинаторных изменений новых фонем не возникает. Так, диссимиляция никогда не создает фонем, не известных языку, в котором она происходит. «Когда нормальное действие диссимиляции должно закончиться созданием новой фонемы, происходит из двух вещей одна: или эта необычная фонема сейчас же замещается наиболее похожей на нее из имеющихся в языке или же, если замена слишком трудна и то, что есть в языке похожего, все же слишком далеко, фонема или группа фонем остаются без изменения» (Граммон).

В этом случае диссимиляции не происходит, а если и происходит, то в обратном направлении. Бессознательное чувство, что придется произнести что-то непроизносимое, удерживает говорящего от диссимиляции, переворачивает соотношение сил в слове и придает фонеме, которая должна была диссимилироваться, избыток силы, восстанавливающий равновесие в ее пользу. Такая диссимиляция называется обратной.

Диссимиляция не осуществляется также по психологической причине, если этимология слова очевидна говорящему. Если

---

[1] Кроме основной книги *Grammont* см. *Brugmann*, Das Wesen der lautlichen Dissimilation, Leipzig 1909.

у говорящего есть этимологическое ощущение только части слова, в котором должна произойти диссимиляция, обычно происходит обратная диссимиляция; если для него этимологически ясны все части слова, то вообще не происходит диссимиляции. Иногда оказывается сильнее суффикс, а иногда корень. Так, французское слово pruneraie после диссимиляции должно было иметь форму pluneraie, но корень prune, будучи сильнее суффикса aie, дал форму prunelaie *(сливовый сад)*. Правда, диссимиляция могла быть поддержана также и наличием слова prunelle *(терновая ягода)*.

В таких случаях, как испанское sombrero *(шляпа)* или греческое ἀνδροβόρος *(пожиратель людей)*, не произошло диссимиляции, потому что слоговые элементы, к которым принадлежат оба «r», одинаково значимы для говорящего. Граммон смог свести все процессы диссимиляции к одному единственному закону: более сильная фонема вызывает диссимиляцию у более слабой. Если же фонемы равны по силе, то они обе остаются неизмененными.

Таким образом мы вновь приведены к борьбе преобладания и устойчивости. Но эта борьба касается не только органов речи. Конечно в фонетической системе каждого языка есть элементы более сильные, чем другие (см. предыдущую главу). Но в данном случае относительная сила наличных элементов находится в мозгу. Комбинаторные изменения проистекают от недостатка координации между мыслью и органами речи. Они—результат недостатка внимания. Либо внимание перенапрягается, концентрируется с избытком на одном пункте за счет других или неровно распределяется среди различных элементов слова. Либо оно отвлекается, представляя органы речи их природной инертности.

Чтобы оценить точно значение этих изменений, нужно очень детальное знание общей фонетики, а также специальной фонетики данного языка. Но кроме того нужно уметь свести изменение к психическому процессу, так как в последнем счете все лежит в психологии говорящего.

***

Этот вывод приводит нас к необходимости сказать несколько слов о соотношениях между словом и мыслью. Хотя этот вопрос скорее психологический, но все же языковед не может его оставить в стороне[1].

Когда мы слышим речь на языке, которого мы совсем не понимаем, наше ухо воспринимает более или менее долгие группы

[1] См. в особенности *B. Erdmann*, Die psychologischen Grundlagen der Beziehungen zwischen Sprechen und Denken («Archiv für system. Philosophie», Bd. VI, 1896, S. 355—416); *Mauthner*, Beiträge zu einer Kritik der Sprache, Bd. I, S. 164; у *Van Ginneken*, Principes de linguistique psychologique (обильная библиография вопроса).

звуков, прерываемые паузами. Если мы понимаем язык, на котором к нам обращаются, эти группы звуков, воспринятые ухом, вызывают в нашем уме группы связанных друг с другом представлений, из которых каждое составляет, говоря грамматически, фразу. Звуки и фразы—таковы две реальности, обнаруживаемые самым общим анализом языка, основанным на различии впечатления от языка, нам неизвестного, и от языка, нам понятного.

Конечно совершенно верно, что мы не выражаем звуками всех наших представлений. Размышление например не предполагает работы органов, производящих звуки; но размышление есть внутренняя речь, в которой фразы сцепляются, как и в речи произносимой[1]. И каждая фраза размышления заключает в себе (в потенции) все артикуляции произносимой речи. Мысль продвигается, опираясь на звуки, даже если звуки и не произнесены.

Иногда при размышлении у нас вырываются бессознательно слова, соответствующие нашим мыслям. Можно подумать, что мысль, оказывая слишком сильное давление на органы речи, невольно приводит в движение их механизм, как неловкий, неосторожный человек, который, пробуя аппарат, не только мысленно представляет себе движения, но пускает машину в ход.

Дело психологов решить, в какой мере возможность фонетического осуществления необходима для внутренней речи. Эта необходимость основана, без сомнения, на привычке и не требуется самой природой. Но можно с уверенностью утверждать, что размышление глухонемого отлично от размышления нормального человека, владеющего речью. Форма, которой мы пользуемся, закрепощает нашу мысль в такой степени, что последняя не имеет более самостоятельного существования, не может более отделиться от звуков, ее материализирующих, или же от возможностей звуков, если материализация не осуществилась на самом деле. Те случаи, когда органы речи работают впустую, без работы мысли, не опровергают вышеприведенного положения Пытаясь произвести ряд разнообразных звуков, лишенных смысла, мы никогда не воспроизведем их в таком разнообразии, как тогда, когда мы членораздельно выражаем какую-либо мысль. Чаще всего в таких случаях мы ограничиваемся воспроизведением сочетаний звуков, существующих в языке, т. е. таких, к которым органы речи уже приспособились и которые часто употребляются в сочетании со значениями.

Можно назвать с л о в е с н ы м о б р а з о м психологическую единицу, предшествующую слову. Это одновременно представление, выработанное мыслью с целью выразить его в языке, и совокупность фонетических возможностей, совершенно готовых реализоваться. Словесный образ есть двуликий образ, кото-

[1] *V. Egger*, La parole intérieure, Paris 1881.

рый, с одной стороны, глядит в глубины мысли, а с другой стороны, отражается в звукопроизводящем механизме. Рассматриваемый со стороны своей материальной реализации, он выражается звуками, но по своему психологическому происхождению он есть продукт работы ума. В нем объединяются оба элемента действенного характера языка, установленного нами выше. В нем объединяются области исследования языковеда и психолога.

Психологи[1] рассматривают словесный образ как сложный продукт, являющийся результатом наложения или ассоциации четырех образов: произносительного, слухового, зрительного и ручно-моторного; это различие четырех образов очень древнее. Оно установлено уже Давидом Гартлеем (David Hartley) в его «Наблюдениях над человеком» («Observations on man») в 1740 г. Известно, какое широкое место заняло это деление в работах школы Шарко. Этот последний учит, что всякое слово состоит из объединения четырех образов, группирующихся по два: образы сенсорные (слуховой и зрительный) и двигательные (произносительный и ручно-моторный). Их можно распределить также перекрестно на образы фонетические (слуховой и произносительный) и графические (зрительный и ручной). К этому определению можно присоединиться с той только оговоркой, что оно должно относиться не к слову, а именно к словесному образу (см. стр. 74). Однакоже анализ словесного образа имеет для языковеда ничтожное значение. Условия, в которых протекает мозговая деятельность,—основной предмет психолога, лежащий за пределами компетенции языковеда.

Мы здесь можем рассматривать словесный образ как целое, процесс образования которого нам неизвестен. По крайней мере два элемента, которые в нем находят психологи, а именно зрительный и моторный образы, не имеют для нас здесь значения, так как они относятся к письменному языку. Для человека, который не умеет ни читать, ни писать, имеют реальное значение только образы произносительный и слуховой; но уже в самом начале первой главы (см. стр. 30) мы изложили причины их сведения к одному.

С другой стороны, нам не нужно считаться с различиями, связанными с генезисом словесных образов. Мы в нашем исследовании берем их готовыми в мозгу взрослого, говорящего на своем родном языке. Мы берем язык взрослого в его обычной форме, усвоенной в процессе обучения с раннего детства.

Каждому ребенку приходится создавать полностью свой язык; следовательно словесные образы, которые суть не что иное, как опыт, превратившийся в мозгу говорящего в языковые возможности, должны быть мало-помалу приобретены и развиты

---

[1] *Dagnan-Bouveret*, «Revue de métaphysique et de morale», t. XVI, p. 466 и дальше.

ребенком. Мы не можем иметь правильного представления о фазах этого развития, основываясь на том, как мы усваиваем во взрослом возрасте чужой язык, ибо усвоение чужого языка всегда идет, опираясь на язык родной. Мы продвигаемся вперед путем замены родного языка чужим, стараясь установить между ними соответствия, вызывая в памяти рядом со словами и фразами родного языка слова и фразы языка изучаемого. Это обучение часто бывает книжным; оно применяется к письменному языку и имеет основой известное грамматическое построение, более или менее искусственное. В мозгу ребенка совершается работа совершенно другого порядка. Он получает от окружающих свои готовые фразы, соответствующие выражению некоторых приказаний, нужд или фактов: *уйдешь ли ты, я голоден, хорошая погода* и т. п.

Все это накапливается в мозгу и образует такое же количество словесных образов, которые, множась, уточняются путем подстановок, к которым ум ребенка приспособляется очень быстро. Эти образы приобретают способность представлять бесконечное разнообразие вещей, идей и чувств и окрашиваться всеми оттенками мысли. Когда обучение кончено, ребенок владеет целой системой словесных образов, возникающих спонтанно в мозгу в качестве цельных единств, готовых реализоваться в языке, как только нужно отдать приказание, выразить нужду или изложить факт. Интеллектуальное усилие, порождающее словесный образ, в скором времени становится таким простым, таким обычным, что перестает осознаваться; производство словесного образа следует непосредственно за ощущением потребности или за импульсом воли, а за словесным образом следует непосредственно его реализация в языке.

При обучении языку ребенок предается сложным упражнениям. Он приучает свои органы воспроизводить звуки, которые он слышит. Но он никогда не слышит отдельных звуков, звуки до него доходят всегда в виде целого сочетания, обладающего смыслом; таким образом он одновременно учится приспосабливать свои органы речи к различным положениям, соответствующим различным фонемам, и связывать известный смысл с группами фонем, им произносимыми. Не все звуки имеют одинаковое значение; одни—важнее других, как это доказал анализ фонетических изменений. Но и элементы интеллектуальные, образующие содержание, формой которого являются фонемы, также могут иметь бóльшую или меньшую значительность: есть среди них такие, которые возникают и приковывают внимание с большей ясностью, чем другие. Отсюда следует, что с точки зрения своих составных элементов словесные образы образуются мало-помалу, путем последовательного ретуширования первого изображения, неизбежно неполного. На этом первом изображении появляются только некоторые характерные черты, соответствующие наиболее важным пунктам как фонетическим, так

и интеллектуальным. И только мало-помалу появляются на этом изображении второстепенные черты вплоть до мельчайших подробностей.

Каков бы ни был период обучения языку до окончательного образования словесного образа, каков бы ни был момент развития, взятый для его исследования, то, что характеризует словесный образ в глазах языковеда, это—его единство. Все конституирующие его элементы сливаются в едином акте, который и есть основной языковый акт; за пределы его у языковеда нет возможности выйти. Когда ребенок говорит pas poupe (*не...шуп*), желая сказать, что ему не нравится его суп или что он его не хочет есть, словесный образ, присутствующий в уме ребенка и определяющий выражение его фразы, есть нечто целое, очень хорошо согласованное, хотя и зачаточное. Позже, взрослым, он скажет в зависимости от случая: *я не ем супа* или *я бы не хотел есть супа* или же *я бы предпочел, чтобы вы мне не давали супа.*

Словесный образ, лежащий в основе каждой из этих фраз, богаче и имеет больше оттенков, чем фраза ребенка. Но и в первом и во втором налицо то же единство.

Можно определить ф р а з у как форму, в которой словесный образ выражается и воспринимается посредством звуков. Как и словесный образ, фраза есть основной элемент языка. Фразами обмениваются два собеседника. Посредством фраз мы усвоили наш язык, фразами мы говорим, фразами мы думаем. Словесный образ может быть крайне сложным; фраза с необычайной гибкостью приспособляется к разнообразнейшим выражениям. Некоторые фразы состоят из одного слова: *Иди! Нет! Увы! Ш ш!*. Каждое из этих слов составляет полный смысл, себе довлеющий. Но фраза имеет как раз тот же размер, что и словесный образ; она даже не ограничена фонетическими возможностями, так как одного выдоха не всегда достаточно для выражения всей фразы целиком, и бывает, что одна и та же фраза заключает две или больше дыхательных групп. Работа мысли управляет работой органов речи и не позволяет себя остановить из-за их недостаточности, так же как исполнение флейтиста или кларнетиста не стеснено необходимостью перевести дыхание. Фраза заключает все степени—от элементарной артикуляции ребенка, выражающего свои потребности, и до широкого периода, гармонично льющегося, в котором заключена мысль какого-либо Демосфена, Цицерона или Боссюэта.

Фраза, как мы ее определили, покрывает собой словесный образ: предел обоих только в комбинаторной способности ума. Следовательно нужно расширить понятие словесного образа в большей мере, чем это обычно делается, и не ограничивать его границами слова. Есть только одно различие между словесным образом и фразой: фраза принадлежит к конкретной действительности и подвержена всем случайностям, которыми чревата ее реализация. Горшечник, ставящий в обжига-

тельную печь фарфоровую чашку, никогда не уверен в результате обжига; он всегда опасается или слишком горячего огня, который сожжет глину, или слишком слабого, который не выделит краску. Так и словесный образ, подготовленный в нервных центрах, не переходит в органы речи без риска случайностей.

Пример лучше всего разъяснит только что сказанное. Допустим, сосед нечаянно уколол меня; я вскрикнул: *Ой, ты меня уколол!* Последовательность процессов легко восстановить. Возникло ощущение укола, переданное в нервные центры, затем сейчас же возник словесный образ, реализовавшийся в языке непосредственно в виде вышеприведенной фразы. Смена была настолько быстрой, что крик последовал тотчас же за уколом. Мы назовем словесным образом форму, приданную мыслью на основании приобретенных навыков моему крику. Словесный образ был бы другим в языке, который не имел бы, допустим, действительного залога; действие в нем было бы выражено в страдательной форме: *я уколот тобой* (см. стр. 104). Различие в словесных образах есть часто единственное различие, существующее между языками. Так, немец говорит: Ich bin es *(я есмь это)*, француз говорит: C'est moi *(это есть я)*. Словесный образ комбинируется по-разному. Фраза Ah, tu m'as piqué! *(Ой, ты меня уколол)* соответствует словесному образу нормального французского языка. Допустим теперь, что я обмолвился и сказал: Ah, tu m'as quipé![1]. Словесный образ однако не изменился. Если же он осуществился не вполне, так это вследствие случайности выполнения. Произнесенная фраза не совпадает со словесным образом; при переходе от первого ко второй совершилась ошибка.

Без пояснений ясно, что бывают случаи, когда ошибка лежит уже в самом словесном образе. Хотя я превосходно знаю своего друга Дюрана, я его случайно называю Лебреном; это имя другого моего друга. Это уже не материальная ошибка, которую можно отнести за счет органов речи. Простолюдин в таких случаях скажет: *Я не знаю, почему у меня в голове тогда засел Лебрен.* И действительно, это в словесный образ прокралось по ошибке одно имя вместо другого. Различие ясно.

Итак, и словесный образ и фраза состоят из одних и тех же элементов. Эти элементы то, что в обычных грамматиках называется словами. В этой главе мы анализировали фонетическое слово, но фонетическое слово может состоять из нескольких слов, если употреблять этот термин в понимании обычных грамматик; фонетическое слово имеет иногда более, иногда менее четкие контуры в зависимости от языка. Чтобы дать слову более полное определение, нужно проанализировать его грамматические элементы. Это задача следующей главы.

---

[1] *Meringer u. Mayer,* Versprechen und Verlesen, 1895.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГРАММАТИКА

ГЛАВА I

СЛОВА И МОРФЕМЫ[1]

Всякая фраза заключает в себе два вида отличных друг от друга элементов: с одной стороны, выражение некоторого числа понятий, представляющих идеи, с другой стороны, указание на отношения между этими идеями. Когда я говорю: *лошадь бежит*, у меня в уме идея лошади и идея бега, и я соединяю эти две идеи в утверждении *лошадь бежит.* Во фразе *дом Петра велик* идеи дома, Петра и большого размера, наличные в моем уме, также сочетаются в утверждении, составляющем фразу.

Следует помнить, что мы воспринимаем факты такими, какими нам их дает язык, т. е. мы рассматриваем словесные образы в той форме, какую они принимают в языке. Такой именно смысл следует придавать высказанному выше положению, что «мы думаем фразами». Мы предполагаем совершившимся в мозгу в силу навыков, даже не осознаваемых говорящим, умственный акт, соединяющий название с предметом (в данном случае с лошадью), приводящий этот предмет в связь с действием и заключающий это действие в определенные временные границы, акт, определяющий высказывание: «лошадь бежит».

Этот умственный акт, предполагаемый языком, заключает в себе две последовательные операции: во-первых, аналитическую: в данном представлении наш ум находит некоторое число элементов, между которыми он устанавливает известное соотношение (здесь *лошадь* и *бег)*, и, во-вторых, синтетическую: эти различные элементы, осознанные и проанализированные умом, соединяются им в словесный образ. Языковеда интересует только синтез, но зато он его интересует глубоко, так как от различных способов синтеза зависят различия в структуре языков[2].

Допустим, что несколько человек получают одинаковое зри-

---

[1] *Jespersen,* The Philosophy of grammar, L. 1924.
[2] *Finck,* Die Haupttypen des Sprachbaues, S. 4.

тельное восприятие бегущей лошади, и допустим—что не является бесспорным,—что все они анализируют элементы этого представления одинаково и устанавливают между лошадью и бегом совершенно одинаковое отношение; выражено будет это отношение в разных языках по-разному: словесный образ будет образован разно. Следовательно отличие, установленное в начале этой главы, не чисто теоретическое, оно соответствует тому, что можно назвать морфемами и семантемами.

Под семантемами надо понимать языковые элементы, выражающие идеи, в данном случае идеи лошади и бега; под морфемами же—языковые элементы, выражающие отношения между этими идеями: в данной фразе то, что бег, ассоциированный с лошадью вообще, относится к третьему лицу единственного числа изъявительного наклонения. Морфемы выражают следовательно отношения, устанавливаемые умом между семантемами. Последние—объективные элементы представлений. Они будут изучены отдельно в части этой книги, посвященной словарю.

***

Чаще всего морфема—это фонетический элемент (звук, слог или даже несколько слогов), указывающий во фразе на грамматические отношения, связывающие идеи между собой. В древнегреческой фразе βωμὸν καλὸν ἀνέθηκεν ὁ Σιμωνίδης *(жертвенник прекрасный воздвиг Симонид)* легко обнаружить наряду со слогами, выражающими основные понятия фразы *(Симонид, воздвигнуть, жертвенник, прекрасный)*, другие слоги, единственное назначение которых показать, что признак красоты должен быть приписан жертвеннику и что Симонид (а не кто-либо другой) выполнил в прошлом действие воздвижения вышеупомянутого жертвенника. Первые слоги принадлежат семантемам, а вторые—морфемам. Возьмем еще такие группы французских слов: pour donner *(чтобы дать)*, je donne *(я даю)*, tu donnais *(ты давал)*, la donation *(дар)*, des donateurs *(дарители)*, au donateur *(дарителю)*; в них анализ без труда открывает постоянный элемент, слог don, связывающий все эти слова с идеей *давать*. Но в этих же примерах мы видим и некоторое число фонетических элементов, указывающих, имеем ли мы дело с глаголом или именем и какой категории; они же могут указывать грамматическую категорию (род, число, лицо), к которой принадлежат слова, а также и отношения, соединяющие их с другими словами фразы. Эти элементы—морфемы; некоторые из них не имеют самостоятельного существования; нужен анализ слова, чтобы их обнаружить; такие морфемы называются суффиксами или окончаниями. Другие же, как местоимения и член, во французском языке на письме пишутся как отдельные слова. Это различие в данном случае не имеет никакого значения.

Введем в вышеприведенную уже греческую фразу слово ἄν

между дополнением и глаголом: βωμὸν καλὸν ἂν ἀνέθηκεν. Смысл фразы сейчас же изменится; это ἂν—морфема, придающая фразе специальный оттенок предположения; присоединенная к аористу ἀνέθηκεν, она служит, как обычно говорят, для выражения нереальности; после введения частицы ἂν смысл фразы будет такой: «он воздвиг бы прекрасный жертвенник». Также в санскрите, если в любую фразу мы введем два слога iti, это добавление будет означать, что фраза передает речь кого-то третьего, это iti—морфема. Народный французский язык обладает морфемой с аналогичным значением. Это quidi (мужской род) и quedi (женский род). Сравните две такие фразы: tu as tort *(ты неправ)* и tu as tort, quidi *(ты, мол, неправ)*, и вы сейчас же почувствуете, что первая принадлежит к прямой речи, а вторая составляет часть рассказа, имеет повествовательный характер.

Не важны порядок, в котором вводятся морфемы в фразу или слово, место, ими занимаемое, их величина и значение, придаваемое им языком. Мы включаем в эту же категорию наращение «ἐ», суффикс «σ» и окончание «εν» греческой формы ἐποίησεν *(он сделал)*, равно как и два первых слога французского il a fait *(он сделал)*. Эти элементы, столь различные по своему происхождению, играют аналогичную роль, каждый в своем языке.

Также не существенно, изменяется ли морфема или нет: на арабском литературном языке kāna Zaydun yaqtulu означает просто *Саид убивал*. Действительно, чтобы показать длительность в прошлом, в арабском языке перед несовершенным ставится вспомогательный глагол (быть), и оба глагола изменяются параллельно:

первое	лицо	единственного	числа		kuntu aqtulu
второе	»	»	»	муж.	kunta taqtulu
»	»	»	»	жен.	kunti taqtulinā
третье	»	»	»	муж.	kāna yaqtulu
»	»	»	»	жен.	kānat taqtulu и т. д.

Обе формы всегда чувствуются говорящими как нечто единое, хотя между двумя частями этого единства можно поместить слово; и первая из них—простая морфема. Также несущественно, состоит ли морфема из одного или из двух отдельно стоящих фонетических элементов. Есть морфемы, возникшие в результате соединения в мысли двух отдельных слов и несмотря на это обладающие неразрывным единством. Во французском языке отрицание выражается двумя элементами, которые почти никогда не стоят непосредственно рядом друг с другом во фразе: je ne mange pas, но это французское отрицание представляется нам в такой же мере единым, как греческое отрицание οὐ в οὐκ ἐσθίω *(я не ем)* или ирландское nitoimlim.

Все эти морфемы, как простые, так и составные принадлежат к первой категории морфем, выражающихся посредством фонетических элементов, введенных во фразу и присоединенных к семантемам.

Вторая категория охватывает морфемы, состоящие в изменении природы или расположения фонетических элементов семантемы. Это более тонкая, но не менее важная категория морфем.

Лучший пример морфем второй категории: чередование гласных в индоевропейском или в семитских языках. Здесь уже дело не в фонетическом элементе, прибавленном к семантеме и имеющем морфологическое значение. В этом случае морфологическая роль семантемы указана посредством фонетических элементов самой же семантемы. Так, в английском языке множественное число men, feet *(люди, ноги)* противопоставляется единственному числу man и foot, причастия held и struck—инфинитивам hold и strike *(держать* и *ударять)*. Различие этих форм в качестве гласного, играющем роль морфемы, так как он сам по себе указывает на морфологическое значение слова. Так же в немецком языке форма wir gaben *(мы давали)* противопоставлена форме wir geben *(мы даем)* и gib *(дай)*. В средневаллийском множественное число brein, myr, wyn противопоставлено единственному числу bran *(ворон)*, mor *(море)* и oen *(баран)*. Чередование гласных функционировало как основной морфологический элемент в наиболее древних индоевропейских языках, как греческий и санскрит. Можно сказать, что в индоевропейском языке морфологическая роль каждого слова более или менее полно определялась качеством гласной корня. Так же обстояло дело и в прасемитском языке, как об этом можно судить по современному арабскому: himar *(осел)* во множественном ḥamir *(ослы)*[1].

Процесс настолько жив в арабском языке, что он распространяется и на слова, заимствованные в наше время из испанского и французского языков: resibo *(расписка,* французское reçu), множественное число ruāseb; bābor *(пароход,* французское vapeur—*пар*), множественное число—buāber; chanbît (французское garde champêtre—*полевой сторож)*, множественное число chuānbet. Это то, что называется «ломаное» или «внутреннее» множественное число.

Термин «внутренняя флексия» ясно указывает, что чередование гласных играет ту же роль, как и флексия, прибавленная к слову.

Действительно, в английском, как и в валлийском, множественное число имен обыкновенно выражается путем прибавления окончания: английское boot *(сапог)*, множественное boots *(сапоги)*, loss *(потеря)*, множественное losses *(потери)*; валлийский penn *(голова)*, множественное pennau *(головы)*, coed *(лес)*, множественное coedydd и т. д. В арабском языке все слова женского рода образуют множественное число прибавле-

---

[1] *Brockelmann*, Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, Bd. 1, S. 431.

нием окончания. Так же в немецком прошедшее образуется часто путем прибавления суффикса «t»: ich rede *(я говорю)*, ich redete *(я говорил)*; ich lebe *(я живу)*, ich lebte *(я жил)* и т. д. Сравнивая эти примеры с предыдущими, мы видим, что чередование гласных и флексия—это два вида морфем с одинаковой ролью в языке.

Ударение—также очень важная морфема. В некоторых языках оно определяет морфологическое значение слов. Под ударением мы здесь понимаем музыкальное ударение—повышение музыкального тона. В греческом и в санскрите (свидетельство этих языков поддерживается также некоторыми языками той же семьи, как например литовским и славянским) тон на равных правах с суффиксами и окончанием характеризует слово. Некоторые формы, сходные во всех других отношениях, различаются друг от друга только тоном: только тон придает греческим словам γράφειν *(писать)* и πένεσθαι *(трудиться)* значение настоящего, а словам ταμεῖν *(отрезать)* и γενέσθαι *(родиться)* значение аориста; только по тону различаются друг от друга τόμος *(порез)* и τομός *(режущий)*. Он же различает действительное значение от страдательного в греческих сложных словах πατροκτόνος *(убивающий своего отца)* и πατρόκτονος *(убитый своим отцом)* и т. д.

Эта роль музыкального ударения в индоевропейских языках с их богатейшей морфологией особенно примечательна, так как эти языки обладают большим разнообразием средств для выражения отношений между словами и роли слов в фразе.

Вполне понятно, что в языках Дальнего Востока, где грамматические элементы весьма малочисленны, тон играет еще более значительную роль. Эти языки очень умело использовали в морфологических целях гибкость, амплитуду и разнообразие тонов, свойственных их фонетической системе[1]. То же мы видим в некоторых африканских языках[2]. Так например в языке фуль отрицание выражается интонацией, mi warata на этом языке означает *я убью* или *я убиваю* (настоящее время привычного действия) при условии, если конечное «а» произносится в том же тоне, как и вся фраза. Эта же фраза означает *я не убью*, если это же «а» произнесено более высоким тоном. Здесь высота тона имеет значение морфемы.

Среди различных интонаций с морфологическим значением есть одна очень важная в некоторых языках, это—неуловимый тон, т. е. отсутствие тона. В санскрите например глагол имеет тон или нет в зависимости от своей грамматической роли в фразе. Но конечно в обоих случаях глагол в равной мере четко характеризуется отсутствием или присутствием тона.

Отсюда следует, что к уже указанным морфемам надо присое-

---

[1] Относительно аннамского языка см. *Grammont*, «Mémoires de la Société de linguistique», t. XVI, p. 75.

[2] *D. Westermann*, Grammatik der Ewe-Sprachen, S. 37 и дальше.

динить еще один вид морфем—более тонких, но не менее выразительных, чем другие. Это нулевые морфемы. В морфологии нулевая степень играет значительную роль. Ее значение определяется в основном противопоставлением, но это не умаляет его. В музыке пауза часто так же выразительна, как и мелодия, которую она прерывает; так же красноречивы паузы и в речи. В языке нулевая морфема ничем не отличается от других морфем. В индоевропейском праязыке были некоторые существительные, в которых именительный падеж единственного числа не имел окончания; другими словами, они имели в этом падеже нулевое окончание. Это отсутствие окончания в противопоставлении с разнообразными окончаниями других падежей было достаточным для определения в этих случаях именительного падежа. Есть даже один падеж индоевропейского склонения, который всегда имел нулевое окончание, по крайней мере в древнейшую эпоху, это—звательный падеж. И эта особенность встречается также в глагольной форме, родственной звательному падежу,— во втором лице единственного числа повелительного наклонения. В чередовании гласных языков индоевропейских и семитских нулевая морфема играет роль наравне с другими морфемами.

Наконец мы пришли к последней категории морфем, еще менее конкретной, чем предыдущие. Она заключается только в порядке семантем во фразе.

Говоря по-латыни regis domus *(царя дом)*, мы определяем отношения принадлежности, соединяющие два слова, падежной формой; падежные окончания определяют отношение этих слов друг к другу. Во французском словосочетании la maison du roi *(дом короля)* словечки la, du являются грамматическими элементами и играют ту же роль, как и окончания в латинском языке. Кроме того налицо то различие между латинским и французским языками, что в первом порядок слов значительно свободнее: можно почти безразлично сказать regis domus или domus regis, в то время как во французском языке инверсия du roi la maison допустима, пожалуй, только в поэзии.

Однако же если эта инверсия и может показаться несколько странной, то она не звучит как бессмыслица, и отношение между двумя словами остается понятным. Напротив, есть языки, где то же отношение выражается т о л ь к о порядком слов: так, в валлийском говорят ti brenhin (ti—*дом*, brenhin—*король*), ставя всегда имя владельца после того, чем он владеет; в китайском же говорят: «ван^2 дянь^4» (ван^2—*князь*, дянь^4—*дом*), т. е. владелец называется перед тем, чем он владеет. В этих двух языках отношение зависимости не выражается никакими внешними знаками; оно выражается только порядком слов, который, естественно, не может быть изменен. В языках, которые потеряли падежные окончания, отношения, выражавшиеся падежами, обыкновенно передаются либо вспомогательными словами (пред-

лог, член и т. п.), либо местом слова в фразе (стр. 138)[1]. Когда говорят по-французски Pierre frappe Paul *(Петр бьет Павла)*, единственная морфема, выраженная фонетически,—это нулевая морфема; действительно, глагольная форма frappe, не имея окончания, приобретает нулевую морфему только в сопоставлении с глагольными формами frappons *(бьем)*, frappez *(бьете)*, frappera *(побьет)*, frapperait *(бил бы)*, frappant *(бьющий)* и т. п. Здесь отсутствие окончания показывает, что это глагол настоящего времени изъявительного наклонения в третьем лице единственного числа. Но отношения подлежащего к глаголу и глагола к дополнению не имеют никакого внешнего знака; это отличает французский язык от латинского, где в фразе Petrus caedit Paulum *(Петр бьет Павла)* окончания «us» и «um» отмечают роль, которую играет каждое из существительных во фразе, показывая, какое из них дополнение и какое подлежащее. Единственное грамматическое указание во французском языке—порядок слов. Порядок слов здесь—морфема. Поэтому, в то время как в латинском языке можно без нарушения ясности смысла перемещать по желанию каждое из трех слов, во французской фразе это невозможно без изменения смысла. Сказать Paul frappe Pierre вместо Pierre frappe Paul—это сделать ту же ошибку, что ошибиться в употреблении падежей в латинском языке и сказать Paulus caedit Petrum, желая сказать Paulum caedit Petrus.

***

Мы установили три основных категории морфем; теперь посмотрим, каково отношение морфем к семантемам.

В некоторых языках оба элемента сочетаются так, что каждое слово заключает в себе в то же самое время и выражение своей семантической значимости и выражение своей морфологической роли. К этому типу принадлежали индоевропейский и семитский языки. Так, греческое слово ἔδωκε *(он дал)* заключает в себе нечто совершенно законченное и определенное; семантема в нем выражена тем, что называется корнем (в данном случае «δω») и заключает в себе понятие *давать*, остальные элементы слова нам указывают, что это понятие отнесено к прошлому и что его носитель взят в единственном числе—*он дал*. Ни один из этих элементов слова не имеет самостоятельного существования: ни корень «δω», ни суффикс «κ», ни окончание «ε», ни аугмент «ἐ» не существуют в языке вне сочетания ἔδωκε или аналогичных ему сочетаний. Это элементы, которые могут быть заменены, так как можно заменить в равной мере корень и суффикс и окончание, сказав ἔθηκε *(он положил)* или ἔδωκα *(я дал)*, или δώσω *(я дам)*, или δίδωμι *(я даю)*. И даже корень может измениться

[1] Для иранского см. *Gauthiot*, Mélanges d'indianisme offerts a Sylvain Lévi, p. 113—114.

в пределах грамматических парадигм, δίδομεν *(мы даем)* рядом с δίδωμι *(я даю)*. Что составляет единство и цельность слова, несмотря на сложность элементов,—это то, что порядок их не терпит изменений; они поддерживают друг друга, подкрепляют и дают впечатление единого представления, того самого, которое мы находим во французском il a donné, включая выражение времени и числа.

Семитское спряжение дает нам подобные же примеры. Во всех формах, образованных от одного корня, мы устанавливаем тождественность трех согласных; затем нужно только учитывать изменения гласных, аффиксы и окончания. Арабская форма qatala *(он убил)* так же едина, как и греческое ἔδωκε; она заключает в себе семантему, корень «qtl» и морфемы, противопоставляющие форму qatala всем формам, образованным от того же корня: qātala *(он хотел убить, он сражался)*, taqātala *(они сражались между собой)*, maqtul *(убитый)*, uqtūl *(убей)*, yaqtulu *(он убивает* или *он будет убивать*, длительное время), qātil *(убивающий)* и т. д. Кроме того семитское спряжение выражает также и род: qatalta *(ты убил)*, qatalti *(ты убила)*. Так же и в третьем лице: qatala *(он убил)*, qatalat *(она убила)*.

Как мы видим, индоевропейские и семитские языки сочетают два вида морфем: чередование гласных и аффиксацию, но в различных степенях. Чередование гласных играет бо̀льшую роль в семитских языках. Свойство этих языков выражать основную идею согласными и подсобные отношения идеи гласными дает нам право сказать, что флексия в них осуществляется «внутри слова» (Ренан)[1]. «Арабский корень характеризуется только согласными; что же касается гласных, то каждая согласная корня может иметь после себя a, ā, i, ī, u, ū, или нуль, в целом семь форм, и каждая из этих семи форм имеет грамматическую функцию» (Мейе)[2]. Это позволяет семитским языкам образовывать без аффиксов большое число производных слов: арабское kataba *(он написал)*, kātib *(писатель)*, kitāb *(книга, то, что написано)*.

В индоевропейском языке подобное гнездо слов не могло бы быть образовано без помощи суффиксов; стоит только сравнить с приведенными выше арабскими словами греческие слова συγγράφειν *(сочинять)*, συγγραφεύς *(сочинитель)*, σύγγραμμα *(сочинение)*. Но в индоевропейском, как и в семитских языках, чередование гласных придает корню особое значение, освобождая его от сети аффиксов и насыщая его так сказать максимумом выразительности. Корень для говорящего есть ощущаемая реальность, потому что он может заключать различные гласные; при этом каждому из них соответствует особое употребление. Реальность корня в его изменяемости, принцип чередования делает из его элементов подменяющиеся величины. Это—процесс

[1] *Renan*, Grammaire générale et système comparé des langues sémitiques.
[2] *Meillet*, Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes, p. 133.

очень тонкий. Им умел пользоваться ум семитов и индоевропейцев.

Не надо смешивать корень с основой. Во французском языке мы путем грамматического анализа можем выделить в словах aim-er *(любить)*, part-ir *(уезжать)*, recev-oir *(получать)* элементы aim-, part-, recev-. Но они только грамматические сущности, не имеющие реального существования в мысли говорящего. Наши грамматики их называют «основами». Уже в немецком языке чередование вводит в основы более ясное значение. Сопоставление geben *(дать)*, gab *(дал)* и nehmen *(взять)*, nahm *(взял)*, genommen *(взятый)* может до известной степени дать представление об одном и том же элементе, характеризуемом согласными «g-b» или «n-m», внутри которого гласные изменяются в зависимости от смысла, который надо выразить.

Из индоевропейских языков мы найдем наиболее ясно выраженный корень в греческом и особенно в санскрите.

Все индоевропейские и даже семитские языки кроме чередования гласных пользуются также и аффиксами (суффиксами и окончаниями). В индоевропейских языках очень редки случаи, когда слово характеризуется только чередованием гласных. Когда же это бывает, исследователь должен допустить, что налицо есть нулевой суффикс или нулевое окончание; таково греческое φῶρ в сравнении с φέρειν *(нести)* или φόρος *(подать)*. Следовательно, индоевропейский корень, имеющий такое большое морфологическое значение, не имеет самостоятельного существования; лишь в силу условности, опирающейся часто на произвольный анализ фактов, индийские грамматики разлагали слова своего языка, открывая в них корни; и теперь еще наши санскритские словари сводят глагольные формы к идеальному типу, который они называют корнем и из которого будто бы произошли все эти формы посредством прибавления суффиксов.

Суффиксы также не имеют самостоятельного существования; их реальность всецело лежит в чередовании гласных (как и у корня) и в значении (часто очень четком), которое ему приписывается. В греческом слове как πατήρ *(отец)*, πατρός *(отца)*, πατέρες *(отцы)* чередование гласных уточняет значение суффикса (τηρ, τερ, τρ) в различных падежах; такое слово, как например ἀπάτωρ *(сирота)*, множественное ἀπάτορες, производное от предыдущего, дает нам две новых формы суффикса (τωρ, τορ). Это суффикс имен родства.

Окончания можно сопоставить с суффиксами; это также элементы, прибавленные к корню. Их можно отличить от суффиксов только по употреблению. Суффикс указывает на общую категорию, к которой принадлежит слово (действующее лицо, действие, орудие, увеличительный суффикс, уменьшительный суффикс и т. д.), в то время как окончание указывает только на роль слова в фразе.

Окончания играют отличную от суффиксов роль, но с точки зрения образования слова они в индоевропейском и в семитском языках представляют собой морфемы одного и того же порядка.

Суффиксы и окончания приставляются к корню. Это обычный прием сочетания слов в индоевропейском, но он не представляет ничего обязательного. Аугмент, который ставится перед глаголом, может считаться исключением. Например в греческом глаголе λύω *(развязывать)*, ἔλυσα *(развязал)* аугмент в той же мере выражает прошедшее время, как и σ в λύσω *(развяжу)* — будущее.

Не следует поэтому удивляться, если в других языках, в противоположность индоевропейскому, флексия ставится перед корнем. Мы можем найти такие случаи и во французском языке; например множественное число в словах, начинающихся с гласной, выражается посредством свистящего согласного, стоящего перед корнем: arbre *(дерево)*, z'arbres *(деревья)*, homme *(человек)*, z'hommes *(люди)*, oeuf *(яйцо)*, z'oeufs *(яйца)*, oie *(гусь)*, z'oies *(гуси)*. В народном языке мы находим любопытный глагол zyeuter *(глазеть)* от множественного числа z'yeux *(глаза)*. В некоторых лотарингских диалектах мы находим формы zous *(они)* и zelles *(оне)* вместо eux, elles, zout *(их)* по аналогии с nout, vout[1].

Но во французском языке это факты исключительные и без особого распространения в языке. Но в некоторых семитских языках, как в арабском, существует подлинное спряжение в начале слова. Так, в одном из двух времен арабского глагола, в прошедшем несовершенном, лицо всегда выражается аффиксом, стоящим впереди корня:

первое лицо ед. aqtulu	мн. naqtulu	
второе лицо ед. муж. taqtulu	мн. taqtulūna	двойст. taqtulāni
второе лицо жен. taqtulina	мн. taqtulna	
третье лицо муж. yaqtulu	мн. yaqtulūna	дв. yaqtulāni
третье лицо жен. taqtulu	мн. yaqtulna	дв. taqtulāni

В языке совсем другого происхождения, в грузинском, мы найдем также разительные примеры спряжения в начале слова. Отсюда мы заключаем, что прием аффиксации состоит в прибавлении морфологических элементов к корню, безразлично — спереди или сзади.

***

Рядом с такими языками, как индоевропейские и семитские, в которых слово, образованное из корня и аффиксов, представляет собою нечто целое, самостоятельное и законченное, мы встречаем ряд языков, в которых морфемы более или менее независимы от семантем. Наиболее ясно очерченный тип — это

---

[1] *E. Rolland*, «Revue celtique», t. V, p. 151.

язык, в котором различаются две категории слов—«пустые» и «полные», по китайской терминологии. Полные слова—это семантемы, а пустые слова—это морфемы. Пустые слова никогда не носят на себе ударения. Так, слово «ды»—признак зависимости, «пустое слово»: «во^3-ды эр^2-цза» (*мой сын*), «во^3» (*я*), «эр^3-цза» (*сын*). Слово «ды» играет роль французского de, -s родительного падежа в английском языке; оно служит даже знаком зависимости одного предложения от другого и в таких случаях равно союзу. Пустые слова—это чаще всего формы полных слов со специальным грамматическим значением и без ударения.

Так, полные слова «цзы^3» и «эр^2», оба обозначающие «сын», часто прибавляются к другим полным словам в качестве пустых слов и совершенно теряют свое первоначальное значение: «гоу^3» (*собака*), «дао» (*нож*) с аффиксом существительных «эр» или «цзы» превращаются в «гоу+эр» (*собачка*, произносится «гоур^3») или «дао+цзы» (*ножик*) (произносится «дао-цза»). Глагол «ляо» (*окончить*) служит в качестве пустого слова (в форме «ла») для выражения прошедшего: «лай-ла» (*пришли*, буквально: *прийти кончить*); можно сочетать две формы одного и того же слова—полную и пустую: «ляо ла» (*кончили*).

Но это вовсе не значит, что в индоевропейских языках не встречается прекрасных примеров пустых слов. Санскритское iti, обозначающее, что передаются слова третьего лица, есть пустое слово. Также в древнегреческом ἄν, новогреческом θά и ἄς (см. стр. 65). Невозможно в словаре перевести эти слова: у них нет никакого конкретного значения. Это коэфициенты, показатели степени, алгебраические величины скорее, чем слова. Они и не употребляются отдельно; они приобретают свое значение только при соединении с другим языковым элементом, с которым они образуют целое, воспринимаемое сознанием как нечто единое; ἄν само по себе ничего не значит, но ἄν ἐποίει, ἄν ποιῇ имеет вполне определенное значение. Во французском языке есть также пустые слова, например предлоги. Невозможно перевести одним и тем же самым предлогом французский предлог «à» на немецкий (или русский) язык: à pied (немецкое zu Fuss—*пешком*); à Berlin (немецкое nach Berlin—*в Берлин*); à la côte (немецкое an der Küste—*на берегу*); à l'ètroit (немецкое in der Enge—*в тесноте*); à regret (немецкое mit Bedauern—*к сожалению*); à mes frais (немецкое auf meine Kosten—*за мой счет*); à part (немецкое bei Seite—*в сторону*); à six heures (немецкое um sechs Uhr—*в шесть часов*) и т. д. Французские être (*быть*) и avoir (*иметь*), как английский вспомогательный to do (*делать*), shall, will—пустые слова; также датский вспомогательный глагол mon раньше выражал более или менее смутно идею будущего, а теперь просто сопровождает глагол, в частности вопросительную форму глагола, так что теперь можно назвать mon не столько глаголом, сколько вопросительным наречием: mon han kommer? (*придет ли он?*).

Хотя многие индоевропейские языки создали пустые слова, но, вообще говоря, индоевропейское и семитское слово характеризуется своим единством. Морфемы и семантемы в нем слиты неразрывно. Но есть языки, в которых связь между морфемами и семантемами довольно слабая. В китайском языке пустое слово, хотя место его точно определено, и его, как и во французском или в английском языках, передвигать по фразе нельзя, все же имеет некоторую независимость: во-первых, потому, что его можно опустить: говорят «гоур[3]» *(собака)* и просто «гоу[3]» *(собака)*; во-вторых, потому, что его иногда повторяют два раза, подчеркивая мысль, которую оно выражает, даже отделяя его от слова, к которому оно относится: «ляо-ла ши[4]-ла» *(окончилось дело)*.

Возможно, что в финно-угорских и турецких языках морфемы наименее тесно связаны с семантемами. В венгерском в последовательном ряду слов, которые согласуются одно с другим и играют одинаковую роль в фразе, часто морфема выражена только в последнем слове: a jó ember-nek *(доброму человеку)*, а не az-nak jó-nak ember-nek, a nagy város-ban *(в большом городе)*[1]. В турецком морфема множественного числа lar вставляется, в слове например kizlari (*его дочери*—множественное число), между семантемой kiz *(дочь)* и суффиксом принадлежности «i» (kizi, *его дочь*—единственное число)[2].

В турецком связь между элементами так слаба, что порядок морфем неустойчив. По-французски нельзя сказать nous avons le vu вместо nous l'avons vu или j'aime te ne pas вместо je ne t'aime pas; по-турецки говорят безразлично sevmişlerdir *(они любили)* или sevmişdirler; sevecek-lerdir *(они полюбят)* или sevecekdirler; seviyorlar idi *(они любили)* или seviyor idiler; sevdim idi *(я любил)* или sevdi idim; sevsem idi *(если бы я любил)* или sevse idim.

Каждая из этих групп может быть анализирована и разложена на части; корень всегда стоит в начале слова, но грамматические элементы, выражающие время, лицо, число и т. п., в достаточной степени независимы и от корня и друг от друга и могут быть распределены с известной свободой в пределах слова. Они не обладают ни в какой мере самостоятельностью; так, грамматический элемент lar (ler) не может употребляться отдельно, так же как греческие и латинские окончания. Но он скреплен с семантемой значительно слабее, чем греческое окончание с соответствующей основой. Грамматический элемент dir—это в сущности третье лицо единственного числа глагола *быть*, для образования соответствующего множественного числа прибавляют ler. В древнем османском литературном языке возможна перестановка элементов dir-ler даже в тех случаях, когда эти

[1] *Schleicher* и *V. Thomsen*, цитируемые *Есперсеном*, Progress in Language, p. 30—32.

[2] *Gauthiot*, La fin de mot en indo-européen.

элементы употреблены в их собственном смысле для обозначения третьего лица множественного числа глагола *быть*.

***

Морфемы могут, в зависимости от языка, быть в большем или меньшем числе. В турецком, как мы уже видели, можно передвигать морфему с места на место без затруднений, но нельзя повторить ее дважды: по-турецки говорят безразлично seviyor idiler или seviyorlar idi, но не сочетают обоих способов и не говорят seviyorlar idiler. Этот прием повторения, уже отмеченный выше в китайском языке, очень распространен в некоторых языках, как например в языках группы банту, в которых каждой грамматической категории соответствует свой классификатор, выражаемый в каждом слове, сколько бы этих слов ни было. Так, в языке субийя фраза *девушки идут* будет ba-kazana ba-enda или даже b-o ba-kazana ba-enda; ba здесь классификатор лиц во множественном числе: *красивый человек* будет mu-ntu mu-lotu; mu классификатор лица в единственном числе. Таких классификаторов в языках банту 17; в некоторых диалектах число их возрастает до 23.

Префиксам языка банту соответствуют суффиксы языка фуль и языков западной Африки, известных под названием вольта. В языке фуль имеется 21 класс, из которых 4 для множественного числа. Так, корень lām, выражающий идею начальствования, дает: lām-do (класс местоимения о)—*предводитель, царь*, lām-u (класс местоимения ngu)—*царство*, lām-de (класс местоимения nde)—*начальствование*, lām-be (класс местоимения be)—*цари*, и т. д. В этих языках корни никогда не бывают изолированы; они всегда сопровождаются показателем класса, и этот показатель повторяется в каждом элементе фразы: debb-o dan-è-dyo e *(эта белая женщина)*; rew-be ran-è-be be *(эти белые женщины)* и т. п.

В языках этого типа морфология тесно связана со всем языком; морфемы выделяются только после тщательного анализа, в результате которого фраза совершенно расчленяется, распадается и становится совершенно неузнаваемой.

Обратный случай мы находим в некоторых американских языках, в которых морфемы и семантемы сознаются и выражаются отдельно. В начале фразы даются морфологические элементы, дается, так сказать, алгебраическая формула мысли; здесь собрано все, кроме представлений предметов, которые даются в конце фразы: *человек убил женщину ножом*—на таком языке имеет вид: *он она этим||убить человек женщина нож* (язык чинук)[1].

Вся фраза до двойной вертикальной черты—это грамматические указания, морфемы, а после черты—семантемы.

---

[1] По Boas'у, Handbook of American Indian Languages, Введение, p. 38.

Не будем слишком удивляться такой странной структуре языка. Французский разговорный язык знает обороты очень близкие к таким. В устах народа вы часто услышите такую фразу: Elle n'y a encore pas||voyagé, ta cousine, en Afrique? или Il l'a-ti jamais||attrapé, le gendarme, son voleur? Первые части этих фраз—это морфемы: указания на подлежащее, дополнение (прямое или косвенное), род, число, время, отрицательность или утвердительность фразы. Мы знаем весь грамматический материал фразы, не зная еще, о чем или о ком идет речь.

Чтобы сделать фразу полной, нам только нехватает указаний на действующих лиц и действия, ими совершаемые, словом, фактического содержания. Сначало дано отвлеченное, а затем конкретное.

***

Разнообразие морфологических приемов делает определение слова различным в зависимости от языка. Есть языки, в которых слово очень легко определяется как единица независимая и неделимая. Но зато есть языки, в которых оно сливается с фразой и где его можно определить только при условии включения в него самых разнообразных элементов. Во французской фразе je ne l'ai pas vu (*я его не видел*) школьная грамматика насчитывает шесть отдельных слов. В действительности налицо только одно слово, но сложное, образованное из ряда морфем, переплетенных одна с другой.

Они не существуют самостоятельно, их единственная самостоятельность в том, что они могут подставляться одна на место другой, так как можно сказать, je ne t'ai pas vu (*я не видел тебя*), tu ne m'avais pas vu, nous ne vous aurons pas vu и т. п., меняя по желанию составные элементы слова. Можно понятно учитывать относительное различие этих элементов. Je, me, te, tu, le—это действительно простые морфемы, лишенные самостоятельности. Они не употребляются отдельно. Je существует только в сочетании с глаголом: je parle (*я говорю*), je cours (*я бегу*), так же как и me: tu me dis (*ты говоришь мне*), tu me frappe (*ты ударяешь меня*). Только потому, что можно между местоимением и глаголом вставить один или несколько грамматических элементов (je dis, je le dis, je ne le dis pas), нельзя приравнять je в je dis к латинскому окончанию o в dic-o (*я говорю*) и рассматривать je dis, tu dis, il dit как спряжение с предкорневой флексией. Это невозможно, но во всяком случае уже несколько столетий местоимение-подлежащее стремится все более слиться со своим глаголом. Мы теперь не скажем, как сказано у Рабле: «Je, dit Picrochole, les prendrai à merci».

Но в народной речи мы очень часто найдем местоимение в третьем лице, когда уже есть выраженное подлежащее: Le père, il dit ce qu'il veut (*Отец, он говорит что хочет*) и т. п. С другой стороны, морфемы nous, vous в известной степени

близки к самостоятельному слову, так как та же самая форма служит в эмфатическом употреблении и соответствует одновременно как je, me, так и moi, как tu, te, так и toi, как il, le, так и lui. Это усложняет определение слова, так же, впрочем, как присутствие среди глагольной формы наречий и отрицаний, которые являются не то словами, не то морфемами. Можно сказать, что во французском языке слово с трудом поддается определению.

Это в такой же мере верно и относительно таких языков, как турецкий, в котором морфологические элементы связываются то с одной семантемой, то с другой или же довольно свободно присоединяются один к другому. В турецком языке единство слова создается явлением фонетическим—гармонией гласных, которая регулирует вокализм различных слогов по гласной доминирующего слога. Единство слова в языках банту зависит от другого, от употребления классификаторов, которые все обусловлены в каждой морфологической категории ролью слова в фразе. Но мы принуждены в понятие «слово» включать в банту, как и во французском и в турецком языках, различные подставные элементы, связанные очень слабо с семантемой[1]. В некоторых американских языках, как в гренландском, мы не можем расчленить фразу на слова; в них есть тенденция образовать столько слов, сколько есть фраз, и столько фраз, сколько есть слов[2].

Наоборот, в языках семитских и древних индоевропейских, как ведийское наречие и греческий, слово совершенно самостоятельно, что ясно обнаруживается в некоторых специальных фонетических трактовках, например в трактовках конечных отрезков слова, в тонкостях чередования ударения. В них слово носит в себе самом признак своего грамматического употребления и выражение своего морфологического значения, оно обладает исчерпывающей полнотой выражения. По другим основаниям китайское слово определяется также без труда, но выделенное из контекста, оно теряет всю свою выразительность и сохраняет только расплывчатый отвлеченный смысл, по которому нельзя отнести его ни к какому грамматическому разряду. Таким образом слову не может быть дано общего определения, применимого ко всем языкам, кроме предложенного Мейе и оставляющего неясной как раз грамматическую категорию слова: «Слово есть результат связи определенного значения с определенным комплексом звуков, способным к определенному грамматическому употреблению»[3].

---

[1] *Gauthiot*, La fin de mot en indo-européen, p. 34—35.
[2] *Finck*, Die Haupttypen des Sprachbaues, S. 31.
[3] «Revue de métaphysique et de morale», 1913, p. 11.

ГЛАВА II

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

Грамматическими категориями называются понятия, выражаемые посредством морфем[1]. Так, род и число, лицо, время и наклонение, вопрос и отрицание, зависимость, цель, орудие и т. п.—все это грамматические категории в языках, в которых есть специальные морфемы для их выражения. Всякий, мобилизуя свои лингвистические познания, может представить себе, как велико их число и как они разнообразны. Число грамматических категорий так же различно в различных языках, как и число морфем. Чем менее грамматичен язык в том смысле, в каком это понимается в предыдущей главе, тем меньше в нем грамматических категорий. Но некоторые языки имеют их большое число.

Какой бы ни взять язык, грамматические категории определяются только формой, в которой они выражены. В древнегреческом языке есть наклонение, называемое желательным. Оно в некоторых случаях соответствует французскому условному наклонению и служит, вообще говоря, для выражения желания. Мы не имеем права говорить о желательном наклонении в языке, не имеющем специальной формы для этого наклонения; и там, где сослагательное и желательное слились, как это имеет место в большинстве индоевропейских языков, говорящие не различают в единственной оставшейся форме двух грамматических употреблений, имевших раньше две различные формы. Осталось одно только наклонение, которое можно назвать безразлично, как угодно, желательным или сослагательным, сознаваемое говорящими как единое наклонение. Это сознание обусловлено единством формы, вне зависимости от разнообразия ее употреблений. Это не препятствует дальнейшему созданию новых форм для употреблений, не имевших особого выражения в языке. Так, смешение аориста и перфекта, или скорее превращение древнего перфекта в историческое время, уничтожило во многих языках средство для выра-

[1] *V. Göbel*, Die grammatischen Kategorien, «Neue Jahrbücher für das klassische Altertum», Bd. V; *Van Ginneken*, Principes de linguistique psychologique, p. 65; *Pos*, Zur Logik der Sprachurssenschaft, 1922.

жения перфекта. Есть языки, отказавшиеся от перфекта и обходящиеся без него; другие же создали себе новый перфект новыми путями, по образцу, отличающемуся от прежнего исчезнувшего перфекта.

Грамматические категории следовательно всегда определяются по отношению к данному языку и по отношению к определенному периоду в истории данного языка. Например желательное наклонение в греческом существовало только в течение определенного периода, границы которого могут быть точно фиксированы. Мы знаем, в какую эпоху в германских языках рядом с единственной формой прошедшего создалась новая форма, соответствовавшая по своему значению древнему перфекту. История грамматических категорий в любом языке часто может быть установлена точно. Но системы категорий в разных языках различны. Французская грамматика была составлена в XVII—XVIII столетиях по образцу грамматик греческой и латинской; это ее исказило: мы ее строим все еще на номенклатуре, несогласованной с фактами и дающей неточное представление о грамматической структуре нашего языка.

Если бы принципы, на которых мы ее построили, были бы установлены кем-нибудь другим, а не учениками Аристотеля, французская грамматика была бы безусловно совсем другой.

***

Классификация грамматических категорий принадлежит к еще не сделанным работам общей морфологии. Признавая столько грамматических категорий, сколько во всех языках в совокупности морфем, можно значительно преувеличить количество категорий. Мы ограничимся здесь, следуя эмпирическому методу, анализом нескольких наиболее общих категорий: рода, числа, времени, залога. Из этого анализа мы почерпнем несколько положений, которые затем будут суммированы.

В той форме, в которой категория рода существует с древнейших времен в языках индоевропейских и семитских, она настолько существенна, что существительное не мыслится вне ее, и категория рода является важной, если не единственной его характеристикой[1].

Только по роду мы отличаем le poids (*вес*) и la poix (*смола*), le père (*отец*) и la paire (*пара*)—слова, с внешней стороны отличные только по орфографии, также и слова с одинаковой орфографией: le livre (*книга*), la livre (*фунт*), le poêle (*печка*), la poêle (*сковорода*) или в немецком die Kiefer (*ель*) и der Kiefer

---

[1] О роде см. *L. Adam*, Le genre dans les diverses langues, 1883; *H. Winkler*, Das grammatische Geschlecht, 1889; *K. Brugmann*, «Neue Jahrbücher für das klassische Altertum», S. 100—109; *Barone*, Sull'origine del genere in Plauto e in Terenzio, 1909.

(челюсть). Нет ошибки в устах иностранца, которая бы больше резала ухо, чем ошибка в роде. Если она повторяется часто, его речь становится непонятной.

И все же различие в грамматическом роде не соответствует чему-либо рациональному; мы не можем объяснить, почему la table *(стол)*, la chaise *(стул)*, la salière *(солонка)* и другие— женского рода, а le tabouret *(табурет)*, le fauteuil *(кресло)*, le sucrier *(сахарница)*—мужского рода. В соседнем языке соотношение часто другое; по-немецки говорят: der Sessel *(кресло)*, но der Stuhl *(стул)*, der Löffel *(ложка)*, der Kegel *(кегля)* не совпадают по роду с французскими: la chaise *(стул)*, la cuillère *(ложка)*, la quille *(кегля)*.

Известно впрочем с какой легкостью меняется род существительных с течением времени; в истории языков романских, германских, кельтских изменения в роде были многочисленны[1]. Во французском языке женское или мужское окончание часто придавало существительному соответствующий род; это доказывается тем, что большое число слов с женским окончанием, в литературном языке причисляемых к мужскому роду, в языке народа употреблялись, да во многих случаях и сейчас употребляются в женском роде. Особенно в тех случаях, когда начальный гласный мешает определить род постановкой определенного члена, как например в словах: exercice *(упражнение)*, orage *(буря)*, ouvrage *(работа)* и т. д. Даже слова le prophète *(пророк)* и le pape *(папа римский)* благодаря своему окончанию в средние века принадлежали к женскому роду.

Это все показывает, до какой степени естественный род отличен от рода грамматического. Мы продолжаем употреблять слова l'ordonnance *(ординарец)*, la sentinelle *(часовой)* в женском роде, хотя они, как и латинские auxilia *(войско)* и vigiliae *(караул)*, означают лица мужского пола.

Наш грамматический род настолько не в состоянии выразить пол, что обычно во французском языке мы не обладаем никакими средствами выразить посредством грамматического рода разницу полов. Слова: médecin *(врач)* и professeur *(профессор)* не имеют женского рода. Нам очень трудно применить их к женщине. Мы не можем сказать ни médecine, ни professeuse, что в первом случае прежде всего объясняется существованием слова médicine *(лекарство)* с другим значением. Но мы также не можем—а это устранило бы затруднение,—употреблять для женского рода слова médecin и professeur без всякого изменения, но только с членом женского рода, как это делали иногда греки ἡ Λεόντιον или римляне illum senium у Теренция. Формы la médecin и la professeur режут нам ухо. В лите-

[1] Для французского языка см. *Brunot*, Grammaire historique de la langue française, p. 233; для немецкого языка: *Behaghel*, Geschichte der deutschen Sprache; для валлийского языка: *J. Morris-Jones*, A Welsh Grammar, p. 228—229.

ратурной французской речи мы принуждены говорить la femme-médecin *(женщина-врач)*, la femme-professeur *(женщина-профессор)*, пользуясь словом femme как своеобразной морфемой для выражения пола. Французский язык находится в этом случае в положении языка, не обладающего различием родов; в аналогичных случаях английский язык пользуется как морфемами пола двумя местоимениями he или she. Так, he-goat—*козел*, а she-goat *коза*, а ирландский язык ставит префикс ban (из ben—*женщина*), ban-dia—*богиня*, ban-file—*поэтесса*, ban-tuath—*колдунья*. Мы же по-французски говорим даже une femmecocher или une femme cochère, настолько мы привыкли к морфеме femme; сказать же une cochère нам кажется неудобным.

Положение современного французского языка совпадает с положением индоевропейского. Естественный род не имел в нем морфологического выражения[1]. Больше того, ни одно слово индоевропейского языка не показывает различия между мужским и женским родом по своей внешней форме; toga *(тога)* и scriba *(писец)*, aesculus *(дуб)* и famulus *(слуга)*, arbor *(дерево)* и dolor *(боль)* склоняются в латинском языке совершенно одинаково, хотя все первые слова этих пар женского рода, а вторые мужского. Если случилось так, что в нескольких языках мужской род и женский род распределены между некоторыми суффиксами, как например в готском, где все слова, соответствующие первому латинскому склонению (типа toga)—женского рода, а соответствующие второму (типа famulus)—все мужского рода, это—результат нововведения.

Греческие слова πατήρ *(отец)* и μήτηρ *(мать)*, υἱός *(сын)* и νυός *(сноха)* в индоевропейском языке склонялись одинаково.

Правда, надо сделать исключение для среднего рода. Это единственный род, определяемый своей формой: по-гречески τέκνον *(ребенок)*, στέγος, род. στέγους *(крыша)*, σίναπι *(горчица)* и μέθυ *(мед*, напиток); по-латыни templum *(храм)*, corpus *(тело)*, род. corporis, mare *(море)* и cornu *(рог)* определяются по форме как существительные среднего рода. Индоевропейский средний род—это особый род; он противопоставляется двум личным родам, но имеет распространение более ограниченное; средний род имеет свою форму только в одном падеже; это повидимому указывает на то, что эта категория исчезала и не имела в системе полной самостоятельности. Он играет в сопоставлении с двумя другими родами подсобную роль, поскольку он выражает некоторые представления, независимые от противопоставления мужского и женского родов; например к среднему роду часто принадлежат предметы, рассматриваемые как неактивные и неспособные обладать личной волей; иногда же он выражает понятия собирательные.

---

[1] *Ernout*, «Mélanges linguistiques offerts à F. de. Saussure», p. 211.

В чем же заключается индоевропейский род? Он сводится исключительно к согласованию. Что значит, что слово πατήρ по-гречески мужского рода, а μήτηρ — женского рода. Только то, что говорят ὁ πατὴρ ἀγαθός *(добрый отец)*, но ἡ μήτηρ ἀγαθή *(добрая мать)*. Член и прилагательное, относящиеся к существительному, имеют в зависимости от рода существительного различную форму. Этот факт имел в истории важное следствие. Род следовал за превратностями фонетического выражения согласования. В тех случаях, когда согласование уже не выражено или же выражено не полностью вследствие фонетических изменений, род умирает или атрофируется. Во французском языке, как и в греческом, род поддерживается членом и прилагательным; но член имеет только одну форму перед словами, начинающимися с гласной: l'aurore *(заря)*, l'abîme *(бездна)*. Эти слова имеют категорию рода, менее отчетливо выраженную, чем другие; потому-то обычно изменения рода произошли во французском языке главным образом в существительных с начальной гласной. Если же в придачу и прилагательное не указывает рода, не остается ничего для его выражения: l'aurore est splendide *(заря великолепна)*, l'abîme est sombre *(бездна мрачна)*. Только если мы скажем: l'aurore est belle *(заря прекрасна)*, l'abîme est profond *(бездна глубока)*, эти слова приобретают род.

Английский язык зашел гораздо дальше французского. Древнеанглийский язык отличал в единственном числе члена три различные формы для трех родов: sé, séo, đaet; в нем было даже полное склонение члена с четырьмя различными падежами для каждого числа. Но он не замедлил упростить это склонение: сперва в именительном падеже по аналогии он стал употреблять đé, đéo, đaet; затем он смешал мужской и женский род в одной форме đé; наконец он потерял средний род, и в единственном числе у него осталась только одна форма, которая к тому же совпала с множественным числом. Потерявши свое склонение, член лишил язык способов выражения рода, так как прилагательное со своей стороны также лишилось флексии. Датский язык остановился на более ранней стадии, в нем еще есть форма den для мужского и женского рода и det для среднего и во множественном числе de для всех трех родов. Фонетическое развитие члена позволило ему сохранить оба рода, но они по происхождению не соответствуют мужскому и женскому роду французского языка.

Здесь не место исследовать происхождение грамматического рода в индоевропейских языках[1]. Некоторые лингвисты пытались сделать это, но безуспешно. Вопрос выходит за пределы индоевропейской грамматики. Это вопрос общей лингвистики,

[1] См. в особенности уже приведенные труды *Winkler*, *Brugmann*, *Mario Barone*; кроме того *B. I. Wheeler*, Transactions of the Philological Society, t. II, p. 528—545, 1899; *Meillet*, Linguistique historique et ling. gen., p. 211.

возникающий и для других языков. Антропологи, как Фрезер, пытались разрешить его утверждением, что различие в родах связано со специальным женским языком; одно и то же слово имело будто бы две формы, в зависимости от того, употреблялось ли оно мужчинами или женщинами[1]. Это—чрезмерное упрощение вопроса: род заключается не только в противопоставлении мужского и женского, так как в индоевропейском был еще и средний род.

В некоторых языках Америки и Африки род имеет особый характер. Так, алгонкинский язык отличает род одушевленный и неодушевленный[2]. Но распределение предметов по родам представляет непоследовательности; в род одушевленный включены кроме животных деревья, камни, солнце, луна, звезды, гром, снег, лед, злаки, хлеб, табак, сани, огниво и т. д. Во всяком случае «это различие в роде абсолютное и основное, так как оно управляет множественным числом имен, выражением принадлежности, указательными местоимениями, глаголами и прилагательными»[3]. В распределении объектов могла действовать специальная аналогия. В славянских языках есть также одушевленный род, его создание и особенно распространение объясняются правильным морфологическим развитием, имеющим исходную точку в индоевропейском языке[4]. Существует тенденция противопоставлять одушевленный предмет неодушевленному также в армянском[5], испанском[6] (после глагола) и даже в старофранцузском (после существительного): le bourg le roi *(крепость короля)*, les maisons du bourg *(дома крепости)*. В других языках мы находим другие противопоставления: в языке масаи (народ в Восточной Африке) есть особый род для всего большого и сильного и другой род для всего маленького и слабого[7]. Это подразделение некоторые ученые произвольно отождествляют с противопоставлением мужского и женского родов: ol tungani *(человек)*, en dungani *(маленький человек)*. Лучше бы сказать просто: сильный род или слабый род. Категория эта очень близка к тому, что мы называем в других случаях уменьшительными.

На африканской территории род носит название класса, в языках банту играют громадную роль «классы», характеризуемые каждый специальным аффиксом. Между ними распре-

[1] *Van Gennep*, Religions, moeurs et légendes, 1908. p. 265.

[2] *J. P. B. de Josselin de Jong*, De waarderingsondersheiding van «levend» en «levenloos» in het Indoeuropeesch vergeleken met hetzelfde verschijnsel in enkele Algonkintalen (лейденская диссертация, 1912).

[3] *L. Adam*, Le genre dans les diverses langues.

[4] *Meillet*, Recherches sur l'emploi du génitif-accusatif en vieux slave, 1897.

[5] *Adjarian*, Classification des dialectes arméniens, Paris, p. 18, 47.

[6] *Bourciez*, Elements de linguistique romane, 1923, §§ 236, 381, 499, 531; *Millardet*, Linguistique et dialectologie romanes, p. 451.

[7] *Merker*, Die Masai, цит. Feist'ом в «Zeitschrift für deutsche Wortforschung», Bd. XXXVII, S. 113.

деляются все слова языка. Мы уже видели выше примеры этого явления (стр. 88). Указание класса так же важно, как и указание рода в греческом или латинском слове. Это необходимость, которую мышление считает для себя обязательной. Классификатор (так называется фонетический элемент, указывающий класс каждого слова) имеет такое значение, что он повторяется в фразе при каждом слове, с ним связанном; основное слово как бы накладывает на все зависящие от него слова одинаковую фонетическую окраску.

Род в наших индоевропейских языках не что иное как «класс» наподобие классов в языках банту. Род выражает попытку нашего ума классифицировать все разнообразные понятия, выраженные существительными. Принцип этой классификации отвечает вне всякого сомнения мировосприятию наших далеких предков; мистические и религиозные мотивы способствовали ее закреплению. Традиция удержалась даже после того, как мы уже перестали понимать ее смысл.

* * *

Есть грамматические категории, имеющие с действительностью связь более тесную, чем род, и которые в современной концепции мира оправдываются рационально: это категории числа и времени. Говоря *лошадь ест* или *лошади будут есть*, я выражаю две идеи, противопоставляющие единичность множественности и настоящее время будущему.

Это различие соответствует различию в фактах опыта. Но исследуя, как эти две категории, принадлежащие к числу наиболее общих, выражаются в различных языках, мы обнаруживаем прежде всего, что они представлены здесь в формах, ограничивающих их общность, и что они редко находят себе ожидаемое адэкватное выражение.

Во французском языке есть единственное и множественное число; но различие между единичностью и множественностью, составляющее для нас число, не есть единственный возможный вид этой категории. Есть языки, которые имели или еще имеют двойственное число. Индоевропейский язык имел его, и оно удержалось в отдельных индоевропейских языках и в историческую эпоху более или менее долго в зависимости от языка, но почти все они его мало-помалу утратили[1]. В Индии санскрит (как ведийский, так и классический) имеет двойственное число в противоположность пракриту и пали, его утратившим; древнеперсидский и зенд его проводили строго, но в пехлеви нет его и следа. Ни в латинском, ни в армянском, даже

---

[1] *Brugmann*, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, Bd. II, 2, S. 195.

в самых древних памятниках, мы не находим двойственного числа. В старославянском оно вполне жизненно, и теперь еще в некоторых языках, как словинский и лужицкий, мы его еще находим. В нескольких литовских диалектах оно близко к полному исчезновению. Готский выражал его только в местоимении и в глаголе; только следы его находятся в древневерхненемецком, в местоимениях; но эти следы исчезают очень медленно, так как еще в современных баварских говорах есть двойственное число местоимений «ös» и «enk», которые исчезли из письменного языка еще до конца XIII столетия. Из кельтских языков один только ирландский сохраняет двойственное число в его наиболее древней форме в склонении имен; но эти формы в нем уже неустойчивы, так как имя в двойственном числе всегда должно сопровождаться числительным «два». Древнегреческий содержит очень разнообразные формы двойственного числа, представляющие интерес со многих сторон, но в конце концов он устранил двойственное число[1]. Это общая тенденция всех индоевропейских языков. Если же это устранение двойственного числа произошло в различные эпохи в различных языках, то это зависело от исторических причин.

Надо полагать, что употребление двойственного числа отвечало потребностям, не соответствующим привычкам нашей современной мысли. Мы в наше время не видим оснований для противопоставления двойственности и множественности. Но в категории числа есть другие отличия, нами не выражаемые, но которые заслуживали бы однако быть выраженными специальными грамматическими формами. Таковы например понятия собирательности и единичности. Во французском языке нет способов для противопоставления этих двух понятий; это недостаток, от которого мы часто испытываем неудобство. Все споры французских грамматиков об орфографии gelée de groseilles *(желе из смородины)* или de groseille или confiture de pomme *(варенье из яблок)* или de pommes сводятся просто к смешению множественного и собирательного чисел и происходят от отсутствия специальной грамматической категории собирательного числа. Так же мы, говоря *лошадь бежит, человек знает*, не можем различить, идет ли речь о данной лошади или вообще о всех лошадях. Мы не отличаем отдельной особи от вида, ни частного от общего.

Почти все индоевропейские языки находятся в таком же положении[2], как и французский. Некоторые важные виды категории числа не имеют последовательного способа выражения.

---

[1] *Cuny*, Le nombre duel en grec, 1906.

[2] Кельтские языки создали специальное «единичное» (сингулятивное) число. *Pedersen*, Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen, Bd. II, S. 58.

* * *

Категория времени также не находит себе достаточного выражения[1]. Для таких языков, как французский или немецкий, основное в глаголе—время, не напрасно глагол называется по-немецки Zeitwort, дословно «временное слово». Во французском языке мы обладаем целой гаммой различных времен, соответствующих не только трем делениям—прошедшему, настоящему и будущему, но также и относительным различиям времени: французский язык имеет способы для выражения будущего в прошедшем и прошедшего в будущем. Мало языков, столь же богатых в этом отношении, как французский язык. В немецком в сущности только одно прошедшее время; он сливает в одной форме ich liebte французское imparfait и passé défini; и эта единственная форма в некоторых частях Германии замещает даже аналитическое прошедшее типа ich habe geliebt, в то время как в других частях той же Германии, наоборот, аналитическая форма становится единственным выражением прошедшего времени. Богатство французского языка—наследие латинского, очень богатого формами глагольных времен.

Но выражение времени в латинском языке—явление новое. Мы знаем из сравнительной грамматики, что индоевропейский язык выражал главным образом вид[2].

Видом принято называть категорию длительности[3]. Времена французского языка указывают на момент, когда действие совершилось, совершается или совершится, не отмечая длительности этого совершения. Это однако же—понятие важное, и в некоторых глаголах оно важнее всех других оттенков значения.

Индоевропейский язык стремился указать не столько время, сколько длительность. Его интересовало в действии не то, в какой момент (прошедший, настоящий или будущий) совершается действие, но он отмечал, как рассматривалось это действие—в его длительности или же только в одном мгновении его развертывания, было ли это началом действия или же его концом, осуществилось ли оно только один раз или же оно повторялось, имело ли оно конечный предел и результат или нет. Отсюда принятые сравнительной грамматикой различия между глаголами длительными и мгновенными, совершенными и несовершенными, начинательными, итеративными, результативными и т. д. Невозможно хотя бы что-нибудь понять в глагольной системе санскрита или древнегреческого языка, если не учитывать этих оттенков или рассматривать эти языки с обыч-

---

[1] *Herbig*, «Indogermanische Forschungen», Bd. VI, S. 170 и дальше.

[2] *Brugmann*, Grundriss der vergleichenden Grammatik. Bd. II, 3, S. 68.

[3] *Barbelenet*, De l'aspect verbal en latin. R. 1913; *Barone*, Sui verbi perfettivi in Plauto e in Terenzio, R. 1908.

ной для наших языков идеей выражения в них различных времен.

В древнегреческом языке различия между настоящим, аористом, перфектом заключаются в виде глагола. Славянские языки долго сохраняли и сохраняют частично и до наших дней этот приоритет вида над временем. Всякий глагол в этих языках имеет категорию «вида, характеризующую и определяющую его в такой же степени, как, скажем, прошедшее или будущее время определяют его во французском языке»[1]. В виде заключается одно из существенных различий между языками русским и французским, одна из наибольших трудностей, на которую наталкивается француз при изучении русского языка.

Что касается выражения времен, семитские языки очень сходны с индоевропейскими языками древнего типа. В общесемитском языке нет никаких средств для различения времен глагола; зато в нем мы находим поразительное разнообразие для передачи субъективных глагольных отношений, для выражения например причинности, попытки, усиления, желания, предположительности, приказания, взаимности, возвратности. Так наз. «породы» означают разнообразные категории семитского глагола, в большей или меньшей степени сохранившиеся в различных диалектах. Подлинных времен в семитских языках, собственно говоря, только два: имперфект и перфект, образующиеся от различных основ; но под этими терминами перфекта и имперфекта ни в каком случае не следует понимать что-либо похожее на соответствующие французские глагольные времена; эти названия должны пониматься этимологически, т. е. они означают законченное или незаконченное действие. Другими словами, в семитском языке, как и в индоевропейском, основную роль играет в глаголе не выражение времени, а выражение длительности. Ассирийский язык например пользуется перфектом для выражения настоящего и будущего времени. В арабском языке имперфект передает так же будущее, как и настоящее. В древнееврейском форма, неправильно называемая будущим, передает прошедшее рассказа, а с другой стороны, форма, носящая название претеритум, может иногда служить для обозначения будущего. Известно, насколько затрудняется этим истолкование текста «пророков». Эта неопределенность происходит оттого, что значение времени, вначале отсутствовавшее, было присвоено (более или менее ошибочно) спряжению, к нему неприспособленному[2].

Следовательно, грамматическая категория времени, как и категория числа, недостаточна; но даже и существующие формы далеко не всегда соответствуют понятиям, которые они должны выразить. Во многих индоевропейских языках для выражения

---

[1] A. *Mazon*, Emploi des aspects du verbe russe, 1914.
[2] *M. Bréal*, «Memoires de la Société de linguistique», t. XI, p. 271.

будущего или прошедшего иногда употребляют форму, которая не есть ни будущее, ни прошедшее. Хотя латинский язык имеет будущее, Плавт (Пленники, 749) употребляет настоящее для передачи действия, явно относящегося к будущему, говоря: «Peristis nisi iam hunc abducitis» *(погибнете, если его не склоните на свою сторону)*. У слушателя не может быть ни тени сомнения, к какому времени отнести эту фразу. Так же по-французски мы говорим обычно: j'y vais *(я иду туда)*, вместо je vais y aller *(я пойду)*, je m'apprête à y aller или j'irai. Расин пишет в «Беренике»:

Peut-être avant la nuit l'heureuse Bérénice
Change le nom de reine au nom d'impératrice.

(Может быть, еще до наступления ночи счастливая Береника переменит титул королевы на титул императрицы.)

Немецкий язык постоянно пользуется настоящим вместо будущего: тяжелая конструкция ich werde kommen *(я приду)* существует главным образом в грамматиках и в устах иностранцев, говорящих по-немецки. Немцы в разговорном языке обычно употребляют форму ich komme. Это—общая тенденция языка употреблять настоящее в функции будущего: древнее настоящее служит будущим в языках: русском, валлийском, гаэльском (шотландском) и других.

Наоборот, во французском языке простое будущее может передавать настоящее: il sera à Paris à l'heure qu'il est (дословно грамматически: *он будет в Париже теперь*, значение: *он должен быть теперь в Париже*). Futur antérieur может иметь значение прошедшего. «Nul ne se ressouvient d'un mot qu'il aura dit» (La Bruyère) *(Никто не вспоминает слов, которые он мог сказать*, значение: *он сказал)*.

В обоих случаях будущее приносит несомненно в фразу специальный оттенок (возможности), но все же будущее передает настоящее или прошедшее.

Прошедшее может также выражаться настоящим. В рассказах это обычно, и такое настоящее носит название «настоящего исторического» (praesens historicum). Стилисты находят в нем особую прелесть; они говорят, что настоящее более выразительно, более наглядно, что оно в глазах читателя воскрешает всю картину, что оно нас переносит мысленно в момент совершения действия. И это верно. Но это объяснение, которое, кстати сказать, применимо и в случаях употребления настоящего вместо будущего, не имеет цены в глазах грамматика. Он принужден рассуждать так: для того чтобы писатель мог употребить как художник форму, которую он считает более выразительной, более изящной, нужно, чтобы она уже существовала в языке, и нужно, чтобы в языке области настоящего и прошедшего грамматически были неясно очерчены, чтобы можно было без ущерба для ясности переходить так легко от одной к другой.

Действительно, наоборот, и прошедшее может служить для выражения настоящего; древнегреческий язык посредством прошедшего выражает привычное настоящее в фразах общего значения, сентенциях или изречениях; Гомер говорит например ὅς κε θεοῖς ἐπιπείθηται μάλα τ'ἔκλυον αὐτοῦ с аористом, передаваемым на наш язык настоящим: «*Того, кто повинуется богам, они щедро удовлетворяют*». Этот аорист называют гномическим; он служит для выражения действия, не принадлежащего по существу ни к какому времени и которое, как всякая опытная истина, может относиться так же к будущему, как и к настоящему и прошедшему. Во французском языке, как и в большинстве языков, для этого гномического употребления представляется наиболее удобным настоящее время. Но во французском, как и в латинском, для этой цели можно также употребить будущее: «Pulcra mulier nuda erit quam purpurata pulcrior» (*Плавт*, Привидение, ст. 289; ср. стих 1041) *(Красивая женщина будет нагая красивее одетой в пурпур)*.

То, что мы называем во французском языке настоящим, очень эластично и может выражать и будущее, и прошедшее, а также служить для передачи узкого настоящего *(вот идет трамвай)* или обычного действия *(я здесь прохожу каждое воскресенье)*, или же действия, не относимого ни к одному из точно обозначенных времен *(трамвай проходит по этой улице)*. Непоследовательности в употреблении времен бесчисленны в любом языке. Не любопытно ли, что во французском языке conditionnel passé или по крайней мере то, что обозначается этим именем, может употребляться о будущем действии: si l'on me confiait cette affaire, je l'aurais bien vite terminée *(если бы мне поручили это дело, я скоро бы его окончил)*.

Конечно без труда открывается происхождение этого употребления: это один из случаев аналогии. Французский conditionnel—это имперфект будущего, и аналогия идет от фраз, в которых оба глагола были соответственно в настоящем и будущем: si l'on me confie cette affaire, je l'aurai bien vite terminée. Это показывает, с какой гибкостью язык пользуется средствами, находящимися в его распоряжении, но также и то, как трудно внести порядок в категорию времени; она все же остается плохо очерченной.

* * *

Категория залога очерчена еще менее четко[1]. Под залогом разумеют особый оттенок глагольного действия в его соотношении с подлежащим: либо действие рассматривается как совершаемое им, либо как испытываемое им, либо как совершаемое

[1] О противоположности действительного и страдательного залогов см. *Uhlenbeck*, «Indogermanische Forschungen» XII, S. 170; *Schuchardt*, там же, XVIII, S. 52)—531; *Finck*, «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», XLI, S. 299— 232.

в его интересах, с его участием. Классический тип—противопоставление в греческом действительного, среднего и страдательного залогов: νίζω, νίζομαι—*мою, моюсь* или *меня моют.* Но в греческом языке различие трех залогов очень нечеткое. Страдательный залог выражается больше предложным дополнением, чем глагольной формой: ὑφ᾽Εκτορος δαμείς *(укрощенный Гектором)* считается страдательным залогом, но ὑφ᾽ Εκτορος πεσών *(павший под ударами Гектора)* принадлежит к действительному залогу только по грамматической условности: оба оборота выражают ту же самую мысль, и возможно, что в своем генезисе один не был более страдательным, чем другой. В латинском языке некоторые страдательные, как vapulo *(меня бьют)*, имеют форму действительного залога. Вообще говоря, то, что понимается под действительным залогом в наших классических языках, определяется может быть каким-либо суффиксом или окончанием, но не значением: если je donne *(я даю)* или je frappe *(я бью)* действительного залога, то как могут быть действительным залогом je dors *(я сплю)*, je meurs *(я умираю)* или je souffre *(я страдаю)?*

Различие глаголов действительного залога от глаголов страдательного залога в большинстве индоевропейских языков иллюзорно, так как страдательный залог почти никогда не противостоит действительному залогу. В значение страдательного залога обычно вкрадывается какой-либо специальный оттенок, изменяющий его характер. Страдательный залог часто выражает совершенное, полностью законченное действие; поэтому столько французских глаголов выражают свое прошедшее посредством глагола être *(быть)*. Так уже было в латинском языке. Больше того, в этом языке страдательный залог имел специальное употребление, неправильно называемое безличным страдательным и которое следовало бы назвать просто безличным, так как в нем нет и следа элемента пассивности: curritur *(бегают)*, luditur *(играют)*, itum est *(пошли)*. В подобных случаях по-французски употребляют неопределенное местоимение «on» или же возвратный оборот: il se joue un grand jeu (*играется большая игра*), il se fait une grande course (*совершается большой бег*) и т. д.

Во французском языке, как и во многих языках, возвратный оборот есть один из способов выражения страдательного значения: cela se dit *(это говорится)*, cette robe se porte *(это платье носится)*.

Сущность подобных оборотов заключается в том, что деятель (производитель действия) не выражен; но их нельзя рассматривать как страдательный залог, если не понимать страдательного залога в специальном значении, которое не составляет противоположности значению действительного залога.

Смешение, от которого страдают наши языки, происходит от того, что вторичные значения вошли в выражения действи-

тельного и страдательного залогов в такой степени, что уничтожили их основную противоположность. Но оправдана ли эта основная противоположность? Если бы различие между je frappe и je suis frappé было только в грамматическом соотношении двух лиц, не нужно было бы на нем останавливаться; это было бы чистой условностью, вытекающей из привычки или удобства: говорили бы: Pierre frappe Paul *(Петр ударяет Павла)* или же Paul est frappé par Pierre *(Павел ударяем Петром)* безразлично; некоторые языки употребляли бы преимущественно первый оборот, другие—второй, а некоторые, наконец допускали бы употребление обоих; и в этом всем был бы только результат исторического процесса. Действительно, если французский язык имеет действительный и страдательный залоги (последний с ограничением), индоевропейский язык повидимому имел только действительный залог. Другие языки стремятся привести все залоги к единственному страдательному.

Есть действительно два способа рассматривать отношения подлежащего к внешнему миру: либо подлежащее активно, т. е. оно определяет актом своей воли некоторый результат относительно того, что его окружает: Pierre frappe Paul *(Петр ударяет Павла)*; либо оно пассивно, т. е. оно получает от окружающего впечатление, затрагивающее его восприятия: Paul est frappé par Pierre *(Павел ударяем Петром)*. В этих двух примерах противопоставление ясно; но бывают случаи, в которых активность и пассивность уравновешиваются и сливаются. Но могут быть и такие, в которых вторая побеждает первую. Если я говорю: Pierre aime Paul *(Петр любит Павла)* или Pierre voit Paul *(Петр видит Павла)*, оба лица оказывают друг на друга действие, которое можно рассматривать безразлично как активное или как пассивное. Видение есть процесс пассивный: сетчатка Пьера отражает какой-то образ. То же в любви или в дружбе: Пьер испытывает некоторое чувство. В этом нет ничего активного. Ясно, что более логично употреблять глаголы действительного залога для случаев, в которых действие эффективно, и употреблять другой тип глаголов, которые можно назвать страдательными либо аффективными, в случаях, когда подлежащее испытывает изменение своих чувствований.

Такова исходная точка двух больших категорий глаголов в таких языках, как грузинский[1]. В грузинском языке есть два типа спряжений: visurveb *(я хочу)* и msurs *(у меня есть желание)*, vikvareb *(я люблю)* и mikvars *(у меня есть любовь)* и т. д. Эти два типа дали начало двум параллельным спряжениям, активному и аффективному, которые в грузинском языке или употребляются в одном и том же глаголе (причем в таком случае обычно вводится временное различие) или же распределяются между

[1] Примеры взяты у *Finck*, Die Haupttypen des Sprachbaus, Leipzig 1910; ср. также *Schuchardt*, «Sitzungsberichte der Wiener Ak. d. Wiss.», 1895. Bd. 133.

глаголами по их значениям: так например грузинский язык обычно употребляет mesmis *(у меня есть слушание, я слушаю)* в аффективном спряжении, но vxedav *(я вижу)* в активном спряжении; mdzera *(у меня есть вера,* т. е. *я верю)*, mgonia *(у меня есть мысль, я думаю)* в аффективном, но vaseneb *(я строю)*, vtser *(я пишу)* в активном и т. п. Индоевропейские языки не знают этого различия.

Однако мы имеем некоторое представление об этом различии во французском языке по противопоставлению je crois *(я думаю)* и il m'est avis *(у меня есть мысль)*, je vois *(я вижу)* и il m'apparaît *(мне кажется)*, представляющих различие между активным и аффективным залогами. Мы обычно предпочитаем действительный залог настолько, что мы перевели в форму действительного залога такое выражение, как il me souvient *(мне помнится)* наперекор всякой логике (je m'en souviens—оборот в одно и то же время нелепый и варварский, однакож Вожела (Vaugelas) утверждает, что он более употребителен при дворе, чем il m'en souvient). То же произошло с глаголом regretter *(сожалеть)*: je regrette *(я сожалею)* вышло из il me regrette, regret est à moi *(мне жаль, у меня есть сожаление)*; ср. итальянское mi rincresce *(мне жаль)*.

То же и в немецком в таких глаголах, как ahnen *(предчувствовать)*, grauen *(бояться)*; ich ahne etwas *(я предчувствую)* произошло из es ahnt mir (или mich) *(мне чуется что-то)*. Говорят, ich graue mich vor etwas *(я боюсь чего-либо*) вместо es graut mir vor etwas *(мне страшно чего-либо)*, и уже в латинском глагол poeniteo *(раскаиваюсь)* вышел из me poenitet *(мне стыдно*).

Переход из аффективного залога в активный есть здесь в то же время переход из безличной формы в личную; некоторые языки вообще предпочитают личный оборот. Это предпочтение очень четко в латинском языке, в котором личный страдательный залог вышел из безличного страдательного: invidetur mihi *(завидуют мне)* предшествовало invideor, как vitam vivitur (*Энний*, Траг., ст. 190) *(проживают жизнь)* предшествовало vita vivitur *(жизнь проживается)*, как в датском языке говорят jeg blev budt to kroner *(мне предложили две кроны)* вместо mig blev budt to kroner; jeg blev forbudt Adgang til... *(мне запретили доступ...)* вместо mig blev forbudt Adgang til..., что было бы единственно логически правильным оборотом. Из всего этого видно, что различие между категориями действительного залога и страдательного опирается на базу очень непрочную.

Не более прочна основа, на которую опирается играющее в классических грамматиках большую роль различие между переходными и непереходными глаголами. Этим последним различием постоянно пользуются грамматики; оно кажется настолько естественным, что даже не берут на себя труд определить его. Можно подумать, что оно ясно само по себе. В дей-

ствительности нет ничего менее определенного. Называют переходным латинский глагол, когда он допускает дополнение в винительном падеже: amo patrem *(люблю отца)* или французский глагол, когда за ним непосредственно следует дополнение без предлога; j'aime mon père *(люблю своего отца)*. Непереходным глаголом считается, наоборот, глагол, при котором дополнение в латинском языке стоит в дательном падеже, а во французском языке с предлогом à, как noceo patri *(приношу вред отцу)*, je nuis à mon père *(приношу вред своему отцу)*. Но отношение, существующее между noceo и patri, совершенно то же, что и отношение между amo и patrem. И мы знаем, что различие между конструкциями чисто случайное. Возможно, что nocere alicui *(вредить кому-нибудь)* говорится по аналогии к obesse *(вредить)*, officere alicui *(мешать кому-либо)*; одна конструкция повлекла за собой другую. В процессе развития языка конструкции изменялись; непереходные глаголы стали переходными или обратно. В древнегреческом глагол παραινεῖν *(наставлять)* в классическую эпоху переходный, но в «Деяниях Апостолов» (27, 22) мын аходим фразу παραινῶ ὑμῖν .Наоборот, глагол διδάσκειν *(учить)* из переходного стал непереходным: ἐδίδασκεν τῷ βαλάκ («Апокалипсис», II, 14). После глагола χρῆσθαι *(пользоваться)* в аттической прозе ставится дательный падеж, но в критских надписях и греческом языке «Нового завета» мы встречаем после этого глагола винительный (χρώμενοι τὸν κόσμον — «Первое послание к коринфянам», 7,31). Латинский глагол mederi *(лечить)* сперва управлял винительным падежом, а потом дательным: mederi oculos *(лечить глаза)*, mederi oculis. Наконец в разных языках та же самая мысль может выражаться то переходным глаголом, то непереходным. По-французски мы говорим: j'aide ma mère (дословно: *помогаю мою мать*), je suis mon père (дословно: *следую моего отца*), а по-немецки: ich helfe der Mutter *(я помогаю матери)*, ich folge dem Vater *(я следую отцу)*; по-русски: *благодарю вас*, как по-французски je vous remercie, а по-немецки ich danke Ihnen (дословно: *благодарю вам*); по-латыни ставится дательный после nubere *(жениться)*, parcere *(щадить)*, benedicere *(благословлять)*.

Понятно, для грамматика, обучающего языку, различие оправдывается, так как идет речь о двух различных конструкциях, и, говоря noceo patrem или ich helfe die Mutter, мы делаем ошибку. Но это чисто формальное различие; если история отмечает его и объясняет, то здравый смысл его не оправдывает.

Лучше было бы противопоставить переходные глаголы непереходным следующим образом: поскольку понятие о переходном глаголе предполагает дополнение, можно было бы назвать переходным всякий глагол, действие которого имеет объект, выраженный во фразе, а непереходным, напротив, всякий глагол, употребленный без дополнения; так можно было бы

противопоставить такие обороты, как j'aime Rose *(люблю Розу)* и la maison où j'aime *(дом, где я люблю)*, cet homme boit du vin *(этот человек пьет вино)* и qui a bu, boira *(кто пил, будет пить)*. Употребленный без дополнения, глагол действительно непереходен, так как действие, им выраженное, не переходит ни на какой предмет. Но это противопоставление, которое было бы действительно логичным, не могло бы быть проведено глубоко без затруднения для самой логики; например его мы находим также в таких оборотах, как ils prennent ces allumettes *(они берут эти спички)* и ces allumettes prennent *(эти спички загораются)* или le chien a crevé la toile *(собака порвала полотно)* и le chien a crevé *(собака сдохла)*. Но это совсем другой случай. Во вторых фразах оба глагола (prendre, crever) употреблены в абсолютном смысле и действие отнесено к подлежащему, в то время как выше глаголы aimer и boire в фразах без дополнений выражают неопределенность действия. Кроме того можно рассматривать je pars à Paris *(я еду в Париж)* как переходный глагол, так как здесь имеется дополнение, показывающее цель действия, и так как это дополнение выражается во многих языках (латинском, греческом, ирландском, санскритском и др.) посредством винительного падежа: латинское peto urbem *(еду в город)*. Но нужно ли считать глагол partir *(ехать)* в фразе je pars dimanche *(я уезжаю в воскресенье)* непереходным, где вместо дополнения места у нас дополнение времени? Вопрос требует обсуждения. И как различать фразы: j'attends Pierre *(я жду Петра)* и j'attends à demain *(жду до завтра)*. Как различать tournez la meule *(вращайте жернова)* и tournez à droite *(поверните направо)*?

Если считать в этих случаях глагол переходным (а как не сделать этого, если сравнить tournez à droite с tourner le coin— *обогнуть угол*, можно сказать, что одно и то же слово служит для обозначения двух совсем различных функций, ибо в tournez la meule глагол побудительный: faites que la meule tourne *(сделайте так, чтобы жернов вращался)*, а в tournez à droite он возвратный в том смысле, что подлежащее есть в то же время и объект действия (tournez-vous à droite *повернитесь направо)*. Так же и в латинском saepe stylum vertas *(часто поворачивай стиль*—палочку для писания), verte hac *(заворачивай сюда)*.

***

Как бы далеко мы ни провели анализ грамматических категорий какого-либо языка, мы увидим, что невозможно свести их к логической системе. Со стороны грамматической это объясняется очень ясными причинами. Дело в том, что грамматика любого языка в любой момент его истории есть результат многочисленных процессов, действующих независимо друг от друга на различные части грамматической системы. Если

исходная точка морфологических изменений есть то, что называется аналогией, то аналогия никогда не вносит логику в систему (см. стр. 57).

С другой стороны, ничто не подкрепляет гипотезы, что в некий начальный период истории языка грамматические категории точно были согласованы с логическими категориями мышления, что в течение столетий они от них отошли благодаря изменениям, вызванным употреблением. Как бы далеко мы ни проникли в историю языка, мы находим всегда язык на позднем уровне развития. Наиболее древние формы известных нам языков не более и не менее логичны, чем современные нам.

Всегда опрометчиво судить об умственном развитии народа по грамматическим категориям его языка. Есть языки, сохраняющие очень долго в грамматических формах категории, уже утратившие смысл. Мы видели пример этому в категории рода. Если бы нам дали французскую фразу, в которой слову la table *(стол)* противопоставляется le tabouret *(табурет)* как взятую из какого-нибудь языка дикарей, мы сочли бы, что имеем дело с языком типа банту. Бальи дал несколько интересных примеров сходства, устанавливаемого между языками цивилизованных и языками диких народов на основе употребления и сохранения грамматических категорий[1]. Бывает, что некоторые грамматические категории исчезают или же изменяются и создаются другие; из этого факта выводим заключение о прогрессе человеческого мышления в направлении большей его отвлеченности. Это заключение иногда оправдывается (см. заключ. главу). Но не следует обобщать. Индоевропейский язык не имел инфинитива; в нем нельзя было сказать ни *нести*, ни *делать*, но только *я несу* или *я делал.* Создание инфинитива, совершившееся в каждом из индоевропейских языков независимо, есть большой шаг в направлении к отвлеченности мышления. И однако же есть индоевропейские языки, как болгарский или новогреческий, которые утратили инфинитив[2]. Но из этого вовсе не следует, что грек или болгарин потерял способность представлять себе отвлеченно глагольное действие.

Тот факт, что некоторые дикие народы имеют кроме двойственного числа и тройственное, ни в каком случае не указывает, что они не могут считать свыше трех[3]. Грамматическая категория числа не зависит от понятия числа. Планерт также показал, что нужно отличать понятие причинности от грамматических категорий, служащих для его выражения; если малайцы не выражают этого понятия, это не мешает им мыслить причинно[4]. Кроме того есть разнообразные приемы

---

[1] *Bally,* Le langage et la vie, p. 107.
[2] *Kr. Sandfeld-Jensen,* «Rumänzke Studier» I, 1902.
[3] *Lévy-Bruhl,* Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, p. 157.
[4] *Planert,* «Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft», B. IX, 1906, S. 759—768.

интонации и жеста, которые возмещают недостаточность грамматических категорий.

Но сохраняя иногда без нужды бесполезные грамматические категории, язык без затруднений создает новые категории в случае нужды. Выше мы противопоставили языки, выражающие время, языкам, выражающим вид. История индоевропейских языков нам показывает, что понятие времени более недавнее, чем понятие вида, и что первое заменило второе. Однако же понятие вида не чуждо и тем из современных нам языков, которые лучше выражают понятие времени.

Чтобы выразить длительный вид, которого у них не было, германские языки например использовали причастие настоящего времени в соединении с вспомогательным глаголом *быть*. В средневерхненемецком мы находим уже такие обороты, как all die mich sehende sint (дословно: *все, кто меня суть видящие*,—Der arme Heinrich Гартмана фон дер Ауэ, ст. 673) или der ritter mit tem der lewe varend ist *(рыцарь, с которым лев есть путешествующий*,—Iwein, ст. 2986). Та же потребность создала английский оборот I am going *(я есмь идущий)*, I was reading *(я был читающий)*, так широко распространившийся.

Во французском языке XVI столетия мы находим попытку создания длительного вида такого же типа с глаголами être *(быть)* или aller *(итти)*; попытка, осужденная Малербом и Менажем, не имела успеха. Все же Вуатюр еще говорил: cette prison qui va vous renfermant *(эта темница, вас держащая)*, а Лафонтен: je me vais désaltérant (*утоляю жажду)*.

Французский язык, отличающийся среди всех других обилием способов выражения времени, нашел два способа выражать вид и пользуется ими обоими уже несколько столетий[1]. Первый заключается в употреблении глагольной приставки re для обозначения мгновенного действия в противоположность действию длительному. Так например rabattre, rabaisser обозначают не *опустить снова* или *в большей степени*, а только *произвести понижение вслед за повышением*, без указания времени, потребного для этого действия. Если же действие мыслится как длительное и осуществляющееся до момента своего завершения, мы употребляем не составные: abattre или abaisser. Так же réveiller quelqu'un—это сделать так, чтобы он бодрствовал (veiller), и remarquer quelque chose—это отметить ее (marquer). Повсюду в народном языке составной глагол с приставкой стремится заместить простой глагол, если мы учитываем только результат действия. Unir *(соединять)* употребляется только для обозначения соединения в браке, в других же случаях говорят réunir; remercier *(благодарить)* заменило mercier, употреблявшееся еще в XVI столетии; ralentir означает просто *замедлить*; ramasser *(подбирать)*, recueillir *(приютить)* regarder *(смот-*

[1] *D. Barbelenet*, «Mélanges linguistiques offerts à Meillet», p. 8 et suiv.

реть) приобрели совсем другой смысл, чем amasser *(громоздить)*, cueillir *(рвать)*, garder *(беречь)*, rattraper quelqu'un употребляется в прямом смысле, a attraper quelqu'un—в переносном. Говорят rapportez или remportez moi ça вместо apportez, emportez; renfermez le chat, refermez la porte, rentrez donc вместо entrez donc—*войдите в дом*, куда еще не входили, и т. д. Такие примеры во французском языке известны очень давно. Еще в «Aimeri de Narbonne» мы читаем: ralez vos en вместо allez-vous en; приставка здесь особенно усиливает выразительность. Этот прием, еще живой во французском языке, существовал уже и в латинском и восходит к эпохе более древней, так как мы его находим также в германском и в балто-славянском.

Но французский язык не ограничивается этим приемом; у него есть и другой прием для выражения вида: это—употребление возвратного глагола. Сравните défiler, trotter и se défiler, se trotter. Часто оба комбинируются; употребляют возвратный глагол, к которому прибавляется приставка e или en: s'en aller, s'enfuir, s'envoler, s'écrouler *(уйти, убежать, улететь, обрушиться)*. Эти глаголы могут служить хорошими примерами, если их сравнить с соответствующими простыми глаголами. Следовательно французский язык способен выразить вид, так как он находит для этого способы, как только он испытает нужду. Но вид во французском языке не есть нормальная грамматическая категория. Мы не можем образовать длительный или многократный вид от любого французского глагола, как мы образовываем, скажем, будущее или имперфект. Есть языки, как например русский, в которых вид играет в глаголе основную роль, являясь стержнем всей глагольной системы, во французском же языке, как и в латинском, вид—только отдельный пережиток и появляется только от случая к случаю.

Следовательно между грамматическими категориями есть различия по их удельному весу в зависимости от языков. Морфологическая система всегда заключает в себе только ограниченное число необходимых категорий, главенствующих в языке. Но в каждой системе всегда присутствуют в большей или меньшей мере другие вторгающиеся и перекрещивающиеся системы, которые среди вполне развитых категорий представляют собой категории отмирающие или только зарождающиеся.

Кроме того среди грамматических категорий можно установить некоторую иерархию: некоторые из них только частные виды более общих категорий. Так, мы говорили о действительном и страдательном залогах, как о двух грамматических категориях, но они обе без труда сводятся к одной категории. Правда, язык, не обладающий действительным залогом, не мог бы передать например французского je vous aime *(я вас люблю)*; но невозможен только перевод слово в слово; то отношение, которое мы передаем действительным залогом, было бы выражено в другом языке, но только каким-либо другим способом.

Так же точно то, что мы разумеем под родительным падежом, в древнегреческом или в латинском языках составляет грамматическую категорию, не имеющую ничего себе подобного в китайском языке, также и во французском или валлийском языках. Мы говорим по-французски le livre de Pierre *(книга Петра)* вместо liber Petri. Китайский язык выражает отношения двух существительных порядком слов, путем постановки определяемого перед определяющим: «Хань[4] чао» (*династия Хань*). В валлийском порядок обратный: aber yr afon *(устье реки)*. Было бы нелепостью говорить о родительном падеже в валлийском или в китайском, так же как и во французском языке. Но мы знаем, что в латинском языке приименный родительный может быть заменен прилагательным: можно сказать virtus Caesarea *(добродетель цезарева)* вместо virtus Caesaris *(добродетель Цезаря)*. То же является правилом для русского языка. Даже во французском языке тип le livre de Pierre—не единственный: мы говорим также palais royal (*королевский дворец* или livres sibyllins (*сивиллины книги*), la maison à Pierre *(дом Петра)* или la vache à Colas *(корова Кола)*, l'hôtel-Dieu *(госпиталь)* или la rue Gambetta *(улица Гамбетты)*. Здесь также нет единой грамматической категории для выражения одной логической категории. В немецком языке есть родительный в выражении Vater's Haus или das Haus des Vaters, но можно также сказать meinem Vater sein Haus, что является совершенно иным оборотом (стр. 146). Учитывая эти различия, относящиеся только к способу построения словесного образа, можно установить для всех этих языков единую категорию—категорию зависимости. Она поглотит как латинский или греческий родительный падеж, так и порядок слов китайского или валлийского и употребление предлога de во французском языке.

Эта категория зависимости, кажущаяся нам единой, также будет иметь подразделения, оправдываемые логикой. Так, мы говорим по-французски sa beauté est éclatante или la beauté en est éclatante *(ее красота ослепительна)* в зависимости от того, идет ли речь о женщине или о картине или, выражаясь в более общей форме, о лице или предмете. Но мы говорим безразлично le père de Pierre *(отец Петра)* или la culotte de Pierre *(штаны Петра)*, забывая, что есть различие в отношениях, связывающих эти слова. Но в одном из языков Западной Африки, в языке мандинго отличаются a fa (*его отец*) и a-ta kursi (*его штаны*): притяжательный аффикс различен, потому что отец не принадлежит своему сыну, а штаны принадлежат своему владельцу[1]. Категория зависимости усложняется в таком языке различием между принадлежностью и непринадлежностью. Во

---

[1] *Delafosse*, «Bulletin de la Société de linguistique», t. XVIII, 1913, p. 344.

французском языке мы не отмечаем этого различия, как бы законным оно нам ни казалось.

***

Расхождение между грамматикой и логикой состоит в том, что грамматические категории и логические очень редко покрывают друг друга; почти никогда число первых и вторых не совпадает. Когда пытаются внести порядок в грамматические факты, классифицируя их по логическим признакам, то приходят к произвольному их распределению: либо распределяют в различные логические категории факты, имеющие одинаковую грамматическую форму (насилие по отношению к языку), либо помещают в одной грамматической категории факты, не имеющие ничего общего логически (насилие по отношению к логике). Самое простое следовательно выбрать один из двух принципов классификации. Это оправдывает грамматиков, номенклатура которых, произвольная и часто нелогичная, все же имеет грамматическую ценность. Единственная вещь, которой надо от них требовать,—это чтобы их классификации, в которых логика принесена в жертву, по крайней мере отвечали грамматическим условиям изучаемого языка. Хотя категории могут изменяться в зависимости от языка, но в языке, в котором они установлены, они предопределяют деятельность мышления.

Дело логиков определить логические категории и решить, стоят ли за пестротой грамматических категорий логические категории, имеющие значение для всех языков, и обязательны ли они для них всех с точки зрения строения человеческого мозга.

Допустим, что мы поставили этот вопрос человеку XVII столетия, проникнутому картезианством и логикой Пор-Рояля; он ответил бы без колебания утвердительно. «Здравый смысл из всех земных вещей распределен лучше всего,—сказал Декарт,—это единственная вещь, делающая нас людьми и отличающая нас от животных. Мне хочется верить, что она полностью присуща всем». А Лабрюйер, развивая мысль своего учителя, писал: «Разум принадлежит всем странам, и мыслят правильно везде, где есть люди». Эта концепция человеческого разума, управляемого неизменными законами, одинакового под всеми широтами, тогда принималась всеми. Теперь эта мысль кажется спорной[1].

Однако каковы бы ни были различия в умственных навыках различных народов, существование некоторых основных черт нельзя отрицать. Есть общечеловеческая логика, и главные логические категории мы находим у всех мыслящих людей: они, естественно, лежат в основе грамматических категорий. Откуда же берут свое значение и те и другие?

---

[1] *Lévy-Bruhl,* Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, p. 7.

Эмиль Дюркгейм[1] приписывал существование категорий особого рода необходимости, которая для интеллектуальной жизни то же, что моральный долг для воли: другими словами, категории—происхождения социального и зависят от общества. Мы находим в них влияние социального фактора, который уже так ясно обнаружился в фонетических изменениях. Только им можно объяснить фонетический закон; необходимость для всех членов той же самой группы артикулировать одинаковыми образами — не физического или метафизического происхождения; она также не может быть объяснена гипотезой обобщенного индивидуального случая. Нет такой власти, которая могла бы заставить подражать индивидуальным особенностям произношения. Фонетическое принуждение так велико, что никто не может его избежать. Такова же сила принуждения грамматических категорий. И то и другое черпают свою силу в силе социальных связей.

[1] «Revue de métaphysique et de morale», 1909, t. X, p. 747.

ГЛАВА III

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СЛОВ[1]

Классифицировать части речи настолько трудно, что до сих пор никто удовлетворительной классификации их не создал. По традиции, восходящей к греческим логикам, французская классическая грамматика различает их десять. Но эта классификация не выдерживает критики: ее трудно было применить даже к языкам, для которых она была создана; но еще труднее применить ее к языкам, к которым она совсем не подходит. Исследуя ее глубже, мы приходим к необходимости ее исправить.

Прежде всего надо исключить из частей речи междометие. Как бы ни было велико значение междометия в речи, в нем есть что-то, что его обособляет от других частей речи, оно — явление другого порядка. Междометие не всегда подчиняется фонетическим законам и заключает в себе часто фонемы, принадлежащие только ему; таковы щелкающие звуки во многих современных языках или аффриката «pff» во французском. Вообще оно не имеет ничего общего с морфологией. Оно представляет собой специальную форму речи—речь аффективную, эмоциональную или иногда речь активную, действенную; во всяком случае оно остается за пределами структуры интеллектуальной речи. Мы вернемся к нему в следующей главе.

Затем нужно исключить также и морфемы. Многие из «частей речи» наших грамматик не что иное, как морфемы. Таковы частицы, называемые предлогами и союзами. Их роль может быть выполнена в других языках совершенно другими морфологическими приемами. Француз говорит: le livre de Pierre, переводя латинское liber Petri. Французское on disait qu'il éta t mort *(говорили, что он умер)* соответствует немецкому man sagte, er sei gestorben. В немецком употребления сослагательного наклонения достаточно для выражения подчиненного характера предложения. В одном и том же языке морфема может быть различно употреблена; немцы без нарушения строя своего языка говорят также man sagte dass er gestorben ist

[1] См. *Rozwadowsky,* Wortbildung und Wortbedeutung, Heid. 1904; *Jespersen,* Sprogets Logik, 1913.

(или sei). По-латыни два оборота rogo venias *(прошу, ты бы пришел)* или rogo ut venias *(прошу, чтобы ты пришел)* употребляются одинаково. По-французски долго говорили le bois le roi, le bois la dame *(лес короля, лес дамы)* рядом с le chemin du bois *(дорога лесом,* т. е. *лесная дорога),* l'arbre de la forêt *(дерево леса,* т. е. *лесное дерево).* Слова de, que, dass, ut — морфемы, отмечающие отношения между словами и фразами. Вообще говоря, предлоги и союзы имеют различную форму. Однако есть языки, в которых некоторые отношения между словами и между фразами выражаются одинаковым образом. В китайском языке тот же самый элемент «ды» выражает зависимость существительных друг от друга, так же как и зависимость предложений (см. стр. 86).

В языках, в которых существует член, он не что иное, как морфема. Член обычно есть указательное местоимение с ослабленным значением, служащее определителем; он указывает род и число имен. Еще чаще он выражает определенность (см. стр. 129). У него налицо все черты грамматического орудия. То же можно сказать и о личном местоимении во французском языке: je lis *(я читаю)* равнозначно латинскому lego *(читаю),* tu lis *(ты читаешь),* il lit *(он читает)* — латинскому legis *(читаешь),* legit *(читает).* Французский язык передает употреблением je, tu, il то же, что латинский язык выражает флексией.

Самостоятельное или, как его называют, эмфатическое местоимение во французском языке играет роль существительного и должно быть помещено в категорию существительных. Сравните две фразы: viens tu, toi? *(идешь ты?)* и viens tu, Pierre? *(идешь ли, Петр?)* или moi, je suis grand и Pierre, il est petit *(я, я — большой, Петр, он — маленький).* Местоимения toi, moi и существительное Pierre имеют одинаковое грамматическое значение. Правда, в некоторых отношениях личное местоимение приближается к глаголу. Так как оно часто играет роль глагольной морфемы, то оно сближается в нашем представлении с категорией глагола и подвергается формальному влиянию последнего[1].

Так, в итальянском языке слова eglino, elleno *(они,* м. и ж. рода) имеют окончания третьего лица множественного числа глагола; также и в валлийском языке говорят hwynt *(они)* вместо hwy по аналогии с глагольным окончанием «ynt». Кроме того мы знаем, что языки, сохраняющие двойственное число в глаголе, сохраняют его равным образом и в местоимении, даже если его утратили в существительном; и, обратно — языки, утратившие двойственное число в глаголе, теряют его и в местоимении, если даже они его сохраняют в именах (см. стр. 97–98). Местоимение,

---

[1] *Johann Schmidt,* «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», Bd. XXXVI, S. 403.

хотя и употребляется как существительное, но подвергается иногда влиянию глагола и не составляет особой части речи.

Прилагательное также очень часто отличается от существительного недостаточно четко. В индоевропейских языках они повидимому имеют общее происхождение и во многих случаях сохраняют тождественную форму. Ничто не указывает, что греческое ἀγαθός, латинское bonus (*добрый*)—прилагательные, а греческое ἵππος и латинское equus (*лошадь*)—существительные. Склонение их совпадает со склонением прилагательных; их можно было отличать, надо думать, только по употреблению (см. стр. 127 и сл.). Но не следует забывать, что в употреблении они часто совпадают. Можно сказать je suis fort (*я силен*), как je suis médecin (*я врач*), un homme est grand (*человек велик*) и un grand est homme (*великий тоже человек*). Существительные и прилагательные во всех языках меняются ролями. Между ними нет четкой грамматической границы; их можно соединить в одну категорию—категорию имени.

Продолжая этот отбор, мы приходим к тому, что существуют только две части речи: глагол и имя. К ним сводятся все остальные части речи. Теперь остается узнать, радикально ли различны функции глагола и имени. Опираясь только на индоевропейские языки, мы не колеблясь должны установить между глаголом и именем основное различие. Одна мысль смешать их кажется нелепостью. Действительно, в индоевропейской морфологии и те и другие имеют особые, несовпадающие суффиксы и флексии. Это настолько верно, что в девяти случаях из десяти можно с первого взгляда определить, имеем ли мы в каком-либо санскритском или древнегреческом тексте дело с именем или с глаголом. Одна и та же категория выражается в том и другом различно, например число и лицо: по-гречески λέγω (*я говорю*) и ὁ λόγος μου (*мое слово*); обозначение первого лица в этих двух случаях различно. Окончания множественного числа не имеют ничего общего в имени и в глаголе. Налицо как бы две морфологические системы, параллельные и независимые друг от друга.

Но, если мы перейдем от языков индоевропейских к языкам семитским, мы не сможем провести в последних такую же четкую грань. В арабском языке есть немало общих окончаний в склонениях и спряжениях. Окончание второго и третьего лица множественного числа имперфекта мужского рода «ūna» служит также окончанием множественного числа большинства имен мужского рода этого языка; «āni», окончание тех же лиц того же времени в двойственном числе, есть также единственное окончание двойственного числа имени. Связь между арабским склонением и спряжением не ограничивается некоторыми совпадениями в окончаниях; они идут в глубь этих явлений. Есть разительный параллелизм между тремя падежами

имени (именительный, прямой и косвенный) и тремя наклонениями имперфекта (изъявительное, сослагательное, условное или, согласно другим грамматикам, усеченное). Арабские грамматики сами признали этот параллелизм, отразившийся в созданной ими терминологии.

Большое сходство глагола и имени в языках финно-угорских дало основание, правда недостаточное, утверждать, что эти языки совершенно не различают глагола от имени. Но остается несомненным, что глагол в них часто имеет именное происхождение и употребляет часто те же морфологические элементы, что и имя. У них есть общие суффиксы. По-вогульски mini *(он идет)* и ali *(он убивает)* образованы сходно с pūγi *(берущий)* и ūri *(держащий)*[1]; по-фински antaa *(он дает)* собственно значит *дающий.* Это в сущности есть результат употребления чисто именной фразы (см. стр. 120 и сл.). Но факт более значительный—у них есть общие окончания. По-марийски и по-мордовски «t» служит окончанием множественного числа имен и окончанием третьего лица глаголов. И так вплоть до языка финского, где находим в диалектах menit *(они пошли)*, menisit *(они пошли бы)* рядом с meni *(он пошел)*, menisi *(он пошел бы)*, совсем как в kalat *(рыбы*, множественное число) при kala *(рыба)*, puut *(деревья)* при puu *(дерево)*. По-венгерски мы находим сходные факты: vártak *(они ждали)*, kértak *(они спрашивали)*—множественное число от várt *(он ждал)* и kért *(он спрашивал)*, как harsak *(липы*, множественное число*)*, nevek *(имена)* при hárs и név. Подобных фактов мы не найдем в индоевропейских языках.

Есть еще и другие языки, например языки Дальнего Востока, где неразличение глагола и имени считается одной из основных грамматических догм. В древнекитайском языке например то же самое слово может функционировать и как глагол и как имя; только его место во фразе определяет часть речи.

Классический пример этого факта—фраза «лао^3 лао^3 яо^1 яо^1» *(обращать я со стариками как со стариками, с детьми как с детьми)*, в которой слово, обозначающее как существительное «старик» (или «ребенок»), как глагол значит «обращаться как со стариком» (или «ребенком»). Но такие яркие примеры редки. Обыкновенно же употребление слова в функции глагола сопровождается изменением тона, а следовательно и изменением начальной согласной, если она есть; это изменение в современном языке отражается в различии между согласной придыхательной и непридыхательной. Так, говорят «хао^3» *(добрый)* и «хао^4» *(любить)*; «цзан^1» *(сокровище)* и «цан^2» *(прятать)*, «чжуань^2» *(комментарий)* и «чуань^2» *(передавать)*. Наконец в современном обиходном языке есть и другие способы отличать с первого взгляда слово в функции глагола от слова в функции существительного.

---

[1] *J. Szinnyei,* «Finnisch-ugrische Forschungen», B. V, 1905, S. 62.

Кроме порядка слов и роли последовательности—п о д л е ж а щ е е, г л а г о л и д о п о л н е н и е—отличают глагол от имени благодаря аффиксам, уточняющим грамматическую роль слова: для имен это аффикс «эр» или аффикс «цзэ» (см. стр. 86), для глагола—аффикс «чжо» (из «чжао²», *помещать*), например «цзо⁴-чжо» (*садиться*) или «чжао²-чжо» (*надеть*); еще лучше аффиксы времени «ляо» или «го» для прошедшего времени, «яо» для будущего.

Если и случается, что то же самое китайское слово может быть глаголом или же именем, говорящий прекрасно отличает одну часть речи от другой. Китайские грамматики различают среди «полных слов» (см. стр. 86) «живые слова» (хао цзы) от «мертвых слов» (сы цзы); первые, по их словам, имеют активное, а вторые—пассивное значение. Существительные и прилагательные принадлежат к мертвым или пассивным словам, а глаголы, означая действие,—к живым или активным словам. Отсюда необходимое соответствие: глагол, употребленный страдательно, может иметь ту же интонацию, как и имя; благодаря изменению тона он становится уже мертвым словом. Следовательно, нечеткое различие между глаголом и именем, приписываемое обычно китайскому языку, скорее кажущееся, чем действительное. В действительности нет никогда колебания относительно того, существительное или глагол данное слово в фразе.

Язык, очень близкий в этом отношении к китайскому,—это английский. Большинство английских существительных может быть употреблено и как глаголы; этот язык стремится к тому, чтобы любое существительное могло быть употреблено как глагол. Существительное fire (*огонь*) может быть безразлично именем или глаголом; оно может кроме того в качестве имени быть безразлично существительным или прилагательным; будучи глаголом, оно не указывает оттенка страдательности или действительности. Это—отвлеченное понятие, которое можно применить в любом конкретном значении. Доказательством могут служить такие фразы, в которых слово, изменяя значение, не изменяет при этом нисколько своей внешней формы: put a fire in my room [*зажгите огонь* (fire) *в моей комнате*]; I fire my room [*я топлю (*fire*) свою комнату*], a fire fly [*светляк—огненная (*fire*) муха*]; o people, so easy to fire (*о, народ, который так легко воспламенить*). Сколько английских слов можно изменить таким же образом! Book—*книга*, to book—*записывать*; bomb—*бомба*, to bomb—*бомбардировать* и т. п. Но не станем жертвами иллюзии. Несомненно, слово fire, вообще говоря,—и глагол и существительное. Но все же понятие горящего огня отличается от понятия разведения огня. Говоря *вот огонь* или же *разведите огонь*, я имею в сознании два различных понятия, вызывающих у моих слушателей две различные реакции. В первом случае я сообщаю факт, во втором же приказываю выполнить действие. В английском языке не более,

чем в китайском языке, говорящий колеблется в толковании слова fire, когда важно различить то или другое значение. Мы воспринимаем слово без колебания как существительное или как глагол по его употреблению во фразе и в частности по окружающим его морфемам. В зависимости от того, говорю ли я: a (the) fire или to fire, my fire или I fire, я указываю, глагол ли это или существительное в данной фразе. Различие морфем указывает на различие в грамматическом значении слова; колебание невозможно. Морфемы a, the, I играют роль окончаний такого языка, как древнегреческий: I fire—это αἴθω *(зажигаю, горю)*, как αἶθος—это a (the) fire *(*т. е. *огонь)*.

Различие между глаголом и именем не всегда ясно в английском или китайском слове, взятом отдельно; но оно совершенно ясно, когда это слово стоит в фразе; это различие—не вопрос формы, а вопрос употребления. Другими словами, нужно обратиться к процессу конструирования словесного образа, где сочетаются элементы речи, чтобы обосновать различие между глаголом и именем. Если существуют языки, не имеющие для глагола и для существительного отдельной формы, то нет языков, которые не отличали бы именного предложения от глагольного[1].

Глагольным предложением выражают действие, относимое к определенному времени, рассматриваемое как обладающее определенной длительностью, приписываемое какому-либо определенному субъекту и иногда направленное к какому-либо определенному объекту: *слушай музыку, Петр пил вино, лошадь повезет телегу* и т. д. Глагольное предложение приказывает, констатирует факт или его измышляет: повелительное, изъявительное, сослагательное наклонения (и к последнему надо прибавить условное наклонение и будущее время) достаточно ясно представляют эти три аспекта глагольного предложения.

Оно может состоять из одного только слова: французское prends *(возьми)*, латинское veniam *(я приду)*, греческое τέθνηκα *(я умер)*, арабское qālu *(сказали)*. Иногда это слово существительное. Говоря: Feu! *(огонь!)*, Silence! *(молчание!)*, Halte! *(стой!)*, Place! *(места!)*, Attention! *(внимание!)*, приказывают совершить соответствующее действие, совершенно так же, как если бы сказали: Prends! *(возьми)*, Venez! *(идите)*, Arrêtez! *(остановитесь)*. В логической речи действие выражено глаголом, а не другой частью речи. Но повелительное наклонение принадлежит логической речи только частично. Это наклонение активного (волевого) языка (см. стр. 134). Оно может быть выражено криком. Приказывают молчать посредством возгласа *тс*! Лошадь погоняют криком *но*! Это повелительные формулы, не принадлежащие к грамматической системе глагола.

---

[1] См. особенно у *Meillet*, «Mémoires de la Société de linguistique», t. XVI, p. 1 et suiv.

Анализ глагольного предложения приводит нас к своеобразной иерархии глагольных форм. Раньше всего—повелительное наклонение, находящееся в некоторых отношениях вне грамматически организованного глагола; в связи с этим оно может быть выражено именем, еще чаще инфинитивом; затем следует изъявительное наклонение (настоящего или прошедшего времени), утверждающее существование факта; наконец наклонения возможности и предположения.

Совсем иным оказывается именное предложение, которым приписывается какое-либо качество какому-либо объекту: la maison est neuve *(дом нов)*, le déjeuner est prêt *(завтрак готов)*, l'entrée est à droite *(вход направо)* и т. п. Именное предложение заключает в себе два члена (термина)—субъект и атрибут. Оба они принадлежат к категории имени. Логики, ученики Аристотеля, чувствовали различие между этими двумя типами предложений. Но они их приводили к единому типу, разлагая глагольное предложение и вводя в него глагол *быть*: le cheval court *(лошадь бежит)* это le cheval est courant *(лошадь есть бегущая)*. Мало найдется ошибок столь упорных, как эта. Она укреплялась благодаря связанным с ней метафизическим идеям. Философы, введенные в заблуждение названием глагола «verbum substantivum», противопоставляли «субстанцию» (сущность), представленную этим глаголом, «акциденциям», выраженным атрибутами. Целая логическая система была построена на изначальном существовании глагола *быть*—этой необходимой связи между двумя членами (терминами) всякого предложения, этом выражении всякого утверждения, основании всякого силлогизма. Но лингвистика далеко не подкрепляет этого схоластического построения. Напротив, она разрушает его основу. По свидетельству большинства языков, глагольное предложение не имеет точек соприкосновения с глаголом *быть*; сам этот глагол появился в качестве связки в и м е н н о м предложении на довольно поздней стадии развития языка.

Обычный тип именного предложения в индоевропейских языках не имеет связки. Это то, что называется чисто именным предложением. Атрибут просто ставится рядом с подлежащим. Порядок этих элементов устанавливается в каждом языке по его законам. Так, в древнегреческом вполне обычны и правильны выражения: κρείσσων γὰρ βασιλεύς («Илиада», I, ст. 80, *ибо сильнее царь*), πάρ' ἔμοιγε καὶ ἄλλοι (*за меня же и другие*, «Илиада», I, ст. 174); в древнеперсидском manā pitā Vištāspa *(мой отец Виштаспа)*; в санскрите: tvám váruṇas (*ты—Варуна*). Чисто номинальное предложение сохранилось в русском языке: *завтрак готов, дом нов*. Прилагательное здесь имеет атрибутивную форму. В другой форме оно употребляется в определении: *новый дом*, где *новый* не сказуемое, а определение. Такое же противопоставление, выраженное последовательностью двух элементов, мы находим в древнеирландском: infer

maith *(добрый человек)*, но maith infer *(человек добр)*; можно найти некоторое подобие этого явления во французском языке, сравнивая: les marrons chauds *(горячие каштаны)* с chauds, les marrons *(горячи каштаны)*. В китайском языке противопоставление это постоянно: «да[4] го[2]» *(великое государство)*, но «го[2] да[4]» *(государство велико)*.

Чисто именное предложение, т. е. без связки, встречается в большинстве языков: в семитских и угро-финских языках оно обычно. По-арабски говорят: Zaydun 'alimun *(Сеид мудр)*, в венгерском az ég kék *(небо голубое)*[1]. Чисто именное предложение очень распространено в угро-финских языках, влиянием этих языков объясняют устойчивость предложений этого типа в русском языке[2]. В языках банту этот тип предложения так же обычен[3]; так на суахили: simba mui *(лев зол)*. Прилагательное-сказуемое выделяется здесь ударением на слоге «mu». Чтобы более четко показать отношение обоих терминов, иногда между ними вводится местоимение: mti u mkulu *(дерево большое*, дословно: *дерево оно большое)*; поэтому по-французски туземцы говорят: l'homme lui fort (дословно: *человек он сильный)* вместо l'homme est fort *(человек силен)*. Это местоимение часто заменяется неопределенным и неизменяющимся местоимением «i»; это последнее, сочетаясь с различными указательными элементами, превращается в конце концов в своего рода глагол-связку в суахили: mti ni mkulu *(дерево велико)*.

В этом случае мы наблюдаем как бы самый процесс образования глагола-связки. В индоевропейских языках связка—это обыкновенно прежний самостоятельный глагол, потерявший свое собственное значение (см. стр. 160 и сл.). Таким образом введение связки в именное предложение объясняется легко. Есть действительно понятие, которое не может быть выражено простым соединением подлежащего со сказуемым: это—понятие времени. Глагол, как носитель этого понятия, был в этом случае необходим. Чтобы передать предложение *небо было голубое*, венгерский язык принужден сказать as ég kék vala *(небо голубое было)*, прибавляя прошедшее время глагола *быть* для выражения времени. Тот же глагол служит одновременно и связкой. Гомер так же употребляет будущее ἔσται в τὸ δέ τοι ξεινήιον ἔσται *(это будет тебе даром гостеприимства)*, потому что здесь необходимо указать время. Наклонение является также понятием, входящим в морфологию глагола; приходится поэтому вводить связку в фразу, когда должно быть указано наклонение: εἷς δέ τις ἀρχὸς ἀνὴρ βουληφόρος ἔστω *(один пусть будет вождь, муж-советник)*.

Войдя в именное предложение для выражения времени или наклонения, связка в нем иногда закрепляется без всякого

---

[1] *Simonyi*, Die ungarische Sprache, S. 403.
[2] *Gauthiot*, «Mémoires de la Société de linguistique», t. XV, p. 225.
[3] *Sacleux*, «Mémoires de la Société de linguistique», t. XV, p. 152 et suiv.

значения. Так, в латинском языке чисто именное предложение является исключением; нормальный тип предложения—со связкой. Homo bonus est *(человек добр)*, avarus est homo *(человек скуп)*. Так же и по-французски les marrons sont chauds *(каштаны горячи)*, по-английски life is short *(жизнь коротка)*, по-армянски, в некоторых славянских языках (исключая русский) и др. Отсюда и ошибка некоторых грамматиков, которым связка могла показаться изначальным элементом предложения.

Сама история слов доказывает, что это совсем неверно. Во всех индоевропейских языках связка произошла от глагольных корней, значение которых мало-помалу ослабело. Так например корень «es»—давший материал для связки в очень древние времена—имеет собственно значение *существование, жизнь*; санскритское причастие sat обозначает *существо*, а его производное satyas—*истинный*; по-гречески τὰ ὄντα значит *бытие*. Можно проследить, как глагол, значивший *существовать*, потерял свое значение и превратился в связку.

Многие языки не удовлетворились корнем «es» для этой роли[1]. Есть немало заместителей verbum substantivum в функции связки. Один из самых распространенных—это глагол с собственным значением *расти, возрастать*. Он сохранил это значение в греческом φύειν. Но санскритское bhavati приобрело значение *становится, делается* и наконец просто—*он есть*; в древнеанглийском béo значит *я есмь*, как и biu в ирландском; латинский язык извлек из этого корня прошедшее fuit *(он был)*, а славянские языки—ряд форм глагола существования *(быти, бихъ* и т. д.). Были использованы и другие корни: по-гречески γίγνομαι *(я становлюсь, делаюсь)* очень близко к глаголу *быть*, как латинское versor. Латинское stare дало французскому прошедшее от être *(быть)*—étais. Германские языки образовали из корня *обитать* (санскритское vasati—*он обитает)* часть форм своего verbum substantivum (немецкий ich war, gewesen). Пожалуй в русском языке заместители глагола *быть* наиболее разнообразны; в этой роли употребляются с различными оттенками значения: *сидеть, лежать, стоять, состоять, представлять собою* и др.[2].

Но предложения с этими глаголами только наполовину именные, потому что связки имеют оттенки, идущие от собственного значения глаголов, употребленных в качестве связки. Поэтому эти предложения близки к предложениям, очень часто встречающимся в древних языках, где прилагательное—атрибут—соединено с любым глаголом; греческое κόλακες ἀκούουσιν *(они слышат, как их называют льстецами)*, греческое χθιζὸς ἔβη κατὰ δαῖτα *(он вчера пошел на пир)*, латинское ibant

[1] *J. et E. Marouzeau*, «Mélanges d'indianisme offerts à Silvain Lévy», p. 151 (с библиографией).

[2] См. *Boyer et Spéransky*, Manuel pour l'étude de la langue russe, Paris 1921.

obscuri *(шли незримые)*, старославянское паде ниць *(он упал на землю)*.

Эти предложения можно назвать именно-глагольными, так как они в себе сочетают типические черты обоих выше противопоставленных типов предложений. В основе они именные предложения, но в них проник глагол. Наоборот, есть предложения глагольно-именные. Это такие фразы, в которых глагол заменен именным выражением, как в примерах, данных в предшествующей главе: il m'est avis *(мое мнение, по моему мнению)* вместо je pense *(я думаю)* или латинское opus est mih (вместо egeo). Некоторые языки особенно охотно употребляют эти глагольно-именные фразы. На двух окраинах области распространения индоевропейских языков широко употребляется этот тип предложений. Это, с одной стороны, языки Индии, а с другой—кельтские языки в Ирландии и в Великобритании. В классическом санскрите и уже в языке Махабхараты мы видим тенденцию замены личных глагольных форм причастием, иногда сопровождаемым своего рода связкой. Это не столько замена именною фразой фразы глагольной, сколько внедрение одной в другую, так как понятия, которые подлежат выражению, принадлежат к областям глагола: это или действие или состояние, а не качество. Так например kva yūyam uṣitās (Patañjali) *(где вы жили)* с причастием uṣitās в именительном падеже множественного числа вместо ūṣa—второго лица множественного числа глагола. Число таких предложений с течением времени увеличивалось; оно значительно в классическом санскрите, для которого употребление причастия есть одна из типических черт. Развитие причастного предложения способствовало замене действительного залога страдательным в ряде случаев (см. стр. 103). Так, уже в прозаических отрывках Махабхараты мы находим такие фразы: mayā vṛta upādhyāyas *(я выбрал учителя,* дословно: *мною выбран учитель)*, tvayā parāddham *(ты совершил прегрешение,* дословно: *тобой поступлено ошибочно)*, avābhyām apūpo dattas *(мы оба дали пирог,* дословно: *нами обоими дан пирог)*.

В кельтских языках за счет личных форм развивается инфинитив. Слова предложения, выражающие действие, чаще бывают словами именными, чем глаголами. Так, в следующей фразе, взятой из староваллийских Мабиногион gobeith yw gennyf, y neges yd eloch ymdanei, y chaffel *(я надеюсь, что вы успеете в деле, по поводу которого вы идете хлопотать,* дословно: *надежда у меня в вашем получении дела, что вы пойдете по поводу него)*. Так же и в новоирландском языке в знаменитом рассказе Diarmuid и Grainne: Creud adhbhar na moichéirghe sin ort *(почему ты встал так рано?* дословно: *какая причина этого раннего вставания твоего?)* или еще: na biodh fios ar d-turais ag aon duine go teacht tar ais duinn aris *(пусть никто не знает о нашем путешествии, пока мы не вер-*

немся, дословно: *пусть не будет знания о нашем путешествии ни у одного человека до возвращения нас снова).* Кельтские глагольные существительные так близки к глаголам, что они принимают приставки, типичные для глагольных времен. Так, приставка «ry» означает прошедшее время, и в средневаллийском языке можно сказать: gwedy clybot yn Rufein ry oresgyn o Carawn ynys Brydein *(когда узнали в Риме, что Караун завоевал остров Британию*, дословно: *после получения известий в Риме о завоевании Карауном острова Британии).*

***

Итак, среди различных употреблений имени и глагола есть употребления, противопоставляющиеся друг другу и представляющие две различные формы мысли; но есть и употребления, сближающиеся друг с другом, в конце концов смешивающиеся. Промежуточную форму между ними составляют только что рассмотренные именно-глагольные и глагольно-именные предложения. Необходимая принадлежность этих фраз—такое слово, которое в одно и то же время и глагол и существительное. Иногда это глагол той категории, которую китайские грамматики называют страдательной (см. стр. 118). Иногда это имя глагольного типа, существительное или прилагательное, означающее действие, т. е. инфинитив или причастие. Санскрит и кельтские языки показывают, что посредством этих глагольных имен можно в некоторых случаях выразить глагольную идею через имя. Эта возможность хорошо известна всем переводчикам греческих или латинских текстов. Во французских школах в младших классах обучают искусству заменять имя глаголом или обратно; это делается или для сохранения порядка слов древнего текста, или же для большего изящества и для гармонии речи. Следует поэтому внимательнее рассмотреть значение глагольных имен.

Все инфинитивы, в сущности,—имена, означающие действие (nomina actionis), но не все такие имена—инфинитивы. В большинстве индоевропейских языков существуют имена, обозначающие действие, образованные посредством специальных суффиксов, характеризующих их как имена действия. Вообще говоря, они связаны непосредственно с глагольным корнем и входят до известной степени в глагольную систему. Ряд общих черт соединяет их поэтому с глаголом, например управление. Известно, что имя отличается синтаксически от глагола тем, что последний может управлять винительным падежом, а первое—родительным. Но есть языки, в которых имя, означающее действие, управляет винительным падежом. Древняя латынь сохранила следы такого управления; у Плавта мы находим такие фразы: quid tibi nos tactio'st? *(что тебе*

до нас?) или quid tibi hanc rem curatio? (*что тебе за забота об этом деле?*).

Причастие также входит в более общую категорию имен, означающих лицо, связанное с действием, т. е. совершающее или претерпевающее его (причастие действительного или страдательного залога). Эти имена называются именами действующего лица (nomina agentis). Но обычно, как и имена, означающие действие, эти имена действующего лица не различают залогов (см. стр. 124). Причастие иногда управляет, как глагол, винительным падежом, например латинское imitatus est eum (*он ему подражал*), как imitor eum (*я ему подражаю*). Это управление часто распространяется на другие имена действующего лица—не причастия; мы читаем у Плавта: orator iusta (*глашатай справедливости*). Это по всей вероятности в латинском языке был очень употребительный оборот, так как он выплывает в эпоху упадка: peccatorum veniam promittor (*обещающий милость грешникам*). Это же явление встречается также во многих других языках: по-санскритски—dātā̧ vásūni (*податель имущества*, винительный падеж); по-древнеперсидски ahuramazdā ϑuvām dauštā biyā (дословно: *да будет Ахурамазда любитель тебя*, винительный падеж, *да любит тебя Ахурамазда*); по-зендски puϑrem varšta (*родитель сына*, винительный падеж); по-древнегречески πολλά συνίστωρ αὐτοφόνα κακά (*Эсхил*, Агамемнон, ст. 1090,—*соучастник многих преступных самоубийств*).

Имена действия и имена действующего лица, имеющие, вообще говоря, свои специальные морфемы, никогда не смешиваются. Они внутри более общей категории имени составляют две специальные категории, четко разграниченные. К ним можно присоединить имена орудий (nomina instrumentis) и имена, выражающие результат действия. Названия орудий часто имеют специальные суффиксы: так древнегреческое «τρον», латинское «trum» или «clum». Они прибавляются к глагольным корням; ἄροτρον, aratrum означает орудие для пахоты (*плуг*), как poclum—орудие для питья (*чаша*). Эти слова очень близки к именам действующего лица и по форме и по значению, как это видно из сравнения суффикса «tro» названий орудий и суффикса «ter», «tor» имен действующего лица.

Что касается имени, выражающего результат или объект действия, то такое имя чаще всего происходит от имени, означающего самое действие. Слово coupure—существительное, означающее действие глагола couper (*резать*), как pâture—существительное от глагола paître (*пасти*) и bordure существительное от глагола border (*окаймлять*). Но слово coupure может означать также *порез* или *вырезку* (скажем из газеты), т. е. результат резания, pâture может означать также и *корм*, которым питается пасущееся стадо, а bordure может означать *кайму*, внешнее обрамление платья или клумбы.

Большинство французских существительных, означающих действие, может быть употреблено в значении цели действия. Многочисленные примеры подобных явлений встречаются во всех индоевропейских языках.

Все эти категории объединяют значительное число нарицательных существительных. Действительно, многие из названий обычных предметов или даже животных в прошлом были именами действия, действующего лица, орудия и приобрели более специальное значение. Причастие или глагольное прилагательное—а это не что иное, как более общая форма имени действующего лица—дали большое число нарицательных существительных: serpens *(змея)* собственно—*ползающая*; древнегреческое: ὀδούς, латинское dens—*зуб (едящий)*, как санскритское radanas *(зуб)*—*грызущий*, radati—*он грызет*. Все эти имена, связанные с глагольными корнями, легко объясняются, исходя из глагольной фразы.

В именном предложении мы находим точную аналогию тому, что собою представляет имя действия в глагольной фразе: это—абстрактное имя качества (nomen qualitatis). Возьмем две фразы: j'adore Rose *(я обожаю Розу)* и Rose est bonne *(Роза добра)*. Доброта есть свойство быть добрым, как обожание есть действие—обожать. Следовательно отвлеченное имя, естественно, выделяется из именного предложения. Есть случаи, когда отвлеченное имя и имя, означающее действие, очень близки друг к другу. Это бывает например, когда имя действия имеет один корень с глаголом, значение которого скорее пассивно, чем активно. Глагольные предложения, в которых мы находим такие глаголы, сближаются с предложениями глагольно-именными, о которых была речь на стр. 123, или могут быть ими заменены. Так, по-датски имя действия, соответствующее глаголу elske *(любить)*,—kjaerlighed *(нежность)*, свойство быть kjaerlig *(нежным)*. По-французски l'endurance *(выносливость)* есть и имя действия и отвлеченное имя: из глагольного предложения Pierre endure la faim *(Петр выносит голод)*, мы получаем l'endurance de la faim *(вынесение голода)*—действие от глагола *выносить*. Но из именного предложения Pierre est endurant *(Петр вынослив)* мы получаем l'endurance de Pierre *(выносливость Петра)*. В последнем случае l'endurance *(выносливость)* есть свойство быть endurant *(выносливым)*, как clémence *(снисходительность)* или patience *(терпение)*—свойство быть clément *(снисходительным)* или patient *(терпеливым)*.

От категории отвлеченных имен перейдем к именам конкретным, так как отвлеченное имя часто употребляется с конкретным значением. То, что отвлеченное имя выражает в возможности, нам легко представить в осуществлении. Поэтому типичные суффиксы отвлеченных имен, как латинское «tut» или «tat», французское «té», немецкое «ung», встречаются также и в име-

нах конкретных. Переход от отвлеченного к конкретному есть в таких случаях не что иное, как замена понятия образом. На практике эта замена облегчается или употреблением слова во множественном числе или употреблением его как эпитета. Так, множественное число от латинского слова virtus *(добродетель)* применяется к добродетельным поступкам—virtutes (дословно: *добродетели*, множественное число). В языке церковном это слово обозначает даже часто *чудеса*. Множественное число от латинского слова laus означает похвалы, действия или слова одобрения (laudes). La largesse *(щедрость)* и la complaisance *(снисходительность)* вызывают отвлеченные понятия; множественное число: des largesses и des complaisances—значения конкретные, факты реализации абстрактного. В этих примерах употребление слова во множественном числе изменяет его значение. Употребление слова в качестве эпитета влияет не в меньшей степени на его значение; так, la douceur *(сладость)*—свойство быть сладким, но это и сладкая вещь *(сладости)*: ce remède est une douceur *(это лекарство—сладость)*. Также по-немецки отвлеченные слова Bescherung *(подарок)*, Schande *(стыд)* употребляются для обозначения предметов в таких например фразах: Das ist eine schöne Bescherung, dies Verfahren ist eine Schande für eine Familie *(это прекрасный подарок, этот поступок стыд для семьи)*.

Конечный результат развития отвлеченного слова в направлении конкретности, это—его превращение в прилагательное. В таких предложениях, как cet homme est toute bonté *(этот человек—сама доброта)*, cette femme est la vertu même *(эта женщина—сама добродетель)* слова bonté *(доброта)*, vertu *(добродетель)* играют роль эпитетов. Отсюда происходит, что иногда прилагательные—это более древние существительные. Латинское uber *(плодородный)* есть не что иное, как адъективированное существительное uber *(сосцы, вымя)*. Это значение вышло из таких оборотов как ager uber, т. е. поле, подобное вымени, т. е. производящее в изобилии и кормящее. Новое здесь заключается в придании существительному окончания прилагательного: вместо agri ubera, где второе существительное—приложение к первому, говорят agri uberes. Двусмысленность согласования в таких случаях, как arva ubera *(пашни, подобные сосцам)*, облегчала нововведение. Встречаются даже существительные в превосходной и сравнительной степенях, хотя степени сравнения—свойства только прилагательных: в средненемецком scheder—сравнительная степень от schade *(убыток)*. Действительно, в немецкой фразе es ist schade *(жаль)*, английской it is a pity *(жаль)*, французской c'est dommage *(жаль)* существительное играет роль прилагательного и может иметь степени сравнения.

Тот факт, что существительные могут легко стать прилагательными, показывает, что между этими двумя разрядами слов

нет коренного различия. Без сомнения, между *Петр добр* и *доброта—добродетель* имеется то различие, что слово *добрый* выражает качество индивидуализированное, конкретизированное в определенном существе, в данном случае в Петре, в то время как *доброта* есть выражение самого качества, взятого отвлеченно, но если я скажу *доброта Петра велика*, тем, что я придал слову доброта дополнение, я указываю на индивидуум, чье качество есть доброта, и моя фраза имеет совершенно тот же смысл, как если бы я сказал *Петр очень добр*. Здесь только различие в построении словесного образа. Лучше всего можно понять противопоставление существительного и прилагательного, сравнивая параллельные фразы, в которых одно и то же слово дано в обоих употреблениях, например les blessés allemands *(немецкие раненые)* и les Allemands blessés *(раненые немцы)*, des savants sourds *(глухие ученые)*, и des sourds savants *(ученые глухие)* и т. д.[1].

Нет сомнения в том, что первые слова каждого ряда существительные, а вторые—прилагательные. Если я рассматриваю всю совокупность раненых, среди них я могу выделить группы различных национальностей, я говорю о раненых немецких, русских, французских и т. д. Если же я рассматриваю совокупность немецких солдат, я могу различить в них группы убитых, раненых, пропавших без вести, здоровых и т. д. И я говорю о немцах раненых, убитых, здоровых и т. д.

Часто эту мысль выражают так: понятие, передаваемое прилагательным, имеет бóльший объем, чем понятие, передаваемое существительным. Это верно с таким дополнением: с точки зрения говорящего. Дело действительно не в том, больше ли *ученых*, чем *глухих*, или *глухих*, чем *ученых*, больше ли *раненых* чем *немцев*, или *немцев*, чем *раненых*, но в том, чтó рассматривает говорящий как основную категорию—*глухих* или *ученых*, совокупность *раненых* (например в госпитале) или совокупность *немцев* (например в армейском корпусе).

Подобное же различие объемов может быть между существительными. Так, пользуясь приложением, говорят l'enfant écolier *(дитя-школьник)* или l'écolier enfant *(школьник-дитя)*. Вторые слова—прилагательные, а первые—существительные. Говорящий в первом случае рассматривает прежде всего категорию детей, а во втором—школьников. Это две различные точки зрения.

Прилагательное в свою очередь может стать существительным. Это происходит всегда, когда общее качество, выраженное прилагательным, относится к отдельному лицу, т. е. всякий раз, когда неопределенное по своей природе прилагательное становится определенным. Это различие настолько важно, что морфология большинства языков отмечает его. В санскрите

[1] *Jespersen*, Sprogets Logik, 1913, S. 19.

и в древнегреческом языке иногда достаточно ударения, чтобы показать это различие: λευκός *(белый)* и λεῦκος *(белая рыба)*. Чаще всего такая конкретизация отмечается специальным суффиксом, прибавляемым к прилагательному. В древнегреческом и латинском языках—это суффиксы с носовым звуком. Так στραβός значит *косой, косоглазый*, но Στράβων—*тот, кто косит, косой* (существительное), catus—*хитрый*, но *Catō* (родительный Catonis) *хитрец*, rufus—*рыжий*, но Rufo (родительный Rufonis) *рыжий* (существительное).Отсюда и употребление этих прилагательных в качестве имен собственных. Сравните vous êtes impertinent *(вы нахальны)* с vous êtes un impertinent *(вы нахал)* или же с определенным членом l'impertinent! *(нахал!)*. Когда перед прилагательным стоит член, это значит не только то, что данное лицо нахально, но что оно сосредоточивает в себе это качество, его определяющее и классифицирующее. Это—причина, почему собственные имена, происшедшие от прилагательных, имеют определенную форму. То же относится и к звательным падежам. Ибо, зовя кого-нибудь, мы не хотим указать, что он обладает тем или другим качеством, но мы хотим его обозначить индивидуально посредством качества, которое ему присуще. В германских и славянских языках прилагательное имеет два склонения: одно для прилагательных определенных, а другое для неопределенных; в звательном падеже прилагательные имеют определенное склонение, в готском например atta weiha *(о, святой отец)*, broþrjus meinai liubans *(братья мои возлюбленные)*. По-французски, как это видно из предыдущих примеров, определенность передается посредством прибавления члена: un monsieur impertinent, но monsieur l'impertinent. Говорят hé, le gros! le poilu! l'enflé *(эй, толстяк! лохмач! пузан!)*. Отсюда употребление членов в собственных именах: Lebeau, Legrand, Leroux.

Выражая во французском языке определенность, член может придать существительность всякому языковому обороту. Говорят: un pourquoi *(одно «почему»)*, des si *(эти «если»)*, des mais *(эти «но»)*.

Даже целое предложение может стать существительным. Если глагольному предложению придать общий смысл и представить его отвлеченно, оно станет именем-символом. Ребенок видит, как отходит поезд, слышит свист паровоза и видит как поезд трогается. Он передает свое впечатление словами wou wou part *(пуф, пуф, но-о!)*, соединяя впечатления от звука и движения. Это глагольное предложение, но ребенок обобщает и называет поезд именем wou wou part *(пуф, пуф но-о)*. Для него поезд—это что-то такое, что двигается, делая пуф, пуф. И он скажет *пуф пуф но уже нет* или *пуф, пуф но был большой, зеленый, красивый* и т. д. Из глагольного предложения он сделал существительное, поставивши перед ним член. Это способ образования многих французских слов: le qu'en dira-t-on *(пе-*

ресуды), un m'as-tu vu, au décrochez-moi ça и др.[1]. Флективные языки образуют слова такого рода посредством окончаний. Ритора Ульпиана из Тира прозвали Κειτούκειτος по выражению: κεῖται ἢ οὐ κεῖται *(установлено или нет?),* которое он беспрестанно употреблял. Санскритские сложные имена—это фразы в миниатюре: ahampurvas (дословно: *я первый)* употреблено в Ригведе как эпитет колесницы *(которая хочет победить в бегах).* Колебались отнести к глаголам или к существительным первые элементы таких древнегреческих слов, как: ἑλκεσίπεπλος *(одетый в длинное платье),* τανυσίπτερος *(простирающий крылья)* или δακέθυμος *(терзающий душу)*[2].

Здесь нет места колебаниям. Это, понятно, глаголы, как и французские prie-Dieu *(скамья в церкви),* traîne-misère *(бедняга),* meurt-de-faim *(голодающий),* vide-gousset *(коробочка),* brise-lames *(волнорез).* На детском языке духи называются un sent-bon (дословно: *пахнет хорошо).* Но каждое из этих сложных слов бесспорно—имя.

* * *

В таких чертах вырисовывается классификация имен, охватывающая совокупность существительных и прилагательных (включая, понятно, наречия образа действий). С одной стороны, имена действия и действующего лица, определяемые из глагольной фразы; от них происходят названия орудий и предметов. С другой стороны, отвлеченные и конкретные названия качеств (существительные и прилагательные)—такие, какими их определяет именная фраза; от них образуется большое число названий предметов. Мы уже говорили, что есть способ таким же образом классифицировать глаголы по наклонениям. Имена и глаголы—это живые элементы языка в противоположность его грамматическим орудиям (предлоги, союзы, члены и местоимения). Мы видим следовательно, что общая классификация слов возможна по плану, который оправдывается логикой и который не находит себе противоречий в грамматиках основных языков. Различные виды слов, нами здесь отличаемые, чаще всего имеют для своего выражения специальные морфемы, различные в различных языках.

Но эта логическая классификация—не единственная из возможных. Можно представить себе также классификацию психологическую, основанную не только на представлениях, заключенных в самих словах, но и на ценности, которую сознание приписывает этим представлениям[3]. Психологический аспект

---

[1] Аналогичные факты в венгерском языке см. *Symonyi,* Die ungarische Sprache, S. 244.

[2] *Osthoff,* Das Verbum in Nominalcomposition; *F. Meunier,* Les composés syntactiques, Paris 1872.

[3] *Van Ginneken,* Principes de linguistique psychologique, p. 62 и дальше, с цитатами из Binet.

часто покрывает собой аспект логический. Они друг друга уточняют, налагаясь друг на друга. Но первый иногда более разнообразен, чем второй, и включает в себя категории, не касающиеся логики. Кроме того он имеет то преимущество, что допускает экспериментальную проверку. Действительно, психологи, изучая явления памяти, могут измерить соотносительную степень «прикрепленности» (adhesion) слова к мозгу, и на этом изучении строится особая классификация слов в зависимости от быстроты забывания слов.

Есть очень простой способ учесть относительное значение элементов любой данной фразы для нас. Прочитайте исследуемую фразу различным лицам и спросите их, какие слова поразили их, им запомнились более всего. У всех ответы обычно одинаковы. «Полные слова» ярче, чем морфемы, имена, чем глаголы, конкретные имена ярче, чем отвлеченные. Из слов обращают на себя больше всего внимания те, которые вызывают непосредственно зрительный образ, и среди них особенно собственные имена лиц или мест (при условии, если собеседник их знает). Скажите кому-нибудь *я еду в Мелэн* или *я не мог съездить в Мелэн*, или *я может быть поеду в Мелэн*. Образ, возникающий прежде всего в этих трех случаях,—это образ маленького городка, утопающего в зелени, с его серыми крышами, расположенными уступами по склонам холма. Слушатель увидит арки моста, переброшенного через Сену, на берегах ряд высоких тополей, или же иглу собора, возвышающегося над городом, или какой-нибудь дом, ему хорошо знакомый. Образ непосредственный и непроизвольный. И только уже после возникает в уме представление о путешествии и соображение, совершилось путешествие или нет. Как и всякая морфема, отрицание лишено всякой изобразительной силы.

Этот факт имеет значение при использовании эстетических возможностей языка. Не считаясь с этими фактами, некоторые писатели совершали настоящие ритмические нелепицы. Чтобы противопоставить в глазах читателя два факта, недостаточно механически прибавить отрицание к словам, передающим одно из них, так как таким образом не уничтожается впечатление, которого хотят избежать. Желая описать сад, залитый летним солнцем, один современный поэт пишет:

Et d'entre les rameaux que ne meut nul essor
d'ailes et que pas une brise ne balance,
dardent de grands rayons comme des glaives d'or...

(И среди ветвей, которых не колышут ни взмахи крыльев, ни ветерок, могучие лучи солнца падают, как золотые мечи). Эти стихи хорошо передают впечатление от взмаха крыльев или дуновения ветра, и употребление отрицания не уничтожает этого впечатления читателя. Одним только стихом Эредиа говорит гораздо лучше:

Tout dort sous les grands bois accablés de soleil.

(Все спит в громадном лесу, отягощенном солнцем).

Грамматическая морфема не смешивается с тем, что можно было бы назвать морфемой выражения.

Легко можно себе представить иерархию слов на основании их поэтической силы, крайними полюсами которой были бы, с одной стороны, имя собственное, вызывающее образ лица или места, с другой стороны, морфема—только грамматическое орудие, предлог, член или даже отрицание. Между ними, т. е. между конкретным и отвлеченным, располагается весь словарь. Как раз конкретное и отвлеченное—это крайние точки, легко и трудно запоминающиеся в языке. Рибо[1] так распределил память на слова в убывающей степени: прежде всего имена собственные, затем имена нарицательные, затем прилагательные и наконец глаголы.

Надо кое-что исправить в этом порядке, который, к сожалению, основан на традиционной грамматической классификации. Некоторые нарицательные имена существительные, даже некоторые прилагательные так же конкретны, как и имена собственные. Отвлеченность и конкретность имен могут меняться в зависимости от человека. Они меняются и в зависимости от языков. В древних языках, даже еще во французском языке, глагол всегда отягощен морфемами, которые делают из него более или менее отвлеченное слово. Правда, есть глаголы, образные не меньше имен существительных, но есть также глаголы, совершенно лишенные изобразительности.

Вообще говоря, верно, что забывают раньше всего собственные имена, существительные конкретные (которые часто суть имена собственные) скорее, чем существительные отвлеченные или же прилагательные. Среди глагольных форм инфинитив более живуч, чем изъявительное наклонение. Наиболее стойкие в памяти элементы—это грамматические части. Одним словом, отвлеченное прочнее держится в памяти, чем конкретное.

Это объясняется несомненно тем, что отвлеченное проникает в мозг посредством интеллектуального усилия, требует напряжения ума, а конкретное есть только отображение предметов в зеркале сознания. Таким образом хотя в данной фразе конкретные слова вызывают в нашем уме представления более живые, чем слова отвлеченные, но все же конкретные слова забываются скорее. Точность образа быть может дает нам возможность меньше обращать внимание на название этого образа.

Распределение частей речи, произведенное на основании этого принципа, совершенно отличалось бы от традиционной классификации. Глаголы, прилагательные, существительные

---

[1] «Les maladies de la mémoire», Paris, 2-me éd. 1883, p. 165; ср. *Van Ginneken*, Principes de linguistique psychologique, p. 71 et suiv.

были бы разгруппированы по совершенно иному плану, даже предлоги и наречия. Plein (собственно «полный»)—предлог в выражении plein la rue, plein les cheveux *(полна улица народу, полны волосы чего-либо)*, но этот предлог менее отвлеченный, чем à в aller à la rue *(итти на улицу)*, prendre aux cheveux *(взять за волосы)*. До сих пор как будто еще не углубили идеи такой классификации. Здесь достаточно было указать на ее возможность и интерес. На ней настаивать больше значило бы врываться в область словаря, которому будет посвящена особая часть, а также в область аффективного языка, которому отведена следующая глава.

ГЛАВА IV

АФФЕКТИВНЫЙ ЯЗЫК

До сих пор мы учитывали только то, каким способом мысли формулируются логически, т. е. мы изучали язык только как орудие интеллекта. Но человек говорит не только для того, чтобы выразить мысль. Человек говорит также, чтобы подействовать на других и выразить свои собственные чувства. Таким образом, беря за основу школьное деление на ум, волю и чувство, следует различать друг от друга языки логический, волевой и аффективный.

Волевой язык еще почти не изучался. Однако же он имеет свое значение, которое становится особенно ясным при изучении проблемы происхождения человеческого языка (см. стр. 27). Кроме того при рассмотрении этого языка в исторической перспективе обнаруживаются его собственные законы. В грамматике ему принадлежит область повелительного наклонения в глаголе и звательного падежа в имени. Эти категории имеют специальные формы и функции. Когда в предыдущем изложении мы соединяли в одном представлении глагольную форму, как *молчи*, именную, как *молчание*! и междометие, как *тс*.., это смешение частей речи было возможно только потому, что мы имели дело с языком волевым, в котором четкие различия между глаголом и именем стушевываются. Но хотя волевой язык часто черпает из языка логического, у которого он заимствует готовые грамматические выражения, все же эти два языка следует различать, так как у волевого языка свое назначение и он пользуется специальными орудиями. Но изучение этого языка—еще дело будущего.

Что касается аффективного языка, то ему мы уделим больше внимания. Он послужил предметом, особенно в течение последних 20 лет, глубоких исследований, которые определили его область и приемы[1].

---

[1] По этому вопросу см. особенно работы *Bally* и *Sechehaye*, на которых в большей своей части основана эта глава; *Ch. Bally*, L'étude systématique des moyens d'expression, «Neuere Sprachen», Bd. XIX; Stylistique et linguistique générale в «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen», Bd. 128, 1912, S. 87—126; *Ch. Bally*, Précis de stylistique, 1905;

***

Уже Георг фон Габеленц сказал: «Языком человек не только выражает что-либо, он им выражает также и самого себя». Следовательно мы должны не только принимать во внимание способ, каким выражены мысли, но также и отношение, которое существует между этими мыслями и чувствами говорящего.

Иначе говоря, во всякой речи нужно различать то, что нам дает анализ представлений, и то, что говорящий в нее вносит своего: элемент логический и элемент аффективный[1].

Эти оба элемента постоянно смешиваются в языке. За исключением речи технической и особенно речи научной, по самому существу своему лежащей вне жизни, выражение мысли никогда не свободно от какого-либо оттенка чувства. Больше того, в гамме аффективных окрасок нет ноты, которая соответствовала бы отсутствию чувства, есть только различные чувства. Когда для передачи одной и той же мысли у нас есть налицо несколько параллельных выражений, то очень редко случается, чтобы одно из них было чисто интеллектуальным и передавало бы рассуждение или факт без какой-либо эмоциональной окраски. Присутствуя при каком-либо несчастии, я восклицаю, сожалея жертву: *ах, бедняжка*! Я натыкаюсь на друга, которого я не ожидал встретить, и говорю ему: *как? вы здесь?* Эти фразы имеют очень четкое аффективное значение. Переведенные на язык логики, они звучали бы примерно так: *я жалею этого несчастного* и *меня удивляет, что вы здесь*.

Представьте себе, что я действительно употребил эти два последних типа фразы. Разве у них не было бы аффективной значимости,—разумеется, отличной от значимости двух предыдущих восклицаний, но не менее ясной? В них все равно чувствовалось бы желание либо извлечь мораль из несчастного случая, либо присоединить упрек к удивлению от встречи с другом, либо наконец желание сдержать выражение слишком сильного чувства, стремящегося вырваться наружу. Но в подобных случаях не выразить чувства значит все же выразить его.

Нет такой ходячей фразы, к которой не было бы примешано аффективных элементов. Говоря *Петр бьет Павла*, я как будто выражаю только отношение между двумя лицами, соединенными действием битья. По крайней мере так называемый логический анализ не показывает мне в ней ничего другого. Но на деле никогда подобная фраза не является только логическим

Ch. Bally, Traité de stylistique française, 1909; *Sechehaye*, Programme et méthodes de la linguistique théorique, 1908; *Vossler*, Sprache als Schöpfung und Entwicklung, 1905; *L. Spitzer*, Aufsätze zur romanischen Syntax, 1918. Практическое применение принципов стилистики: *Lanson*, Conseils sur l'art d'écrire и L'art de la prose.

[1] *Sechehaye*, «Mélanges de stylistique, offerts à F. de Saussure», p. 184 et suiv.

выражением отношения; я всегда вношу в нее аффективные оттенки. Мне никогда не безразличен тот факт, что Петр бьет Павла; если бы этот факт был мне безразличен, я не говорил бы об нем вовсе. В вышеприведенном примере в зависимости от того, мои ли дети Петр и Павел или чужие мне, в зависимости от их возраста, их силы, моего предпочтения, моих симпатий или от других подобных же обстоятельств, которые легко себе представить, произнося эту фразу, я буду испытывать различные чувства негодования, порицания, угрозы, гнева или удовлетворения, ободрения, одобрения, удивления.

Эти чувства, естественно, выражаются интонацией, модуляцией голоса, быстротой речи, силой произнесения того или другого слова или же жестом, сопровождающим речь[1]. Одна и та же фраза в произношении может приобретать тысячи изменений, соответствующих малейшим оттенкам чувства. Драматический актер, произносящий свою роль, должен для каждой фразы найти вполне соответствующее ей выражение и верную ноту: в этом ярче всего проявляется его дарование. Фразу, которая на бумаге является мертвой и лишенной выражения, он оживляет своим голосом, он вдыхает в нее жизнь. Таким образом, узнав значение слов и проанализировав грамматически фразу, мы еще не исчерпали ее содержания. Надо еще определить ее аффективное значение.

Эта задача встает перед психологом, изучающим природу чувств, также перед актером, стремящимся воспроизвести их на сцене, в меньшей степени эта задача стоит и перед языковедом. Эти чувства приобретают значение для этого последнего только тогда, когда они выражены лингвистическими средствами. В большинстве же случаев они остаются вне языка: они похожи на легкую дымку, окружающую выражение мысли, но не затрагивающую ее грамматической формы. Справедливо, что фраза «Петр бьет Павла» никогда не произносится без какой-либо интонации, определяющей оттенки ее значения. Но и человеческое тело в действительности всегда занимает какое-либо положение; иначе нельзя себе его представить. Положение покоя есть тоже какое-то положение. Дело скульпторов знать форму мускулов при всех этих положениях; поэтому им следует основательно изучать анатомию человеческого тела. Но анатом, рассекающий тело на части, может отвлечься от этого движения: все движения совершает то же самое тело. Так же точно, как бы ни изменялись интонации и жест при произнесении одной и той же фразы, языковед может не учитывать их, если при этом грамматическое строение этой фразы остается неизменным.

---

[1] *Bourdon*, L'expression des émotions et des tendances dans le langage, 1892.

Но есть два случая, когда аффективное выражение, вместо того чтобы налагаться на выражение грамматическое, вмешивается в последнее и его изменяет.

Аффективность в языке выражается обычно двумя способами: выбором слов и местом их в фразе. Другими словами, аффективный язык как основными ресурсами пользуется словарем и синтаксисом. Словарь будет изучен отдельно, и мы увидим при этом, какую большую роль играет аффективность в изменениях смысла слов. Здесь же нужно только упомянуть те случаи, когда аффективное значение слова связано с суффиксом, т. е. элементом морфологическим. Это довольно частый случай. Когда очень выразительное слово содержит какой-либо суффикс, случается, что суффикс этот до такой степени пропитывается, заражается этой выразительностью, что поглощает ее полностью и становится выразительным элементом слова. Так например суффикс «aille» вначале не обладал никаким специальным оттенком: в слове bataille *(битва)* он остался невыразительным, но входя в слова уничижительного смысла, как canaille *(сволочь)*, marmaille *(сопляки)* и т. п., он сам приобрел это уничижительное значение, и теперь каждый чувствует презрительный оттенок, заключающийся в словах вроде prêtraille *(поповский сброд)*. Суффиксы «ard» и «asse» в большом числе слов имеют аналогичное значение. Суффиксы, называемые «уменьшительными», потому что они придают значению слова, к которому присоединены, оттенок уменьшения, присоединяют обычно к этому своему значению оттенок изящества, манерности или нежности, симпатии, жалости: une maisonnette *(домик)*, un jardinet *(садик)*—это не только дом или сад маленьких размеров: суффикс «et, ette» (*ик*) играет в этих словах роль аффективной морфемы. Морфология служит здесь выразительности в такой же мере, как это мог бы сделать словарь посредством эпитета: *мой маленький дом, мой (бедный) маленький сад*.

Порядок слов касается также ближайшим образом грамматики[1]. С точки зрения свободы в порядке слов в разных языках есть значительные различия. Часто различают два вида языков: языки с свободным порядком слов и языки с постоянным порядком слов. Это деление не оправдывается фактами. В сущности, нет ни одного языка, в котором порядок слов был бы абсолютно свободным, но также нет языка, в котором порядок слов был бы совершенно связан. Древнегреческий язык, как и индоевропейский язык считаются языками со свободным порядком слов. И однако же, взяв фразу Платона, мы не можем переставить слова по своей прихоти, как мы смешиваем лото в мешке.

С другой стороны, как ни закреплен порядок слов во французском, немецком, китайском или турецком языках, но все же

---

[1] *Weil*, L'ordre des mots, 1879.

эти языки обладают в этом отношении некоторой гибкостью, и изменение порядка слов не делает фразы на этих языках совершенно непонятными. Все, разумеется, зависит от формы вводимых изменений.

Дело сводится к тому, что есть языки, в которых порядок слов играет грамматическую роль и следовательно свободный порядок слов стеснен морфологической функцией этого приема (см. стр. 82). В других же языках, напротив, грамматика не навязывает никакого обязательного порядка слов. В них логическое отношение слов фразы не изменяется при изменении места этих слов. Так, по-латыни я могу сказать Petrus caedit Paulum *(Петр бьет Павла)*, или же Petrus Paulum caedit *(Петр Павла бьет)*, или Paulum caedit Petrus *(Павла бьет Петр)*, причем не может быть никакого колебания, какое слово в фразе подлежащее, какое сказуемое и какое дополнение. Логический анализ не вскрывает никакого различия. И все же выбор между тремя этими порядками не безразличен.

Римлянин не ошибся бы в различных их значениях. Изучение латинской фразы у лучших писателей действительно показывает, что порядок слов в ней управляется строгими законами, хотя их и трудно установить благодаря их крайнему разнообразию; в каждом отдельном случае это—скорее дело чутья, чем правило. Существует обычный, банальный порядок слов, который приходит первым на ум[1]. От него можно отклониться, но это отклонение указывает на намерение подчеркнуть какое-либо слово, привлечь к нему внимание слушателя. Это прием стилистический, который можно довести до изысканности; здесь изучение синтаксиса захватывает область стилистики.

Эта исследовательская работа требует большой тонкости, опытного языкового чутья и тонкого литературного вкуса, соединенных с большим знанием филологических тонкостей изучаемого языка. Поэтому она и производилась пока еще в ограниченной мере. Даже в такой разработанной области, как классическая филология, только недавно было начато методическое изучение порядка слов в фразе[2]. И самый метод этого исследования только начинает уточняться.

Теперь уже установлено, что при грамматическом изучении синтаксиса какого-либо языка никогда не следует брать фразы без разбора, чтобы установить, в каком порядке в них расположены слова. Сперва надо выделить различные типы фраз, затем в каждом из этих типов установить некоторые группы, порядок слов в которых имеет существенное значение. Дело

---

[1] *L. Havet*, «Mélanges Nicole», p. 225—232.

[2] В особенности у *Marouzeau*, «Revue de philologie, de philosophie et de littératures anciennes», 1906, p. 309 et suiv. и L'ordre des mots en latin, P. 1922; *Kieckers*, Die Stellung des Verbs im Griechischen und in den verwandten Sprachen, 1911 и «Indogermanische Forschungen», Bd. XXX, S. 145, Bd. XXXII, S. 7.

в том, что слова не нанизываются одно за другим в фразу но некоторые группы слов комбинируются между собою.

Например в номинативной фразе сочетаются два элемента: подлежащее и сказуемое. Глагол, если он выражен (см. стр. 121), относится к сказуемому, и место глагола по отношению к сказуемому составляет вторичную комбинацию, независимую от первой. Обычный порядок слов в латинской фразе homo avarus est *(человек скуп)* или же avarus est homo *(скуп человек)* в зависимости от того, подчеркивается ли идея человека или скупости; во всяком случае оттенок часто неуловим; это только утверждение о человеческой скупости. Эти два порядка слов представляют собой обычный тип номинативной фразы. Отклонения от них объясняются всегда какими-либо причинами. Так, инверсия homo est avarus изменяет значение связки: фраза тогда становится глагольно-именной подобно французским фразам il se trouve bien *(он чувствует себя хорошо)*, il paraît grand *(он кажется большим)*. Связка, не становясь независимой, все же менее затушевана, чем во фразе номинативной. Мы ее переведем одним из следующих способов: *он действительно скуп, он бывает скупым, он, оказывается, скуп.* Порядок слов avarus homo est подчеркивает скупость: *этот человок оказывается скупцом, скупость—порок этого человека* и т. д. Коротко говоря, в именной фразе с глаголом *быть* порядок слов передает соответственно большее или меньшее значение подлежащего или сказуемого и два возможных значения глагола *быть* — простой связки или глагола, означающего существование.

Основные группы глагольной фразы — подлежащее, глагол, дополнения (прямое и косвенное); каждая из них заключает одно или несколько слов: подлежащее например может сопровождаться определениями (эпитетами) или другими зависимыми словами, а глагол одним или несколькими наречиями. Прежде всего следует определить, глагол (сказуемое) ли предшествует подлежащему или наоборот, а затем—как вводятся дополнения в такую фразу. Тогда устанавливается, что за исключением случаев, когда порядок слов имеет морфологическое значение (см. стр. 82), относительное положение глагола (сказуемого) и подлежащего в каждом языке определяется преобладанием известных типов фраз, которые в конце концов становятся обычными. Таким образом порядок слов даже в таких языках, как греческий или латинский, оказывается значительно более постоянным, чем это кажется на первый взгляд. Так, признано, что в древнегреческом есть некоторые формулы, в которых порядок слов неизменен. Говорилось например, ἔδοξε τῇ βουλῇ, а не τῇ βουλῇ ἔδοξεν *(постановлено советом,* а не *советом постановлено)*.

В подписях под произведениями искусства или в вотивных надписях установился обычай ставить глагол в середине фразы,

между подлежащим и зависимыми от него словами: Πύῤῥος ἐποίησεν Ἀθηναῖος *(Пирр сделал афинянин).*

Уже на древней ионической вотивной надписи VI в. до н. э., найденной на острове Наксосе, мы читаем Νικανδρη μ'ανεθεκεν ℎεκηβολοι ιοχεαιρηι *(Никандра, меня воздвигла Артемиде, стрелам радующейся).* В подобных случаях глагол редко бывает в конце. Несомненно, что, продолжая это исследование, можно установить обычный порядок слов в большом числе типов фраз древнегреческого языка; но рядом с такими типами фраз есть и другие, порядок слов в которых случаен, предоставлен выбору пишущего.

В тех языках, в которых порядок слов закрепился, не приобретя при этом морфологического значения, причины, установившие этот порядок, вскрываются путем внимательного анализа условий самого языка. Обыкновенно требуется достаточно большой промежуток времени, чтобы порядок слов установился окончательно. Например в кельтском языке он закрепился уже в наиболее древних ирландских текстах[1]: глагол ставился в начале фразы, предшествуемый только глагольными приставками, которыми кельтский язык широко пользовался; затем шло подлежащее и после него дополнения. Это место глагола-сказуемого перед подлежащим очевидно связано с тем, что кельтский язык вставляет всегда местоимения-дополнения (которыми он также широко пользуется) между глагольными приставками и глаголом; индоевропейские же языки обычно ставят энклитические местоимения на втором месте во фразе (после первого ударяемого слова). Так создавалось однообразие начала кельтской фразы, которая включала глагол с приставками и местоимение-дополнение. Такие фразы в кельтском языке были наиболее многочисленны и строились они так: глагольная приставка, местоимение-дополнение, глагол; подлежащее же могло стоять только после. Таким образом обычный порядок слов в фразе создался благодаря сохранению старой традиции. Но следует все же прибавить, что этот порядок допускает некоторые ограничения и что со временем он стал несколько менее выдержанным.

В германских языках дело обстоит несколько иначе. Немецкий язык пользуется двумя порядками слов, одинаково строгими в зависимости от характера фразы. В главном предложении глагол всегда занимает второе место, подлежащее и дополнение (или определение) могут, по желанию говорящего, быть помещены перед ним или после. В придаточном предложении глагол всегда ставится в конце, после подлежащего и дополнений. Так, например в главном предложении говорят: der Wolf lebt im Walde *(волк живет в лесу)* или im Walde lebt der Wolf *(в лесу живет волк)*, der König ist blind *(король слеп)* или blind

---

[1] *Vendryes*, «Mémoires de la Société de linguistique», t. XVII, p. 337.

ist der König *(слеп король)*; но в придаточном предложении man weiss, dass der Wolf im Walde lebt, dass der König blind ist. Закрепление этих двух порядков слов произошло постепенно в истории языка. В древнегерманском языке противоположение обычного порядка слов и случайных было намного сложнее в зависимости от различных типов фразы; затем произошло упрощение; условия, в которых оно осуществилось, еще мало изучены[1]. Давая глаголу определенное место, немецкий язык оставляет полную свободу расстановки всех других слов. При этом каждое расположение слов имеет свое собственное значение. Рядом с обычным порядком слов, первым возникающим в уме говорящего, возможны другие разнообразные порядки слов; говорящий выбирает любой из них по своему желанию.

***

Основное различие между языком аффективным и логическим (интеллектуальным) заключается в построении фразы. Эта разница бросается в глаза при сравнении языка письменного с языком устным. У французов язык письменный и язык устный так далеки друг от друга, что можно сказать: по-французски никогда не говорят так, как пишут, и редко пишут так, как говорят. Эти два языка отличаются кроме различия в подборе слов также различным расположением слов. Логический порядок слов, свойственный письменной фразе, всегда более или менее нарушен в фразе устной. Письменному языку принадлежат фразы типа: il faut venir vite *(надо быстро притти)*, quant à moi, je n'ai pas le temps de penser à cette affaire *(что до меня, у меня нет времени думать об этом деле)*, cette mère déteste son enfant *(эта мать ненавидит своего ребенка)*. Эти же фразы в языке устном приобретают примерно такой вид: Venez, vite! *(Приходите, живо)*. Du temps, voyons! Est-ce que j'en ai, moi, pour penser à cette affaire-là? *(Время, как же? да разве оно у меня есть, чтобы думать об этом деле)*. Son enfant? Mais elle le déteste, cette mère! *(Ее ребенок? да ведь она его ненавидит, эта мать)*[2].

Стоит сравнить эти фразы с размеренными фразами языка письменного с их придаточными предложениями, союзами, относительными местоимениями, со всем пышным убранством их периодов! Не говорят так: Quand nous aurons traversé le bois et que nous aurons atteint la maison de garde que vous connaissez, avec son mur tapissé de lierre, nous tournerons à gauche jusqu'à ce que nous ayons trouvé un endroit convenable pour y déjeuner sur l'herbe *(Когда мы пересечем лес и дойдем до известного вам домика сторожа со стеной, поросшей плющом, тогда мы повер-*

[1] *Delbrück*, Zur Stellung des Verbums, 1911.
[2] Все примеры взяты у Bally.

нем налево и будем итти, пока не найдем удобного места, чтобы позавтракать на траве). То же самое скажут примерно так: Nous traverserons le bois et puis nous irons jusqu'à la maison, vous savez, la maison du garde, vous la connaissez bien, celle, qui a un mur tout couvert de lierre, et puis nous tournerons à gauche, nous chercherons un bon endroit et puis alors nous déjeunerons sur l'herbe *(Мы пройдем через лес, затем пойдем до дома, знаете, до дома сторожа, вы хорошо его знаете, дома со стеной, что вся покрыта плющом, а затем мы повернем налево, мы поищем удобного места, ну и тогда мы позавтракаем на траве).* Те самые элементы, которые письменный язык старается заключить в связное целое, в языке устном оказываются разделенными, разобщенными, расчлененными; самый порядок этих элементов совершенно отличен. Это уже не логический порядок обычной грамматики: это порядок, в котором есть тоже своя логика, но логика преимущественно чувства, в котором мысли расположены не по объективным правилам последовательного рассуждения, а по тому значению, которое им приписывает говорящий и которое он хочет внушить своему собеседнику.

В устном языке понятие фразы в грамматическом смысле сходит на-нет. Говоря: L'homme que vous voyez là-bas assis sur la grève est celui que j'ai rencontré hier à la gare *(Человека, которого вы видите сидящим там, на песчаном берегу, я встретил вчера на вокзале),* я пользуюсь приемами письменного языка и вмещаю свои мысли только в одну фразу. В устной речи я сказал бы: Vous voyez bien cet homme—là-bas,—il est assis sur la grève—eh bien, je l'ai rencontré hier, il était à la gare *(Видите вы этого человека?—Вон там?—Он сидит на песчаном берегу. Так вот, я его встретил вчера, он был на вокзале).* Сколько здесь фраз? Это трудно сказать: допустите, что я сделаю остановку в местах, отмеченных тире, тогда слова là-bas *(вон там)* составят сами по себе отдельную фразу, совсем так, как если бы я отвечал на вопрос: Où est cet homme?—Là-bas *(Где этот человек? Там).* И даже фраза *Он сидит на берегу* (Il est assis sur la grève) легко может разбиться на две фразы, если я останавливаюсь между двумя ее составными частями: Il est assis, (il est) sur la grève или (C'est) sur la grève qu'(il) est assis *(Он сидит, он на берегу* или *там—на берегу он сидит).* Граница грамматических фраз здесь настолько трудно уловима, что лучше отказаться определить ее. Но с известной точки зрения здесь только одна фраза. Словесный образ один, хотя он и развивается, так сказать, кинематически. Но в то время как в письменном языке этот образ дается сразу, в языке устном его разбивают на отрезки, число и сила которых соответствуют впечатлениям, которые испытывает говорящий, или тому, как он хочет подействовать на слушателя.

Насколько часто письменный язык пользуется приемом подчинения, настолько же часто устный язык, как в предшествую-

щих примерах, прибегает к сочинению. Говоря, мы не употребляем грамматических связей, сковывающих мысль и дающих фразе связанную форму силлогизма. Язык устный гибок и быстр: он отмечает связь предложений между собой краткими и простыми приемами; во французском языке этому назначению служат союзы типа et, mais *(и, но)*; для того чтобы выразить зависимость, языки стремятся к единому способу, который мог бы применяться безразлично во всех случаях. Мы видим, как индоевропейские языки создали себе орудия для передачи отношений фразы к фразе и как создалась система этих отношений. Вначале интонация должна была сыграть свою роль: указывали отношение двух фраз, противополагая их одну другой посредством различия тона глагола или посредством различных частиц, повторявшихся в каждой из фраз. Некоторые языки сохранили различие в формах в зависимости от того, употреблены ли эти формы в главном или придаточном предложении. Но чаще всего придаточное предложение вводится посредством частицы (относительного местоимения или союза), которая служит как бы знаком его подчинения. Достаточно вспомнить головокружительный успех союза «que» во французском языке. Язык письменный, стремящийся к точности и имеющий возможность обдуманно подготовить выражение, усложняет выражение связи соответсвенно оттенкам мысли; но язык устный стремится выбрать только один символ, предоставляя собеседнику догадываться, какой вид отношения имеется в виду. Потому-то в одном языке один и тот же союз значит *потому что, хотя, чтобы, когда*. Во французском народном языке обычно отбрасывают формы dont, auquel, pour lequel, кажущиеся тяжеловесными и стеснительными, обозначая отношения только союзом *что* (que) и включая в относительное придаточное предложение указание на характер связи между предложениями. Вместо l'homme dont je connais la fille *(человек, дочь которого я знаю)*, le patron, pour lequel je travaille *(хозяин, у которого я работаю)*, le pauvre à qui je fais l'aumône *(бедный, которому я подаю милостыню)* говорят: l'homme que je connais sa fille, le patron que je travaille pour, le pauvre que je lui fais l'aumône.

Эти обороты, обычные в современном устном французском языке, были обычными в кельтских диалектах средних веков[1]. Они ясно показывают независимость языка устного от языка письменного.

Для устного языка характерно то, что он ограничивается подчеркиванием только вершин мысли; он выдвигает эти последние на первый план, и они главенствуют в фразе; логические же отношения слов и членов предложения между собою или выражены только неполно посредством, если это можно, интонации

[1] Аналогичные обороты встречаются также в немецком языке в областях, соседних с территорией славянских языков; ср. *Behaghel*, Geschichte der deutschen Sprache, 1911, S. 30.

и жеста или же не выражаются вовсе и должны быть угаданы. Устный язык приближается к языку «спонтанному»: под последним мы разумеем язык, возникающий непроизвольно, под действием сильного переживания. Он выделяет выразительные слова, не имея ни времени, ни досуга подчинять мысль строгим правилам рассудочного и организованного языка. Таким образом самопроизвольный (спонтанный) язык противопоставляется языку логическому.

Вопрос еще не исследованный, необходимо ли один из них должен предшествовать другому и не сливается ли язык самопроизвольный с языком аффективным. Если кто-нибудь вскрикнет, удивляясь неожиданной встрече: *Вы здесь!*, можно в конце концов утверждать, что в основе этого восклицания лежит грамматическое выражение: *Вы находитесь здесь*! или—*Я удивлен, что вы здесь*. Во всяком случае, грамматик не преминет его истолковать так, ссылаясь здесь на грамматическую фигуру эллипсиса, подразумевания.

Но в данном случае следует скорее всего обратиться к детскому языку. Ребенок, говоря papa ici *(папа здесь)* и указывая этим на то, что его отец пришел или находится здесь, может просто констатировать факт. С развитием способности анализировать свои представления и их выражать полностью в языке ребенок скажет: papa est ici или papa est arrivé ici вместо papa ici; нужно ли полагать в таком случае, что произошел переход от языка самопроизвольного, не-грамматического к языку грамматически организованному, без аффективной основы? Такое предположение было бы рискованным. Ибо ребенок не придавал своей рудиментарной фразе (papa ici) с самого начала объективного характера. Первые изданные им крики выражали его желание, волю, нужду; и он сказал первый раз: papa ici, чтобы выразить радость, что он видит своего отца, или желание его увидеть, попытку позвать его. Таким образом в процессе развития ребенка создалось объективное выражение papa ici путем устранения субъективного элемента; затем оно в свою очередь приобрело полную грамматическую форму посредством введения глагола; но начал ребенок с аффективной формулы.

Некоторые языковеды, в то же время и психологи, склонны предполагать, что у ребенка аффективный язык всегда предшествует интеллектуальному языку[1]. По их мнению, ум мало-помалу превращает ощущения и эмоции в понятия, и идея выделяется из аффективных элементов, не устраняя их полностью. Внутри самопроизвольного языка, чисто аффективного, образуется крепкое ядро, увеличивающееся постепенно посредством закрепления окружающих его частей; это—условный

[1] Особенно *Sechehaye*, Programme et méthodes de linguistique théorique, p. 67 et suiv.; *Lévy-Bruhl*, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, p. 27 et suiv.; *H. Paul*, Prinzipien der Sprachgeschichte, S. 285 u. and.

или грамматический язык; он всегда заключен и окружен другим языком, он из него беспрестанно черпает, но не исчерпывает его никогда. Это теория генетична и динамична. Она претендует на объяснение происхождения грамматики, т. е. организованного языка, из закрепления бесформенных и нестойких элементов, из которых состоял язык в дограмматическом периоде. Больше того: этот дограмматический момент сохраняется в большей или меньшей степени в жизни каждого языка; им-то и следует объяснять все явления аффективного языка. Но он может также, действуя в обратном направлении, питаться в свою очередь грамматикой, когда например логически построенная фраза становится чистым рефлексом, криком, издаваемым бессознательно под влиянием острой боли или внезапного испуга.

* * *

Грамматический, организованный, логический язык действительно никогда не бывает независимым от языка аффективного. Всегда налицо воздействие одного языка на другой. Мы только что видели, что все языки стремятся закрепить определенный порядок слов; либо грамматика навязывает неизменный порядок слов, либо по привычке устанавливается одинаковый порядок слов во всех фразах одного типа. Это не мешает эмоциональному элементу речи рядом способов отразиться на структуре фразы. Иногда с этой целью ставят какое-либо слово или часть фразы в самом начале, с тем чтобы дополнить их затем посредством какого-либо морфологического элемента, частицы или же местоимения; иногда же их отбрасывают на конец, за пределы контекста, намекнувши на него предварительно в фразе; иногда же резко разрывают связь фразы, вторая половина которой появляется в совсем другой структуре, без всякой связи с первой половиной. Письменный язык часто заимствует эти приемы, обычные для языка устного, в тех случаях, когда нужно сделать речь более выразительной.

Фразы Лабрюйера[1]: «un homme de talent et de réputation, s'il est chagrin et austère, il effarouche les jeunes gens» *(Человек талантливый и знаменитый, если он имеет печальный и суровый вид, он отпугивает молодых людей)*, или же «un noble, s'il vit chez lui dans sa province, il vit libre, mais sans appui» *(дворянин, если он живет в своей усадьбе в провинции, он живет независимо, но без опоры)* — несомненно дело рук мастера. Но в них он явно воспроизводит обычный в разговоре оборот: le pauvre monsieur, il est si bon *(этот бедный господин, он так добр)*; или же—un enfant sage, on lui donne tout ce qu'il veut *(послушный ребенок, ему дают все, чего он хочет)*. Этот

[1] *Brunot*, Histoire de la langue française, t. III, p. 485.

прием употребляется во многих языках. Его можно найти и в немецком языке: der Kirchhoff er liegt wie am Tage *(кладбище, оно видно как днем)*, die Glocke, sie donnert ein mächtiges Eins *(колокол, он громко бьет мощный один удар)*. Много подобных примеров можно подобрать в английском языке. Находим его и в древнеперсидском[1]. Он обычен в малайско-полинезийских языках. Наконец он существует и в китайском: вместо «во мэй кань-го та-ды фан-цза» *(я не видел его дома*, слово в слово: *я нет видеть его дом)* можно сказать «та-ды фан-цза во мэй ю кань-го» *(его дом, я его не видел)*.

Первоначально между этими двумя оборотами было некоторое различие в значении, как это видно из французского примера. Один банален и не выразителен, другой же в большей или меньшей степени выражает эмоциональный оттенок. Но может случиться, что второй становится настолько частым, что замещает первый. Из аффективного в таком случае он становится грамматическим. Так, по-французски можно сказать: cet homme-là, sa maison est belle вместо la maison de cet homme-là est belle (дословно первая фраза: *этот человек—его дом прекрасен*, вторая: *дом этого человека прекрасен)*. В языках типа ирландского обычно употребляют пролепсис: *его дом, этого человека* вместо *дом этого человека*. По-немецки возможен выбор между двумя выражениями: das Haus meines Vaters ist schön и meines Vaters Haus ist schön *(дом моего отца прекрасен* и *моего отца дом прекрасен)*. Но в диалектах возник другой оборот: meinem Vater sein Haus ist schön (дословно: *моему отцу его дом прекрасен)*, сочетающий одновременно пролепсис (посредством употребления притяжательного местоимения) и употребление дательного вместо родительного для выражения принадлежности. В некоторых диалектах современной Германии употребляется только этот оборот[2]. В Кобурге например оборот meines Vaters Haus *(моего отца дом)* совершенно неизвестен, говорят только: maen fader sae haos (где maen—при именительном mae—дательный и винительный). Этот народный и диалектический оборот известен и в литературном языке: его можно найти например у Гёте. Это прием аффективного языка, проникший в грамматику.

Даже грамматические категории иногда выражаются посредством приемов аффективного языка. Некоторые категории несомненно особенно легко принимают эту функцию. Изучая категорию времени, нам пришлось отвести важное место моменту длительности, а длительность — это вид, который принимает в наших глазах действие, специальное освещение, в котором мы его видим. Это следовательно вопрос точки зрения, а выбор точки зрения, будучи делом субъективным, заключает

---

[1] *Meillet*, Grammaire du vieux-perse, p. 11.

[2] *Ed. Hermann*, Griechische Forschungen, Bd. I, Leipzig, Teubner, 1912, S. 203.

в себе долю аффективности. Среди различаемых нашими грамматиками времен есть одно в высшей мере субъективное: это— будущее. Выражая мысль о том, что действие совершится в такой-то момент будущего, мы сосредоточиваем свое внимание не только на моменте выполнения действия, но указываем в то же время на настроения, которые мы переживаем относительно этого будущего действия.

Таким образом есть различие между будущим и прошедшим. Последнее—время объективное, потому что оно уже не зависит от нас и мы не вольны над ним. Это, как говорят, время историческое. Будущее же полно тайн возможности; оно допускает ожидание, желание, боязнь, надежду. Говоря «я сделаю это завтра», утверждая тем самым, что будет совершено мною завтра, я окутываю свою фразу субъективной атмосферой, которая в моих собственных глазах расцвечивает ее различными оттенками так, что фраза сводится к смыслу *я желаю* или *я согласен на то, чтобы...* или же *я боюсь* или просто *я имею намерение сделать это* и т. д.

История будущего в различных языках подтверждает эти замечания[1]. Будущее часто строится посредством выражения воли или желания, другими словами, оно имеет аффективное происхождение. Китайский язык образует будущее, ставя перед глаголом элемент «яо⁴», имеющий самостоятельное значение *желать*: «во³ яо⁴ лай» *(я приду*, слово в слово: *я хотеть притти)*. Английский язык употребляет форму I will или I shall do. Новогреческий язык заменил древнее будущее аналитической конструкцией, восходящей к выражению θέλω ἵνα *(я хочу, чтобы*, см. стр. 65*)*. В болгарском, начиная с XIII столетия, будущее выражается посредством глагола «хотѣти», употребляемого как вспомогательный глагол[2]. В некоторых французских говорах говорится il ne veut pas pleuvoir (буквально: *не хочет итти дождь)* вместо il ne pleuvra pas *(не будет итти дождь)*. И в литературном французском языке будущее типа aimerai происходит, как известно, из сочетания amare habeo *(любить имею)*, где глагол avoir *(имею)* указывает на долю участия говорящего в предполагаемом действии. То обстоятельство, что будущее выражается формами, настолько разнообразными и так часто обновляемыми, доказывает, что это время содержит большую долю аффективного элемента (см. стр. 201 и сл.).

Повторение есть также один из приемов, вышедших из языка аффективного. Этот прием, будучи применен к языку логическому, превратился в простое грамматическое орудие. Его исходную точку мы видим в волнении, сопровождающем выражение чувства, доведенного до его высшего напряжения. Пре-

---

[1] *V. Magnien*, Le futur grec, 1913; *Ribezzo*, I deverbativi sigmatici e la formazione del futuro indoeuropeo, 1907.

[2] *Vondrák*, Vergleichende slavische Grammatik 1906, Bd. I, S. 178.

восходная степень прилагательных многих языков состоит в повторении прилагательного. Здесь ясно видно, как грамматическое употребление вышло из употребления аффективного. Вначале повторение было только средством придать языку больше выразительности: c'est beau-beau *(это прекрасно-прекрасно)*. Но мало-помалу этот прием потерял свою эмоциональную значимость, и показалось удобным его употреблять для обозначения избытка и излишка, не вкладывая в это обозначение никакого аффективного элемента: il est gros-gros (дословно: *он толстый-толстый)* вместо il est très gros *(он очень толстый)*. Такова превосходная степень прилагательных в древнесемитских языках, сохранившаяся и обычная и теперь, например в абиссинском языке. В новогреческом говорят ζεστὰ ζεστὰ κολλούρια *(горячие-горячие баранки)*, εἶσαι πολὺ πολὺ κακός *(ты крайне зол, ты очень-очень злой)*[1].

Однако в таких языках, как французский, где этот прием никогда не грамматизировался (так как в французской грамматике есть другие способы для выражения превосходной степени), можно было сохранить за повторением его аффективную значимость. И таким образом il est gros-gros не вполне совпадает по значению с il est très gros. Еще лучше можно почувствовать различие, сравнивая две фразы, например il n est pas très joli (дословно: *он не очень красив)* и il n'est pas joli-joli (дословно: *он не красив-красив*). Допустим, что эти две фразы употреблены иронически; во второй фразе ирония будет более чувствительной.

Повторение, которое мы находим в языках индоевропейских и семитских, несомненно аффективного происхождения. Оно выполняет, как мы знаем, различные функции. Одна из наиболее четких—выражение завершенного действия. Такую функцию выполняет удвоенный перфект в древнегреческом глаголе[2]. Повторяя начальный слог корня, подчеркивали семантическую значимость глагольной формы. В семитском удвоение в глаголах состоит только в удлинении согласной, т. е. в замене посредством так называемой двойной согласной согласной простой (см. стр. 34). Здесь аффективное значение очень четкое[3]. Для выражения силы какого-либо действия в арабском языке поступают так: chábat *(он ударил)*, chábbat *(он ударил сильно)*, kasar *(он разбил)*, kassar *(он разбил на куски)* и т. п. В именах существенных есть след очень древнего образования множественного числа посредством удвоения, аффективное происхождение которого очевидно.

Это—случаи, в которых выражение чувства сделалось громматическим приемом, где логика пользуется приемами аффектив-

[1] *Pernot*, Grammaire du grec moderne, p. 90, 160.

[2] *J. Wackernagel*, Studien zum griechischen Perfektum, 1904.

[3] *Brockelmann*, Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, Bd. I, S. 508.

ного языка. Обратное также бывает нередко. В любом языке есть большое количество маленьких словечек, имеющих только аффективное значение и в которых так мало логического элемента, что порой они употребляются в значении, противоположном их обычному значению. Часто даже идет речь не только о словах, но о целых выражениях, заключающих в себе глагол (сказуемое), подлежащее и дополнение; это маленькие фразки, в которых говорящий может путем элементарного анализа распознать слова, из которых они состоят. Целое же производит впечатление только выражения аффективности. Таковы: par exemple *(вот как*, дословно: *например)*, выражающее удивление, или vous savez *(вы понимаете)*, выражающее уступку. Выразительная сила этих оборотов тем сильнее, чем их логическое значение более стерлось. Переход логического элемента в аффективный совершается путем изнашивания первого. Человек, перед которым высказали какую-либо мысль, удивившую его, ответил: ah! par exemple! *(а, например!)*, желая получить объясняющий пример. Затем установилась привычка отвечать par exemple на всякое неожиданное утверждение само по себе, даже в тех случаях, когда невозможно было дать такой пример. В конце концов восклицание заменило собой вопрос и par exemple стало употребляется как восклицание удивления, сомнения, вызова, гнева, испуга. Выражение раскрасилось различными оттенками и стало чисто аффективным; но путь его развития ясен. Оно исходит из логического смысла, и этот путь легко восстановить.

Но язык на этом не останавливается. Коренное свойство формул аффективного языка—изнашиваться очень скоро. Аффективное содержание из них легко улетучивается, и скоро остается только бледная форма. Устный язык охотно пересыпает свои фразы кучей словечек, лишенных выражения, которые служат как бы прокладкой между словами, имеющими значение: tiens, allez-y, pensez-y, voyez-vous, n'est-ce pas? (ср. по-русски: *знаете, понимаете, значит* и т. д.). Каждый из нас может себя поймать на том, что он в свой повседневный разговорный язык примешивает такие выражения. Из логических эти фразы стали аффективными. В конце концов они становятся чисто автоматическими. Это последний этап их развития, который устраняет из них все, и интеллектуальное и аффективное, содержание.

Таким образом аффективность проникает в грамматический язык, вынимает из него логическое содержание и его разрушает. Нестойкость грамматического строя объясняется в значительной мере воздействием на него аффективного элемента языка. Логический идеал всякой грамматики—это иметь одно выражение для каждой отдельной функции и только одну функцию для каждого выражения. Если бы этот идеал был осуществлен, язык имел бы такие же точные очертания,

как алгебра, в которой любая формула, раз установленная, остается неизменной во всех случаях. Но фразы не алгебраические формулы. Аффективный элемент обволакивает и окрашивает логическое выражение мысли. Никогда не повторяют дважды одной и той же фразы; никогда не употребляют два раза то же самое слово с точно тем же значением; не бывает двух языковых фактов совершенно тожественных. Причина тому—обстоятельства жизни, беспрерывно изменяющие условия наших переживаний.

ГЛАВА V

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ[1]

Морфологическая система всякого живого языка неустойчива. Это уже видно из фактов, приведенных в предыдущих главах. Даже изучая какой-либо мертвый язык, закрепленный в учениях грамматиков, мы найдем в его морфологии, как только попытаемся упорядочить ее, большое число неправильностей и противоречий. Не говоря уже об индивидуальных «ошибках», которые встречаются у самых лучших писателей, в любой морфологической системе есть «недостатки»—неизбежный удел всякого языка, даже наиболее обработанного. Любое правило сопровождается исключениями, не оправдываемыми логикой. Словом, морфологическая система всякого говорящего содержит в себе столько же причин для изменений, как и система фонетическая.

Но есть различие между изменениями этих двух систем. В противоположность подавляющему большинству изменений фонетических, захватывающих фонемы независимо от слов (см. стр. 45 и сл.), изменения морфологические касаются только слов, но не морфем вообще. Это зависит не только от того, что морфемы чаще всего нераздельно связаны со словами, но главным образом от того, что причина морфологических изменений лежит не в категориях нашего ума, но в их применении в языке.

Морфологические изменения всегда исходят от данного конкретного употребления и имеют в силу этого очень ограниченное распространение. Здесь изменяется не вся система, как в некоторых фонетических процессах, а только один элемент этой системы и только в данном случае.

Различие между этими двумя процессами становится ясным в получаемых результатах. Фонетическая эволюция всеобъемлюща и не оставляет после себя недоделанных остатков (ср. стр. 47); старое положение вещей она полностью замещает новым. Наоборот, эволюция морфологическая только очень редко исчерпывает всю совокупность к ней относящихся случаев. Рядом с

---

[1] *Meillet*, L'évolution des formes grammaticales, «Scientia», 1912, p. 384.

формами, ею созданными, она часто сохраняет большее или меньшее число старых форм, продолжающих жить в языке. Такие остатки есть на всякой ступени морфологической эволюции. Во французском языке инфинитив courir *(бежать)* заместил древнюю форму courre, сохранившуюся однако в выражении chasse à courre *(псовая охота)*, и вместе с тем остались в языке такие формы, как rompre *(ломать)* или moudre *(молоть)*. Мы бы ожидали, что если инфинитив courre изменился в courir, то вместо moudre и rompre должно было бы быть moudir и rompir. Но таких форм во французском языке нет. Множественное число французского les chacals *(шакалы)* не мешает существовать форме les chevaux *(лошади)*. Во втором лице множественного числа сохранилась форма vous dites, но все же говорят vous prédisez *(вы предсказываете)*, vous contredisez *(вы противоречите)*; но в другом аналогичном ряду фактов, vous contrefaites *(вы подделываете)*, не разорвана связь с vous faites *(вы делаете)*. Еще употребляется форма l'Hôtel-Dieu (название больницы) вместо Hôtel de Dieu, le monument Victor Hugo *(памятник Виктора Гюго)*, la rue Gambetta *(улица Гамбетты)*. Но в следующих выражениях употребляется предлог для выражения родительного падежа: la maison de Dieu *(храм*, дословно: *дом бога)*, les poésies de Victor Hugo (*стихи Виктора Гюго*, с предлогом de, выражающим родительный падеж), la politique de Gambetta *(политика Гамбетты)* и т. д. Язык почти не замечает этих противоречий и во всяком случае от них не страдает.

* * *

Две основные тенденции главенствуют в морфологических изменениях. Одна проистекает от потребности в единообразии, требующей уничтожения морфем, ставших анормальными («исключениями»); другая же — от потребности в выразительности, стремящейся создавать новые морфемы.

Анормальные морфемы устраняются посредством приведения их к нормальному виду, т. е. уничтожаются «исключения». Таким образом необходимость в единообразии удовлетворяется посредством аналогии[1]. Этим термином называется прием, посредством которого мы создаем форму или слово или оборот по известному н м образцу. Ребенок, говорящий j'ai li (неправильно) *(я прочитал)* вместо j'ai lu (правильно) по образцу j'ai ri *(я посмеялся)*, или требующий, чтобы его déproché *(отодвинули)* от стола после того, когда его approché *(прид-*

[1] *V. Henry*, Essai sur l'analogie, 1833; *Giles*, A Short Manuel of Comparative Philology, p. 58; *H. Oertel*, Lectures on the Study of Language, p. 96 and oth.; *H. Paul*, Prinzipien der Sprachgeschichte, S. 96; *Meillet*, «Revue internationale de sociologie», t. II, p. 360.

Об аналогии как основе сохранения форм см. *Ф. де Соссюр*, Курс общей лингвистики (р. пер. 1933).

винули) к столу, пользуется приемом аналогии. Невежда, щеголяющий изысканностью речи, пользуется аналогией, говоря je ne me remets pas de vous *(я не вспоминаю вас)*, je ne me rappelle pas de vous *(я не припоминаю вас)* по образцу je ne me souviens pas de vous *(я не помню вас)*.

По существу говоря, аналогия лежит в основе всей морфологии. Говоря, мы всегда подчиняемся аналогиям: парадигмы, даваемые в грамматиках, суть не что иное, как образцы, которым должен следовать всякий, изучающий язык. Я знаю, что инфинитиву finir *(кончать)* соответствует будущее je finirai *(я кончу)*. Когда мне придется употребить будущее от глагола на «ir», например от crépir *(штукатурить)* или от polir *(полировать)*, я, не колеблясь, скажу: je crépirai, je polirai. Но если, продолжая в этом направлении, я образую je venirai *(я приду)* от venir *(притти)*, я создам по аналогии форму, которая считается неправильной (при правильной je viendrai). Однако же история языка учит нас, что иногда такие аналогии в конце концов одерживают верх и остаются в языке. Долгое время говорили je tressaudrai и défaudrai—будущее от глаголов tressaillir и défaillir *(дрожать* и *падать в обморок)*. В современном языке эти будущие образуются правильно: je tréssaillirai и je défaillirai. Правильное спряжение изгнало старые формы из языка.

Языковеды в течение долгого времени выражали аналогию посредством формулы алгебраической пропорции: a так относится к b, как c относится к x, т. е. finir так относится к finirai, как tréssaillir к tréssaillirai. Так математическим путем получается это новое будущее. Но нужно всегда избегать применения математического рассуждения к объектам, существо и сложность которых не допускают этого. В случае с аналогией алгебра не дает точного отображения факта. Ее применение заставило бы нас думать, что изменение зависит от нашей воли и сознательно, в то время как это совсем не так.

Кроме того редко бывает, чтобы закон осуществлялся на основе только четырех элементов. Форма, на которую опирается аналогия, обычно не бывает изолированным элементом; это символ, опирающийся на несколько различных элементов. Оставаясь на алгебраической почве, нужно было бы по крайней мере исправить формулу так: p относится к p^1 так, как a относится к x, где p и p^1 символизируют неограниченные количества. Действительно, с одной стороны, дело не только в том, что инфинитив finir, сопоставленный с finirai, создал форму tressaillirai на основании tressaillir; в создании этой формы участвовала вся совокупность форм, общих у обоих глаголов. А с другой стороны, finir был поддержан в своем действии всеми глаголами на «ir», образующими свое будущее на «irai».

Кроме того алгебра в данном случае неприменима также потому, что она не учитывает соотносительной важности форм.

Есть основательная причина, объясняющая успех аналогии в случаях с будущими от tréssaillir и défaillir: они подчинились правилу оттого, что они редко употребляются. В настоящем времени изъявительного наклонения продолжают употреблять: nous tréssaillons, nous défaillons, несмотря на то, что от finir соответствующие формы звучат nous finissons, vous finissez; аналогия оказалась здесь бессильной, потому что настоящее время употребляется чаще, чем будущее. Все следовательно сводится к борьбе за преобладание и к силе сопротивления форм, которые наличествуют в уме говорящего.

Аналогия в известной степени зависит от закона наименьшего усилия, защищающего память от бесполезного бремени. Формы, устраняемые аналогией,—это формы нестойкие в том смысле, что, будучи редко употребляемыми, они не закреплены достаточно прочно памятью. Аналогия может победить только благодаря слабости памяти. Неправильная форма, если она употребляется редко, забывается и восстанавливается по правильному образцу.

Учась языку, дети создают значительное количество новых форм, пользуясь аналогией. Большинство этих форм впоследствии исправляется, так как это чаще всего только индивидуальные формы, проистекающие из нечеткого ощущения языка и неполного знания его. Но среди этих форм встречаются настолько совпадающие с общим ощущением языка, что они в конце концов остаются в употреблении. Случается, что все говорящие данного поколения непроизвольно склонны к одной и той же ошибке в языке, которая становится обязательной нормой. Тогда усилия учителя языка бесплодны. Есть обороты явно неправильные, употребляемые постоянно даже образованными людьми; возражения грамматики против них вызывают почти удивление.

Грамматика очень часто находится в противоречии с естественным ощущением языка. В странах, где влияние грамматиков сильно, язык труднее уступает действию аналогии: формы, образованные по аналогии, уничтожаются при самом своем зарождении и не могут жить. Чтобы выжить, они должны часто и регулярно повторяться. Во французском языке XVI в., когда работа грамматиков не имела ни широты, ни действенности, имевших место позднее, можно встретить большое число неправильностей, не имевших возможности закрепиться в языке[1]. Раблэ говорит: je finois вместо je finissais *(я кончал)*; мы сохранили только последнюю форму. Зато современный французский язык закрепил, несмотря на противодействие грамматики, употребление некоторых оборотов, осуждавшихся до этого времени. Все говорят je m'en rappelle *(я вспоминаю это)* вместо je me le rappelle; варварский оборот de façon à ce que

[1] *Brunot*, Histoire de la langue française, t. II.

(таким образом, что) вместо de façon que употребляется в устной и даже письменной речи все чаще и чаще. Приходится признать, хотя и с сожалением, что эти неправильные обороты соответствуют естественной тенденции языка.

Есть однако формы, сопротивляющиеся аналогии и потому называемые «неправильными». Все грамматики насчитывают большее или меньшее количество таких неправильных имен и глаголов. Их называют также сильными формами в противовес формам слабым, подпадающими под действие аналогии[1]. Сильные формы стоят вне правил. Они могут сопротивляться аналогии благодаря своему частому употреблению, которое помогает им всегда присутствовать в уме и не позволяет их изменять. Они стоят особняком и сами не способны чаще всего стать образцами и отправными точками для действия аналогии; так, наиболее употребительные глаголы во всех языках принадлежат к сильным, т. е. неправильным. Самый неправильный из всех—глагол *быть*, потому что он употребляется чаще других. Противопоставление форм il est и ils sont во французском языке чрезвычайно древнее: оно напоминает еще, по крайней мере в своем письменном виде, индоевропейское спряжение, которое во французском языке сохранилось только в этом глаголе. Латинский язык среди своих наиболее употребительных глаголов обладал еще кое-какими остатками этого типа; французский же язык имеет только глагол être (*быть*), неправильности которого, как кажется, ничто не угрожает.

Только с течением времени сильные формы начинают подчиняться действию аналогии. Во многих языках глагол *быть* (verbum substantivum) показывает следы действия аналогии, которая изменила его спряжение; так, в польском языке первое лицо jestem (*есмь, я существую)* создано по аналогии с третьим лицом jest *(он есть)*; но эти воздействия обычно ограничены и не мешают глаголу *быть* сохранять в целом свой анормальный вид. Языки, в которых сильное спряжение довольно богато, как немецкий язык, имеют шансы его сохранить надолго, так как неправильные формы поддерживают взаимно друг друга. Несомненно однако, что среди них есть такие, которые язык понемногу устраняет, сводя их к правильной форме. Можно составить целый список сильных глаголов, ставших слабыми в течение последних столетий. Число таких глаголов увеличивается: слабая форма, употребляющаяся наравне с сильной формой, в конце концов вытесняет последнюю. В некоторых немецких диалектах говорят ich verlierte *(я потерял)* вместо сильной формы ich verlor или ich springte *(я прыгнул)* вместо ich sprang, ich fangte *(я поймал)* вместо ich fing, gefangt вместо gefangen. Настоящее время изъявительного наклонения и по-

---

[1] О противоречии грамматического и лексического, т. е. мотивированного и случайного, см. *Ф. де Соссюр*, Курс общей лингвистики.

велительное наклонение во многих глаголах закончили процесс унифицирования. Уже не говорят du fleugst, er fleugt при fliegen *(летать)* или du leugst, er leugt при lügen *(лгать)*. В некоторых диалектах говорят näm *(возьми)* или hälf *(помоги)* вместо nimm, hilf. В говоре гор. Мангейма спрягают ich geb, du gebst, er gebt *(я даю* и т. д.*)* вместо ich gebe, du gibst, er gibt и т. д.[1].

В английском языке, в котором действие аналогии было сильнее, число уцелевших сильных глаголов более ограничено. Но и это число все время уменьшается. В романе Диккенса «Записки Пиквикского клуба» чистильщик сапог гостиницы «Белый олень» говорит: he knowed вместо knew или seed вместо saw и т. д., между тем эти глаголы одни из самых употребительных.

Иногда аналогия осуществляется внутри одной парадигмы. В немецком языке по аналогии с множественным числом wurden стали говорить в единственном числе wurde вместо ward. Унификация парадигмы прошедшего времени уже очень рано осуществилась в немецком языке, и, как общее правило, одержал верх гласный единственного числа: говорят wir warfen *(мы бросали)* по аналогии с ich warf (древневерхненемецкое warf, wurfum), wir zogen *(мы тянули)*, ich zog (в древневерхненемецком zoh, zugum). Если пара ward, wurden сохранилась до наших дней, то это связано с важностью глагола werden *(делаться)* и частотой его употребления. И если пара wurde, wurden установилась, давая в единственном числе конечный гласный слабого глагола, так это под влиянием пар hatte, hatten, wollte, wollten, musste, mussten и т. д., также употребляющихся более или менее часто в качестве вспомогательных глаголов. Это не значит, что в истории германских языков нет аналогичных форм того же типа, что и wurde. В древневерхненемецком глагол biginnan *(начинать)* наряду с прошедшим bigan обладал другой, более употребительной, формой bigonda или bigunda. От глагола findan *(находить)* древнесаксонский язык употребляет форму funda рядом с fand так же, как и древнеанглийский имеет funde в единственном числе по множественному числу fundum. Но все же от этого образование формы wurde не становится менее независимым. Каждый случай применения аналогии должен рассматриваться отдельно; если вы хотите понять смысл какой-либо аналогии, вы должны сперва найти ее исходную точку.

Эта исходная точка всегда дана в какой-либо типичной форме из наличных форм языка. Здесь, понятно, не может быть речи о выполнении общего плана, который говорящий пытается осуществить путем последовательных приобретений.

Иногда несомненно результат работы аналогии состоит в уменьшении числа анормальных форм, в уменьшении числа

---

[1] *Behaghel*, Geschichte der deutschen Sprache, S. 247.

сильных форм. Но это не абсолютное правило. Случается, что некоторые сильные глаголы настолько крепки в языке, что они служат сами образцом и подчиняют своей форме слабые глаголы. Чаще всего есть специальные причины, оправдывающие действие аналогии. В немецком языке, где сильное спряжение имеет категории достаточно многочисленные и четкие, есть несколько таких случаев: ich frug от fragen *(спрашивать)*—старое образование по аналогии, впрочем уже исчезающее; но в нескольких диалектах можно найти ich jug от jagen *(охотиться)*, ich kuf от kaufen *(покупать)* и т. д. Эти глаголы вошли таким образом в правильные категории сильных глаголов. В английском языке, наоборот, как и во французском языке, сильные глаголы суть действительно исключения, не составляющие системы, механизм которой ощущался бы говорящим. Все же бывает, что эти глаголы, группируясь по два или по три, укрепляются тем самым и взаимно поддерживаются. Так, например французские глаголы pondre *(нести яица)* и tondre *(стричь)*, в прошлом не имевшие ничего общего (по-латыни ponere и tondere принадлежат к двум различным спряжениям), спрягаются одинаково.

Во всем этом мало логики. «Человеческий ум—непостоянный по своей природе, никогда не идет по прямому пути. Почему? Потому что он стремится уловить аналогии, потому что, безразличный к истинным соотношениям вещей, он гонится за внешними соотношениями и в этой погоне не всегда отдает себе отчет, куда он идет». Эта мысль Жан-Поля («Дневник», 9/VIII 1782 г.) может быть применена к изучаемому процессу. Его основа без сомнения заключается в стремлении свести различные формы к одной единственной; эта тенденция заложена в природной инертности ума. Но эта тенденция к однообразию не есть, как это иногда писали, стремление к единообразию в формах. Однозначность—логический принцип, согласно которому каждая грамматическая функция должна выражаться одним только знаком и каждый знак должен передавать только одну функцию. Это, так сказать,—идеальное приспособление грамматики к логике. Из предыдущего понятно, что́ препятствует осуществлению этого идеала. Ум никогда не изменяет своей морфологической системы полностью; его действие направлено одновременно только на часть (очень небольшую) всей системы; а так как действия, им оказываемые на различные части, никогда не управляются единой волей, выполняющей методический план, а только вызываются случайным стечением обстоятельств, то общий результат в целом обычно лишен связности и единства.

История окончания «er» в немецком языке в этом отношении очень поучительна[1]. Это окончание, свойственное множествен-

---

[1] *Streitberg*, Urgermanische Grammatik, 1894, S. 103.

ному числу многих существительных среднего рода, есть, собственно говоря, суффикс, обобщенный по аналогии.

Среди основ среднего рода индоевропейских языков некоторые характеризовались суффиксом, который мы находим в латинском языке (в форме «er») в склонении типа genus *(род)*, множественное число genera и т. д. В немецком языке, где свистящая в подобном случае должна была равным образом превратиться в «r», слова среднего рода этого типа после отпадения прежних конечных согласных получили таким образом окончание «er», которое могло служить для противопоставления множественного числа единственному и тем самым обозначать множественное число. Это было окончание выразительное, которое язык не хотел потерять; он распространил его по аналогии на большое число слов среднего рода, не имевших первоначально основы на «es». Так, по аналогии с Kalb *(теленок*, множественное число Kälber), которое принадлежало к основам на «es», стали образовывать множественное от Haus *(дом)*—Häuser, Buch *(книга)*—Bücher, Fass *(бочка)*—Fässer, Glas *(стакан)*—Gläser, Geld *(деньги)*—Gelder, Wort *(слово)*—Wörter. Но остается немало слов среднего рода, образующих множественное число иначе: Mass *(мера)*, множественное Masse, Ross *(конь)*, множественное Rosse, Auge *(глаз)*, множественное Augen и т. д. С другой стороны, окончание «er» встречается в некоторых словах мужского рода: Rand *(край)*, множественное Ränder, Gott *(бог)*, множественное Götter, Wurm *(червяк)*, множественное Würmer и т. д. Таким образом аналогии не удалось ограничить созданное ею окончание одной только функцией.

Что можно сказать об искусственных языках, построенных по логическому плану, установленному заранее? Такие языки возможны только как языки специальные: технические или коды сигналов. Соглашение нескольких человек, пользующихся ими, достаточно для поддержания их в первичной их форме без изменения. Но как только они станут живыми языками, они тотчас же изменятся. Сейчас же установится между формами различие в значимости; одни формы возьмут верх над другими, закон аналогии начнет действовать, и беспорядок сменит стройный первоначальный порядок. Главенствующие формы составляют, так сказать, центры распространения аналогии; они привлекают другие формы к себе со всех сторон и по различным причинам; отсюда получаются различные системы аналогии, скрещивающиеся между собой; их наш ум не может согласовать. Логический идеальный язык—это только мечта. Она вызывает образ садовника, который бы вообразил, что, посадив в правильном порядке совершенно одинаковые зерна и дав им одинаковый уход, он увидит в своем саду всегда одинаковые растения, одинакового роста, расположенные одинаково с одинаковым количеством цветов и плодов.

Слишком много различных причин влияет на биологические условия, и притом причин, ускользающих от власти человека. То же и в языке, где аналогия часто враг логики, хотя первая и отвечает потребности в однообразии и пользуется рассуждением для удовлетворения этой потребности[1].

* * *

Потребность в выразительности, как и потребность в единообразии, никогда не удовлетворяется полностью; но, стремясь удовлетворить первую, говорящему приходится восполнять изнашивание, которое испытывают формы, а следовательно преобразовывать морфологию.

При фонетической эволюции языка некоторые морфемы изнашиваются до того, что они больше уже не пригодны для своих функций; иногда они даже совсем исчезают. Тогда приходится либо их восстанавливать, либо замещать новыми. В флективном языке, как латинский, когда затронуты разрушением конечные звуки (см. стр. 64), приходится восстанавливать всю систему склонения или спряжения. Обломки морфологии, уцелевшие от действия фонетических процессов, редко бывают достаточно выразительными, чтобы ими можно было пользоваться без изменения. Так, склонение в вульгарной латыни первых столетий нашей эры мало-помалу исчезает. В лучшем случае в каждом типе склонения остается противопоставление падежа-подлежащего падежу-дополнению, и то иногда созданное уже впоследствии, посредством аналогии. Новолатинское спряжение также многим обязано аналогии. Во французском языке окончания первого и второго лиц множественного числа «ons» и «ez» — также результат расширительного действия аналогии. Элемент «iss» в формах типа finissons, finissez, finissais и другие есть видоизменение латинского начинательного суффикса «isc»; он взят из нескольких глаголов и распространен на все спряжение, отличительной чертой которого он стал. Окончание в причастиях прошедшего времени, например eu (древнее évu), vu (древнее veu), lu, tenu, rompu и др., происходит из окончания причастия на «utus», достаточно редкого в латинском языке. Но в этом случае также нужно было возместить фонетические потери; прежние причастия habitus, visus, lectus, tentus, ruptus и др. могли быть представлены во французском языке только

[1] Об искусственных языках см.: *Couturat et Leau*, Histoire de la langue universelle и в «Revue internationale de sociologie», 1908, p. 761; 1911, p. 509, 1912, p. 1. См. также «Le Bulletin de la Société Française de philosophie», 1912, p. 47—84. Возражения лингвистического порядка высказали *Brugmann und Leskien*. Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen, Strassburg 1902. Анализ у *Baudouin de Courtenay*, «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen», Bd. VI, S. 385; ср. «Indogermanische Forschungen», Bd. XII, S. 365.

в формах, лишенных морфологического выражения. Отсюда применение по аналогии выразительного окончания.

Но всего этого не было достаточно. Даже омолаживая прививкой посредством аналогии остатки латинских склонений и спряжений, было все же трудно найти выражение для всех грамматических категорий. Пришли на помощь другие приемы: сообщение большей важности предлогам, развитие члена, использование местоимений,—словом, создание целой системы вспомогательных слов, служащих морфемами. Так случилось, что теперь по-французски говорят la soeur *(сестра)*, de la soeur *(сестры)*, à la soeur *(сестре)*, je lis *(я читаю)*, tu lis *(ты читаешь)*, il lit *(он читает)*, в то время как по-латыни говорили soror, sororis, sorori или lego, legis, legit. Исходная точка французской системы уже существовала в латинском языке, где например предлоги имели разнообразное употребление и даже часто подкрепляли падежные окончания. Но французское à и de—грамматические символы, более свободные от всякого конкретного значения, чем латинские ad и de, сохраняющие еще довольно четкое местное, пространственное значение. Однако же и ad и de уже морфемы.

Латинских предлогов оказалось для французского языка недостаточно. Пришлось создать новые; и для этой цели, не говоря уже о сочетании латинских наречий и предлогов, как dans *(в)*, après *(после)*, sous *(под)*, avec *(с)* и др., французский язык употребил другие слова, существовавшие в нем. Так, он образовал предлог chez *(у)* из слова casa *(дом)*: еще теперь в некоторых областях Франции можно найти такие названия местностей, как Chez Pierre, Chez Rolland *(дом Петра, дом Ролана)*. Некоторые причастия и прилагательные превратились в настоящие предлоги: pendant la nuit *(в течение ночи)*, vu les circonstances *(ввиду обстоятельств)*, nonobstant la défense *(несмотря на защиту)*, excepté le dimanche *(исключая воскресенье)*, malgré la pluie *(несмотря на дождь)*, sauf erreur *(без ошибки)*, plein la rue *(по всей улице)*. Подобные факты мы находим во многих языках. Так, в некоторых языках современной Индии (в сингалезском например) родительный падеж выражается посредством элемента «ge», соответствующего санскритскому «gṛhe», который представляет собою древний местный падеж имени *(в доме)*. Венгерское окончание «vle», выражающее орудие, которое следует перевести на русский язык творительным падежом, происходит от творительного падежа древнего самостоятельного слова vāγl или vāγd. Английские concerning *(касательно)*, past *(спустя)*, немецкое trotz *(несмотря на)*, betreffend *(касательно)*, датское undtagen *(исключая)* и др.—самые настоящие предлоги.

Все эти слова сделались «пустыми словами» (см. стр. 86), по терминологии китайской грамматики. Действительно, помимо аналогии морфология возмещает свои потери посредством пре-

вращения «слов полных» в «слова пустые». Грамматические орудия, используемые языками,—это остатки прежних самостоятельных слов, лишенные их прямого значения и играющие роль почти коэфициентов-символов.

Мы можем проследить во многих языках эволюцию многочисленных элементов, как предлоги, союзы, или члены; она проходит по этому общему типу. В греческом языке μετά *(с)*, μέσφι, μέχρι *(до)* связаны со словами, значащими *середина*, как πεδά *(после)* с названием *ноги* (ср. армянский предлог yet—*после)*. Союзы типа lorsque (дословно: *в тот же час, когда* или *с момента когда)* встречаются во многих языках. Латинское magis *(больше)* превратилось во французское mais, противоположительный союз, как греческое (эпохи упадка) μᾶλλον от значения *не то, скорее это* перешло к значению *не то, но это*. Определенный член во всех языках происходит из древних указательных местоимений; член же неопределенный происходит из слова, обозначающего единицу в языках германских, кельтских, современном греческом и в романских языках. Слово, обозначающее *человек*, стало грамматическим орудием для выражения неопределенности во французском, германских языках, в кельтских, армянском (французское on dit—*говорят*, немецкое man sagt, бретонское neuz ket den—*нет никого*, армянское marth egav—*кто-то пришел?)*. Иногда это слово обозначает определенность (валлийское y gwr—*тот, кто)*.

Так называемые вспомогательные глаголы также «пустые слова». Английское to do *(делать)* служит грамматическим орудием в таких оборотах, как do you see? *(видите ли вы?)*, I don't see *(не вижу)*. Аналогично употребляется, по крайней мере в диалектах, глагол tun *(делать)* в немецком языке: er tat schiessen *(он выстрелил)*, er tut sich wenden *(он поворачивается)*. В общем почти те же самые глаголы бывают вспомогательными во всех языках. Так, слова со значением хотения или долженствования часто выражают возможность и будущее (см. стр. 147); слова со значением «держать» или «занимать» служат для выражения завершенности действия. Так, английское I will go, *(я пойду)*, I shall find *(я найду)*, современное армянское bidi anem *(я сделаю)*, французское j'ai conquis *(я победил)*, немецкое ich habe gedacht *(я подумал)*, новогреческое θὰ χάνω *(я потеряю)*, ἔχω χαμένο *(я потерял)* и т. п. Мы на письме отделяем «слово пустое» от «слова полного», но это только графическая привычка.

Впрочем даже во французском языке бывают случаи, когда после слияния «пустое слово» становится простым суффиксом. Так, например в будущих и условных: j'aimerai *(я полюблю)*, je lirais *(я почитал бы)* происходят от народно-латинских amare habeo, legere habebam. Французские наречия образа действия образованы посредством суффикса «ment», присоединенного к прилагательному. Это не что иное как старый творительный

латинского mente от существительного mens *(ум)*: уже в I столетии до н. э. мы находим в латинском языке употребление слова mente, показывающее эту его наречную функцию: constanti mente *(постоянно)*, obstinata mente *(упорно)*, liquida mente *(весело)* (*Катулл*, 64, 210 и 239; 8, 11; 63, 46); sagaci mente *(проницательно)* (*Лукреций*, I, 1022). В этом нет ничего удивительного; в древнегреческом языке[1] были такие выражения, как: εὐδόξῳ φρενί (*Эсхилл*, Хоэф., 303) или γηθούσῃ φρενί (там же, стр. 892), которые соответствуют точно латинским gloriosa mente *(славно)*, французскому glorieusement или laeta mente *(весело)*, итальянскому lietamente. Эти выражения строятся по ходячим образцам. Часто случается как в латинском, так и в греческом языках, что слова с различными значениями, взятые в общем смысле, строятся с прилагательными чисто наречно: ἀέκοντι νόῳ *(невольной мыслью=невольно)*, νηλέι θυμῷ *(жестоким духом=жестоко)*, κακῇ καρδίᾳ *(злобным сердцем=злобно)*, τλήμονι ψυχῇ *(стойкой душой=стойко)*, studioso animo *(усердным духом=усердно)*, turpi corde *(постыдным сердцем=постыдно)* ardenti pectore *(пылкой грудью=пылко)*, miris modis *(удивительным образом=удивительно)*, certa lege *(верным законом=правильно)* и т. п.

Из всех этих латинских выражений, в которых существительные сохраняют свое только несколько ослабленное значение, романские языки усвоили то, которое содержало слово mente, и сделали из последнего «пустое слово». Другие языки в подобных случаях употребляют другие слова. Так, немецкий язык охотно пользуется словом Weise *(способ)*, делая из него наречный суффикс—glücklicherweise *(счастливо)*. Для той же цели скандинавские языки пользуются словом vis (*способ*)—датское heldigvis *(счастливо)* от heldig *(счастливый)*, шведское lyckligvis (*счастливо*) от lycklig. Армянский язык образует наречия образа действия посредством слов bar (*способ*) и pēs (*форма, вид*): так brnabar *(могуче)* от burn *(мощь)*, darnapēs *(горько)* от darn *(горький)*. Из всех равнозначных слов язык выбрал одни и отбросил другие.

То же случилось во французском языке с отрицательным наречием. Известно, до какой степени отрицание заразительно и как оно распространяется на соприкасающиеся с ним слова: aucun *(ни один)*, personne *(никто)*, du tout *(совсем не)*—хорошие французские примеры этого явления, так же как испанское nada *(ничего*, из латинского rem natam). Раньше говорили по-французски: je ne vois point (дословно: *я не вижу точки*), je ne mange mie *(не ем крошки)*, je ne bois pas goutte *(не пью капли)* и т. д. Во всех этих фразах отрицание выражается через наречие ne, дополнения же глагола оправдываются смыслом: je ne vois pas un point, je ne mange pas une mie, je ne

[1] *Paul Shorey*, «Classical Philology», t. V, 1910, p. 83.

bois pas une goutte и т. д. Но отрицательное значение сообщилось и этому дополнению; этот процесс был так силен, что он подавил собственный смысл этого слова, и оно, став отрицанием, может употребляться с любым глаголом для отрицания любого факта. Слова pas (дословно: *шаг)* и point (дословно: *точка)* остались в качестве отрицательных наречий, все же они не употребляются безразлично; goutte (дословно: *капля)* сохранилось только в нескольких оборотах речи: je n'entends goutte, je ne vois goutte. A mie совершенно исчезло из устного языка, однако долго еще говорили: je ne dors mie, je ne souffre mie, je n'écoute mie. Это было бы невозможно, если бы это слово сохранило в сознании говорящего хотя какой-либо след своего собственного значения.

Прежде чем стать простым суффиксом «полное слово» постепенно освобождается от своего собственного значения; это происходит незаметно. Как происходит этот процесс, можно наблюдать в языках, которые пользуются обычно способом сложения слов. Немецкий язык образовал большое количество слов со словом Mann *(человек)* в качестве второго элемента сложения: Bergmann *(горняк)*, Dienstmann *(слуга)*, Fuhrmann *(возчик)*, Kaufmann *(купец)*. Так же со словом Frau в той же роли: Hausfrau *(домашняя хозяйка)*, Waschfrau *(прачка)*. Это настоящие сложные слова и чувствуются как таковые. Существование отдельных слов Mann и Frau поддерживает ощущение сложного состава вышеприведенных слов. Тот факт, что во множественном числе мы говорим Dienstleute, Kaufleute, еще более усиливает это ощущение. И все же совершенно ясно, что оба элемента имеют в сложном слове не одинаковый вес. Ударение, падающее на первый элемент, отодвигает второй элемент на задний план; а ударение здесь согласуется со смыслом. Из этих двух элементов первый выполняет преимущественно семантическую роль, а второй скорее морфологическую. На французский мы переводим Bergmann—mineur *(горняк)*, Fuhrmann—voiturier *(извозчик)* и т. д., заменяя второй элемент сложного немецкого слова простым суффиксом; суффикс этот оказывается не менее выразительным. Конечно нельзя утверждать, что mann в этих немецких словах—суффикс, но оно на пути к этому. Вероятно оно им и станет с течением времени. Первый элемент поглощает все внимание говорящего, второй же сведен почти к роли суффикса[1].

В германских языках несколько суффиксов образовались таким образом. В древневерхненемецком говорили: nie scouuos thu heit manno (*не взираешь ты на лик человеков*) (Евангелие от Матфея, XXII, ст. 15); затем слово heit вошло в состав сложных слов: man-heit *(человечество)*, vîp-heit *(женщины, жен-*

[1] *Ganzmann*, Ueber Sprache und Sprachvorstellungen, 1902, S. 26.

ственность), и наконец оно превратилось в один из распространенных суффиксов в современном языке (Menschheit—*человечество*, Schönheit—*красота* и т. д.). Так же можно проследить образование суффиксов «lich» или «tum». Первый—старое существительное со значением *тело, форма*, сохранившееся до настоящего времени в Leichnam (*труп*) или Leichdorn (*мозоль*); в сложении мы его находим в gleich (*подобный, одинаковой формы*), и он стал суффиксом в форме «lich» в weiblich (*женообразный, женский*), lieblich (*имеющий приятную форму, миловидный*) и др. Суффикс «tum» был еще независимым существительным в IX в. в поэме Отфрида (в форме duam—*действие, деятельность*); говорили: rîhhiduam; отсюда современное Reichtum и расширительно Deutschtum (*германизм*), Jankeetum (*американизм*) и т. п. Та же тенденция в древнеанглийском, где wéfhad соответствует древневерхненемецкому vîp-heit, или cynedóm (современное Kingdom), немецкому Kön gtum (*королевство*), woroldlic (современное английское worldly) немецкому weltlich (*светский, мирской*).

Лишаясь своего конкретного значения, слова, ставшие суффиксами, приобрели отвлеченное значение, которое давало возможность выражать ими известную морфологическую категорию. Одни например выражают качество, другие—состояние, некоторые служат для обозначения действия, другие же—действующего лица. Это отвлеченное значение не мешает им окрашиваться и эмоциональными оттенками. Так, например суффикс ard усвоен французским языком из германских языков, где в форме hard он служил вторым элементом в сложных собственных именах (Bernhard, Eberhard, Richard и т. д.). Этот суффикс во французском языке принял уничижительное значение, а это значение развилось путем аналогии; но аналогия не захватила некоторых слов—например buvard (*бювар*) или foulard (*платок*), где суффикс сохранил свое общее и отвлеченное значение без какого бы то ни было аффективного оттенка. Это доказывает, что аффективный оттенок был присоединен позже.

Настоящая сущность «пустых слов» заключается в отвлеченности. Чем более слово закрепляется как «пустое слово», тем более отвлеченным оно становится; этот процесс отвлечения доходит до того, что некоторые морфемы становятся только алгебраическими символами, не переводимыми на другие языки. Таковы например древнегреческое «ἄν» или санскритское «iti» (см. стр. 78). Не может быть никакого сомнения в том, что эти морфемы происходят от «полных слов», имевших конкретное значение, как например современные греческие частицы «θὰ» и «ἄς» (см. стр. 65). Следовательно развитие морфем совершается в направлении от конкретного к отвлеченному, так же как от частного к общему. Прекрасный пример, вкратце освещающий весь процесс образования морфем, мы видим в истории образования французской вопросительной частицы «ti».

Гастон Парис первый отметил интерес, представляемый этой частицей, столь употребительной в современном устном языке[1]. Французское ilaime (*он любит*) в вопросительной форме в средневековом французском языке звучало aime-il, как часто еще говорили в начале XVII в. Под влиянием третьего лица множественного числа, оканчивающегося на «t»: ils aiment, aiment-ils было введено «t» в единственное число для усиления вопросительной формы, которая иначе могла исчезнуть, не имея формы выражения; отсюда aime-t-il результат первого распространения аналогии. Но таким образом третьи лица в выражении вопроса оказались в более выгодном сравнительно с прочими лицами положении. Действительно, это «t», не существовавшее в не-вопросительных формах, так как в обоих случаях произносили em (il aime, ils aiment), служило признаком вопроса, которого другие лица (aimé-je, aimes-tu, aimons-nous, aimez-vous) были лишены. Из этих других лиц, одно (aimé-je) было в особенно невыгодном положении по фонетическим условиям и в некоторых случаях совсем исключалось (cours-je, lis-je, pars-je, sers-je и т. д.). Два других (aimons-nous, aimez-vous) давали повод к смешению с возвратным залогом и тем самым теряли добрую долю своей выразительности. Это еще более укрепляло вопросительную форму третьего лица—краткую и ясную, которая к тому же употреблялась при подлежащем имени: Pierre aime-t-il?

Кроме того в этой вопросительной форме благодаря обычному фонетическому процессу конечное il превратилось в i (ср. coutil—*тик*, ткань), nombril (*пуп*), persil (*петрушка*), разрывая таким образом связь, соединявшую его с местоимением (il aime, aime-ti?), по крайней мере в глаголах, начинавшихся с гласной; таким образом это ti все больше приобретало значение независимого элемента со специальным вопросительным значением. Свойственная французскому языку тенденция тесно связывать местоимение-подлежащее с глаголом гарантировала успех и способствовала окончательному распространению ti как вопросительного элемента. Случаи, когда можно было разъединить местоимение-подлежащее и глагол, становились все более редкими. Сочетания je le dis, tu le sais в разговорной речи заменились сочетанями je dis ça, tu sais ça; можно предвидеть момент, когда местоимения je, tu, il, nous, vous, ils будут уже неотделимы от глагола. Поэтому инверсия, служившая для выражения вопроса, становилась все менее выразительной. Элемент ti фразы Pierre aime-ti служил самым простым и практичным способом выразить вопросительность: этот прием был распространен на фразы типа il aime-ti? затем на j'aime-ti? tu aimes-ti? nous aimons-ti? ces enfants s'aimeront-ti? При этом не нарушался

---

[1] «Revue des langues romanes», t. VI, p. 438; t. VII, p. 599.

порядок: подлежащее—глагол, которому язык придавал особо важное значение.

Таким образом мы видим, что широкое распространение вопросительной частицы ti обязано целому ряду обобщений по аналогии, которым благоприятствовали специальные обстоятельства. В современном языке частица ti—это отвлеченный символ общего значения, так как она может быть употреблена в вопросительной фразе любого типа. Это общий знак вопросительности, в котором нуждался французский язык.

И мы видим, с какой гибкостью и цепкостью этот символ был создан.

Если бы во французском языке не было орфографической традиции и он наблюдался и записывался в наше время, как записывают языки дикарей, частица ti в нем не была бы отделена от предшествующего ей глагола. В таком случае написали бы в одно слово žemti, žemtipa, (j'aime-ti, j'aime-ti pas) и вопросительная частица, как и отрицательная, были бы сочтены за элементы слова—за аффиксы, подобные суффиксам и окончаниям греческим и латинским. У нас не было бы никакого способа разгадать происхождение ti или pa. Мы их рассматривали бы как грамматические орудия, лишенные всякого неграмматического значения.

Очень возможно, что индоевропейские и семитские склонения и спряжения—результат прикрепления к корню элементов, первоначально независимых, свободно перемещавшихся вокруг корня и потом слившихся с ним[1]. Мы не знаем начала этого процесса. Было бы бесполезно пытаться установить первоначальную форму и значение окончания первого лица множественного числа или творительного падежа, суффикса начинательного глагола или отвлеченного существительного. Но можно утверждать, что эти элементы флексии—результат распространения по аналогии старых независимых слов, более или менее измененных и сведенных к роли грамматического орудия. Морфология, действительно, обновляется только таким способом.

---

[1] См. в особенности *Hirt*, «Indogermanische Forschungen», Bd. XVII, S. 36 u. w.; *H. Oertel and E. F. Morris*, «Harvard Studies in classical Philology», XVII, p. 63—122».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СЛОВАРЬ

ГЛАВА I

ПРИРОДА И ОБЪЕМ СЛОВАРЯ[1]

В нашей работе мы до сих пор не принимали во внимание семантического значения слов, т. е. значения, выражаемого словом вне зависимости от роли его в фразе. Хотя часто морфемы так тесно сплетаются с семантемами, что анализ слова становится невозможным (см. стр. 88), все же грамматические элементы слова так же независимы от семантических, как и от фонетических. Словарем мы называем совокупность слов данного языка, взятых с точки зрения их значений. Три системы—произношение, грамматика и словарь—могут развиваться независимо друг от друга под влиянием различных причин. Некоторые языки обновляют свой словарь, не изменяя ни своей фонетики, ни своей морфологии. В литературном урду (одна из разновидностей языка индустани) мы находим целые фразы, в которых одни только грамматические элементы индусские, а все без исключения слова персидские. В языке армянских цыган фонетика и грамматика армянские, а словарь не армянский[2]. Одна и та же грамматическая форма может содержать в себе совершенно различные словари.

* * *

Отдел лингвистики, ставящий себе целью изучение словаря, называется этимологией[3]. Этимология перебирает все слова словаря одно за другим и устанавливает, так сказать, их послужной список, выясняя, откуда каждое из них пришло в данный язык, как оно образовалось и через какие изменения

---

[1] *K. O. Erdmann*, Die Bedeutung des Wortes, 1910; *Rozwadowsky*, Wortbildung und Wortbedeutung, 1904.

[2] *Finck*, Die Sprache der armenischen Zigeuner, «Mémoires de l'Académie de St. Pétersbourg», t. VIII, № 5 (1907).

[3] Об этимологии см. работы *A. Thomas*; также *Thurneysen*, Die Etymologie, Freib. in Br. 1904.

прошло. Это следовательно историческая наука. Она определяет наиболее древнюю форму каждого слова, поскольку это возможно сделать на основании наличных исторических документов. Она также устанавливает, как слово передавалось и через какие изменения смысла и употребления оно прошло. Излишне доказывать значение этой науки. Сравнительные грамматика и фонетика были созданы на основе данных этимологии. Этимология, фонетика и грамматика друг друга поддерживают. Овладевши закономерными соответствиями звуков и грамматических форм, этимолог, правильно применяя эти соответствия, в состоянии принести большую пользу лингвистике.

Но этимология дает неверное представление о природе словаря. Ее задача сводится только к тому, чтобы показать, как образовался словарь. Но слова вовсе не употребляются согласно своему историческому происхождению. Мы забываем, если только когда-либо знали, через какие перипетии прошли слова, употребляемые нами. Слова имеют всегда значение а к т у а л ь н о е, т. е. ограниченное моментом их употребления, и е д и н и ч н о е, т. е. определенное этим мгновенным употреблением[1].

При перелистывании этимологического словаря нас больше всего поражают две вещи: во-первых, большое число слов с необъяснимой этимологией и, во-вторых, неожиданное разнообразие изменений, претерпеваемое значениями слов. Терминология например французских названий военных чинов, начиная от чина капрала до чина генерала (caporal, sergent, adjudant, lieutenant, capitaine, commandant, général) очень пестра по своему происхождению.

Так же обстоит дело и со всеми другими терминами, значение которых напрасно было бы пытаться объяснить путем одной только этимологии. Обычное употребление дает каждому слову точное значение, не считаясь со смыслом, которое оно имело в прошлом. Французское слово maréchal *(маршал)*, высший военный чин, в прошлом означало конюха (ср. древненемецкое marah-scalc, откуда средневековое латинское mariscalcus); таким образом для этимолога *маршал Франции* (le maréchal de France) и *кузнец* (le maréchal ferrant) носят одно имя.

По чистой случайности одно и то же сочетание звуков calcul во французском языке означает *счет* и *почечный камень* (calcul mental и calcul rénal). По происхождению это одно и то же слово. Но зато этимолог различает два различных слова loue в фразах il loue une maison *(он нанимает дом)* и il loue la vertu *(он восхваляет добродетель)*, il pratique le vol à la tire *(он занимается карманными кражами)*, le vol plané *(планирующий полет)*. Но случайность, соединяющая во французском языке в одной группе звуков столь различные значения, одинаково велика, идет ли дело о соединении значений латин-

[1] *Bally*, Précis de stylistique, p. 21, 47.

ского locare *(помещать)* и латинского laudare *(хвалить)* или идеи кражи с идеей воздушного полета, или идеи арифметического расчета с идеей камня, образовавшегося в почках. Для говорящего все эти три случая различных слов одинаковы. Омонимия осуществляется независимо от исторической судьбы слова.

Кроме того, говоря, что одно и то же слово имеет несколько значений в одно и то же время, мы, до известной степени,— жертвы иллюзии. Из нескольких значений слова только одно всплывает в нашем сознании, а именно то, которого требует контекст[1]. Все остальные аннулируются, исчезают, не существуют. Это верно даже относительно слов с наиболее установившимся значением. Говоря, что земля приносит хороший урожай или что собака приносит газету, я употребляю безусловно два различных глагола. Также в фразах *это мой муж* и *это знаменитый муж древности*—налицо два различных слова с одинаковым звуковым составом. Ни я ни мой слушатель никак не связывают этих слов по значению.

Допуская, что слова имеют основное и второстепенные значения, связанные с первым, мы ставим вопрос на историческую почву, что в данном случае совершенно неправильно. Несомненно, что для того, кто помнит развитие языка, стальное *перо* происходит от гусиного *пера*. Это—то же слово, но приобретшее с течением времени другое значение. Таким образом в словаре, ставящем себе задачу указать исторические значения слова, под словом «*перо*» должны быть указаны оба значения в должной последовательности. Но для говорящего здесь два совершенно различных слова. Никто не чувствует двусмыслицы в этих двух фразах: *он живет своим пером* и *он вырвал у себя перо*. Каждый поймет, что в первом случае говорят о писателе, а во втором о какой-то птице. Эти слова так же различны, как пара любых омонимов. Налицо в языке два слова *перо*, соответствующие двум различным значениям.

На это возразят, что однако же был один момент, когда слово *перо* чувствовалось, как метафора. Но это был только момент. В живом языке слово в каждый данный момент имеет только одно значение. Когда стали пользоваться гусиными перьями для письма, тот, кто сказал: *я беру перо, чтобы написать записку*, употребил слово *перо* в смысле орудия, без всякого желания воспользоваться метафорой. Его слушатель также не видел в этом слове метафоры.

Метафора есть сокращенное сравнение; чтобы оценить метафору, требуется усилие, допустимое в книге, которую мы читаем на досуге, но которому нет места в разговоре. Язык прежде всего нуждается в точности и ясности. Мы больше всего избегаем двусмысленности. По своему существу каламбур не есть естественное явление; это—особое искусство, требующее специального

---

[1] *Paulhan*, цитируемый *B. Leroy*, Le langage, p. 97.

внимания, как и всякое искусство. Остряки знают, что для успеха каламбура необходимо приготовить почву, возбудить внимание слушателя, который, будучи предупрежден, настораживается, чтобы воспринять остроту. Если бы было верным положение, что всякое слово всегда несет с собой все свои значения одновременно, то мы при разговоре всегда испытывали бы то раздражение, которое вызывает у слушателя ряд каламбуров.

Этот вывод несомненно вызовет возражение со стороны пуристов, придающих такое большое значение выбору метафор и изгоняющих все те из них, которые не подходят к данному контексту. Они, понятно, спросят: для чего же тогда существует стилистика? Не нужно особенно острого чувства формы, чтобы осудить все нелепые метафоры, слишком часто переполняющие официальные речи и газетные статьи. Нельзя считать конечно такую фразу, как *управлять государственным кораблем на вулкане*, образцом хорошего слога. Во всех языках найдутся такие, обычно высмеиваемые, языковые нелепицы. Известна немецкая фраза: «Der Zahn der Zeit, der schon so manche Thräne getrocknet, wird auch über diese Wunde Grass wachsen lassen» (в дословном переводе: *Зуб времени, осушивший уже столько слез, вырастит траву и над этой раной*). Конечно эти фразы смешны; но нам становится смешно только тогда, когда мы в них вдумаемся; в пылу импровизации мы не всегда замечаем, что они смешны. В них неправильно то, что они соединяют слова-метафоры, не вяжущиеся друг с другом. Но говорящий возразит, что он и не хотел придавать этим словам метафорического смысла. Он хотел только употребить стилизованные выражения, взявши их такими, какими их дает язык; действительно, каждое из них, взятое отдельно, отвечает его намерению. Только их соединение вызывает смех[1].

Каждый, кто не следит за своей речью, может сделать такую ошибку. Чаще всего они встречаются у ораторов, говорящих без подготовки. Можно их найти даже у первоклассных писателей; немало их нашли в прозе Шиллера. Эти ошибки можно серьезно осуждать только в тех случаях, когда их слишком много или они вызывают слишком комические образы, как в приведенных примерах. Однако пуристы осуждают все выражения, содержащие неудачную метафору, неточное соединение слов. Не будем слишком поспешно апеллировать к здравому смыслу, услышав такие выражения из уст народа. Многие из обиходных выражений, допущенных в словари и употребляемых лучшими писателями, представляют порой ужасающие катахрезы. Нелепо говорить remplir un but, abîmer une robe, embrasser une carrière, jouir d'une mauvaise santé. Эти выражения вполне основательно осуждаются пуристами. Но в такой же мере нелепы выражения débarcadère de chemin de fer *железнодорожный*

---

[1] *Erdmann*, Die Bedeutung des Wortes, S. 172.

перрон (так как там никто не сходит с *лодки*, barque), arriver à Clermont-Ferrant—*приехать в Клермон-Ферран* (в Клермоне нет реки, а arriver от rive—*берег*—значит *подойти к берегу*), s'abonner à un périodique (журнал трудно сравнить с *межой*), avaler un verre d'eau (при глотании вода не стекает по откосу *долины*—val и т. п.). Однако же эти выражения считаются принадлежностью хорошего языка. Мы в них уже не чувствуем ничего противного логике, и с трудом верится, что в XVII в. некоторые пуристы-академики осуждали выражение fermer la porte *(закрыть двери)*, утверждая, что надо говорить pousser la porte *(толкнуть дверь)* и fermer la chambre *(закрыть комнату)*[1]. Не чувствуется также неблагозвучия в таких выражениях, как cul-de-sac *(тупик)*, pet-de-nonne *(пышка)*, vesse-de-loup (род гриба). Метафора прикрыта здесь новым употреблением слова, оно теперь означает только род улицы, булочку или род гриба. Не колеблясь говорят по-французски être acculé aux pires extrémités *(быть поставленными в безвыходное положение)*; этимологическое значение слова исчезло.

***

Во всех этих случаях значение слова определяется контекстом. Слово мы помещаем в среду, всякий раз и на данный момент определяющую его значение. Не что иное как контекст, вопреки разнообразию значений данного слова, придает ему его «особое» значение; не что иное, как контекст, очищает слово от его прошлых значений, накопленных памятью, и создает ему его «актуальное» значение. Но вне зависимости от его данного употребления слово присутствует в сознании со всеми своими значениями, со скрытыми и возможными, готовыми по первому поводу всплыть на поверхность.

Хотя у слова много возможных употреблений, но они не устанавливают для него одного общего значения. Различные частные значения слова не образуют математически среднего, каждое из этих значений в любую минуту может всплыть в сознании. Для этого нужен только сигнал. У говорящего нет колебаний относительно самого значения, могут быть колебания только относительно момента, когда придать то или иное значение слову. У меня в сознании слово fille. Все его значения не смешиваются друг с другом; каждое у меня под рукой; в любую минуту я им могу воспользоваться. Однако в уме у меня только одно слово fille.

Но и само это слово не изолировано в моем сознании. Оно зарегистрировано в моем сознании со всеми контекстами, в которых я его употреблял, со всеми сочетаниями, ему свойственными: filles et garcons, une bonne fille, une fille-mère и т. п. Я его связываю в моем сознании с несколькими гнездами слов.

[1] *Saint-Evremond*, Comédie des Académiciens, акт III, сцена 3.

В зависимости от силы моего воображения оно вызывает во мне большее или меньшее число представлений, идущих от этого слова во всех направлениях.

Ни одно слово не стоит одиноко в сознании говорящего. Наоборот, мы всегда стремимся группировать слова, открывать новые соединяющие их связи. Слова всегда ассоциируются с каким-либо гнездом слов через свою семантему или морфему или даже через свои фонемы. Мы прекрасно чувствуем, что слова *давать, дар, подарок, даритель, даровитый, даровой* связаны одним общим корнем, как бы ни были различны значения всех этих слов. С другой стороны, слова *беловатый, красноватый, бледноватый* также связаны друг с другом через суффикс «*оват*», придающий им всем значение слабой окраски. Но кроме того *даритель* образует группу с *носитель, учитель, даровитый* с *деловитый* и т. д. Таким образом мы видим, что эти словарные гнезда могут перекрещиваться.

Ассоциация слов по фонемам играет большую роль в явлении, носящем название «народной этимологии» (см. стр. 57); сознание стремится установить связи во внешней форме слов, часто даже вопреки здравому смыслу. Слабое звуковое сходство данного слова с употребительным или более известным словом ведет за собою сближение, результатом которого являются странные искажения слов. Латинское culcita puncta (дословно: *стеганая подушка)* должно было по фонетическим соответствиям дать coulte-pointe, а дало courte-pointe, где слово courte *(короткая)* есть осмысление непонятного coulte, хотя слово courte никак не связано с понятием одеяла (в современном французском языке courte pointe—*стеганое одеяло*). Английское country dance (дословно: *деревенский танец*) перешло во французский язык в форме contredanse (*кадриль)*, где элемент contre не имеет никакого смысла. Известно, какие курьезные формы часто принимают в устах простолюдинов медицинские названия болезней и лекарств. Это—раздолье для юмористических журналов. Если выражение liqueur à pioncer (народное—*сонный напиток)*—вместо liqueur opiacée *(опиумный напиток)*—выражение сочное и полное смысла, зато нет никакого смысла в lait d'ânon (дословно: *молоко осленка)* вместо laudanum.

Уже не раз приводилось название особой воронки chantepleure, не имеющей никакого отношения ни к *пению* (chant), ни к *плачу* (pleur). Это слово в его последовательных изменениях представляет прекрасный пример народной этимологии, в которой смысл не играет никакой роли. Собственные имена в широком значении этого слова—благодарнейшая почва для народной этимологии. Нет ничего забавнее этих изменений. Французское pipe de Kummer *(трубка Куммера*, Куммер—фамилия фабриканта) превратилось в pipe d'écume de mer (écume de mer—*морская пена*). Отсюда переводное немецкое Meerschaum и русское—*морская пенка*. Итальянское pomi dei Mori (mala aethiopica) *(яблоки*

мавров) стали по-французски pommes d'amour, по-английски love-apples, по-немецки Liebesäpfel, что на всех этих языках одинаково значит дословно *яблоки любви* (помидоры). Итальянское girasole (*подсолнечник*, название земляной груши) изменилось в английском в Jerusalem (artichoke). Греческое название Ὑμηττός было понято в средневековом венецианском как Il Matto (*сумасшедший*), откуда современное новогреческое Trello Vouno (*гора сумасшедшего*). Это разительные примеры группировки слов в нашем сознании. Будучи обычно бессознательным, этот процесс от этого не менее действителен.

Если бы мы дальше пытались проследить за этими изменениями, то мы вступили бы уже в область фольклора. Сколько легенд родилось на почве языковых совпадений![1]

Башня около Гренобля по названию La tour Saint-Vrain (слово Vrain в современном французском языке не имеет значения) стала называться La tour Saint-Venin (т. е. *башня святого яда*). И это название послужило исходной точкой легенды. Слово, служа носителем мысли, вызывает звуками и значениями сближения, вводящие в заблуждения. Здравый смысл их осуждает; наивный ум эти заблуждения принимает за действительность. Была высказана мысль и частично доказана, что мифология есть не что иное, как болезнь языка[2]. То же можно сказать и об агиографии (жития святых). Большинство святых целителей обязаны своей предполагаемой целебной силой игре слов на их именах. В так называемой «народной медицине» мы найдем немало рецептов, основанных на игре слов; ассоциации идей создают гомеопатические лекарства; это основано на том, что слово всегда в какой-то мере символично[3].

Нам уже пришлось отметить связь эмоционального языка с логическим; оба эти элемента сливаются в речи. Но это слияние наиболее прочно в словаре. Слово недостаточно полно определяется отвлеченной формулой, даваемой словарями. Логическое значение каждого слова окружено особой эмоциональной атмосферой, его проникающей и придающей ему в зависимости от употребления слова в том или ином контексте ту или иную временную окраску. Даже у людей с наименее развитым воображением и не впечатлительных к отвлеченному и общему значению слова примешиваются специальные оттенки, составляющие выразительную силу слова.

При попытке анализировать эту выразительность мы находим в ней различные черты и многочисленные источники. Прежде всего эта выразительность слова зависит от его звукового со-

---

[1] *Max Müller*, Nouvelles leçons sur la science du langage, t. II, p. 91—92, 317; *Nyrop*, Das Leben der Wörter, S. 222.

[2] *M. Bréal*, Mélanges de mythologie et de linguistique. Самая острота принадлежит М. Мюллеру.

[3] О символизме слова *Meyer*, «Indogermanische Forschungen», Bd. XII, S. 256; *Erdmann*, Die Bedeutung des Wortes, S. 107.

става. Понятно, теперь уже никто не согласится ни с де Броссом, ни с Кур де Жебеленом, что слова искони образовались из звуков, адэкватных означаемым ими понятиям, и что например во французском слове fleuve *(река)* сочетание звуков «fl» («фл»), содержащее «плавный звук» «l», возбуждает в нас ощущение чего-то «текучего». Нет предустановленного соответствия между звуками слова и его смыслом; словарь создался не из ряда звукоподражаний. Никто из лингвистов не подпишется под формулой Фомы Аквинского, по которой название вещей соответствует их природе (nomina debent naturis rerum congruere). Но если словарь языка сложился не по этому принципу, то эта гипотеза вполне правильна, поскольку она констатирует одну из черт нашего ума[1]. Утверждать, что сочетание звуков fl и идея текучести необходимо связаны друг с другом, нельзя, так как в словах, не в меньшей мере выражающих ту же идею,—ruisseau, rivière, torrent (*ручей, река, поток*), этих звуков нет. С другой стороны, в слове fleur *(цветок)* это сочетание есть, но никакая идея текучести с ним не связана. И все же верно, что слово fleuve обязано своей выразительной силой тому, что звуки, его составляющие, легко вызывают его значение.

Различные звуки и их различные сочетания обладают различной выразительной силой. В этом тайна образования звукоподражаний. Немецкое Kladderadatsch (*трах*) произносится для обозначения грохота разбиваемой посуды, а французское patapouf *(бух)* для обозначения звука от мешка с бельем, скатывающегося по ступенькам лестницы; французское pan обозначает сухой звук револьверного выстрела, а boum—долгий гул пушечного выстрела. Все музыканты знают, что различные тональности подходят лучше или хуже для выражения различных чувств; одна гамма более пригодна для передачи деревенской наивности, другая—для передачи ласки и неги, третья—для мужественной и грубой силы. Пользуясь своим чутьем, композитор всякий раз выбирает соответствующую тональность; совершенно правильно утверждение, что транспонировка иногда искажает характер музыкальной пьесы. Но, понятно, нельзя утверждать, что гениальный композитор не может в любой тональности выразить любое чувство. Также от искусства поэта зависит придать звукам всю доступную им выразительность: «Слово, творящее мысли, становится через звуки, его составляющие, звуковым творцом стиха, подчиняя все второстепенные слова звуковой тирании» (Бек де Фукьер). Путем умелой подготовки и противопоставлений поэт может достичь таких результатов от слов, каких от них профан никогда не ожидал.

---

[1] *Grammont*, Onomatopées et mots expressifs, «Revue des langues romanes», t. XLIV, p. 97. Ср. *Court de Gebelin*, Le monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne, considéré dans l'histoire naturelle de sa parole, P. 1775.

Всякое слово всегда вызывает в нашем сознании какое-либо представление чего-то веселого или печального, приятного или ужасного, большого или маленького, удивительного или смешного. Это происходит вне зависимости от смысла слова и часто до того, как этот смысл становится нам известным. Назовите перед кем-либо имя человека, которого ваш собеседник до того никогда еще не видел; у него сейчас же создается какое-то представление об этом человеке, в большинстве случаев совершенно ложное. Когда его познакомят с названным вами человеком, ваш собеседник скажет: *«вот он какой! а я-то его представлял себе совсем не таким»*. То же происходит со словами языка. Наши представления о вещах подчиняются непосредственным впечатлениям, получаемым от слов, их обозначающих.

Пытаясь найти что-то общее между вещью и словом, ее обозначающим, мы следуем привычке древней, как мир. Слово в течение долгого ряда веков было не только условным знаком, но и составной частью вещей; оно как бы обладало их свойствами. Человек не отличал знака от самой вещи. Латинская формула nomen—omen *(имя, это—предзнаменование)* есть пережиток этого древнего воззрения. Запрещенные слова (см. стр. 256 и д.) и искажения слов как результат этого запрещения—следы этого воззрения. Названия тогда имели большое значение. В «Книге бытия» мы видим, какое значение придавалось именам. Несчастный Аякс носил в своем имени символ своей судьбы (*Софокл*, Аякс, ст. 430).

Имя Одиссея (Улисса) напоминало некоторые черты характера его деда («Одиссея», песнь 19, ст. 406). Слова таким образом не были произвольными безразличными знаками; в них заключалась магическая сила, объясняющая заклинания и проклятия. Слово, написанное, естественно, имело еще большее значение, чем слово произнесенное (см. главу «Письмо»). Но и простое устное слово могло производить могучее действие, особенно если оно было заключено в стих, где слова подчинены ритму. «Стихами,—говорит Виргилий,—можно свести с неба луну»:

Carmina vel coelo possunt deducere lunam.

Первые поэты были облечены страшной силой, которая воплощалась в слове «сатира». В мозгу культурного человека нашей эпохи это слово не вызывает ничего, кроме представления о литературном жанре, немного устаревшем и во всяком случае безобидном. Но было время, когда сатирик был в какой-то степени и колдуном. Тогда сатира была настоящим колдовством, гибельным для того, в кого она метила. Известен результат сатир Архилоха; этот отверженный любовник силой своих ямбов довел до отчаяния и даже до самоубийства отца любимой девушки и, что еще более жестоко, самое девушку. Нам передают этот эпизод как легенду, лестную если не для характера, то для таланта Архилоха. Но это—неверное освещение;

этот эпизод нужно понимать буквально. Архилох попросту убил Ликамба и Необулу, заколдовав их своими чарами, от которых они не могли уйти. Только значительно позже, благодаря прогрессу культуры, поэт-сатирик и зловещий колдун отделились друг от друга. Вначале они были одним лицом, и долго еще в ряде стран их не отличали друг от друга. Гаэльский язык Шотландии еще до наших дней обозначает *жребий* словом ortha, происходящим от латинского oratio (*речь*), о *колдунье* говорится, что tha facal aice, т. е. *у нее есть слово*, этим указывая на ее могущество[1].

Знать имена вещей—значит иметь над ними власть. Знание слов следовательно есть признак власти. «*О лихорадка*,—говорили в своих заклинаниях колдуны-знахари Атхарва-Веды,—*не уйдешь от меня, я знаю твое имя*». Приказ болезни выйти из больного становится могущественнее от того, что знают ее название. Знать название болезни—это уже наполовину вылечить ее. Нам не следует смеяться над этой первобытной верой. Она живет еще в наше время, раз мы придаем значение форме диагноза. «У меня очень голова болит, доктор».—«Это цефалалгия».—«У меня плохо работает желудок».—«Это диспепсия». Этот мольеровский диалог повторяется каждый день в приемных врачей. На это скажут, что технический термин обладает точностью, которой нет у обиходного слова, что первый обозначает совокупность определенных симптомов, что цефалалгия—это не совсем то, что головная боль, а диспепсия—затрудненное пищеварение. Но ведь врач ограничивается в сущности тем, что подставляет таинственное слово на место обычного слова, понятного для всех больных. А больные чувствуют себя уже лучше только от того, что представитель науки знает название их тайного врага.

Наше сознание устанавливает ряд аналогий между словами, ряд перекрещивающихся связей между их звуками, понятиями и предметами, ими обозначаемыми. Слово никогда не всплывает в наше сознание одиноко. Даже когда только одно слово в одном значении присутствует в нашем сознании, то другие, остающиеся в тени, масса понятий и эмоций, связанных с ним тончайшими нитями, каждую минуту готовы ворваться в наше сознание. Слова, проходящие через наше сознание, находятся в непрерывной связи со всей нашей интеллектуальной и эмоциональной жизнью.

***

Представляет быть может известный интерес определить объем словаря[2].

Некоторые лингвисты ставили перед собой эту задачу и пы-

[1] *G. Henderson*, Survivals in belief among the Celts, Glasgow 1911, p. 11, 18, 291.

[2] *Max Müller*, La science du langage, p. 287 et suiv.

тались определять словари количественно. Макс Мюллер например утверждал, со слов одного сельского пастора, будто словарь неграмотного английского крестьянина не выходит за пределы 300 слов. Этому другие лингвисты не замедлили противопоставить словарь Шекспира, включающий по исчислению одних 15 000, а по исчислению других до 24 000 слов. Мильтон будто бы употреблял от 7 000 до 8 000 слов. В гомеровских поэмах—около 9 000 слов, в книгах «Ветхого завета»—5 642, «Нового завета»—4 800.

Эти цифры ничего не доказывают. Прежде всего нужно исключить произведения художественной литературы. Конечно мы можем с точностью до одного слова установить объем словаря «Илиады» и «Одиссеи», произведений Шекспира или Расина. Но пытаться, исходя из этих чисел, определить словарь Гомера, Шекспира или Расина было бы нелепостью. Есть строгие к своему языку писатели, намеренно ограничивающие свой словарь; если бы мы судили о словарном богатстве французского языка по произведениям Расина, это было бы так же неверно, как если бы мы исчисляли население Франции по числу выдающихся лиц. Но кроме того писатель искусственно обогащает свой словарь большим числом слов, приобретенных им случайно или найденных в словарях; иногда он даже изобретает их. Нужно ли включать в словарь Гюго знаменитое шуточное Жеримадет (Jérimadeth)? Тот же вопрос можно поставить относительно сотен других собственных имен. Они хотя и существовали в жизни, но прошли только мельком через мозг писателя. Не только имена собственные, но и многие нарицательные, взятые писателем из словаря, не являются постоянным достоянием его живого словаря. Не должно смешивать словарь писателя со словарем его произведений. Словарь книги всегда составной: в нем мы всегда найдем рядом со словами высокого стиля слова стиля низкого, рядом с техническими терминами слова обиходные. В словаре любой книги всегда смешиваются несколько словарей: к собственному словарю писателя, употребляемому им в своем обиходе, присоединяются различные другие словари—архаичные, научные, диалектальные, вульгарные, обогащающие его стиль и часто являющиеся главной его ценностью.

Никто не знает объема своего словаря, и нет методов для его определения. Недостаточно было бы открыть словарь и перебрать в алфавитном порядке все слова, с тем чтобы определить, какие представления они вызывают в нашем сознании и вызывают ли их вообще. В этом случае мы поставили бы себя в совершенно искусственные условия, далекие от действительности. Слова в нашем языке не расположены столбцами, как в словаре. Мы не можем окинуть их взглядом и пропустить мимо себя, как солдат на параде. Мы ясно не представляем себе, откуда их извлекает наше сознание, чтобы включить их в наши фразы

и затем передать вполне готовыми нашему речевому аппарату. Слово никогда не бывает совершенно изолированным в нашем сознании, оно всегда входит в состав более или менее значительной группы слов, которые и придают ему его значение. Но распределение этих групп совершается по перекрещивающимся грамматическим, психологическим, историческим и социальным принципам; это делает совершенно безнадежной всякую попытку выразить словарь в числах.

Сверх того исчисление словаря невозможно также и по причинам чисто грамматическим. Мы уже видели, как трудно определить понятие отдельного слова и выделить элементы слова. При исчислении словаря морфемы очевидно в счет не идут; но есть очень много слов, которые являются только морфемами, и морфем, которые иногда еще являются словами. Значение отрицания например намного больше, чем значение простого суффикса, обозначающего грамматическую категорию или употребление слова; причисляя отрицание к морфемам, мы совершенно неправильно принижаем его значение. Но есть много языков, в которых отрицание не выражается отдельным самостоятельным словом. Когда в ирландском языке domelim *(я ем)* противопоставляется nitoimlim *(я не ем)* или в литовском neszù *(я несу)* и nèneszu *(я не несу)*—это одно и то же слово со включением в него отрицательной морфемы.

Благодаря суффиксам число слов с грамматической точки зрения не ограничено. Во французском языке посредством живого суффикса «eur» от глагола promener *(гулять)* образовали слово promeneur *(гуляющий)*, от marcher *(ходить)*—marcheur *(ходок)*, от trotter *(бегать рысью)*—trotteur *(рысак)*. А слово galopeur существует ли во французском языке или нет? Это не важно; если мне понадобится употребить его, мой собеседник сразу меня поймет: составные части этого слова ему совершенно понятны. Даже если мы этого слова не найдем в словаре, все же мы должны его принять во внимание при подсчете, так как оно потенциально существует в сознании каждого француза. Следовательно есть большое число слов, которых у меня в данный момент нет в сознании, которых я никогда не употреблял и может быть и не употреблю никогда, но которые все же принадлежат к моему словарю, так как в случае нужды они естественно возникнут в моем сознании и я их немедленно пойму, услышав от другого.

Это еще яснее на примере другого языка,—такого например, как литовский, в котором отвлеченные существительные и так называемые nomina agentis образуются от любой глагольной основы, совсем как любое глагольное время. С этой чисто грамматической точки зрения объем словаря безграничен.

Объем словаря неограничен также и по чисто семантическим причинам употребления слов. Мы выше уже видели, что у слова столько же значений, сколько случаев его употребления. Но

каждый смысл самостоятелен потому, что в момент употребления слова в сознании говорящего налицо только одно значение слова. Отсюда вытекает, что словарь включает столько же различных слов, сколько есть разных случаев употребления у каждого слова. Число же случаев употребления для каждого слова не может быть ограничено, так как жизнь может каждую минуту создать новые; отсюда мы заключаем, что объем словаря, покуда язык живет, увеличивается до бесконечности. Каждое слово приходится считать много раз, а сколько именно—это невозможно определить.

Если стать на другую точку зрения, многие слова не должны подсчитываться при исчислении словаря. Есть иерархия слов, позволяющая отличать глагол от прилагательного или существительного или имя нарицательное от имени собственного (см. стр. 132). Эта иерархия находит свое обоснование в психологии и создает между словами значительные различия. Что представляет имя собственное? Чаще всего ничего. Много ли найдется людей, даже среди наиболее образованных, имеющих ясное, отчетливое представление о Перикле, Августе, Людовике XIV или Фридрихе II? Мы называем учеными тех людей, которые накапливают в своем мозгу большое число собственных имен, чтобы потом выкладывать их перед восхищенными невеждами и глупцами. Но многие ли из этих имен вызывают у них самих отчетливое представление? Чаще всего это только баласт, которым они перегружают свою память. Неправильно причислять к словарю то, что есть только чистая работа памяти.

Многие из слов, считаемые нами именами нарицательными, в сущности имена собственные[1]. Я знаю, что *скворец, коноплянка, кобчик* или *ястреб*—птицы, потому что я встречал эти слова в рассказах из крестьянской жизни или перелистывая книги по естественной истории. Но я не в состоянии представить себе этих птиц: их названия не вызывают в моем мозгу никаких четких образов. Это птицы; ничего больше я не могу о них сказать, и это уже много. Есть много слов, относительно которых я буду колебаться между млекопитающим, пресмыкающимся и рыбой, в других случаях—между растением и минералом; наконец есть слова, прячущиеся в закоулках моей памяти; иногда я случайно наталкиваюсь на них, и о них я уже ничего не могу сказать, разве только, что это слова моего родного языка.

Продолжая так исследовать свой словарь слово за словом, просеивая их, так сказать, на сите, мы видим, что словарь образованного человека заключает большое число слов, бесполезно обременяющих его мозг. Между словами живого ежедневного употребления и словами, случайно вошедшими в наш сло-

---

[1] *Vendryes*, Sur quelques difficultés de l'étymologie des noms propres, «Mélanges littéraires publiés par la Faculté des lettres de Clérmont-Ferrand», 1910, p. 329—337.

варь и бесполезными, есть постепенный переход. Но если таким образом при подсчете словаря надо считать не все слова, то где тот предел, у которого надо остановиться? Нужно ли при подсчете словаря принимать во внимание добавочную лексическую нагрузку, даваемую знанием чужих языков? Полиглот—это человек, который может выразить одну и ту же мысль на нескольких языках. Переводчик международной гостиницы знает названия обычных предметов на трех, четырех, пяти языках. Это—упражнение памяти, необходимое в его профессии. Скажем ли мы, что его словарь в три, четыре или же в пять раз богаче словаря другого служащего, говорящего с клиентами только на одном языке? Да, если учитывать только чисто внешний факт—нагрузку его памяти. Но в действительности мы здесь имеем дело не с более богатым словарем, а с несколькими словарями, смыкающимися и накладывающимися друг на друга, обыкновенно не смешиваясь, пользование которыми зависит от обстоятельств.

Для обычного общения существует у всех людей словарь приблизительно одинакового объема. Говорят, что неграмотному крестьянину нужно для такого общения 300 слов; примем эту цифру, хотя она конечно значительно ниже действительной. Но ведь и образованный барин нуждается для своего обихода не в большем словаре; вся разница только в том, что у него другие слова. Но этот барин может знать и словарь простолюдина и пользоваться им при случае. Тогда в его распоряжении будет два словаря: один для салона, другой для деревни[1]. Если он военный, он будет владеть кроме того и военным словарем, а если он не чужд какой-нибудь науке, в его распоряжении будет еще и терминология этой науки. Допустим, что он говорит на одном или двух иностранных языках; словари этих языков также присоединятся к его личному словарю: это все различные словари, так как они вытекают из различных потребностей и служат средством общения с различными людьми.

Что поражает при анализе различных словарей, это крайняя сложность словарного запаса, которым может владеть человек. Для различных составных частей этой совокупности словарей ни грамматически, ни психологически, ни—что еще важнее—с точки зрения употребления нет общей мерки.

Эта сложность придает изучению словаря интерес. Мы к этой теме еще вернемся при анализе процесса образования языков. Пока эта сложность поможет нам объяснить изменения, которым подвергается всякий словарь.

---

[1] «Придворного, владеющего низким языком, мне кажется, почти можно сравнить с ученым, знающим иностранные языки» (*Duclos*, Considérations sur les moeurs, Paris 1767).

ГЛАВА II

КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ [1]

Развитие языка происходит различно в фонетике, грамматике и семантике.

Фонетическая система устанавливается в раннем возрасте и сохраняется на всю жизнь; мы сохраняем до конца жизни артикуляционную систему, усвоенную нами в детстве; единственное возможное исключение, это—замещение произношения родного языка другим произношением иностранного языка при его изучении; но это—результат нарочитого воспитания. Морфологическая система также устойчива. Правда, она требует больше времени для своего закрепления; но, установившись, она заметным образом не изменяется. Ни фонетика, ни грамматика не изменяются в пределах одного поколения; они подвергаются изменениям при передаче языка одним поколением другому. Артикуляционная и грамматическая системы приобретаются раз навсегда и обязаны своей устойчивостью непрерывности сознания говорящего.

Напротив, словарь никогда окончательно не устанавливается, так как он зависит от окружающих условий. Каждый говорящий в течение всей своей жизни пополняет свой словарь, заимствуя его от окружающей среды. Мы постоянно расширяем, суживаем и изменяем свой словарь. Это непрерывный кругооборот приобретаемых и утрачиваемых слов. Но новые слова не всегда вытесняют старые; наше сознание мирится с наличием в языке синонимов и дублетов, распределяя их обычно между разными сферами употребления. Так, во французском языке слова chaire *(кафедра)* и chaise *(стул)* и sieur *(господин)* и seigneur *(вельможа)* не имеют одного значения.

---

[1] Для общих справок: *Bréal*, Essai de sémantique[3], 1904; *Nyrop*, Grammaire historique de la langue française, t. IV, и Das Leben der Wörter; *Jaberg*, «Zeitschrift für romanische Philologie», Bd. XXV, S. 561 u. and. (библиография вопроса). По частным вопросам: *E. Littré*, Comment les mots changent de sens (с предисловием и с примечаниями M. Bréal), 1888; *A. Meillet*, Comment les mots changent de sens, «Année sociologique», 1905—1906, p. 1—38; *Paul*, Prinzipien der Sprachegeschichte, Кар. IV; *Person*, Beiträge zur indogermanischen Wortforschung, Bd. II, S. 968 u. and.

Жизнь способствует изменению словаря, увеличивая число причин, действующих на слова. Социальные отношения, специальность, орудия труда изменяют словарь, изгоняют старые слова или изменяют их значение, требуют создания новых слов. Деятельность сознания постоянно получает новые побуждения для работы над словарем. Короче говоря, не найдется ни одной области, где причины изменения явлений были бы сложнее, многочисленнее и разнообразнее.

Когда приступаешь к вопросу об изменениях в словаре, неизбежно вспоминаешь о «жизни слов» и о небольшой книжечке Арсена Дармстетера под этим заглавием[1].

Но заглавие—это не самое лучшее из того, что есть в этой книжке. Самое выражение «жизнь слов»—двусмысленно и часто ведет к неверным толкованиям, против которых протестовал бы Дармстетер.

Мы не можем рассматривать слово как живой организм. Сходство между первым и вторым только кажущееся. Слова не рождаются и не умирают, как люди. В исключительно редких случаях мы можем отметить, что в таком-то году вошло в язык то или иное слово, до тех пор неизвестное; так, в 1894 г. появились слова chandail *(вязаная фуфайка)*[2], введение слова pudeur *(стыдливость)* приписывается поэту Депорту (Desportes)[3], а bienfaisance *(благотворительность)*—аббату de Saint-Pierre[4]. Слово obscenité *(непристойность)*, приписываемое жеманницам XVII в., воспринималось современниками Мольера как неологизм[5].

В более близкое к нам время слово rescapé *(уцелевший от гибели)* вошло во французский язык в связи с катастрофой в Courrières в 1906 г., а слово indésirable *(нежелательный)*—в связи с одним романтическим инцидентом, героя которого не пустили в пределы США. В первом случае мы имеем дело с введением в общефранцузский язык местного слова, употребительного в департаменте Па-де-Калэ, во втором же случае—с заимствованием из английского языка. В обоих случаях налицо «введение» в язык нового слова, но это введение ничем не сходно с рождением.

Французский язык заменил старое слово chef (*голова*), происходящее от латинского caput, новым словом tête, так же как старое ive (от equa—*кобыла*) было сменено словом jument. Допустим, что—случай маловероятный—слова chef и ive вновь займут места своих более счастливых конкурентов—tête и jument. Сможем ли мы сказать, что выздоровело больное слово

---

[1] «La vie des mots étudiée dans leur signification».

[2] *Clédat*, Dictionnaire étymologique de la langue française, p. 117.

[3] *Vaugelas*, Remarques sur la langue française, № 527, éd. de 1738, t. III, p. 348. Отметим, что слово pudeur употребляется Монтэнем: «Essais», II, 13; III, 5.

[4] *Voltaire*, Septieme discours sur l'homme.

[5] «Critique de l'école des femmes», scène III.

chef? Или что воскресло слово ive? Ни в каком случае: налицо просто введение двух новых слов в словарь языка. Нельзя было бы установить никакой связи между средневековым словом ive и современным словом ive, если бы оно было создано в наши дни в силу потребности или прихоти.

Иногда какое-нибудь слово французского языка, заимствованное соседним языком и в то же время утраченное французским языком, через несколько столетий снова возвращается во французский язык. Так, французские слова flirt *(флирт)* и budget *(бюджет)* заимствованы в настоящее время из английского языка; но мы знаем, что эти слова—французского происхождения и перешли через пролив в давние времена. Но было бы неточно принимать всерьез метафору о словах-путешественниках, переходящих границу. Слово flirt уже ничего общего не имеет со старинным французским словом fleurette (буквально *цветочек*), возвратившимся к нам из Англии; это для французского языка новое, заимствованное из английского языка, слово flirt. Так же и слово budget—это уже не старинное французское слово bogète (*мешочек*); это—другое слово, иностранное и к тому же имеющее совершенно новое значение.

Но все же этимология, прослеживающая пути слов во времени и в пространстве,—наука полезная. Конечно, у слов нет самостоятельной жизни; они существуют только в сознании говорящих. Но работа сознания, всегда деятельного, отражается в словаре. Понятно, ошибается тот, кто принимает за живого человека свое отражение в зеркале; отражение—не живое существо. Но все же зеркало в точности повторяет движения того, кто в нем отражается. Мы имеем полное право пользоваться отражением в зеркале для измерения и истолкования движений человека, в нем отражаемого. Это простое рассуждение достаточно для справедливой оценки значения этимологии. Впрочем только при одном условии. Этимология не должна считать свое дело законченным, когда ей путем больших усилий удалось установить историю нескольких слов, взятых отдельно. Этимология отдельного слова не представляет ценности сама по себе: отдельный факт, даже научно установленный, только побрякушка, если мы не можем вывести из него общего положения, применимого к другим фактам. Надо отметить, что многие объяснения происхождения слов не дают основания для обобщающих выводов. В сущности не имеет никакого значения, что французское слово échalote (сорт лука) происходит от названия города Аскалона, что французское слово hussard (*гусар*) происходит от венгерского слова, означающего *двадцать*, и что название города Лион (по-французски Lyon) означало по-кельтски *город бога Люг*. Это может представлять интерес для историка, изучающего разведение овощей, военные учреждения или кельтскую мифологию; но это не касается лингвиста. Лингвист занимается этимологией только для того,

чтобы собрать возможно большее количество сходных семантических явлений и вывести из них законы развития значения слова.

Эти законы никогда не заключаются в самих словах. Ошибка Дармстетера в его книге заключается в утверждении, что существует внутренняя логика, управляющая семантическими изменениями слов. Автор не вышел за пределы схоластических понятий катахрезы и метонимии: он не охватил в своем анализе конкретной действительности, отраженной в слове.

* * *

Слова, как они группируются в нашем сознании, не стоят особняком. Стремление нашего сознания группировать их создает явления типа «народной этимологии», влияющей на их форму (см. стр. 172 и сл.). Еще сильнее сказывается эта тенденция к группировке на значении слов.

Связи семантической группы укрепляют за каждым словом его традиционное значение; если же случайно какое-либо из основных слов данного семантического гнезда изменяет свое значение, оно увлекает за собой и все другие слова в новом направлении. Так, французское слово habit *(состояние)*, сузившее свое значение до значения *одежда*, увлекает за собой и глагол того же корня habiller *(привести в состояние)*; подвергшись тому же сужению значения, он стал обозначать *одевать*; и все производные от этих слов соответственно изменили свои значения: habilleur *(костюмер)*, habillement *(одевание)*, déshabiller *(раздевать)* и т. д. Французский глагол pondre и однокоренное существительное ponte оба перешли от выражения общего понятия *класть* к специальному значению *класть* или *нести яйца* (о птице). Семантическая связь удержала эти слова в одной группе.

Но если связь между словами какой-либо группы ослабевает или развивается, ничто не мешает значению слов развиться в разных направлениях. Латинское слово captivus *(взятый в плен, пленный)* сохранило свое значение, пока жив был латинский язык, так как это значение поддерживалось стоявшим рядом с ним словом capio *(беру)*. Во французском языке слово capio не удержалось, а его производное captivus сохранилось, но как изолированное слово; не имея поддержки от своего основного слова и не будучи связано ни с каким определенным морфологическим типом, это производное слово быстро изменило свое значение; оно преобразилось в chétif со значением *несчастный, слабый*. Этот сдвиг значения, поддерживаемый благодаря распаду группы, к которой это слово принадлежало искони, отчасти может быть отнесен также и за счет влияния слова petit *(маленький)*, которое даже в некоторых говорах способствовало появлению женского рода chétite вместе обычного chétive.

Слово chétif, оторванное от своего корня, было как бы выброшено из своего гнезда и вошло в другое семантическое гнездо.

Не менее важны морфологические группировки слов. Мы уже знаем (стр. 137), что суффикс влияет на слово настолько сильно, что может изменить его значение по аналогии со значениями других близких слов с тем же суффиксом. Часто также морфологическая связь, соединяющая два слова, препятствует им приобрести новое значение: французское слово meurtrier *(убийца)* сохранило связь с meurtre *(убийство)*, как vitrier *(стекольщик)* с vitre *(стекло)* и ouvrier *(рабочий)* с oeuvre *(работа)* и не последовало за глаголом meurtrir *(ушибить)*, откуда meurtrissure *(ушиб)*, в своем изменении значения. Но в тех случаях, когда морфологическая связь между основным словом и его производным слабеет, значение одного из них часто изменяется. Так, латинское слово toga этимологически значит *«то, что покрывает»*; это—отвлеченное существительное от глагола tego *(покрываю)*, как и греческие слова τροφή *(пища)* от τρέφω *(кормлю)*, νομή *(пастбище)* от νέμω *(пасу)*, στοργή *(нежность)* от στέργω *(ласкаю)* и т. п. Но этот способ образования так же редок в латинском языке, как он част в греческом. Связь между τροφή и τρέφω сильнее, чем между toga и tego. Поэтому ничто не помешало слову toga приобрести специальное значение особого одеяния.

В древневерхненемецком языке у нескольких прилагательных, образованных посредством суффикса «i», было наречие с суффиксом «o», например festi *(крепкий)* и наречие fasto, skôni *(красивый)* и skôno. Это двойное образование не удержалось с течением времени, и наречие стало образовываться непосредственно от прилагательного. С этого времени, после отпадения конечных звуков, в распоряжении немецкого языка оказались две пары различных слов: fest и schön (прилагательные) и fast и schon (наречия); связь между этими парами уже исчезла. Это способствовало развитию иного значения наречий: fast приобрело значение *почти*, а schon *уже*. Чтобы передать значение *крепко* и *красиво*, немецкий язык пользуется соответственно словами fest и schön.

Эти примеры показывают характер взаимодействия между словами одного и того же языкового гнезда. В мозгу происходит бессознательная работа, закрепляющая за словами какое-либо определенное значение и подготовляющая их к различному употреблению. При употреблении слова подвергаются опять риску изменения значения и на этот раз уже под влиянием контекста.

Хотя в каждом отдельном случае употребления слово имеет только данное значение, исключающее все другие его значения, получаемые этим словом в других случаях употребления, но все же употребление слова, именно в силу своего разнообразия, непрестанно воздействует на его значение. И это про-

является двумя способами. С одной стороны, постоянное употребление одного и того же слова в одном и том же контексте может обмануть сознание говорящего, который, не имея возможности уточнить посредством сравнения значение слова, склонен изменить это значение. С другой стороны, постоянное употребление одного и того же слова в различных контекстах легко может стереть или изменить его значение.

Слушая или читая какую-либо фразу, мы объясняем себе ее слова одно посредством другого. Если среди этих слов попадается одно, мало нам знакомое,—а всякое слово мы в какой-либо момент нашей жизни слышим в первый раз,—мы понятно пытаемся понять его, пользуясь контекстом; таким приемом обычно пользуются школьники при переводе иностранного текста с чужого языка,—скажем, с немецкого или с латинского. Приобретенное нами догадкой значение слова очень легко может оказаться неверным. Но это понимание обычно исправляется тем, что то же самое слово мы вновь встречаем в других фразах, где его значение уточняется другими словами. Так устанавливается в сознании значение всякого слова.

Есть слова, редко употребляющиеся и встречающиеся всегда только в сочетании с некоторыми другими словами. В значении этих слов мы гораздо легче можем ошибиться, так как их употребление не дает нам средств для проверки их значения. В этих случаях часто случается, что слово уклоняется в своем значении от своего первоначального смысла. Французское прилагательное fruste применялось первоначально только к монете со стершимся изображением; но выражение monnaie fruste было понято: монета, неискусно вычеканенная, без изящества и отделки. В переносном значении это слово стали употреблять, говоря о грубом, некультурном, неотесанном человеке[1]. В этом случае возобладало неверное значение, чему вероятно способствовало некоторое звуковое сходство слова fruste со словами rustre и rustaud *(деревенщина)*.

Действительно, наше сознание стремится уточнить значение слова всеми доступными ему способами. Но иногда ему свойственно ошибаться, если специальные обстоятельства ориентируют его в неверном направлении. Французское слово émérite сначала применялось только к чиновнику, выслужившему пенсию: педантически следуя за латынью, *заслуженного профессора* называли professeur émérite. Но слово émérite истолковали, исходя из слова mérite *(заслуга)*; теперь, говоря о professeur, что он émérite, хотят выразить, что он *выдающийся* профессор. Это—неверное употребление, но оно настолько установилось, что без колебания говорят о всаднике или летчике, что они émérite. Таким образом, когда это слово стало употребляться в раз-

[1] В недавно вышедшей книге одного академика мы читаем такие заключительные слова к характеристике одного из героев войны: «В целом он крепок, властен и груб (fruste)».

личных сочетаниях, появилось больше возможностей сохранить неизмененным его ошибочное значение.

Но все же следует также отметить, что чем чаще слово употребляется в различных контекстах, тем больше опасности, что его значение изменится. Каждое новое сочетание направляет сознание по другому пути; следствием является создание слову новых значений. Отсюда вытекает то, что называется полисемией.

Этот термин обозначает способность слова приобретать разнообразные значения в зависимости от различных случаев его употребления и сохранять в языке все эти значения. Прекрасный пример полисемии мы видим в слове bureau *(бюро)*; сначала оно обозначало материю из bure *(ткань из верблюжьей шерсти)*, затем стол, покрытый этой тканью, затем любой стол, служащий для письма, потом помещение, в котором стоит такой стол, потом—занятия, происходящие в этом помещении, потом лиц, осуществляющих эти занятия, и наконец даже группу лиц, управляющих учреждением или обществом. Новое значение не обязательно вытесняет прежние значения. Кроме первого значения (род материи) все остальные продолжают жить в языке. Обычно развитие значений не идет по прямой линии; оно развертывается во всех направлениях вокруг основного значения, и каждое из вторичных значений может в свою очередь стать новым центром семантического развития[1].

Как бы ни были разнообразны случаи употребления одного слова, всегда среди них есть одно доминирующее, которое и устанавливает в общих чертах основное значение слова, закрепляемое в словаре. Если же есть два или несколько употреблений слова, одинаково доминирующих над другими и не сводимых одно к другому, то мы имеем дело с различными словами (стр. 168).

Но это основное значение никогда не может считаться незыблемым; оно всегда окружено другими значениями, которые каждую минуту могут всплыть на поверхность и вытеснить основное. Как ветка, отнимающая сок от ствола, новое значение мало-помалу вырастает и наконец вытесняет прежнее. Тогда мы говорим, что слово изменило свое значение.

Можно очень ясно показать, как среди значений одного и того же слова всегда есть одно, которое в любой момент может возобладать над другими,—показать на таком например явлении. Существительное может находиться в разнообразных отношениях к глагольному действию; но, производя глагол от существительного, мы обыкновенно выражаем только одно из этих отношений. Следовательно мы бессознательно из всех возможных значений выбираем то, которое нам нужно выразить в данный момент. Достаточно, если нет внешних препятствий, чтобы

---

[1] *Darmsteter*, La vie des mots étudiés dans leur signification, p. 74.

таким образом образованное слово вошло в словарь и там закрепилось. Так, в немецком языке от слова Herz *(сердце)* образуют слово herzen *(прижать к своему сердцу, обнимать)*; в ирландском языке от bruinne *(грудь)* образуют bruinnim *(прижимаю к своей груди)*; но от немецкого слова Kopf *(голова)* получается глагол köpfen *(обезглавить)*; в валлийском от cefn *(спина)* глагол cefnu *(повернуться спиной)*; от ирландского dorn *(кулак)* глагол durnim *(бью кулаком)*; от греческого σάρξ *(мясо)* глагол σαρκίζειν *(вырвать кусок мяса)*; французское coiffer quelqu'un *(надеть на кого-либо шляпу)* от coiffe *(шляпа)*; gifler *(бить кого-либо по щекам)* от gifle (старинное *щека)*; plumer une volaille *(щипать перья у птицы)* от plume *(перо)*; boucher *(заткнуть рот кому-либо)* от bouche *(рот)*; échiner *(переломить хребет)* от échine *(хребет)*; peler *(снимать кожу с плода* или в непереходной форме *потерять кожу)*; в народном языке zyeuter *(уставить глаза)*; от pilus *(волос)* латинский язык образовал два глагола pilare: один—в архаическую эпоху (Афраний, Новий), обозначающий *покрыться волосами*, другой—в эпоху империи, обозначающий *лишить волос* (Марциал).

Для значения этих образований, принадлежащих разным эпохам и разным общественным слоям, нет правил; или, вернее, единственное правило, это—выражение через глагол действия, которое кажется наиболее характерным в момент фиксации значения слова[1].

Здесь мы сталкиваемся с чем-то, аналогичным слабым и сильным грамматическим формам. В словах есть что-то вроде семантической иерархии сильных и слабых значений. Сильные значения, не всегда самые древние, всплывают в сознании первыми, когда произносится слово; они сильны благодаря важности их употребления. Слабые же, более редкие и более специальные, остаются в полутени; чтобы их осветить, нужна помощь другого слова, выдвигающего их на передний план. Но эта иерархия не абсолютна и не устойчива; она подчиняется всем причудам употребления, создающим полисемию.

* * *

Все разнообразные изменения значений слов сводят иногда к трем основным типам: сужение, расширение и смещение. С у ж е н и е—это переход от более общего значения к более частному (ср. французское pondre, servir, traire); р а с ш и р е н и е, наоборот,—переход от частного значения к более общему (ср. французское arracher, gagner, triompher), и наконец с м е щ е н и е значения — изменение значения без изменения его объема (ср. французское chercher, choisir); в этих случаях изме-

[1] По этому поводу см. *T. Hudson Williams*, «Classical Review», t. XXVI, p. 112; *Nöldeke*, «Glotta», Bd. III, S. 279.

нение значения происходит по смежности (название содержащего например становится названием содержимого, название причины становится названием результата, название знака— названием обозначаемого и т. д. или обратно). Само собой понятно, что расширение и ограничение чаще всего происходят в результате смещения значения; смещение же значения имеет разновидности, для которых у грамматиков есть многочисленные термины (метафора, синекдоха, метонимия, катахреза и т. д.). Примеры для всех этих языковых явлений можно легко найти в любом учебнике[1], это избавляет нас от необходимости подробно останавливаться на них здесь.

Быть может, более интересно остановиться на том, как в языковой практике эти три типа изменений объясняются из условий самой жизни.

Один из случаев сужения значения заключается в том, что родовое название применяется к отдельной частной группе, представляющей в глазах говорящего соответствующий род. Когда мы уверены, что нас поймут, мы можем пренебречь точным термином, удовлетворившись приблизительным. Так, когда батрачке на ферме велят пригнать *«скотину»*, она без колебания понимает, что надо пригнать *«коров»*, оставшихся в поле; *скотина* для нее—это прежде всего *коровы*. Когда же о «скотине» говорит чабан, то соответственно речь идет об *овцах*. Эта специализация значения часто оставляет след в языке: древнегреческое ὄρνις *(птица)*, начиная с христианской эры, приобретает значение *курица* (ὄρνις *курица* встречается уже в евангелии от Луки, XIII, 34), и в новогреческом языке курица называется ὄρνιθα. Аналогично этому общее название птицы avica по-французски превратилось в название гуся—oie[2]. Специализация часто происходит просто от эллипсиса; так πηρός *(лишенный чего-либо)* в современном греческом языке применяется в смысле *слепой*. Лишение зрения считается наиболее ужасным лишением; считают лишним пояснять, какое именно это лишение. Аналогично этому латинское слово orbus *(лишенный)* приобрело в романских языках значение *слепой*. Правда, это может быть в какой-то мере евфемизм (см. стр. 205); мы удовлетворяемся словом с общим значением, чтобы избежать резкости значения более специального слова.

Общие термины обычно почти никогда и никем не употребляются в своем общем значении, кроме разве философов; всякий относит их к какой-либо частной деятельности. Уже отмечены различные значения слова *операция*[3]. В зависимости от

---

[1] В частности у *Darmesteter*, La vie des mots; *Bréal*, Essai de sémantique; *Clédat*, «Revue de philologie française et provençale», t. IX, 1895, p. 49.

[2] *Niedermann*, «Indogermanische Forschungen (Anzeiger)», Bd. XVIII, S. 75.

[3] *Bréal*, Essai de sémantique, p. 285.

того, говорят ли вам о хирургии или финансах, военном искусстве, лесоводстве или математике, вы знаете, что речь идет об ампутации органа тела или о биржевой сделке, о военном маневре или о разметке деревьев перед рубкой или о решении задачи. Слово *сезон* также принадлежит к словам с многочисленными значениями. Для директора театра или собственника дачи, для торговца фруктами, портнихи или владельца виноградника, можно сказать, для любого торговца или предпринимателя есть *сезон* (saison), т. е. период наиболее деятельной работы; этот период меняется в зависимости от рода деятельности и места. В одной из частей Пемброкшира *сезоном* называют время года, когда жеребцов развозят по области; это показывает, что дело идет о стране животноводческой, где все заинтересованы в случке скота.

Это слово в каждом случае обозначает время, особенно важное в глазах говорящего, как *операция* обозначает для каждого из собеседников то, что ему ближе всего. Подобные примеры мы могли бы привести для всех общих терминов и даже для всех слов языка, так как, как бы ни было специально значение слова, всегда можно его значение еще сузить или, как говорят, специализировать его.

Более редкое, хотя отмеченное в языке явление—это процесс обобщения, который заключается в переносе значения с частного вида на общий род. Так бывает с детьми, называющими все реки именем реки, на которой стоит их город. Так, маленький парижанин, увидев новую реку, говорит: «Вот еще Сена». Это ошибка ребенка, и она не имеет длительных последствий. Но есть подобные же ошибки, оставшиеся в языке. Так, в южнославянских языках название *розы* стало названием *цветка* вообще[1]: словинское roža, хорватское rožica. Это явление распространилось так широко, что в соседних немецких говорах слово Blume (*цветок*) отсутствует совсем и заменилось словом Rose. Говорят: «Die Wiese ist voll Rosen» (*луг покрыт розами*) в смысле: *луг покрыт цветами*. Под этим же влиянием в фриульских итальянских говорах название розы применяется к любому цветку, и пришлось для розы найти другое слово—rosar или garoful di spine. Этот факт, представляющий интерес с точки зрения распространения лексических явлений, доказывает, что есть некоторые семантические группы, внутри которых охотно смешивают вид с родом.

Именно в этих-то группах особенно часты смещения значений. В них каждое слово имеет свое собственное значение и означает специальный предмет; но для сознания говорящего их объединяет то, что все они принадлежат к одной общей группе; и часто случается, что общее значение одерживает

---

[1] *Schuchardt*, Slawodeutsches und Slawoitalienisches; *Murko* «Wörter und Sachen», Bd. II, S. 147.

верх над частными и говорящий бессознательно переходит от одного их значения к другому. Это явление особенно обычно в словах, обозначающих растения или животных, части тела, болезни и цвета.

В названиях цветов изменения смысла, наблюдаемые в различных языках, часто являются специализацией их значения (ср. стр. 189). Но тенденция, которую мы сейчас изучаем, в этом случае также может играть роль.

В названиях растений смещение значения очень часто. Одно и то же слово дало в латинском языке quercus *(дуб)* и в немецком forha *(сосна)*; греческое φηγός (один из видов дуба) то же слово, что и латинское fagus *(бук)* и немецкое Buche *(бук)*. Устанавливают общее происхождение для греческого ἐλάτη *(ель)* и немецкого Linde *(липа)*. От одного общего прототипа происходят кельтское (ирландское) dair *(дуб)* и латинское larix *(лиственница)*. Одно и то же древненемецкое слово tanna обозначало и *дуб* и *сосну*. Здесь также мы имеем специализацию значения, только в другом смысле. Можно допустить, что в древности германское tanna, как и ирландское dair и латинское larix, значили вообще *дерево* (греческое δόρυ) и даже *лес*: обозначали же этим словом то дерево, которое в данных исторических и географических условиях являлось более важным. Но в тех случаях, когда слово hêtre *(бук)* значит *дуб*, как в немецком слове Heister, имеющем оба смысла, налицо только смещение значения; говорящий колеблется, не точен в своей речи и называет одно дерево именем другого, сходного.

Названия частей тела «дают классические примеры смещения значения»[1]. Многие из названий частей тела очень неустойчивы и легко переходят с одного органа или части тела на другие: латинское coxa значит *бедро*, ему соответствующее ирландское coss значит *нога*; средним звеном служит немецкое Hachse (лучше, чем Hechse—*икра)*, а также латинские производные: французское cuisse *(ляжка)*, валлийское заимствованное coes (с тем же значением); слово как бы спускается по всей конечности. Одного происхождения латинское mentum *(подбородок)*, валлийское mant *(челюсть)* и немецкое Mund *(рот)*; французское же bouche происходит от латинского bucca, которое значит *щека*, и т. п.

Некоторые из этих примеров могут оказаться метафорами,— иначе говоря, сознательным смещением значения. Шутя или по какой другой причине, говорящий сознательно называет один орган тела вместо другого. В словах, вызывающих эротические представления, мы несомненно имеем метафору, объясняемую в некоторых случаях стыдливостью, а в других грубостью; француз скажет про женские груди gorge (дословно: *горло)*,

[1] *Meringer*, «Wörter und Sachen», Bd. III, S. 46; *Zauner*, «Romanische Forschungen» Bd. XIV, 1903, p. 339.

если он хорошо воспитан, или estomacs (дословно: *желудки, животы)*, если он груб. Названия неприличных частей тела и физиологических процессов, считаемых непристойными, особенно часто смещаются[1]. Кроме тех случаев, в которых уже есть налицо метафора и следовательно смещение значения исключено, можно утверждать, что вообще непристойные слова постоянно смещают свое значение. Общее в них то, что они все непристойны: это в них основное для говорящего, и они употребляются очень свободно, обозначая любую часть тела, лишь бы она почиталась неприличной. Достаточно очень приблизительного сходства или анатомического соседства, чтобы оправдать смещение значения слова. Такие смещения есть во всех языках; читатель сам их может найти.

Названия действий органов чувств также легко смещаются. Очень часто слова, означающие осязание, слух, обоняние, вкус, употребляются одно вместо другого: три последних часто относятся также к процессам сознания; так, греческое αἰσθάνομαι *(чувствовать)* применяется к чувству, слуху и обонянию. Валлийский глагол clybod *(слышать)* употребляется со значением обонять, чувствовать вкус и осязать; то же верно и относительно ирландского глагола atcluiniur *(слышу)*.

В результате по-ирландски слово cluasdall (дословно: *слепой на уши)* означает *глухой*; этот же корень послужил в германских языках для обозначения *глухого* (готское daubs и baups см. стр. 207) и *немого* (готское dumbs), а в греческом *слепого* (τυφλός), которое значит сверх того *глухой* и *сумасшедший* («Царь Эдип», ст. 37). Эти переходы значений бесспорно облегчаются «соответствиями», устанавливаемыми между процессами органов чувств.

Можно построить общую семантику, которая, объединив все наблюдения над изменениями значений во всех языках, сведет их к нескольким принципам, не просто логическим, как это делалось до настоящего времени, но и психологическим; для этого надо исходить не из слов, а из выражаемых ими идей.

Очевидно не случайно то, что понятие fois *(раз)* (например— в *столько раз)* часто выражается словом, означающим voyage *(путешествие)*; поденщика, спускающего бочки в подвал или складывающего дрова на чердаке, спрашивают: Combien de voyages avez-vous fait? *(сколько путешествий вы сделали)*, вместо того чтобы спросить: *сколько раз вы спустились или поднялись*. В латинском языке vices, vicissim *(раз)* происходят от слова, означающего *путешествие*, и само слово *путешествие* (voyage) в своей диалектальной форме yadzè служит в Нижнем Валэ (Швейцария) для выражения понятия *раз*. Аналогично

[1] *Marstrander*, «Indogermanische Forschungen», Bd. XX, S. 351.

готское sinþ (собственно *путешествие)* служит для образования распределительных наречий: ainamma sinþa—*один раз, однажды*, þrim sinþam—*трижды*. В значении *раз* употребляют в средневерхненемецком allvart, в ирландском fecht, в валлийском gwaith, в нижненемецком Reise, в скандинавском gang; все эти слова собственно значат *путешествие*. Это очевидно объясняется естественным развитием значения, осуществившимся независимо в различных языках, где оно отмечено.

Есть однако сходные слова-названия, отмеченные в различных языках, которые нельзя объяснить аналогичной тенденцией, независимой в каждом случае. Так, название маленького хищного млекопитающего, ласки, во многих языках происходит, как и во французском языке (по-французски *ласка*—belette от bel—*красивый*) от прилагательного *красивый*: немецкое Schöntierle, датское kjønne, бретонское kaerell, галисийское garridiña, баскское andereder (дословно: *прекрасная дама*, andere—*дама*, eder—*красивый)*. Невероятно, чтобы одно и то же сравнение пришло в голову людям, говорящим на таких различных языках[1]. Здесь перед нами пример подражательного словообразования или, точнее, переводного заимствования, столь частого в общении языков (см. стр. 265).

Часто бывает, что слово связано с легендой, распространяющейся вместе с ним и помогающей ему держаться в языке. В таких случаях словарь выражает факт, относящийся к фольклору, и мы можем проследить судьбу слова посредством изучения фольклора. Часто также бывает, что какое-либо отвлеченное выражение распространяется в соседних областях посредством заимствования, т. наз. кальки: английское become *(сделаться*, be+come—*приходить)*—калька французского devenir *(сделаться*, de+venir—*приходить)*; валлийское digwyddo *(прибывать)* то же, что латинское accidere (cwyddo—*падать*, как латинское cadere—*падать)*. Эти случаи изучаются нами в главе, посвященной соприкосновению языков. Они в основе совершенно отличны от случаев, изучаемых нами сейчас; но часто нелегко одни отделить от других. Так, например, когда мы видим, что глагол *падать* служит для передачи понятий *нравиться* и в немецком (gefallen—*нравиться* при fallen—*падать)* и в ирландском dofuit lemm *(мне нравится* или дословно: *мне падает)*, причем нельзя установить никакой исторической связи между этими выражениями, нам приходится притти к выводу, что это две аналогичные метафоры, самостоятельно созданные обоими языками.

Понятие боли легко ассоциируется с понятием величины, как и понятие насилия и силы. Древненемецкое прилагательное sêro *(болезненный, тяжкий)*, сохранившееся до сих пор в южных диалектах (Швабия, Бавария) в значении *огорченный, раненый*,

---

[1] «Wörter und Sachen», Bd. II, S. 190, n. 1.

в литературном немецком языке сохранилось только как выражение превосходной степени. Нетрудно понять путь этого значения. Сперва говорили только sehr krank, sehr betrübt *(тяжело больной, болезненно огорченный)*; и только потом стали говорить sehr gross, sehr gut *(очень большой, очень хороший)*; прилагательное потеряло свое самостоятельное значение (см. стр. 160) и сохранилось как морфологическое выражение большого количества. Однако заслуживает внимания, что латинское saevus *(твердый, жесткий, жестокий)*, родственное приведенному выше германскому слову, также употреблялось в древнелатинском языке в смысле *большой*: saevam dicebant veteres magnam (*в древности saevus употреблялось вместо magnus*), говорит грамматик Сервий (комментарий к «Энеиде», I, 4). Связь по значениям между sehr *(очень)* и saevus *(большой)* не объясняется из истории. В обоих случаях налицо самостоятельное развитие значения; аналогичные примеры мы можем найти и в греческом языке. Так, наречия δεινῶς *(ужасно)* и αἰνῶς *(жестоко)* употреблялись иногда (ср. стр. 201—202) в этом языке для выражения большого количества.

Легко также переходят от понятия жалости к понятию нежности. К созерцанию горя всегда примешивается сочувствие. Сочувствие и чувство привязанности родственны друг другу. Дружески говорят *мой бедный мальчик* (mon pauvre petit). Представление бедности, как и представление небольшой величины, будучи оба синонимами слабости, внушают одновременно нежность и жалость. Во многих языках одни и те же слова служат для обозначения всех этих чувств безразлично; эти слова переходят от одного к другому. По-готски прилагательное bleiþs значит *достойный сожаления*; его аналог в древневерхненемецком blîdi значит только *любезный*; по корню это слово повидимому связано с санскритским mrityati *(он тает, растворяется)*; в основе лежит очевидно представление о жалости, смягчающей сердце.

Но вслед за добротой идет слабость и, как грубовато говорит французская поговорка: à être bon on devient bête *(от доброты глупость)*. Во многих языках слова, значение которых связано с добротой, мягкостью, спокойствием, служат также для обозначения глупости. Простосердечие—достоинство характера—превращается в простоватость—недостаток ума. По-французски слово simple *(простой)*[1] и по-немецки einfältig (то же значение) означают человека глуповатого или даже совсем глупого. Французские слова bonasse и débonnaire *(простодушный)* чаще всего употребляются уничижительно *(простофиля)*. В таком изменении смысла первого слова несомненно сыграл роль его суффикс «asse», имеющий четко выраженный уничижительный

---

[1] *Dottin*, Quelques faits de semantique dans les parlers du Bas-Maine, «Mélanges Wilmotte», Paris 1909.

смысл. Но нет никакого внешнего влияния в развитии таких значений; английское silly, немецкое albern, валлийского gwirion (на севере), которые первоначально значили: первое *спокойный, безобидный* (ср. древнеанглийское sælig, немецкое selig), второе—*дружеский, хороший* (ср. древневерхненемецкое alawâr), третье—*искренний, невинный* (еще и теперь с этим значением на юге); все эти три слова означают в настоящее время *дурак* или *простак*. Таково же развитие значения во французском слове innocent *(невинный*, а затем и *юродивый)*, но только с осложнением этого значения религиозным мотивом. Во французском языке ирония, направленная на людей, посвятивших себя богу, выдает им свидетельство простоты ума или лицемерия; слова benêt (ср. béni—*благословенный)*, crétin (ср. chrétien—*христианин)* значат: первое—*олух*, второе—*кретин*; их уничижительный смысл вытекает из этой непочтительной тенденции.

Все только что приведенные нами изменения смысла только наполовину психологические, так как предмет, обозначаемый словом, сам по своей сущности толкает на них. Несчастный естественно вызывает к себе сочувствие, так же как добрый человек очень легко может быть слабохарактерным и часто простоватым; насилие предполагает силу или мощь, а та поражает, как что-то высшее и величественное. Можно сказать, что мышление, переходя от одного ряда понятий к другому, только следует своему внешнему опыту: оно обобщает в одном слове целый ряд наблюдений. Но все же роль мышления в этом достаточно велика, так что можно говорить в данных случаях и о психологических изменениях: недостаточно было бы наблюдения, если бы ум не делал нужного вывода. Истолковать в дурном смысле мирные намерения святого человека, восхвалять как величие жестокость угнетателя, проявить свое сочувствие несчастному—как много людей, более или менее склонных ко всему этому? Обнаруживая эти стремления в языке, мы можем сказать, что они выражают характер говорящего: они—знак иронического, раболепного или доброго характеров, они служат признаком отличия одного человека от другого.

Ухудшение значения слов отражает очень ясно иногда презрение одного общественного класса к другому, иногда расовую или национальную ненависть, иногда тупую нетерпимость толпы или недостаток уважения фанатика к чужому мнению. Люди взаимно ненавидят и преследуют друг друга, презирают и оскорбляют друг друга, ошибаются или плохо понимают друг друга, а язык, как в зеркале, отражает это постоянное непонимание людьми друг друга[1]. Слова brigand *(разбойник)*, ribaud *(развратник)*, assassin *(убийца)*, grivois *(разгульный)*, означавшие сперва определенные виды войск, обязаны своим современным значением грубости и распущенности военных нравов; cuistre

[1] *Nyrop*, Grammaire historique de la langue française, t. IV.

(когда-то cuisinier—*повар*, в современном языке—*педант)*, goujat (в старом языке—*слуга*, в новом—*грубиян)* обязаны своим значением презрению барина к слуге; bouquin (из фламандского boecken—*книга*, в современном языке—*грязная, плохая книга)*, lippe (из немецкого Lippe—*губа*, в современном французском языке—*отвислая губа)*, rosse (из немецкого Ross —*конь*, в современном французском языке—*кляча)* обязаны своим значением насмешке над чужестранным. По той же причине испанский глагол parlar—говорить (из французского parler—*говорить)* употребляется только уничижительно. Слово madame сохранило свое положительное значение во французском и английском языках; в немецком языке, куда оно вошло путем заимствования, оно звучит пошло и вульгарно: слово Madamchen—выражение берлинских низов[1].

Можно было бы построить этническую психологию, основанную на анализе различных семантических изменений, засвидетельствованных в языках[2]. Эта работа трудна, но ее стоило бы начать. Очень возможно, что нельзя будет сделать никаких точных выводов и что в конце концов у всех народов мы обнаружим почти одинаковые психологические тенденции, свойственные человеческому мышлению вообще; но все же, быть может, удастся установить различные степени этих черт и их оттенки. Так, английский словарь несомненно обнаружит большее уважение к религии и к людям, посвятившим себя богу, чем французский. Между немецким и французским языками можно было бы также установить некоторые различия. Оба языка охотно дают в разговорном употреблении людям названия животных; но французы часто примешивают к этим названиям иронический, презрительный или оскорбительный оттенок. Немцы, более сантиментальные, вносят в эти названия оттенок нежности. Ибсеновский адвокат Гельмер кажется нам смешным, когда он называет ежеминутно свою жену жаворонком или белочкой. По-немецки и на скандинавских языках это нежное обращение кажется более естественным; напротив, французы чаще склонны связывать с женскими именами обидные и непристойные значения: собственные имена Catin, Goton, Jeanneton и нарицательные garce, gouge, donzelle, fille уже потерпели от этой тенденции французского языка; скоро она захватит и слово demoiselle.

Наиболее резкие слова, подсказанные гневом или ненавистью, могут быть употреблены в смягченном значении; ими иногда пользуются для дружеского обращения, исключающего всякое презрение и порицание. Ребенка называют *сорванцом* (polisson), *плутишкой* (coquin), взрослого друга называют *ворчуном* (boug-

[1] *Gustave Cohen*, Discours d'ouverture de la chaire de langue et de littérature française à l'université d'Amsterdam, 1912, p. 13.

[2] О различии немецкого и французского языков в салонном разговоре—ср. тонкие замечания m-me *де Сталь*, De l'Allemagne, part. I, chap. XII.

re) или *старой канальей* (canaille). Также бранные слова: немецкие Luder или Schelm или чешские čtverák могут употребляться дружески, но француженка не скажет своему сыну *«мой вшивец»*, как это делает, не смущаясь, немка: mein Lausbube. Здесь тонкое отличие между этими двумя языками. Однако все эти случаи употребления слов часто простая мода или мимолетная прихоть. Без труда можно набрать в немецком языке ряд выражений, кажущихся нам вульгарными и неостроумными: Das ist mir Wurst und egal! со значением *это мне все равно*, nicht die Bohne! со значением *ни капли, совсем нет*, oh! kein Bein—*ни в коем случае* и т. д. Но не больше остроумия и вкуса во французских la jambe! или la barbe! la ferme!

Не меньше, чем для понимания психологии, изменения значения дают для понимания социальных условий говорящих.

Понятие *вне* и *внутри* в большинстве индоевропейских языков выражаются противопоставлением дома и поля. *Вне*—это то, что происходит за пределами дверей: foras, foris в латинском языке, в греческом языке θύραζε, θύρασι, θύρηφι; в армянском durs, в персидском dar; это то, что происходит в поле: immaig, immach по-ирландски (от mag—*поле*), ermeas (emeas, dirveas по-бретонски, lauke, laukan по-литовски (laukas—*поле*), artakhs по-армянски (art *поле*). Греческий язык противопоставляет θυραῖος и οἰκεῖο, различая между чужим для семьи и своим, тем, что вне, и тем, что внутри. Эти формы отражают общественный уклад, при котором вся семья жила в одном доме и ворота его были границей семейного достояния.

Семейные отношения объясняют метафорическое употребление некоторых терминов родства, встречающихся в нескольких языках. Так, употребление латинского nepos *(внук, племянник)* в смысле *мот* и немецкого Schwager *(шурин)* в смысле *почтальон* и *ямщик* объясняется шуткой; по-немецки часто называют *дядей* любезного и обязательного старика, а *тетей* угрюмого и брюзгливого человека (die Tante Voss). В этих метафорах сквозит лукавство, форма народного юмора. Напротив, когда слово *племянник* означает также и *соперника*, как в санскритском (bhrâtrivyas), это употребление показывает нам организацию семьи, в которой отношения дяди и племянника сильно отличались от современных.

У скотоводческих народов богатство естественно заключается в стадах; богатства оцениваются количеством голов скота; так скот становится единицей счисления. Так было у индоевропейцев, и индоевропейские языки сохранили многочисленные следы этого первобытного состояния, когда скот—единственное богатство—употребляется в качестве монеты. Гомер называет дочерей ἀλφεσίβοιαι, т. е. *приносящими быков* своему отцу; он этим хочет сказать, что так как этих дочерей домогаются, то за них дадут высокий выкуп их женихи. Ирландское право обыкновенно выражает штрафы и цены в головах скота: рабыня

(cumal) стоит три коровы, и слово cumal становится обозначением монеты[1].

В валлийских законах (X в.) продажная цена всякой вещи определяется таким же способом; мы читаем в Mabinogion, средневековом валлийском сборнике рассказов, что такое-то украшение на платье стоило 300 коров. Но есть еще лучшие примеры. Во многих языках одно и то же слово означает и деньги и скот; в тех языках, где эти значения разделились, это случилось достаточно поздно, чтобы можно было восстановить судьбу значения слова и объяснить распределение значения по словам. Латинское pecunia *(деньги)* есть только производное от pecus *(скот)*. По-немецки слово Vieh (*скот*) применяется теперь только к скоту, но соответствующее ему английское слово fee означает вид денежного вознаграждения. В этом случае исходной точкой служит название скота. Иногда имеет место обратный процесс: κτῆνος в древнегреческом означает *имущество*, но у Геродота оно означает *голову (скота)*, а в евангелии от Луки *вьючный скот*; родственное слово κτῆμα имеет в классической древности значение только *владения* (исключая, может быть, Софокла, Антигона, 782); в наше же время на Крите оно употребляется в значении *скот*. Англосаксонское céap, означающее *торговля* и *покупная цена* (оно родственно немецкому kaufen—*покупать)*, также имеет значение *скот*. Славянское *скотъ* (вероятно заимствовано из германского—готского skatts—*монета)* означает одновременно, начиная с древнейших текстов, *скот* и *богатство*.

Мы видим, как здесь вмешиваются в развитие словаря социальные факторы; до сих пор мы имели дело с ними только от случая к случаю. Они выступят еще яснее в следующей главе.

---

[1] Лошадь продается за один cumal серебра в документах, относящихся к св. Патрику (Codex Ardmachannus, f° 17 ba).

ГЛАВА III

КАК ПОНЯТИЯ МЕНЯЮТ СВОЕ НАЗВАНИЕ[1]

Было напечатано немало трудов, в которых показывалось, как слова меняют свое значение. Но можно задачу перевернуть. Следует также изучать, как значения или, лучше, понятия изменяют свое название.

Сравнивая словарь одного и того же языка в две достаточно отдаленные друг от друга эпохи, мы поражаемся тому, как различна судьба слов. Сопоставим например латинский словарь с французским или латинский с словарем индоевропейского праязыка; мы увидим, что слова, означающие некоторые предметы, сохранились в этих языках с полной правильностью, изменяясь только согласно законам фонетики; другие же слова зато были заменены и даже несколько раз. Французский язык заменил старое слово chef *(голова)*, происшедшее из латинского caput *(голова)*, новым словом tête *(голова)* из testa *(черепок)*. Слово tête в свою очередь заменяется в говоре народа различными суррогатами: caboche, fiole, bobine и т. д. Все они в таких случаях приобретают значение *головы*; первые же их значения соответственно: *гвоздь, склянка, катушка*. Для обозначения самых употребительных и на первый взгляд наиболее стойких понятий новогреческий язык обновил старый словарь: по-новогречески ψωμί вместо ἄρτος *(хлеб)*, κρασί вместо οἶνος *(вино)*, νερό вместо ὕδωρ *(вода)*, σπίτι вместо οἰκία *(дом)*, μάτι вместо ὀφθαλμός *(глаз)*, πουλί вместо ὄρνις *(птица)* и т. д.

Изучая словарь всех языков, история которых известна, можно легко собрать большое количество таких же фактов, так как все словари в большей или меньшей степени подверглись обновлению. Причины этого обновления словаря сложны; иногда они совершенно не поддаются определению. Лексические процессы, будучи в высшей мере своеобразными, зависят от совершенно непредвиденных случайностей; эти случайности не только невозможно предвидеть, но даже и объяснить post factum, если история не дает нужных для этого фактов. Однако в основе

[1] Ср. *Gilliéron*, Généalogie des mots qui ont designé l'abeille, P. 1918; «La faillite de l'étymologie phonétique», 1919; «Les étymologies des étymologistes et celles du peuple», 1922.

этой смены словаря лежат общие причины, объясняющие большинство замен. Эти лексические замены можно рассматривать под двумя углами зрения: индивидуальным, с точки зрения психологии говорящего, и социальным, в зависимости от употребления языка в различной социальной среде.

***

Говорящий обыкновенно перестает употреблять слова, недостаточно выражающие связанные с этими словами значения, так как слова ослабели, стерлись. Слова изнашиваются или фонетически или семантически[1].

Слишком короткие слова часто мало выразительны. Таким образом слова, ставшие короткими вследствие фонетических процессов, имеют тенденцию к выпадению из языка. Ни во французском языке и ни в одном из романских языков теперь уже нет слов, происшедших от латинского слова os *(рот)*. Французский язык на место старого слова ive (от латинского слова equa—*кобыла)* поставил слово jument (с тем же значением *кобыла)*, так как последнее фонетически полнее. Известно, что, для того чтобы сохранить ряд слов в языке, народная латынь должна была их удлинить суффиксами: apis *(пчела)*, auris *(ухо)*, sol *(солнце)* в народной латыни превратились в apicula, auricula, soliculus, откуда французские (с тем же значением) abeille, oreille, soleil. Неверно утверждение, будто суффикс здесь имеет уменьшительное значение; он только увеличил звуковой состав слова. Некоторые слова, не подвергшиеся такой языковой прививке, умерли, язык их отбросил. Примером может служить старофранцузское слово ains, о котором как будто сожалеет Лабрюйер. Это слово было выброшено языком из-за его формы; односложное, состоявшее из одной только носовой гласной, оно было осуждено на исчезновение.

Язык старается также отделаться и от слов, ставших, в результате фонетических процессов, слишком похожими по своему звуковому составу на другое слово. Омонимы мешают ясному пониманию речи; для того чтобы исправить этот недостаток, язык часто заменяет один из омонимов новым словом.

Французское слово, происходящее от латинского serrare *(пилить)*, во многих французских областях еще сохраняется [2], но в старину это слово встречалось равномерно и район его распространения был сплошным и обширным. Если во многих местах оно было замещено новыми словами, происходящими чаще всего от латинских слов secare *(резать)*, resecare (то же) или sectare (то же), то причина этому та, что слово *пилить* было полуомонимично со словом *закрывать* (от латинского se-

[1] *Brunot*, Histoire de la langue française, t. I, p. 131; *Meillet*, Linguistique historique et linguistique générale, p. 264.
[2] *Gilliéron* et *Mongin*, Etudes de géographie linguistique, 1905.

rare). Эти полуомонимы стремились каждую минуту стать полными омонимами. Отсюда получалась неловкость в употреблении этого слова, язык старался ее избежать везде, где эти два глагола встречались.

В основе всех этих случаев обновления словаря лежит фонетическая случайность. Однако не следует преувеличивать значение фонетики в данном случае. Редко бывает, чтобы одной только фонетикой можно было все объяснить. У слов, выброшенных языком из-за их звуковой формы, иногда были другие причины быть исключенными из языка. И часто мы видим, что язык сохраняет такие неудобные по форме слова. Контекст спасает омонимы от двусмысленного их понимания; тогда они сохраняются без какого-либо неудобства.

Для сохранения и поддержки коротких слов язык может прибегнуть к помощи других слов. Так, прилагательные sain *(здоровый)* и sauf *(невредимый)* почти уже не употребляются отдельно. Но соединившись в одно выражение, эти два слабых слова смогли устоять: говорят sain et sauf *(цел и невредим, в целости)*. Географические собственные имена принадлежат к числу слов, которые не должны меняться; если они односложны, то их сохраняют в языке, ставя перед ними соответствующее имя нарицательное, служащее им опорой: Ain, Eu, Batz превращаются таким образом в la rivière d'Ain, la ville d'Eu, le Bourg de Batz. Или же их удлиняют: Bourg становится Bourg-en-Bresse (или просто Bourk со звучащим k). Это борьба с фонетическим изнашиванием слова.

Семантическое изнашивание слова имеет не меньшее значение. Частое употребление слова стирает не только форму слова, но и его значение; особенно быстро изнашивается экспрессивность в словах выразительных. Слово становится тусклым, стертым. Слова, выражающие душевные эмоции, даже самые сильные, понемногу слабеют и в конце концов выходят из употребления, потому что они утратили всякую выразительность. Это явление хорошо видно на примерах слов, передающих количество, особенно большое количество, а следовательно избыток, изобилие. Французское beaucoup *(много)* заменило старое слово с тем же значением moult из multum. Но и у слова beaucoup в свою очередь в современном языке есть много конкурентов: un grand nombre (дословно: *большое число)*, une foule (дословно: *толпа)*, une quantité (дословно: *количество*), des tas (дословно: *кучи*), des flottes (дословно: *флотилии*) в зависимости от предмета, о котором говорится, и от степени культурности говорящего.

Во всех языках, в которых превосходная степень прилагательного выражается не специальным суффиксом, а путем прибавления наречия к прилагательному, наречие это имеет очень разнообразные формы. Даже в греческом и латинском языках, где был суффикс превосходной степени, встречаются

образования с наречием: по-гречески говорили: λίαν *(слишком, очень)*, πολύ *(много)*, ἐπιπολύ *(намного)*, σφόδρα, σφόδρως *(очень)*, μάλα *(совсем)*, μάλιστα *(более всего)* и много других; по-латыни valde, magis, maxime *(очень, больше, в высшей степени)* и т. д. Французский язык создал наречие très *(очень)* из латинского trans *(насквозь, по ту сторону)*; можно сравнить такую же эволюцию в английском thorough, thoroughly *(совершенно)* и в немецком durch und durch, durchaus *(совсем)*. Но très теперь уже потеряло свою выразительность и стало банальным. По-французски говорят про человека, что он *архиглуп, ультрареакционен*, используя прием, который создал грамматическую функцию наречия très, или же пользуются другими наречиями: parfaitement, *(совершенно)* complètement *(полностью)*, absolument *(абсолютно)*, tout à fait *(совсем)* и. т. п. Известно, насколько многочисленны эти наречия превосходной степени во французском языке. Их нельзя даже подсчитать, так как каждый говорящий изобретает их. Некоторые, как grandement, fameusement, extraordinairement, épatamment, étonnament, *(роскошно, замечательно, необычайно, изумительно, удивительно)* ясны. Но значение прилагательного, от которого образовано наречие, ослабевает, по мере того как усиливается его значение превосходной степени. Как будто сила значения, покидая корень, сосредоточивается на суффиксе «ment», ставшем основной частью слова. Чтобы передать превосходную степень, достаточно, вообще говоря, чтобы корень выражал что-то сильное, грубое: rudement, salement, bonnement, furieusement, terriblement, effroyablement *(жестоко, грязно, здорово, свирепо, ужасно, страшно)*.

Так обстоит дело с превосходной степенью не только во французском языке. В разговорном немецком языке о женщине говорят, что она furchtbar nett *(ужасно мила)*, furchtbar süss *(ужасно изящна)* или hübsch artig, hübsch gesund, как по-английски pretty dirty (дословно: *красиво грязно*). А так как ни в немецком, ни в английском языке нет аффикса, отличающего наречие, значение слов furchtbar или pretty связано только с интонацией и с тем, что эти слова не разделяются от следующего за ними прилагательного, составляя с ним неразрывное целое в сознании говорящего. Это процесс создания морфемы, но морфемы экспресивной (ср. стр. 132 и 137).

Во всех особенно выразительных словах значение ослабляется, и они подвергаются замене. Как много во всех языках выражений для передачи тяжелого и неприятного. По-французски говорят ennuyant, embêtant, fatiguant, crispant, esquintant, éreintant, assommant, tuant, rasant, barbant, canulant и т. п. Все эти слова, понятно, не однозначащи и принадлежат языку различных слоев; они конкурируют одно с другим; частое их употребление скоро сотрет выразительность их значения, и придется их заменить другими.

Предмет или понятие, имеющее кроме своего основного значения еще значения вторичные, различные в зависимости от среды и обстановки, обладают обычно в языке многочисленными способами выражения. Так например понятие «деньги», «монета» во всех словарях богато выражениями. По-французски galette, braise, pognon, douille, beurre, os, pèze, plâtre и т. п., по-немецки слова Draht, Kies, Moos синонимичны слову Geld *(деньги)*. Также понятие *платить* выражается различно в зависимости от среды; говорят verser, casquer, cracher, éclairer и т. п., а по-немецки blechen, bluten, berappen. Для передачи идеи *обмануть* во всех языках мы найдем такое же разнообразие. *Шум*—это результат различных причин и поэтому передается различными словами. По-французски говорят potin, barouf, chahut, raffut, pétard, chambard, а по-немецки Radau, Randal, Krakehl и т. п.

Можно возразить на это, что все эти слова принадлежат арго и что арго и заключается в пользовании специальным словарем. Но это возражение будет бить мимо цели. Как мы увидим ниже, арго вырастает из естественных языковых условий; специальный язык не есть искусственный язык. Приемы арго взяты из естественных приемов языка. Если же необходимость постоянной замены слов с особой четкостью встает именно в арго, это объясняется тем, что арго—язык устный, в котором выразительность есть постоянная необходимость (см. стр. 233).

Кроме того нет четкой границы между арго и обычными языками. Самые литературные и самые изысканные словари берут слова из арго. Слово tête *(голова)*—слово арго в сравнении со словом chef *(голова)*; и если слово tête будет заменено словами fiole или bobine, это будет новый успех арго. Назвать голову горшком (tête—testa—*черепок*) настолько естественно, что это делается не только во французском языке, но и в других языках, в частности в германских. Немецкое Kopf *(голова)* родственно латинскому cupa *(чаша)*, а скандинавское kollr взято от kolla *(горшок)*. Названия частей тела вообще служат основанием для метафор, но не в равной мере. Слово для *ноги* сохранилось во многих языках. Но зато слово *рука* заменялось очень часто; его заменяют словами, обозначающими крюк, щипцы, ложка и т. п[1]. Это зависит от того, что работа руки гораздо разнообразнее, чем работа ноги, особенно же потому, что эти работы часто изменяют свое значение. В связи с этим и понятие *брать* во всех языках выражается большим количеством различных слов.

Так же разнообразно передается понятие *говорить* благодаря разнообразию эмоций, им возбуждаемых[2]. Глаголы, передаю-

---

[1] *Ulaszyn*, «Wörter und Sachen», Bd. II, S. 200.

[2] *Michel Bréal*, «Revue des études grecques», t. XIV, 1901, p. 113; *Carl D. Buck*, «American Journal of Philology», t. XXXVI, p. 1—18; 125—154; *A. Meillet*, «Mémoires de la Société de linguistique», t. XX, 1916, p. 28.

щие это понятие, быстро изнашиваются. Во французском языке глагол causer *(разговаривать)* постепенно вытесняет глагол parler *(говорить)*. Само parlare поздно появилось в латинском языке (parabolare), старый латинский глагол loqui *(говорить)* не сохранился в романских языках; loqui в смысле *говорить* было в свою очередь новшеством в латинском языке (или в итало-кельтских языках). Три современных кельтских языка передают понятие говорить тремя различными глаголами: ирландское labhraim, валлийское siarad, бретонское komps; по-английски говорят speak, по-немецки sprechen, по-готски maþljan, по-литовски tarti или kalbéti, по-славянски глаголати, по-русски молвить, говорить, по-польски mówić; все эти глаголы сравнительно недавнего происхождения, как и греческий глагол ἀγορεύειν у Гомера. Их большое разнообразие объясняется семантическим изнашиванием, создающим необходимость их постоянной замены.

Иногда замена слов связана с противопоставлением. Есть парные понятия, которые наше сознание настолько настойчиво разделяет, что если обозначающие слова случайно совпадают, то одно из этих слов исчезает, заменяясь другим, лучше показывающим различие. Так дело обстоит при обозначении пола человека и животных. Основная пара (*отец* и *мать*), выражаемая во всех языках разнокоренными словами, служит образцом. По аналогии с этой парой многие аналогичные парные понятия выражаются разнокоренными словами: *мужчина* и *женщина*, *брат* и *сестра*, *дядя* и *тетка* и т. п. Нельзя, понятно, не отметить в этом противопоставлении общей тенденции нашего сознания. Во французском языке сохранились латинские слова fils *(сын)* и fille *(дочь)*. Но когда противопоставляется один пол другому, по-французски говорят не fils, a garçon (les garçons et les filles). Впрочем, пользуясь словами filius, filia, римляне отступили от индоевропейского употребления, сохранившегося в германских, славянских и греческом языках. Кельтские языки не сохранили древних слов, но сохранили противопоставление: ирландское mac, бретонское map *(сын)*; ирландское ingen, бретонское merc'h *(дочь)*.

Латинские dominus *(господин)* и domina *(госпожа)*—однокоренные слова для обоих родов. Во французском языке сохранился остаток слова dominus в ругательстве dame *(чорт возьми)*, сокращение Dame-Dieu *(господи боже!)* и в слове vidame *(представитель епископа)*. Но это—лишь воспоминание о прежних отношениях. Осталось в языке только слово для обозначения женского пола; для мужского пола было создано новое слово monsieur. То же произошло в немецком языке. Немецкое слово Frau, древневерхненемецкое frôuwa, имело соответствующее слово для мужского рода frô (готское frauja). Эта мужская форма не сохранилась из-за своего сходства с соответствующей ей женской формой. Немцы в современном языке

противопоставляют Herr и Frau, как французы monsieur и madame, а англичане gentleman и lady.

В названиях животных такое противопоставление также нередко. По-латыни говорили equus и equa *(жеребец* и *кобыла)*, но taurus *(бык)* и vacca *(корова)*, aries или vervex *(баран)* и ovis *(овца)*, catus (кот) и feles *(кошка)*, verres *(кабан)* и scrofa *(свинья)*. По-французски противопоставляется cheval и jument, как по-немецки Pferd и Stute или по-английски horse и mare *(жеребец* и *кобыла)*. А между тем по-французски можно бы образовать форму une chevalle, как говорится une chatte *(кошка)* и une chienne *(сука)*. Также противопоставляется по корням: mouton *(баран)*—brebis *(овца)*; bouc *(козел)*—chèvre *(коза)*; porc *(кабан)*—truie *(свинья)*; cerf—biche *(олень-самец* и *самка)*; sanglier *(кабан)*—laie *(дикая свинья)*; coq *(петух)*—poule *(курица)*; lièvre *(заяц-самец)*—hase *(зайчиха)* и т. д. Все это выражение противопоставлений пола, играющих важную роль во многих языках.

***

Даже в уже приведенных примерах психология не объясняет всего. Изнашивание слов в большей или меньшей степени есть всегда результат воздействия социальных слоев, употребляющих слово. Поэтому необходимо исследовать вопрос об обновлении словаря с социальной точки зрения. Влияние социальной среды выступает очень четко в изменениях словаря из соображений приличия[1]. В обществе не принято говорить о физиологических актах, считающихся неприличными или грубыми. Слова, их означающие, изгоняются из словаря воспитанных людей. Для передачи этих актов в языке есть разнообразные специальные выражения, сохраняющиеся в языке до того момента, пока они в свою очередь становятся грубыми и непристойными. От латинского mingere во-французском языке нет ни одного производного. Глагол pisser, заменивший mingere, также не употребляется среди воспитанных людей. Его заменяют глаголом uriner, менее вульгарным. Глагол vomir сохранился благодаря своему медицинскому характеру. Но это—грубое слово, заменяемое таким словом, как rejeter (дословно: *выбросить)*, rendre *(вернуть)*, s'expliquer (дословно: *объясниться*) и т. п. Аналогично немецкий язык заменяет sich erbrechen посредством sich übergeben.

Пристойность или непристойность слова устанавливается условно: одно и то же слово становится приличным, перейдя границу национального языка. Слово pissoir по-немецки звучит менее неприлично, чем по-французски. Заимствование из чужого языка смягчает грубость выражаемого понятия. Иностранное слово в таких случаях становится евфемизмом. Есть понятия, обычно выражаемые евфемизмами,—например понятие смерти.

[1] *Schultz*, «Zeitschrift für deutsche Wortforschung», Bd. X, S. 129—173.

Вместо mourir *(умереть)* по-французски говорят: périr *(погибнуть)*, passer *(уйти)*, trépasser (то же), décéder *(удалиться)*, s'endormir *(почить)*, rendre son âme *(отдать душу)*, partir, s'en aller *(удалиться)*. По-готски говорили usqiman *(уйти)*, как по-немецки—vergehen (дословно: *уйти*), erblassen, verbleichen (дословно: *побледнеть)*, dahingehen *(уйти туда)*, dahinscheiden *(проститься)*; эти смягченные выражения придают образу смерти менее тягостный облик.

Число и содержание неприличных слов изменяются в зависимости от среды и от эпохи. В эпоху вежливости, когда в обществе тон задают женщины, запретов, понятно, больше. Понемногу словарь ограничивается, начинают говорить намеками; но так как все-таки иногда нужно назвать вещи, приходится обновлять словарь.

В последнее время врачи перестают употреблять слово *операция*, ставшее грубым и внушающим страх. Больной, слыша это слово, сейчас же представляет себе страшные инструменты, пропитанные кровью бинты, извивающееся в муке тело. Слово *операция* стало жертвой вызываемых им образов. Понемногу его заменяют словом *вмешательство*. Последнее—свежее, более скромно и более расплывчато; поэтому оно не так пугает больного.

Евфемизм—это только более вежливая и более культурная форма того, что называется запрещенным словарем (см. стр. 175). У народов первобытной культуры очень часто бывает, что некоторые слова имеют мистический характер и благодаря этому не все имеют право их употреблять. В европейских языках нет подобных запретов. Культура смела эти остатки варварства. Но, заглянувши в историю наиболее культурных языков, мы сталкиваемся с случаями таких же запретов словаря, как и в языках диких народов[1].

У многих народов левая сторона—сторона магическая, сторона тайных сил, которых не следует вызывать. Отсюда запрещение произносить слова, означающие понятие *левый*. Вследствие этого пришлось это понятие обозначать перифразами или метафорами. В связи с этим большинство европейских языков сохранило один и тот же корень для передачи понятия *правый*, но для передачи понятия *левый* те же языки пользуются различными словами, совпадающими обычно не больше как в двух языках, и язык стремится и эти слова заменить.

Наиболее верный признак запрета выражать то или иное понятие, это—употребление метафоры (например εὐφρόνη—*добрая советница* или ἀβρότη *безлюдная*, т. е. *ночь*). Но таким же признаком служит разнообразие слов, служащих для выражения какого-либо понятия[2]. По-ирландски не меньше дюжины

[1] *Meillet*, Quelques hypothèses sur les interdictions de vocabulaire dans les langues indo-européennes, 1906.

[2] *Renan*, Essai sur l'origine du langage, p. 142.

слов для медведя и столько же для лосося; мы из других источников знаем, что эти названия для животных подвергались табу. Вообще животные, за которыми охотятся, приобретают магические свойства и становятся для охотников табу. Поэтому такие животные очень часто обозначаются синонимами.

Запрет словаря не только способствует замене слов, но также и их искажению. Изменяя или перемещая какой-либо звук, смягчают неприличие или опасность слова, не ослабляя его значения. Слушатель прекрасно понимает, что хотят сказать. но непристойность или опасность слова прикрыты, хотя общая окраска слова и основное его значение остаются нетронутыми. Во многих языках бранные слова претерпевают условное искажение, открывающее им доступ в общество[1]: например bigre или fichtre. По-французски говорят palsambleu, parbleu, pargnieu, pardienne вместо par le sang de Dieu или par Dieu *(кровью бога* или *богом*).

Слова, означающие недостатки и уродства, особенно часто подвергаются запрету. Поэтому ничего нет удивительного, что в германском языке один и тот же корень, выражающий физический недостаток, дает три различных слова, несколько изменяя только свои фонетические элементы. Готский язык сохранил три слова daufs, bauþs, dumbs со значением *глухой, немой* и *глупый* (в немецком сохранилось только два—taub и dumm). Тот же корень сохранился в греческом производном τυφλός—*слепой* (ср. стр. 192).

Есть один индоевропейский корень со значением *дно, глубина,* затем *мир,* допускающий странные искажения. Он дает восемь-девять вариантов, отличающихся друг от друга только диссимиляциями, ассимиляциями, метатезами и носовым инфиксом. К этой группе слов принадлежат: греческое ἄβυσσος, латинское mundus, ирландское domun, валлийское annwfn, старославянское дъно и др. Вне всякого сомнения изменения этого корня связаны с его религиозным значением. Слово, означающее *дно,* а в переносном значении *мир,* должно было подвергнуться запрету. Избегали его произносить. Для того чтобы все же иметь возможность произносить его без опасности, его изменяли так, чтобы оно оставалось понятным, но безобидным[2]. Любопытно, что все эти изменения сводятся исключительно к различным изменениям, которые мы назвали комбинаторными. При произношении этих слов говорящий как бы оговаривается; но эта обмолвка нарочитая. Это—использование обмолвок языка[3] в целях мистики и приличия.

---

[1] *Erdmann,* Die Bedeutung des Wortes, S. 114.

[2] *Vendryes,* «Mémoires de la Société de linguistique», t. XVIII, p. 208.

[3] *Cadière,* Phonétique annamite, 1901, p. 30. (Примеры сходных искажений для пристойности и вежливости).

* * *

Среди социальных причин, обновляющих словарь, должен быть принят во внимание также и характер занятий говорящего. Слова, относящиеся к деятельности (умственной или физической) социальных групп, называются «культурными терминами».

Всякий раз, когда в человеческом производстве осуществляется какой-либо прогресс, он выражается в употреблении новых приемов труда или новых орудий, которым соответствует создание новых слов.

Всякое изменение орудий труда естественно отражается в словаре. Прагерманский язык для понятия *хлеб* имел слово, засвидетельствованное в древнюю эпоху во всех германских диалектах. В готском оно звучало hlaifs (родительный hlaibis). Это было слово важное, как и предмет, им обозначаемый. Оно было заимствовано славянами и литовцами. Его важность в германском языке засвидетельствована его производными: древнеанглийское hláfweard (*хранитель хлеба*, в современном языке lord), hlæfdíge (*месящая хлеб*, в современном языке lady), древненорвежское witandahalaiban (*господину хлеба*, из рунической надписи). Но это слово обозначало хлеб без дрожжей. Когда научились ставить тесто на дрожжах, понадобилось новое слово для обозначения нового приема хлебопечения. Это— древневерхненемецкое brot, древнеисландское brauđ; соответствующего слова не было в готском, и оно почти не засвидетельствовано в древнеанглийском. В современных германских языках оба соперничающих слова сохранились, но более молодое играет более важную роль; это—Brot в немецком, bread в английском языках; другое слово или перешло в поэтический язык или же сохранилось в специальном значении; в английском языке это—loaf (множественное число loaves), в немецком языке Laib (и то и другое слово означает *каравай*). Создание нового слова не уничтожает необходимо старое слово, но часто отбрасывает его в специальный словарь.

Слово для понятия *лошадь* сменилось в большинстве индоевропейских языков. Старое слово, засвидетельствованное еще в санскрите (açvas), в греческом (ἵππος), в латинском (equus), в кельтском (ирландском ech) и в германском (готском aihwa), не сохранилось ни в одном из диалектов, происшедших от этих языков. Уже в классическом санскрите это понятие передается через hayas или ghoṭas (ghoṭakas); в современном греческом через ἄλογον; французский язык заменил equus через cheval; в кельтских языках мы имеем: marc, gearran, capall—в ирландском, amws, ceffyl, gorwydd—в валлийском, marc'h, ronsé, во множеств. kezek—в бретонском; немецкий противопоставил Pferd английскому horse—оба слова новые в германских языках. Балтийские и славянские языки также создали себе новые

слова, особые для каждого языка: литовское arklys или žirgas, славянское *лошадь* или *конь*. Армянский поступил так же—ari-var. Налицо полная перемена словаря, относящегося к этому понятию. Эту перемену нельзя объяснить ссылкой на магический запрет слова. Ее можно объяснить тем, что существуют лошади различных пород и что скотоводческим народам было важно их различать. Но этой причины мало: слово *собака*—название животного, имевшего не меньше различных пород,—оказалось значительно более стойким: во французском chien, в немецком Hund, в английском hound, в бретонском ki, в литовском szû, в армянском šun—все восходят к одному прототипу. Если слово, означающее лошадь, почти во всех языках подверглось замене, то причину следует искать в разнообразных функциях этого животного: есть лошадь верховая и лошадь упряжная, на ней пашут и она участвует в бою. Эти ее различные функции различными общественными классами отражены в различных словах. Так, в древнегреческом языке παρήορος значит *пристяжная лошадь*. Даже боевой конь имеет несколько названий, соответствующих различным его функциям: le destrier не то же, что le palefroi. В средневековой Германии названия лошади многочисленны и все слова новые: môr (от латинского maurus), pâge (от латинского paganus), soumâri (от латинского sagmarius), burdihhin (от латинского burdus), и наконец pferid (от латинского paraveredus). Но в противовес названию *лошади*, так часто заменяемому, названия *быка* и *коровы* почти во всех языках сохранились без изменения (греческое βοῦς, латинское bos, немецкое Kuh, английское cow, ирландское bó и т. д.), потому что кроме снабжения молоком бык и корова делают ту же работу и несут ту же службу. Но все же следует отметить создание специальных слов в некоторых языках для мяса животных: английское beef—*говядина*, немецкое (хотя частично) Rind.

Многообразие употребления способствует созданию различных слов. Кроме слов, означающих деньги (в большей или меньшей степени принадлежащих арго), во французском языке есть еще большое число слов для обозначения оплаты, в зависимости от социальной категории оплачиваемых: gages прислуги, traitement сановника, solde офицера, prêt солдата, appointements служащего, honoraire врача или адвоката, émoluments чиновника, salaire рабочего, paye поденщика, indemnité парламентского депутата, mensualités журналиста, casuel священника, secours бедняка, feux актера и т. д., не говоря уже о словах с более расплывчатым значением, как rétribution, subvention, gratification, allocation и т. п. В этом разнообразном словаре отражается сложность нашего современного общества. Зато слова épices (судьи) или bénéfice (аббата) в наше время не имеют значения, которое они имели при старом режиме.

В литовском языке сельского населения не меньше пяти слов для обозначения серого цвета. Но они не вполне синонимичны,

так как каждое из них применяется к одной категории предметов: о шерсти и гусях говорят pilkas, о лошадях szirmas или szirvas, о рогатом скоте szėmas, о седых волосах человека и о сером цвете домашних животных (кроме гусей, лошадей и рогатого скота) žilas. Другие слова для обозначения цвета если и не так многочисленны, то дают аналогичные варианты: например о рогатом скоте говорят žalas *(рыжий)* вместо обычного raudonas, dwylas *(черный)* вместо jůdas и т. д. Что до понятия *пятнистый, пестрый*, то для этого понятия есть приблизительно столько же слов, сколько и видов животных. Такой словарь указывает на скотоводческий народ, для которого масть скота представляет большое значение. У скотоводов всегда есть стремление создать специальный словарь для раскрасок той породы животных, которую они разводят. Общий язык всегда широко пользуется словарем, созданным специальными языками.

Во свое время аристократия как замкнутая каста вела салонную жизнь и, претендуя на изысканность языка, создавала свой собственный, «благородный» словарь, из которого изгонялись все «подлые слова». «При одинаковом уме они (придворные),—говорит Дюкло,—превосходят рядовых членов общества тем, что употребляют более изысканные слова и выражения»[1]. Этот избранный словарь, позволяющий немедленно отличить, к какому классу принадлежит собеседник, нам теперь кажется чем-то цельным и окончательно закрепленным. В действительности он составлялся изо дня в день из летучих выражений, многие из которых жили не больше дня; они рождались из намека, остроумного замечания, ничтожного события светской жизни.

Мы частично знаем его по тому, что̀ из него нам сохранили писатели, обычно высмеивавшие его. Мольер в 1659 г. в своих «Жеманницах» дает сатиру на деланный язык салонов своего времени. Бурсо (Boursault) в 1694 г. в «Модных словах» и Д'Алэнваль (D'Allainval) в 1728 г. в своей «Школе буржуа» издеваются в свою очередь над жеманным языком своих современников. Эти три словаря различны. Сравнивая их, мы убеждаемся, как скоротечна судьба некоторых слов. У Madame Josse Бурсо слово joli (*хорошенький*) не сходит с языка; она всюду слово grand (*большой*) заменяет словом gros (*крупный*)[2]. Эта мода одно время имела большой успех, правда, недолго; адвокат Brice, брат Madame Josse, как и она увлеченный придворным словарем, но более в нем разбирающийся, так напоминает ей, что слово это уже отжило свой век:

> Laissez mourir en paix un mot agonisant;
> Hors chez quelques laquais qu'il est en étalage,
> En aucun lieu du monde il n'est plus en usage...
> Gros est un mot proscrit, ma soeur...

---

[1] *Duclos*, Considérations sur les moeurs, 5-me éd., Paris 1767, p. 21.
[2] *Brunot*, Histoire de la langue française, t. IV, p. 222.

(*Оставьте это умирающее слово в покое; его уже никто в обществе не употребляет, и вы услышите его только иногда от лакеев.* Gros—*слово запретное, сестра...*)

Трудность в таких случаях, когда мы не живем в той среде, язык которой хотим культивировать, заключается в том, чтобы знать точно, как там говорят. Как часто люди, хвастающиеся тем, что они говорят на «языке парижских бульваров», не чувствуют, что слова, ими употребляемые, уже слова прошлого. Г. Омэ, аптекарь из Ионвиля, говорил: faire florès, turne, bazar, Breda-Street, je me la casse в значении *я ухожу*, когда эти выражения потеряли уже на бульварах свою свежесть.

Любовный словарь—это один из словарей, особенно быстро обновляющихся[1]. Но в его изменениях мы без труда улавливаем отблеск эволюции быта, и, чтобы истолковать их, надо учитывать социальные отношения полов. В эпохи богатства и роскоши, когда изящная аристократия могла все свои силы отдавать любви, посвящая ей все свое время, внутри аристократического языка создавался специально любовный словарь. Так было в средние века, сперва при дворах южной Франции, а затем и на севере. В XVII в. сменилось несколько любовных словарей, начиная с отеля Рамбуйе с его картой Страны нежностей и кончая салоном Печатей, у герцога Мэнского, и собраниями в Тампле, у Вандомов.

Многие из этих словарей перешли в литературу того времени: la gloire и les soins, les appâts и les feux, les cruautés, les rigueurs, les alarmes и много других выражений, для нас смешных и устарелых. Мы их рассматриваем все как представителей этого любовного словаря, от которого не всегда сумел уберечься даже Расин. Но не все они друг другу современники; каждое из этих выражений имеет свою историю, у каждого был период славы и затем упадка. В наши дни, когда нет больше аристократии как отдельной касты в нации, хотя и существует любовный язык, но это уже что-то вроде общего языка, заимствующего свой словарь у арго или жаргонов любой социальной среды; нет больше специального языка галантности, потому что культ любви уже не монополия какого-либо определенного класса.

Это нас приводит к необходимости при оценке изменений словаря учитывать и влияние различных говоров друг на друга. Какое-либо ходкое слово в нашем языке появилось из казармы; его взяли, потому что оно выразительней и энергичнее других слов передает выражаемое им понятие. Другое взято из языка гостиных[2]. Бывает также, что иностранный язык благодаря своему авторитету дает большое количество слов соседнему языку. Этим объясняется обилие латинских слов в таких языках, как английский или древневерхненемецкий. Не всегда эти

[1] *L. Spitzer*, Ueber einige Wörter der Liebessprache, Leipzig 1918.

[2] Можно отметить еще влияние словаря охотников; ср. *N. Edgar*, Les expressions figurées d'origine cynégénetique en français, 1906.

слова передают новое понятие или предмет; они часто замещают слова, которые уже были в распоряжении самого языка; но престиж латинского языка дает латинскому слову преимущество. Престиж языка—это еще одна социальная сила, о которой нельзя забывать при анализе изменений словаря (см. стр. 259).

***

Языковые приемы, применяемые для обновления словаря, легко сводятся к нескольким общим типам. Возможности, которыми располагает язык, не бесконечны. В пределах словаря они ограничиваются специализацией, т. е. сужением смысла слова с общим значением, метафорой и метонимией. Но это возможности в пределах одной семантики.

Возможность создания новых слов значительно расширяется благодаря словопроизводству и словосложению. Производное слово с момента своего появления в языке воспринимается как новое слово и приурочивается сейчас же к обозначаемому им предмету или понятию. Так, французское слово bottine *(ботинка)* приобрело совсем отличное значение от слова botte *(вязанок)*; равным образом значение французских слов chausson *(яблочный пирожок)*, chaussette *(носок)* и chaussure *(обувь)* не имеют ничего общего ни между собою, ни со значением основного слова chausse *(фильтровальный мешок)*. Так же обстоит дело и в сложных словах, являющихся результатом соединения отдельных элементов, которые после соединения вызывают в нашем сознании только одно представление.

Когда идет речь о новом предмете, очень распространен прием названия его по имени его изобретателя или распространителя, продавца или вообще человека, чем-либо способствовавшего его успеху. Так произошел ряд французских слов: calepin *(записная книжка)*, guillemets *(кавычки)*, barème *(таблица чисел)*, godillot *(башмак)*, quinquet *(кенкет)*, catogan *(подвязная косица*, заимствовано из английского, но создано указанным приемом), bottin («Весь Париж»—*адресная книга)*, poubelle *(ящик для мусора)*, gibus *(шапокляк)* pépin *(семячко)*, riflard *(зонтик)*, silhouette *(силуэт)*, fontange *(украшение на дамской прическе в XVIII в.)*. Употребление этого приема не предполагает всегда изобретения нового предмета; он может применяться и для названия предмета, уже давно существующего, если обозначающее его слово по какой-либо причине нуждается в замене.

Если же всех этих средств недостаточно, прибегают к заимствованию. Заимствуют из словарей соседних языков самых различных типов; берут слова и из патуа, и из арго, и из местных диалектов, и из иностранных языков; эти заимствования всегда определяются особыми условиями, от которых зависит и которыми регулируется их выбор.

Так называемые «культурные слова» заимствуются особенно легко; они переходят из страны в страну вместе с предметами, ими обозначаемыми; предмет несет их вместе с собой, иногда увлекает их очень далеко: rem verba sequuntur (*слова следуют за вещами*). Подсчитывая слова, взятые из латинского языка северными народами: бретонцами, ирландцами, англосаксами, немцами, балтами, славянами, мы легко заметим, что это почти одни и те же слова и что большинство их уже было заимствовано римлянами у греков[1]. Можно считать доказанным, что, раз выйдя за пределы своего языка, слово пройдет через много стран; оно ведь и появилось за границей своей родины только потому, что оно служит названием какому-либо новому предмету, специфичному для его родины; поэтому, понятно, такое слово попадет всюду, куда проникает называемый им предмет. Кроме соседних языков есть специальные запасы слов, откуда язык может по желанию черпать свой словарь: это—книжные и мертвые языки. Латынь в течение многих веков служила языкам Западной Европы источником для обновления их словаря. Французский словарь переполнен латинскими словами, вошедшими в язык в зависимости от новых потребностей и изменившимися только в своей фонетической форме по известным языковым соответствиям, которые всегда нами чувствуются. Латинский язык дал множество слов также английскому языку, намного меньше немецкому, удовлетворявшему свои лексические потребности богатством словарных расхождений своих диалектов и посредством словосложения легко увеличивавшему число своих слов. Греческий язык служил словарным запасом для славянских языков, особенно для русского, у которого кроме того был еще постоянный источник для обновления его словаря: старославянский язык, постоянно поддерживаемый церковью (см. стр. 246).

Словарь настолько легко можно заменить, что некоторые языки злоупотребляли этим. Порицали английский язык за его излишне богатый словарь, перегруженный синонимами, скоро выходящими из употребления, и постоянно их пополняющий из своего обычного источника—латыни, и из случайных источников—других иностранных языков. Французский язык также пожалуй слишком усердно усваивает новые слова, хотя старые, еще совершенно годные, достаточны для выражения мысли. Это—оборотная сторона того преимущества, при котором почти без ограничения все нужное можно взять из другого языка, даже если оно нужно только на короткий срок.

При этих условиях очень редко случается,—так как это и не нужно,—чтобы язык создавал новые слова из комбинации своих

[1] См. *J. Loth*, Les mots latins dans les langues brittoniques 1892; *Vendryes*, De Hibernicis vocabulis quae a Latina lingua originem duxerunt, P. 1902; *Kluge*, Vorgeschichte der altgermanischen Dialecte, 2. Aufl., 1897, S. 333.

фонем. Самое большее, если он изменит соотношение фонетических элементов слова. Этот прием известен из практики арго (см. стр. 235); но арго искажает слова, а не создает их. Создание слов—явление крайне редкое[1]. Есть только несколько примеров его, приводимых обычно как курьезы; это—слово *газ*, изобретенное в XVIII в., слово *рококо* или слово félibre[2]; таковы также названия некоторых продуктов, предметов питания или инструментов, как например *кодак*,—слов, целиком выдуманных своими изобретателями. Нельзя создать ряд таких слов, не подвергая опасности понятность языка. Эти слова подобны именам собственным, не вызывающим никакого точного представления в мозгу говорящего, если не знать заранее того, кому принадлежит имя собственное. Они должны быть помещены в контексте, служащем им объяснительным комментарием. Следовательно увеличивать их число надо с осторожностью. Но кроме того их трудно фабриковать. Вряд ли есть более трудный процесс, чем создание слова без помощи привычных приемов словопроизводства или словосложения. Всегда есть нечто, предопределяющее выбор[3]. Утверждали не без основания, что в слове *газ* заключена реминисценция слова Geist *(дух)*; следовательно мы имеем здесь дело только с переработкой старого слова. К той же категории относится и английское слово jingo *(шовинист)*, происходящее, как полагают, от восклицания by Jingo! в свою очередь заменившего by Jove! *(клянусь Юпитером)*—евфемизм жаргона оксфордских студентов. Что до таких слов, как *рококо* или *кодак*, то у них есть несомненная выразительность. Это—ономатопоэтические слова: они принадлежат к категории, принципы и образование которых теперь уже установлены[4]. Слово *кодак* дает слуховой образ: кажется, что слышишь щелканье механизма, открывающего и закрывающего фотографический аппарат. Чувствовал ли это его создатель и хотел ли он подражать этому звуку? Возможно, но не обязательно. Всегда бессознательно устанавливается гармония между звуками и выраженными ими вещами. Впечатление, производимое новым словом, может быть очень различным в зависимости от того, кто его воспринимает, но все-таки всегда какое-либо впечатление есть; различие впечатлений зависит от степени чувствительности, воображения или даже просто от нервов слушателя. Когда мы выдумываем новое слово для обозначения какого-либо предмета, нами неизбежно, бессознательно руководят субъективные соответствия между

---

[1] *Jespersen*, Growth and Structure of the English Language, chap. V, VI; *R. M. Meyer*, «Indogermanische Forschungen», Bd. XII, S. 257.

[2] *Darmesteter*, Cours de grammaire historique de la langue française, t. I, p. 23; *G. Paris*, Penseurs et poètes, p. 94; *Jeanroy*, «Revue des langues romanes», t. XXXIII, p. 463.

[3] *Renan*, Essai sur l'origine du langage, p. 147.

[4] *Grammont*, Onomatopées et mots expressifs, «Révue des langues romanes», t. XLIV, p. 97.

звуками и предметами. Кроме того, такое слово, как *кодак*, удовлетворяет всем законам звукоподражательного слова: в артикуляции его согласных и в качестве гласных соблюдаются законы Граммона. Оно сделано наилучшим из возможных способов. Надо полагать, что способность создавать новые слова — фикция. Это нас приводит к основному принципу, согласно которому языки развиваются посредством преобразования наличных своих элементов, а не посредством новотворчества.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ОБРАЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ

ГЛАВА I

ЯЗЫК И ЯЗЫКИ

Анализ различных частей языка, до сих пор проведенный нами, дает о нем только отрывочные и неполные представления. Наше деление языка на звуки, грамматические формы и слова, которому мы посвятили предшествующие главы, было искусственным. Несмотря на то, что эти элементы кажутся различными, они теснейшим образом друг с другом связаны, они не существуют отдельно. Они растворяются в единстве языка. Отсюда следует, что задача лингвиста еще не выполнена, когда он произвел анализ этих элементов. Следующая его задача—изучить, как эти элементы существуют в своем единстве, иначе говоря, изучить, как функционирует язык.

Но, приступая к построению общей теории языка, надлежит помнить о двух опасностях. В результате одной из тех антиномий языка, о которых говорит В. Анри[1], язык в одно и то же время и един и многообразен; он един для всех народов и различен до бесконечности в устах каждого говорящего.

Совершенно ясно, что два человека никогда не говорят совершенно одинаково. Для фонетиста, наблюдающего язык в индивидуальных особенностях, язык ограничивается индивидуумом. Один из основных недостатков описательной фонетики как раз в том, что она принуждает лингвистику исследовать индивидуальные факты. Тот, кто ищет в языке отражения чувств, эмоций, страстей, найдет в нем также только индивидуальные факты. Символ с момента, когда он принят условно, приобретает общее значение. Но частные действия, производящие символы и их выражающие, могут быть наблюдены только изолированно в индивидуальном проявлении. Хотя не точно говорить, что лингвистические нововведения исходят от индивида, но тем не менее верно, что каждый индивид вносит свое

---

[1] *V. Henry*, Antinomies linguistiques, p. 56 et suiv.

в процесс обновления языка. Следовательно не так уже ошибочно утверждение, что существует столько же разных языков, сколько говорящих.

Но, с другой стороны, не будет ошибочным и утверждение, что существует только один человеческий язык под всеми широтами, единый по своему существу. Именно эта идея лежит в основе опытов по общей лингвистике. Здесь делаются попытки формулировать общие принципы, приложимые ко всякому языку. Действительно, фонетическая система всех языков подчинена одним и тем же общим законам у всех народов; различия, которые мы устанавливаем при переходе от одного языка к другому, зависят от особых условий. Морфология языков конечно очень разнообразна; но те три или четыре основных морфологических типа, к которым это разнообразие сводится, не абсолютно различны, так как мы видим, что при развитии языка эти типы переходят один в другой. Точно так же ни один из этих типов не достаточен для полной характеристки языка человека. Что касается словаря, то он основан на следующем принципе: с определенной группой фонем соединяется какое-либо определенное понятие; и этот принцип мы находим во всех языках, и он действителен для языка вообще.

Общая теория языка наталкивается следовательно с самого начала на трудность определения границ лингвистического исследования; исследователь колеблется между изучением языка индивидуума и языка всего человечества. Но эта трудность ослабляется с того момента, когда мы вместо языка как абстракции берем язык реальный. Язык есть орудие действия и имеет практическое назначение; поэтому для того, чтобы хорошо понять язык, необходимо изучить его связи со всей совокупностью человеческой деятельности, с жизнью.

Мы уже говорили о жизни языка. Признавая всю неточность и двусмысленность этой метафоры, ею все же можно воспользоваться в качестве гипотезы, направляющей исследование, или в методических целях более удобного изложения. Но языковые факты, использованные нами до сих пор, были чистыми абстракциями, созданными лингвистами; говорить о жизни языка в связи со звуками, грамматическими формами и словами, т. е. в связи с тем, что как раз лишено жизни,—это почти нелепость. Жизнь, которой мы теперь займемся, это совокупность условий деятельности человечества, это действительность в ее бесконечном развитии. Что язык к ней причастен, слишком очевидно. Но в таком случае перед нами не теоретическая система, состоящая из отвлеченных положений. Перед нами самые разнообразные языки, на которых говорят весьма различно на всем земном шаре.

Между языком и языками можно установить такое различие: язык, это—совокупность психических и физиологических приемов, используемых человеком при говорении; языки же, это—практическое применение этих приемов. Для

определения термина «язык» нужно выйти из рамок предыдущих глав и изучить роль, которую речь играет в организованном человеческом обществе.

***

Первое, что приходит в голову при построении теории языка,— это поставить в связь речь и расу. Единственное крупное руководство по общей лингвистике—книга Фридриха Мюллера[1]— построено на этой мысли. В ней последовательно рассматриваются языки народов с курчавыми волосами и языки народов с прямыми волосами; языки классифицируются на основе этнических признаков. Этот принцип классификации очень удивляет читателя, но,—что важнее,—этот принцип не выдерживает никакой критики. Всякое суждение о расах должно приниматься всегда с большими оговорками[2]. Какую бы роль ни играли расовые изменения в изменениях языковых, нельзя установить никакой необходимой связи языка и расы. Не следует смешивать этнические черты, приобретаемые рождением, с установлениями—языком, религией, культурой,—которые могут передаваться, заимствоваться и обмениваться[3]. Взглянув на лингвистическую карту современной Европы, мы тотчас увидим, что единство одного и того же языка скрывает крайне смешанные расы. Ребенок-негр или японец, воспитанный во Франции в одинаковых условиях с ребенком-французом, будет говорить по-французски, как аборигены; достаточно этого факта, чтобы опровергнуть всякую попытку установить связь между языком и расой.

Можем ли мы по крайней мере сказать, что каждому языку соответствует определенный склад ума? Этническая психология говорит о французском и о немецком складе ума; различие между этими двумя складами ума должно отразиться в языке, если верно, что язык не что иное, как выражение определенного склада ума. Это, теоретически неопровержимое, положение крайне трудно поддается проверке и на практике вызывает многочисленные возражения.

Прежде всего не следует думать, что различным умственным укладам соответствует разное строение мозга. Это означало бы, что мы вновь вводим понятие расы в психологический вопрос. Даже противопоставляя белому негра, мы не имеем оснований утверждать, что цвет кожи и форма губ связаны с особым строением мозга, производящим мысль, отличную от нашей.

Еще меньше это рассуждение можно применить к индивидам одной расы, между которыми нет никакого существенного этнического различия. Известно, что ни цвет глаз, ни цвет волос,

---

[1] «Grundriss der Sprachwissenchaft» 1876—1888; ср. еще *Byrne*, General Principles of the Structure of Language, t. I, p. 45.
[2] *Renan*, Grammaire générale et comparée des langues sémitiques, p. XV;
[3] *Whitney*, La vie du langage, p. 231.

ни цвет кожи, ни форма черепа не служат этническим основанием для различения немца от француза, тем менее могут они служить лингвистическим основанием. А все же нет никакого сомнения в том, что у этих двух народов различный склад ума, вкусы, привычки и национальные темпераменты. Но эти национальные темпераменты очевидно, как и их языки,—следствие, а не причина. Так же произвольно выводить язык из склада ума, как и склад ума из языка. И то и другое —продукт окружающих условий, и то и другое—факт культуры.

Но этот вывод не должен обескураживать тех, кто пытается связывать эти два понятия, ибо язык и склад ума могут быть результатом тожественных причин и иметь одинаковые черты, не происходя один от другого. Если язык является отличительным признаком определенной формы мысли, то сравнительный анализ языков должен был бы привести к определению психологии народов. Такова основная идея Гердера в его трактате о происхождении языка, идея Гумбольдта и Штейнталя. В наше время немецкий лингвист Финк повторил мысль Гердера и пытался ее развить[1]. По мнению Финка, языки надо рассматривать как выражение психологии народов. Языки, по Финку, только репрезентации, и для психолога они не дают никакой ощутительной действительности. Было бы иллюзией изучать их как реальности. Изучая язык, надо применять чисто субъективный метод, исходить не от языка, т. е. результата, а от творящей его мысли. Это наиболее уместный метод при изучении некоторых психологических явлений, как например народных верований. Этим же методом исследуются страх, сон, вера. Такая постановка вопроса уводит нас далеко в сторону от лингвистики.

Финку можно ответить, что все-таки язык есть явление реальное[2]. В своей фонетике и в своей морфологии язык имеет самостоятельное существование, независимое от психического расположения говорящего субъекта. Язык противостоит говорящему, как сложившийся организм, как орудие, которое ему дают в руки. Он им пользуется для различных целей: употребляет его для будничной работы или строит на нем произведения искусства. Но всегда это—то же орудие; и дело лингвиста именно в том и заключается, чтобы изучить основные и постоянные свойства этого орудия. Следовательно объективный метод, оспариваемый Финком, как раз есть метод лингвистики, и язык можно изучать вне зависимости от уклада ума говорящего.

Мы не можем с уверенностью сказать, что причины, воздействующие на язык, вызывают в укладе ума аналогичные следствия. Основные и постоянные стороны языка изменяются по принципам, которые не имеют никакого отношения в складу ума. Это-то именно обстоятельство послужило основанием для пред-

---

[1] «Die Aufgabe und Gliederung der Sprachwissenschaft», S. 231.
[2] *Meillet*, «Année sociologique» t. X, p. 664.

ставления о жизни языка, независимой от какой бы то ни было жизни психической, физиологической или социальной. Действительно, различия, констатируемые в любой данный момент истории между языками двух народов, даже народов, языки которых родственны, объясняются чисто лингвистическими процессами в развитии каждого языка, а следовательно не дают никакого основания для выводов о складе ума этих народов.

Это наблюдение приложимо к наиболее ярким, характерным чертам, отличающим один язык от другого. Порядок слов может служить примером; это очень глубокий процесс; своими корнями он вероятно уходит в самую глубину языкового сознания, так как мы его находим при самом зарождении словесного образа. Но ведь мы знаем, что порядок слов в немецком, ирландском и современном армянском языках есть следствие морфологических изменений, свойственных каждому из этих языков (см. стр. 140); историк языка, уходя в прошлое, открывает в образовании глубоко различных систем синтаксиса действие внутренних законов, объясняющих развитие этих языков.

Часто и с полным правом противопоставляют языки, пользующиеся словосложением, языкам, прибегающим к словопроизводству посредством аффиксов: например язык греческий—латинскому, немецкий—французскому. Это на первый взгляд два типа различного склада ума; в одном случае мышление, разложив на части представление, передает подробно полученные в результате анализа элементы; другой же тип мышления указывает только на один из аспектов представления, предоставляя слушающему дополнить его другими. Однако на самом деле оба способа основаны на навыках данного языка; впрочем они никогда не исключают друг друга, встречаясь во всех языках; различие лишь в том, что в одних языках преобладает один способ, в других—другой. Достаточно в каком-либо языке одному из этих способов возобладать в известную эпоху развития этого языка, и он повторится многократно в дальнейшем его развитии. Это—прямое следствие состязания морфологических приемов, ни в какой мере не зависящих от различия в складе ума народов, говорящих на соответствующих языках.

Склад ума народа в обоих случаях одинаков. Отличается только его выражение. Если один язык говорит: liber Petri *(книга Петра)*, а другой le livre de Pierre, это еще не дает нам права сделать вывод, что народы, говорящие на этих языках, различно понимают отношение принадлежности; мы можем только сказать, что они выражают его по-разному. И различие это объясняется исторически. Пытаться постичь склад ума народа, исходя из характера его языка,—неосуществимое предприятие, по крайней мере при современном состоянии лингвистики. Даже словарь отражает склад ума народа только несовершенно.

Фрацузское слово louer передает значение двух немецких слов: mieten *(нанимать)* и vermieten *(сдавать в наем)*, смысл

которых противоположен. Это досадная двусмысленность в нашем языке. Но, с другой стороны, немецкое слово leihen означает в одно и то же время prêter *(давать в долг, ссужать)* и emprunter *(брать взаймы)*. Мы знаем также, что в некоторых языках одно и то же слово употребляется в значении *покупать* и в значении *продавать*[1]. Известно, что по-китайски и *продавать* «май⁴» и *покупать* «май³», правда, с различными интонациями[2]. Можно ли на основании этих случаев вывести и заключить, что эти народы различно понимают сдачу в наем, заем и продажу? Конечно нельзя. Словарь никогда не передает всех аспектов мысли полностью; понятий всегда больше, чем слов, но обиходная речь довольствуется приблизительной передачей их, имея возможность избежать двусмысленности другими путями. Смысл каждого слова проясняется посредством контекста. А если контекст недостаточен, язык всегда найдет выход. Действительно, ни французский язык, ни немецкий не страдают от двусмысленности слов louer и leihen; также и бретонец не чувствует неудобства от того, что в его языке понятия *зеленый* и *голубой* передаются одним словом (glas) и что он употребит одно слово, говоря: *небо голубое* и *бобы зеленые*.

К какой бы стороне языка мы ни обратились, ни в одной повидимому мы не увидим отражения известного склада ума. Но из этого не следует заключать, что между ними нет никакой связи. Иногда язык может даже изменять склад ума и направлять его. Привычка ставить глагол в определенном месте обусловливает специальный способ мышления и может в какой-то мере повлиять на ход рассуждения. Французская, немецкая или английская мысль в какой-то степени подчинена языку. Язык гибкий и подвижный, в котором грамматика сведена к минимуму, показывает мысль во всей ее ясности и разрешает ей двигаться свободно; язык негибкий и тяжеловесный стесняет мысль. Но склад ума говорящих подчиняет себе любую языковую форму. Поэтому невозможно определить язык темпераментом и психологией народа, который говорит на нем. Только изучая социальную роль языка, можно составить себе представление о том, что такое язык.

* * *

Стало общим местом утверждение, что человек прежде всего существо общественное. Одна из черт, которой лучше всего выражается общественность природы человека,—это без сомнения инстинкт, заставляющий группы индивидов осознавать, как общее, объединяющие их особенности, противопоставляя себя другим группам, члены которых лишены этих особенностей.

Этот инстинкт очень могущественен, и мы его находим во всех подразделениях любого общественного организма: его

---

[1] *Gabelentz*, Chinesische Grammatik, 1881, § 230.
[2] Цит. по *Jespersen*, Progress in Language, p. 84—85.

источник в самом факте группировки. Одинокий всадник легко дружит с пехотинцем при встрече; но в городах, где есть гарнизоны обоих родов оружия, между кавалеристами и пехотинцами возникают ссоры, заставляющие власти прибегать к мерам воздействия для восстановления порядка. То же наблюдается не только с двумя различными воинскими частями, у которых могут быть различными занятия, мундир, подбор людей; но внутри одного и того же полка, часто в одной и той же казарме возникает соперничество рот, взводов, отдельных помещений, соперничество, основание которого в разном времени смены, в разном начальстве или даже только в разных номерах. Малейшие различия питают это соперничество; кажется, что люди, сгруппировавшись, стараются воспользоваться самыми ничтожными обстоятельствами, чтобы укрепить свою группировку, противопоставляя ее другим.

Тщеславие, опирающееся на какое-либо превосходство, недостаточно для объяснения этого группового чувства. Последнее, правда, сопровождается чаще всего чувством внутреннего удовлетворения: в этом чувстве есть заносчивость, легко раздражающая и унижающая других. Но эти чувства—следствие кастового духа, а не причина его. Кастовый дух развивается именно потому, что уже существует групповое объединение. Само объединение не заключает в себе никакого личного элемента и совершенно не учитывает различия относительной ценности индивидуумов. Всякий чужак, вошедший в группу, приобретает все права наравне с другими; самое большее, если его сперва подразнят, что по всей вероятности есть отголосок древних мистических посвящений. Наконец групповое объединение не опирается ни на какие юридические нормы. Связь между членами группы не основана на предварительном соглашении и не навязана кем-либо извне; она заключается только в общности занятий, интересов и нужд; она тем сильнее, что рядом с данной группой есть и другие группы с иными занятиями, интересами и нуждами.

В любой общественной группе вне зависимости от ее свойств и величины язык играет важнейшую роль. Он—самая крепкая связь, соединяющая членов группы, в одно и то же время он—символ и защита группового единства. Может ли быть более действительное орудие для утверждения факта существования группы? Язык так гибок, так богат оттенками, так тонок, так пригоден к самому различному употреблению; он—средство общения между членами группы, условный знак принадлежности к группе.

У каждого члена группы есть ощущение, что он говорит на определенном языке, который не является языком какой-либо из соседних групп. Таким образом язык приобретает реальное существование в ощущении, общем у всех говорящих на нем. Это определение, на первый взгляд совершенно субъективное, опирается на тот факт, что к ощущению общности языка присоеди-

няется у говорящих стремление к известному языковому идеалу, который каждый из говорящих старается осуществить в своей речи[1].

Между членами одной и той же группы как бы существует естественно установившееся молчаливое соглашение поддерживать язык таким, как это предписывается нормой. Часто не без основания эту норму считают следствием обычного употребления языка; но употребление не только не произвольно, — оно представляет собою полную противоположность произволу. Обычные формы языка всегда определяются интересом языковой общины; этот интерес в данном случае есть необходимость взаимного понимания. Каждый член данной языковой общины поэтому всегда инстинктивно и бессознательно сопротивляется произволу в употреблении языка. Всякое нарушение обычного употребления языка со стороны отдельного говорящего сейчас же исправляется; смех наказывает виновника и отнимает у него желание повторить ошибку. Нарушение употребления приобретает силу закона только тогда, когда все члены общины склонны ее допустить в своей речи, т. е. когда ошибка воспринимается как норма и следовательно уже не чувствуется как ошибка.

Правильная речь (языковая норма) поддерживается очень жестоко во всех языковых общинах, во всех говорах. Иногда можно услышать, что даже образованные люди удивляются тому, что в говоре крестьян есть правила и грамматика. Им кажется, что правила существуют только в книгах, которые даются в руки школьнику; по их мнению, язык без письменности не имеет правил. Это ошибка. В говорах наших крестьян, так называемых «патуа», правила более строги, чем в языках, усвоенных из грамматик. В языках письменных иногда бывают колебания, споры: grammatici certant *(грамматики спорят)*, как говорил Гораций. Говорящие же на говорах почти никогда не колеблются. Послушайте, как отзывается крестьянин о говоре соседней деревни; он в нем найдет сейчас же отличия, едва заметные постороннему уху; он с гордостью заявит, что только он и его односельчане говорят правильно и хорошо и что по ту сторону ручья или долины речь уже перестает быть правильной.

У человека из народа обыкновенно очень точное представление о своем языке; он чувствует с редкой тонкостью малейшие нарушения нормы. Малерб считал, что у грузчиков Port-au-foin наиболее верное чувство языка; он, называл их своими учителями языка[2]. Известно, какая неудача постигла на афинском рынке Теофраста, родом с острова Лесбоса. Он спросил цену какого-то товара, и простая женщина узнала

---

[1] О норме правильности в языке см. *Noreen*, «Indogermanische Forschungen», Bd. I, 1892 и *Setälä*, «Finnisch-ugrische Forschungen», Bd. IV, 1904, S. 20—79.

[2] «Mémoires pour la vie de Malherbe» par le marquis de Racan, LXII.

в нем чужестранца по его языку[1]. Если мы сомневаемся в каком-либо языковом факте, нам надо обратиться к народу за разъяснением. Академии могут спорить о том, какого рода французское слово automobile, мужского или женского, и нагромождать доказательства на доказательства; это—теория. На практике народ сразу же решил, что это слово женского рода. Если было кратковременное колебание, то это потому, что во многих случаях (см. стр. 95) род этого слова не мог быть выявлен грамматически. Это равноценно тому, что во многих случаях своего употребления это существительное не имеет рода вообще; но во всех случаях, где род грамматически обнаруживается, слово получило женский род: une belle, une grande automobile; l'automobile est verte ou grise.

Язык каждой группы приобретает четкие грани благодаря этому стремлению к правильности и уверенному закреплению нормы. Но мы нигде не найдем образцового языка, если вздумаем его искать[2]. Многие говорят по-французски, но нет говорящих на образцовом французском языке, который мог бы служить нормой и примером для других. Того, что мы называем образцовым французским языком, не существует в речи ни одного говорящего по-французски. Поэтому праздное занятие задавать вопросы: где говорят на лучшем французском языке? Наилучший французский язык—это «идея» в том смысле, который придавал этому слову Лабрюйер; это—фикция, как и мудрец стоиков, который должен был быть совершенным, добрым, здравым телом и духом, если только, как кто-то сказал, его не мучит отрыжка. Наш лучший французский язык может потерять свое совершенство от любой ошибки памяти, ослышки или же обмолвки. Этот правильный язык—идеал, к которому стремятся, но которого не достигают; это—сила в действии, определяемая целью, к которой она движется; это—действительность в возможности, не завершающаяся актом; это—становление, которое никогда не завершается.

***

Можно обобщить сказанное, определив язык как идеальную лингвистическую форму, довлеющую над всеми индивидами данной социальной группы.

Теперь надо определить, что такое социальная группа. Этому в сущности будут посвящены следующие главы, так как характер языка зависит от природы и объема группы. Во Франции рядом с литературным языком, на котором везде пишут и который претендуют воплотить в своем говоре образованные люди, существуют диалекты, например диалект Франш-Контэ или Ли-

---

[1] *Цицерон*, Brutus, XLVI, 172; *Квинтилиан*, VIII, 1.
[2] *Meillet*, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, p. 357.

музена; эти диалекты в свою очередь подразделяются на многочисленные местные говоры. Здесь перед нами столько же языков, сколько их группировок. С другой стороны, внутри одного и того же города, как например Париж, есть налицо известное число различных языков, как бы наслаивающихся друг на друга; язык салонов—это не язык казармы, язык буржуа—это не язык рабочих; есть жаргон судейских, есть арго предместий. Эти языки часто настолько различны, что можно прекрасно знать один из них, совершенно не понимая другого.

Разнообразие этих языков зависит от сложности общественных отношений. А так как очень редко бывает, чтобы отдельный индивид жил замкнуто в пределах одной только общественной группы, то почти нет языка, который не распространялся бы на различные группы. Каждый член группы, перемещаясь, несет с собой язык своей группы, и его язык влияет на язык соседней группы, в которую он входит.

Две соседние семьи имеют не совсем одинаковый язык, но разделяющее их различие в языке, даже если оно содержит в зародыше основу для деления, могущую укрепиться в будущем, в настоящий момент так мало чувствуется, что мы можем его не учитывать. Кроме того язык, на котором общаются эти две семьи, неизбежно унифицируется, так как взаимное сношение стремится с первого дня ослабить различия и установить общую норму. Представим себе для примера двух братьев, живущих вместе, но имеющих разные специальности. Каждый из них в мастерской будет соприкасаться с другой языковой группой, которая передаст ему неизбежно свой язык вместе с навыками мысли, занятиями, орудиями производства. Но это различие в языке двух братьев, которое устанавливается ежедневно и которое при отсутствии общения могло бы заставить их «заговорить на разных языках», будет стираться каждый вечер при их встречах. Таким образом их язык в течение суток будет подчиняться попеременно двум противоположным тенденциям, постоянно очищаясь в их взаимном общении от приносимых извне диференцирующих его элементов.

В этом случае мы имеем хороший пример борьбы за равновесие, борьбы, образующей закон всякого развития языка. Две противоположные тенденции увлекают языки по двум противоположным направлениям[1]. Одна из них—тенденция к диференциации. Развитие языка, как мы его набросали в предыдущих главах, приходит все к более и более дробному делению языков; в результате получается дробление, увеличивающееся по мере употребления языка; язык отдельных говорящих индивидов, предоставленных самим себе, без всякого общения друг с другом, роковым образом обречен на такое дробление. Но

---

[1] *Meillet*, Unification et différenciation dans les langues, «Scientia», 1911, p. 402. Les langues dans l'Europe nouvelle, P. 1918.

диференциация никогда не завершается. Серьезное препятствие становится на пути такой диференциации; дело в том, что, уменьшая все сильнее объем групп, общению которых язык служит, эта диференциация лишила бы язык права на существование; язык должен был бы уничтожиться, став непригодным для общения между людьми. Поэтому против стремления к диференциации беспрерывно действует тенденция к унификации, восстанавливающая нарушенные отношения. Различные типы языков, диалектов, специальных языков, общих языков, о которых будет итти дальше речь, возникают в борьбе этих двух противоположных языковых тенденций.

ГЛАВА II

ДИАЛЕКТЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ[1]

Можно показать границы всякого языка в пространстве, противопоставляя его языкам другого типа. Мы знаем границы между французским языком и немецким, баскским или бретонским. Эти границы можно установить с точностью до одной деревни. Иногда границы проходят даже внутри деревни по долине, реке или улице. Так, мы можем провести границы французского, немецкого, итальянского, венгерского, сербского и других языков. Все эти языки противостоят друг другу, и их границы точны.

Но проведение границ соответственно между французским и провансальским, верхне- и нижненемецким, сербским и болгарским языками представляет уже затруднения. Дело в том, что мы в этом случае имеем дело не с двумя языками, различными по происхождению, которые исторический случай привел в соприкосновение, а с языками одного происхождения и диференцировавшимися в силу исторических обстоятельств. От одного из этих родственных языков к другому переход незаметен; это не два языка, резко противопоставленные друг другу, из которых каждый имеет в своем распоряжении различные способы выражения. Еще труднее установить различительную границу между говорами той же самой языковой области.

В наше время можно считать установленным, что площади распространения языковых особенностей не накладываются точно друг на друга; иначе говоря, изоглоссы независимы, не совпадают друг с другом.

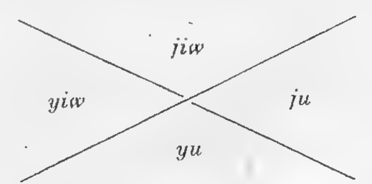
---

[1] По вопросу о диалектах см.: *Ascoli*, L'Italia dialettale, «Archivio glottologico italiano», v. VIII, p. 99—120; *L. Gauchat*, Gibt es Mundartgrenzen? «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen», Bd. CXI, 1904, S. 365—403; *Tappolet*, Ueber die Bedeutung der Sprachgeographie, «Festschrift Morf», S. 835; *J. Huber*, Sprachgeographie, «Bulletin de dialectologie romane», t. I, p. 89. В особенности работы *Gilliéron*, *Jaberg* и *Terracher*; *Dauzat*, La géographie linguistique, P. 1922.

О специальных языках: *Lasch*, «Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft zu Wien» (1907); *van Gennep*, «Revue des études éthnographiques et sociologiques», 1907; *van Gennep*, Religions, moeurs et légendes, t. I, p. 327.

Очень поучительно, с этой точки зрения, рассмотреть какую-либо языковую карту. Языковая карта Франции «Atlas linguistique de la France»[1] дает для каждого языкового факта особые границы. Представим себе десяток деревень, рассеянных на пространстве нескольких квадратных километров в каком-либо департаменте Франции. Жители всех этих деревень говорят на одном языке в том смысле, что их язык—особый вид французского и исторически восходит к одному и тому же языку, развившемуся самостоятельно на одной и той же территории. Но язык одной деревни заметно отличается от языка соседней. Описание каждого из них обнаружит особенности фонетические, грамматические, равно и лексические[2]. Но редко случается, чтобы особенности языка одной деревни не захватывали и других соседних деревень. Однако если мы будем брать каждую из особенностей порознь, границы взятых особенностей почти никогда не совпадут. Так например в пяти или шести из десяти обследованных деревень произносят «а» там, где в соседних деревнях произносят «е», или же «о» там, где другие произносят «u». Но границы района произношения «а» и «е» не совпадают с границами района произношения «о» и «u». Районы, где существуют эти два перехода звуков, не совпадут, т. е. области распространения фонетических особенностей распределены по-разному.

В департаменте Ланд[3] например по произношению слова joug *(ярмо)* мы найдем четыре района, неравных по объему и распределяющихся приблизительно так:



Линией раздела служит, с одной стороны, произношение «j» (русское «ж») вместо начального «у», с другой стороны, произношение «iw» вместо «u». Районы этих фонетических явлений не совпадают друг с другом. Но, с другой стороны, они не совпадают также с районами других фонетических особенностей, как например замены «d» через «z»[4], laide || laize, разделяющей обследованную область приблизительно пополам. Равным образом граница употребления прошедшего совершенного простого (ilécrasa) и прошедшего совершенного сложного (il a écrasé),—

---

[1] «Atlas linguistique de la France», Paris, Champion. См. *Gillieron et Roques*, Etudes de géographie, linguistique 1912.

[2] *Gauchat*, L'unité phonétique dans le patois d'une commune, «Festschrift Morf», p. 175—232.

[3] *Millardet*, Etudes de dialectologie landaise, p. 245.

[4] Ibidem, p. 249.

факт морфологического порядка—дает границу, причудливым образом извивающуюся по территории департамента Ланд[1].

Изучая словарь этого же департамента на примере распространения слова *пруд*, мы наталкиваемся в различных деревнях на такие четыре слова для передачи этого понятия: estan, gourgue, pesque и clote[2], на три различных слова для *ворона*: croque, corbe, courbas[3]. Районы употребления этих различных слов для *ворона* и *пруд* не совпадают. Следовательно особенности словаря, так же как и особенности грамматические и фонетические, распределяются, не совпадая с другими особенностями.

Вследствие такого положения вещей многие лингвисты смогли утверждать, что диалектов нет. Эти ученые полагают, что в результате развития языка получаются языковые единицы двух порядков: язык, единица большого объема, объединяющая ряд местных говоров, и местные говоры, на которые раздробляется первая единица—язык.

Это в общих чертах взгляд специалистов по романским языкам, давно уже мастерски изложенный Г. Парисом и П. Мейером. «Нет действительной границы,—пишет Парис,—которая отделяла бы говоры севера Франции от говоров юга Франции. Из конца в конец нашей национальной территории наши родные говоры расстилаются, как громадный ковер, в котором различные цвета незаметно переходят друг в друга неуловимыми оттенками»[4].

К этому же взгляду сводится «теория волн» Иогана Шмидта[5]. Он утверждал, что языковые факты распространяются по странам волнообразно и каждая волна подвигается постепенно и не имеет очерченной границы. Шмидт основывал свою теорию на материале индоевропейских диалектов, где, по его мнению, как и в романских языках, изоглоссы не совпадают. Но Мейе вполне основательно защитил существование индоевропейских диалектов[6]. Он показал, что можно установить наличие диалектов даже в индоевропейском праязыке. Его распределение диалектов основывается на следующем положении: всюду, где много границ приблизительно совпадают, мы имеем право говорить о диалектах. Где мы наблюдаем общие особенности, мы говорим о диалектах. Если же мы не можем между двумя районами провести четких границ, мы определяем диалекты

---

[1] Ibid., p. 199.

[2] Ibid., p. 208.

[3] Ibid., p. 175.

[4] *Dauzat*, Essai de méthodologie linguistique, p. 217 и дальше со ссылками на *Schuchardt*, *Ascoli*, *G. Paris*, *P. Meyer*. Ср. *G. Paris*, Mélanges linguistiques, p. 434.

[5] *J. Schmidt*, Die Verwandschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen, 1872; *Brugmann*, «Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft», S. 1, 226.

[6] *Meillet*, Les dialectes indoeuropéens, 1908.

этих районов по совокупности общих для каждого района языковых особенностей. Так например провансальский и французский языки по происхождению—два диалекта одного и того же языка; и если трудно провести на карте точную границу, где кончается французский язык и где начинается провансальский, то все же каждый из них обладает совокупностью многочисленных и достаточно четких признаков, не позволяющих нам смешивать провансальский язык с французским.

На территории собственно французского языка можно установить диалектальные деления, выбрав некоторые специальные черты, достаточные для определения каждого из диалектов. Так, пикардский диалект можно противопоставить диалекту Иль-де-Франса на том основании, что пикардский диалект сохраняет взрывный «к» там, где в диалекте Иль-де-Франса «к» переходит в шипящий («ch»): пикардский: keval, kamp, kar, Иль-де-Франс: cheval, champ, char. Совершенно верно, что этот критерий, прекрасный для противопоставления пикардского диалекта диалекту Иль-де-Франс, уже негоден для противопоставления того же пикардского, как доказал П. Мейер, его северному соседу—диалекту валлонскому и его западному соседу—диалекту нормандскому. Но у пикардского диалекта, с одной стороны, и у нормандского и валлонского диалектов, с другой, есть ряд других отличительных черт, позволяющих провести приблизительно границы, отделяющие их друг от друга.

Говорящие, отделяя свой диалект от чужого, не ошибаются. Распределение по диалектам соответствует реальному чувству говорящих на данном диалекте; они сознают, что их диалект не тот, на котором говорят их соседи. Пикардцы прошлых веков прекрасно сознавали, что их диалект отличается от диалекта Иль-де-Франс, или от валлонского, или от нормандского. Действительно, взятый в целом, хотя и различный на обширной территории, пикардский диалект обладал общими чертами, противопоставлявшими его в сознании говорящего пикардца соседним диалектам. И поэтому на пикардском диалекте писались литературные произведения.

Конечно, как мы увидим ниже (стр. 251), литературные языки, основанные на диалекте, не представляют собой в точности ни одного из местных говоров. Это положение можно обосновать на языковом материале как средневековой Франции, так и древней Греции. Но из этого не следует, что диалектов нет. Они существуют в той же мере, в какой существуют и общие языки: диалекты существуют теоретически. Диалект поэмы[1] «Saint Alexis»—один, а диалект «Saint Léger» или «Cantiléne de Sainte Eulalie»—другой.

В древней Греции диалект эпоса был другим в сравнении

---

[1] О поэтическом языке средневековья см. *G. Wacker*, Dialekt und Schriftsprache im Altfranzösischen, 1916.

с диалектами лирики; в греческой драме пользовались двумя разными диалектами: одним в диалогах и другим в хорах. Эти диалекты вначале имели своей базой речь какой-либо области Греции, островной или континентальной, более или менее обширной; наличие особенностей, достаточно многочисленных и достаточно характерных, позволяло их выделять именно как диалекты. Но поэты сделали их литературными языками; эти литературные языки мало чем отличаются от специальных языков.

Мы выяснили, что такое диалект. Теперь, прежде чем перейти к изучению взаимоотношения диалектов с общими языками, нам нужно сказать несколько слов о специальных языках. Как и диалекты, но по другой линии, специальные языки являются следствием социальной диференциации.

***

Специальным языком принято называть язык, на котором говорят группы индивидуумов, поставленные в отличные от других групп условия. Примером может служить язык судьи или судебного пристава. Эти чиновники в своей официальной работе пользуются языком, очень далеким от языка обычной жизни. Это язык юридический. Другой пример—язык культа. К богу обращаются на особом языке, например на латинском при католическом богослужении. Культовые языки надо причислить к специальным языкам. Наконец жаргоны (арго) также принадлежат к специальным языкам: школьники, ремесленники, преступники пользуются между собой условными языками. Это все специальные языки, поскольку они отличаются от обычного языка и служат для более или менее тайного общения ограниченного круга говорящих. Общее в них то, что это все языки специальные, и этим они противопоставляются общему языку. Исследуя их, мы обнаруживаем, что в основе всех таких языков лежит приспособление обычного языка к специальным функциям употребляющей их группы.

Некоторые из специальных языков ничем не связаны с общими языками. Такова латынь, которой в течение долгого периода пользовались ученые для международных сношений. Они выбрали для сношения с другими учеными мертвый язык; так же поступают наши священники, обращаясь к богу. Санскрит, другой мертвый язык, доныне остался в Индии языком пандитов, т. е. образованных людей. Как языками культовыми, отличными от живого языка, пользуются еще мертвыми языками—греческим, церковнославянским, древнеармянским, коптским; последним пользуются как языком культа люди, в обычной жизни говорящие по-арабски. Употребление этих специальных языков объясняется различными причинами. Ученые употребляют чужой язык как специальный для того, чтобы быть понятными в разных странах; культовые языки употребляются в угоду

традиции, а также стремлению отличить «священное» от «мирского» (см. стр. 236 и др.).

Обычно специальные языки вырастают на почве какого-либо общего языка. Но некоторые из специальных языков не менее мертвы, чем например латынь. Таков юридический язык. В нем каждый термин получил строго определенное значение; судейские должны его усвоить и употреблять, не меняя в нем ни иоты. Это в сущности технический язык, как язык врача, пишущего рецепт, и как вообще язык всякого ученого, когда идет речь о его специальности. Технические языки произошли вследствие необходимости называть понятия и предметы, не имеющие названий в обычном языке; но они также служат для «научного», т. е. более точного, устраняющего всякую двусмысленность, обозначения предметов, для которых есть названия и в обиходном языке. Технические языки или создают новые слова или употребляют слова обычного языка в специальном значении, например, физики, говоря о *массе, скорости* или *силе*. Этой своей стороной технические языки примыкают к арго[1].

Слово а р г о имеет в наше время довольно расплывчатый смысл. По существу это—другое слово для понятия «специальный язык». Существует столько же арго, сколько есть групп, имеющих свои специальные интересы. Для всякого арго характерна его постоянная изменяемость: он изменяется непрестанно в зависимости от места и обстоятельств. У социальной группы, у всякого цеха свой арго. Есть арго школьников, часто разный в разных школах и даже классах; есть солдатский арго, различный в разных воинских частях, даже иногда в одном и том же гарнизоне; есть арго швей и прачек, шахтеров и моряков.

Наконец есть арго преступников. Для обозначения их специального языка и было впервые употреблено это слово. Во Франции вплоть до начала XIX в. существовала настоящая корпорация преступников, имевшая свой специальный язык, условный и поддерживаемый сознательно его членами. Это—арго или, употребляя более старую форму, жаргон (вначале оба слова обозначали одно и то же). Понятие арго передается на разных языках так: по-английски cant, по-немецки Rotwelsch, или Gaunersprache, по-итальянски—furbesche, по-испански—germania, по-португальски—calão, по-румынски—smechereasca и т. д.

Исследователи арго часто кладут в основу своего исследования язык преступников; но трудно найти менее стойкую языковую единицу. В наше время нет замкнутой группы преступников, члены которой могли бы навязать друг другу совершенно

---

[1] Об арго см. *F. Michel*, Etudes de philologie comparée sur l'argot, 1856; *L. Sainéan*, L'argot ancien; труды *Marcel Schwob* и *Dauzat*; статьи *G. Esnault*, «Revue de philologie française et de littérature», t. 27, 28 et 35; *G. Esnault*, «Le poilu tel qu'il se parle», P. 1919.

единый язык. Говорящие на арго приходят из всех социальных слоев, и то, что принято называть «преступным миром», заключает в себе представителей всех провинций, всех классов, любой социальной среды. Если преступники собираются в отдельные изолированные группки, то группки эти имеют только временные задачи; у них не бывает вожаков, какие бывали в более ранние эпохи, которые могли бы навязать им свою волю. У преступников нет внешних признаков, по которым их можно было бы распознать. Они живут вместе со всей человеческой массой, хотя как бы на задворках общества. Может ли существовать в этих условиях язык преступников как четко очерченная единица?

Арго отличается от обычного языка главным образом своим словарем. Арго—это специализация общего языка; а так как арго существует только в своем противопоставлении общему языку, то для существования арго необходимо должна поддерживаться постоянная связь между арго и общим языком, на основе которого построен данный арго. Но достаточно даже слабых изменений в фонетике или морфологии, и арго отрывается от своего общего языка.

К тому же морфология и фонетика—это такие системы, в которых нельзя изменить ничего без их полной переделки. Арго над ними не властен. Иногда бывает, что некоторые особенности произношения характерны для данного арго. Так, в арго парижских предместий есть фонетические признаки, достаточные для обнаружения социального положения говорящего. Но здесь надо отличать два различных факта. Обычное произношение населения парижских предместий—это не обычное французское произношение. В предместьях Парижа своя особая фонетика, не говоря о словаре. Можно услышать, как рабочий говорит на превосходном общефранцузском языке с интонациями предместий, и обратный случай: светский человек употребляет слова арго, произнося их с изысканным общефранцузским акцентом. Соединение произношения предместий и арготического словаря в устах одного и того же человека надо рассматривать как случайное соединение самостоятельных черт языка.

Арго следовательно характеризуется почти исключительно своим словарем. Остается показать, как образовались эти отличия арготического словаря от обычного. Наиболее простой прием—сужение значения слов обычного языка. Мы уже указали, что любое слово с общим значением, как *работа*, *операция* и т. п., неизбежно принимает специальное значение в устах говорящего в зависимости от конкретной обстановки. Эта семантическая специализация (см. стр. 189)—сужение значений—лежит в основе арго.

Метафора—один из любимых приемов словотворчества арго, также и употребление имени собственного в функции имени нарицательного. Эти приемы, засвидетельствованные в обычном

языке (см. стр. 212), не представляют собой характерных черт арго. Только их применение пожалуй отлично: и метафора и метонимия употребляются в арго особенно часто. Так как необходимо подчеркнуть и поддержать различие, отделяющее арго от обычного языка, то метафоры очень быстро изнашиваются, и их нужно постоянно обновлять. Поэтому через арго проходит больше метафор, чем через любой другой язык. Часто также эти метафоры сознательны и вместе с тем случайны.

Здесь мы касаемся черты, отличающей арго в наибольшей мере от обычного языка. Хотя по самому принципу и по своему образованию арго—язык естественный, он однако приближается к языкам искусственным и охотно питается из личного творчества. Благодаря своему влиянию в группе один из ее членов навязывает другим какое-либо название, вытекающее из особых жизненных обстоятельств группы; так личная фантазия способствует созданию новых слов.

Но этого всего недостаточно. Приемы обычного языка, даже усиленные особым участием отдельных индивидуумов, не могли бы удовлетворить потребность арго в притоке новых слов. Тут помогает иностранное слово. Иностранное слово в данном случае надо понимать широко, как всякое слово, не входящее в состав общего языка, на базе которого развился арго. Так, местные говоры данной территории[1], а также диалекты и поддиалекты, которые можно рассматривать как малые общие языки, подчиненные основному общему языку страны, и даже иностранные языки соседних стран—все это может служить для образования и обновления арго. В Rotwelsch много слов из идиш, в germania из цыганского, а в smechereasca—из мадьярского, русского, идиш и цыганского. В cant мы то там, то сям находим слова ирландские, как например слово twig (*понимать*), ирландское tuigim (*я понимаю*). Словарь студентов-политехников включает немецкое слово Schicksal (*случай* , *судьба*)[2]. Французский арго насчитывает незначительное число иностранных слов (арабских, цыганских, идиш); основа его взята из туземных элементов, причем провинциальные говоры в нем представлены не слабее, чем общефранцузский язык[3].

Из того разнообразия материала, из которого строится арго, вытекает обилие в нем архаизмов. Действительно, слово, введенное посредством сужения (специализации) значения или заимствованное, поддерживается традицией долго после того, как обычный язык его потерял. Не лишено интереса, что старое германское слово lütt (*маленький*) еще употребляется в Rotwelsch вместо общенемецкого klein или что глагол occire, уже несколько

---

[1] О диалектизме в арго немецких студентов см. *Kluge*, Studentensprache, S. 65.

[2] *Marcel Cohen*, «Mémoires de la Société de linguistique», t. XV, S. 170.

[3] См. по бретонскому арго интересную работу *E. M. Ernault*, «Revue internationale de sociologie», t. XIV, p. 267.

столетий не существующий в общем языке, все еще живет во французском арго взамен глагола tuer *(убивать)*. Это архаизмы. Часто это архаизмы только кажущиеся, так как они заимствованы из литературных текстов. Иногда очень трудно отличить один прием от другого.

Книжное заимствование часто бывает индивидуальным, оно относится к искусственным приемам образования арго. Эти приемы очень разнообразны. Иногда они состоят в искажении внешнего вида слов. Вместо обычного суффикса ставят, скажем, часто арготический суффикс: во французском арго например меняют épicier на épismar и Auvergnat на Auverpin, а в Rotwelsch Kaufmann на Kofmich. Другие искажения—не что иное, как более широкое, чем в обычном языке, использование привычных фонетических изменений. Причины, вызывающие широкое распространение фонетических изменений (см. стр. 65 и сл.), находят себе место в арго. Именно в арго говорящий может широко пользоваться сокращениями: он обращается к ограниченному кругу слушателей, вполне готовых его понять, так как их интересы близки. Отсюда большое количество синкоп и элизий, упрощений, усечений, фонетических случайностей, делающих арго непонятным для непосвященных. Кроме того диссимиляция, ассимиляция и метатеза (перестановка) находят в арго благодарную почву, ибо в арго нет тирании правил.

Наконец в арго находят себе место и искусственные искажения, не связанные с нормальным существованием языка; таковы искажения, которые мы наблюдаем например в лушербэм и жаванэ. Первый состоит в том, что говорящий переносит первый звук слова на конец слова, замещает его звуком «l» и заканчивает искаженное таким образом слово арготическим суффиксом; жаванэ вставляет какой-либо слог («ar», «oc», «al», «em» и т. п.) в середину слова; чаще всего это слоги «av» или «va», откуда повидимому произошло и самое название этого арго.

Лушербэм не очень давнего происхождения, не раньше начала XIX в.; жаванэ, арго подонков Парижа, повидимому еще моложе. Но приемы, лежащие в основе этих двух арго, древнее их самих; они, надо думать, употреблялись всегда, когда надо было изменить искусственно язык. В Пенджабе в наши дни существует племя воров, создавшее свой язык, вставляя слог ma в середину слов обычного языка, пенджаби[1]. Это один из простейших приемов, он доступен всем. Мы уже видели (см. стр. 214), что новые слова создаются с большим трудом. Если нет возможности черпать свободно слова из соседних языков, всегда можно заняться искажением слов обычного языка, пользуясь

---

[1] *T. G. Bailey*, On the Secret Words of the Çûlûâs, «Proceedings of the Asiatic Society of Bengal», 1902. О наличии в Тонкине тайных языков торговцев, лодочников, певиц, являющихся деформациями аннамского языка, см. *Chéron*, «Bulletin de l'école française d'Extrême Orient», t. V, p. 47.

каким-либо единообразным приемом. Этот прием искажения слов употребляется во многих арго. Школьники часто прибегают к жаванэ; этот же прием засвидетельствован в школах германских и славянских стран.

Загадочный человек, известный только под претенциозным псевдонимом, грамматик Виргилий Марон, живший повидимому в V в. н. э., как кажется, изобрел специальный язык, долгое время бывший в чести в ирландских школах. Этот язык искажал слова обычного языка посредством удвоений, усечений или перемещений слогов. Со временем этот язык изменился и породил смешанный язык, названный «языком поэтов», по-ирландски berla na filed. Это—арго, в котором мы находим заимствования из латыни, греческого, древнееврейского, вышедшие из употребления и взятые из устаревших текстов слова ирландского языка и наконец слова обиходного языка, прочитанные от конца к началу или вообще искаженные. В нашем распоряжении есть несколько образчиков этого языка, часто трудных для истолкования; он сохранялся в школах по традиции как тайный язык. Неизвестно, насколько он был распространен в устной речи; это, быть может, была только система письма, как язык колдунов и продавцов талисманов.

В гробницах Греции, Италии и Африки часто находят свинцовые таблички с формулами заклинаний; в этих формулах часто применяются те же приемы: заимствование иноземных слов и искажение слова местного языка[1]. Но цель здесь совсем другая: нужно установить связь с потусторонним миром; текст изменяется из соображений, не имеющих уже отношения к языку.

Эти примеры подводят нас к специальным языкам, созданным в мистических целях.

Путешественники по диким странам, а также этнографы, обрабатывающие материалы этих путешествий, указывают на большое значение специальных языков в первобытных обществах. Внутри одного и того же языка из религиозных нужд создаются различные словари, отличающиеся различным употреблением и различным назначением. Действительно, у диких «область священного много шире, чем у нас..., нет почти ни одного общественного акта, не связанного в чем-либо с магически-религиозным обрядом; и всякий раз, когда мы имеем дело с обрядом, употребляется специальный язык... Эти специальные языки, употребляемые только от случая к случаю, чаще всего состоят из обрывков, или по крайней мере, кроме редких случаев, они состоят из более или менее значительного числа слов, запрещенных в обиходе, т. е. из слов, подвергнутых языковому табу»[2]. Такой специальный язык употребляется таким образом прежде всего для обозначения всего священного,

---

[1] *Audollent*, Defixionum tabellae, Paris, 1904.

[2] *Van Gennep*, «Revue des études éthnographiques et sociologiques», 1908, p. 397 et suiv.

божества во всех его видах, вождей, умерших членов племени, предметов, им посвященных, животных, их представляющих, и т. п. Этот же язык употребляется для действий, носящих священный характер, как-то: охота, рыбная ловля, плавание по морю и рекам, война или же для некоторых особых актов, приобретающих священный характер благодаря своему местному или временному значению. В Индонезии существуют специальные языки искателей золота или добытчиков камфоры.

Очень часто специальный язык обязан своим существованием различию полов. Женщины пользуются другим языком, чем мужчины; даже понимая слова мужского языка, они не имеют права их произносить. Таким образом получаются два различных, вполне параллельных словаря: каждый предмет имеет два наименования в зависимости от пола говорящего. У караибов например мужчины говорят по-караибски, а женщины по-аровакски[1]. Иногда различия в языке совпадают с различиями в общественном положении: у яванцев начальник обращается к своему подчиненному на языке ньоко, а подчиненный отвечает на языке кромо[2].

Иногда же различные поколения употребляют различные языки. На Востоке Африки у масаи мужское население по возрасту делится на две части; пища у каждой из этих групп ограничена строгими религиозными предписаниями; отсюда запрещение слов, обозначающих эти виды пищи[3]. Старшим не разрешается касаться хвоста или головы убитого животного, и для обозначения этого хвоста или этой головы они обязаны употреблять специальные слова. Зато младшим воспрещается когда бы то ни было есть тыкву. Считается большим проступком, если представитель одной из групп назовет перед представителем другой какое-либо из действий, запрещенных слушателю. Эти запрещения мотивируются религиозными соображениями: обе группы составляют как бы две половины одной мистической единицы, совокупности всех мужчин племени. Запрещения эти делят племя на две половины посредством различия в религиозных обрядах, а отсюда неизбежно вытекает различие в словаре. Это же явление включается косвенно также в акты посвящения—действия, имеющие столь большое значение у диких. Переход из одной из возрастных групп в другую или же вообще из одной какой-либо мистической группы в другую сопровождается специальными обрядами. Нужно оторвать вновь посвящаемого от его прежней среды и приобщить его к новой среде; отсюда и употребление тайных языков, продолжающих упот-

---

[1] *L. Adam*, Du parler des hommes et du parler des femmes dans la langue caraïbe, Paris, 1879.

[2] *Von der Gabelentz*, Die Sprachwissenschaft, S. 244.

[3] *Capit. Merker*, Die Masai, Ethnographische Monographie eines ostafrikanischen Semitenvolkes, 1910, S. 71. Цитируется *S. Feist*, «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», Bd. XXXVII, S. 113.

ребляться и после того, как вновь посвященный вошел в новую среду.

Противопоставление двух миров, реального и мистического или благого и злого, образует основу многих религий. Этот дуализм часто ведет за собой разделение в языке. В Авесте есть до двух десятков понятий, имеющих два параллельных словаря: одни слова для обозначения предметов или понятий мира Ормузда, мира благого, другие—для мира Аримана, мира злого[1]. То же самое действие может иметь две формы: реальную или мистическую; поэтому оно получает новое и особое наименование, когда совершается в мире магическом. Жертва, совершаемая жрецами, имеет своей целью связь с потусторонним миром[2]. Поэтому во всех странах жертвоприношение требует употребления специального языка, так называемого культового языка.

В основе культовых языков современной Европы лежит следовательно магия, возвращающая нас к религиозным обрядам и верованиям диких.

Вообще не следует преувеличивать различия между дикими и цивилизованными народами. Причины, вызывающие создание специальных языков у тех и у других, по существу одни и те же. В наших наиболее культурных языках мы находим много таких фактов, относящихся к специальным языкам, которые мы охотно объяснили бы магическим мышлением, если бы их встретили на Замбези или на Суматре. Запрещение например некоторых слов, такое важное лексическое явление во всех языках современной Европы,—чисто мистический прием: как часто в нашем обществе воздерживаются от употребления того или иного слова из боязни, что слово навлечет бедствие, им обозначаемое: absit omen!—формула дикаря, а вера в самодовлеющее могущество слова—остаток мистического мышления. Даже женские языки встречаются у нас. В идиш немецких евреев встречаются два параллельных ряда слов для обозначения всего еврейского и нееврейского[3], но, кроме того есть различия в языке, зависящие от пола говорящего; так, приветствуя, мужчина обращается или отвечает по древнееврейски, но женщина всегда в этих случаях пользуется языком идиш.

С другой стороны, нельзя категорически утверждать, что специальные языки, которыми пользуются в некультурных странах представители некоторых ремесел, доказывают мистическое мышление говорящих. Так же, как и у малайских искателей

---

[1] *Darmsteter*, Ormazd et Ahriman, 1877.

[2] *Hubert* et *Mauss*, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice, «Mélanges de l'histoire des religions», p. 1—130.

[3] *Ernest Lévy*, «Mémoires de la Société de linguistique», t. XVIII, p. 333.

золота или добытчиков камфоры, у нас есть свои профессиональные арго. Засвидетельствованы в Бретани язык портных (langaj kéméner)[1], а в Ирландии и Шотландии—язык медников (shelta) и других ремесленников[2]. Как и berla na filed это, может быть, древние мистические языки; но их живучесть объясняется нуждами и традициями специальной группы людей, выделяющихся из массы других людей своей профессией.

Специальные языки появляются в результате социальной диференциации; они следовательно в своей основе такие же естественные языки, как и диалекты. Но их отличие в том, что они возникают на базе общего языка, который обычно продолжает снабжать их материалом.

---

[1] *Ernault*, «Revue celtique», t. XXVI, XXVII.
[2] См. *R. J. Best*, Bibliography of Irish Philology and Literature, Dublin 1913, p. 50.

ГЛАВА III

ОБЩИЕ ЯЗЫКИ

В конце первой главы (стр. 226) мы указывали, насколько унификация языка является социальной необходимостью. Если бы человеческое общество не реагировало против дробления языков, в мире не было бы языков, а только все больше и больше дробящиеся говоры. Но говорящие всегда стремятся сохранить тожество языка; таким образом языковые сношения между членами той же самой общественной группы поддерживают единство языка этой группы уже самым фактом этих сношений. Отсюда возникают диалекты и о б щ и е я з ы к и (langues communes), как бы наслаивающиеся сверху на диалекты.

Между способом образования диалектов и общих языков есть различие. Диалекты возникают самопроизвольно, как результат естественного языкового процесса. Всюду, где в смежных говорах есть общие особенности и где говорящие чувствуют общее сходство этих говоров, налицо диалект. Диалект более или менее определим. Мы, правда, говорили, что, соединяя совокупность языковых критериев, нельзя определить ее границ. Лингвист, делая выборку характерных явлений для установления на карте деления на диалекты, всегда действует более или менее произвольно. С диалектами дело обстоит примерно так же, как с географическими делениями какой-либо страны на естественные области[1]; если границы ее областей не совпадают с политическими границами, то они всегда остаются неопределенными. Жители департамента Сены и Марны до сих пор говорят о Бри, Гатинэ и Монтуа. Но все эти названия, представляя может быть известные географические особенности, не означают в наше время какой-либо области с четкими границами; и если в свое время можно было говорить о границах графства Бри, то Монтуа всегда было неопределенным географическим выражением.

Границы диалектов определяются легче, если они совпадают с политическим делением; и эти границы часто существуют

[1] *L. Gallois*, Régions naturelles et noms de pays, Paris, 1908.

долгое время, после того как исчезли вызвавшие их причины[1]. Так, было установлено во многих районах современной Германии, что изоглоссы совпадают между собой там, где они совпадают и с политическими делениями страны до 1789 г. Эти границы, вообще говоря, восходят к XVI и даже к XV столетию; они были в то же время и религиозными границами; таким образом влияние религии присоединяется к политическому влиянию при определении границ диалектов. То же и во французской Бретани, где границы диалектов Леона, Корнуайля и Трегье, очень четкие во многих отношениях, и поныне совпадают с прежними религиозными и политическими границами края. Поразительно, что например диалект Трегье отделяется от диалекта Леона рекою Морлэ, разделявшей в былое время два епископства, а потому город Морлэ, перерезываемый рекой, разделен по языку на две части. Это понятно не означает, что жители двух берегов не понимают друг друга, но общая граница целого ряда языковых особенностей проходит как раз по реке; здесь, как и в германских диалектах, совпадающие изоглоссы совпадают и с прежними административными границами.

Но как ни велико значение политических и экономических факторов, диалект прежде всего—явление языковое. Отводя должное место внешним факторам в создании диалектов, мы все же должны признать, что в основе диалекты—результат естественного развития языкового процесса.

Не так обстоит дело с общими языками. Эти последние всегда определяются обстоятельствами внеязыковыми. Они создаются распространением организованной политической власти, под влиянием господствующего социального класса или превосходством литературы; каково бы ни было происхождение общего языка, его всегда поддерживают причины политические, социальные или экономические. «Только цивилизация дает возможность языкам распространяться большими массами» (Ренан)[2]. Если же какой-либо общий язык распадается, это значит, что социальные связи, его скреплявшие, ослабли. Нужно следовательно выделить особо изучение общих языков, нужно показать на исторических примерах, с чем связаны возникновение общих языков, их процветание и их упадок.

* * *

Общий язык всегда развивается на основе какого-либо существующего языка. Этот последний принимается в качестве общего языка людьми, говорящими на различных говорах. Исторические обстоятельства объясняют главенство языка, взятого за основу, и его распространение за счет местных говоров. Пер-

[1] *L. Febvre*, Histoire et dialectologie, «Revue de synthèse historique», t. XII, p. 249.

[2] *Renan*, Grammaire générale et comparée des langues sémitiques, p. 101.

вая задача лингвиста—определение языка, лежащего в основе данного общего языка.

В разных странах разные причины обусловили выбор языка, на основе которого развился общий язык этой страны; все великие общие языки, современные и древние, развивались по своим путям. Иногда какой-либо диалект, т. е. язык определенной области, распространяется в соседних областях и становится их общим языком. Так было в древней Греции, в эпоху образования эллинистической койнэ, начиная со времени Александра Македонского. В основе койнэ—диалект Аттики. «Этот диалект до V столетия был местным говором области, не привлекавшей чужеземцев; население этой области, преимущественно сельское, было относительно свободно от смешения с другими» (Мейе)[1]. И до этого периода в Греции уже были общие языки, а именно в колониях. С момента своего распространения по берегам Малой Азии ионический диалект стал общим языком; мы знаем этот язык по знаменитым произведениям Геродота. Хотя в Додекаполисе, по свидетельству Геродота, говорили на ряде местных диалектов, отличавшихся друг от друга, в нем был и общий язык, главенствовавший над всеми диалектами. Но политические обстоятельства не дали возможности этому ионическому общему языку сыграть роль, которая позже выпала на долю аттического диалекта. Благодаря необычному стечению сложных обстоятельств Аттика смогла в течение столетия (от конца персидских войн до основания Македонской империи) дать эллинскому миру общий язык. Среди причин, предоставивших афинскому диалекту это главенство, прежде всего надо назвать политическую роль, которая выпала на долю Афин после гибели империи Ахеменидов. Но сила влияния Аттики увеличилась от славы ее поэтов и мастеров искусства; в одно и то же время центр политической, художественной и литературной жизни—Афины основали общий язык, служивший всем грекам для выражения их мысли от IV в. до н. э. и до IX в. н. э. Этот язык вышел из аттического диалекта, на котором говорили в пределах Аттики; этот общий язык (койнэ) есть приспособление аттического диалекта к населению, говорившему на разных диалектах или даже разных языках.

В древнем Риме дело обстояло несколько иначе[2]. Латинский язык, ставший общим языком Италии, а потом и всего Запада, был сперва только языком Рима, т. е. городским языком, противопоставлявшимся как языку деревни, так и еще более отдаленным диалектам. Sermo urbanus (городская речь) задушила sermo rusticus (деревенскую речь) еще до того, как латин-

---

[1] *Meillet*, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, p. 243—244; *Kretschmer*, Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache., 1896; *Thumb*, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus, 1901; *Hoffmann*, Geschichte der griechischen Sprache, 1911.

[2] *Stolz*, Geschichte der lateinischen Sprache, 1911.

ский язык в Италии одержал верх над соседними диалектами: сабинским, марсийским и затем над другими языками Италии; оскским, умбрским, этрусским, кельтским, греческим. Здесь мы сталкиваемся с большим значением города как политического центра.

Французский общий язык также вышел из говора столицы. Политический вес Парижа и его области достаточно объясняет тот факт, что диалект Иль-де-Франса, «французский язык», был принят соседними провинциями, по мере того как они присоединялись к королевству, и в конце концов стал орудием интеллектуального общения от Дюнкерка до Перпиньяна и от Бреста до Шамони. Диалект Иль-де-Франса не только покрыл собою диалекты той же семьи, как и он вышедшие из латинского языка: он служит общим языком и фламандцам и бретонцам, родные языки которых относятся к германской или кельтской семье; диалект Иль-де-Франса проник также на юго-запад Франции в качестве общего языка, на территорию баскского языка. Он даже не остался только в политических пределах Франции, так как некоторые части Бельгии и Швейцарии лингвистически принадлежат Франции, не говоря уже о колониях, прежних и новых, распространяющих наш язык за морем[1]. История общего французского языка, его образования и его географического распространения тесно связана с политической, экономической и социальной историей Франции: нельзя понять одной, не зная другой. Но вышел французский язык из диалекта столицы, именно из языка одного из общественных классов столицы, языка буржуазии. Этот факт мастерски показан Брюно[2]: общий французский язык, такой, каким он сложился в XVII веке, есть язык парижской буржуазии, «города»; сначала его принял двор, за двором последовала провинция, и великие писатели, пользуясь им, дали ему силу окончательно окрепнуть и жить. Поэтому влияние диалектов в нем почти не чувствуется.

Общий испанский язык сложился значительно раньше, чем французский язык. К моменту арабского завоевания (711 г.) на Пиренейском полуострове были три группы сильно отличавшихся друг от друга диалектов: на западе—галисийский, на востоке—каталонский и в центре группа диалектов, занимавших обширную площадь. Общеиспанский язык произошел от одного из этих центральных диалектов, диалекта Старой Кастилии, лежащей на севере, рядом с баскскими провинциями. По политическим причинам этот диалект стал распространяться веерообразно к югу, понемногу вытесняя прочие центральные диалекты; впрочем направо и налево от собственно кастильского диалекта сохранились до наших дней представители этой

---

[1] См. «La langue francaise dans le monde», Paris 1900.

[2] «Histoire de la la langue française», t. III. См. также *Rosset*, Les origines de la prononciation moderne, étudiées au XVII siècle, 1911.

группы в леонских и арагонских крестьянских говорах, являющих интересные совпадения. Кастильский диалект стал в XIII в. литературным языком благодаря королю Альфонсу X (1252—1284), сделавшему для испанского языка то, что Данте сделал немного позже для итальянского. Таким образом общеиспанский язык есть результат политического и литературного главенства Кастилии. Это главенство не распространялось на Португалию, выделившуюся в независимое государство в конце XI в. Португальские диалекты примыкали к западной группе диалектов. Старопортугальский диалект сливается с галисийским. Но большое значение, которое приобрел в качестве столицы Лиссабон в XVI в., и влияние великого португальского поэта Камоэнса (1525—1580) сделали из центрального диалекта страны общепортугальский язык. Что касается диалекта, на котором сейчас говорят в Галисии, то он производит впечатление застывшего в своем развитии старопортугальского; к тому же этот диалект насыщен испанизмами[1].

Сравнительно с общефранцузским и общеиспанским общеанглийский с самого начала своей истории подвергается сильному влиянию разнообразных диалектов[2]. Это произошло потому, что Лондон, где образовался общеанглийский язык, расположен в месте столкновения нескольких диалектов. Кроме того вышло так, что в период образования общеанглийского языка быстро выраставший Лондон втягивал в себя разнообразных иммигрантов изо всех провинций, смешивавшихся с основным населением Лондона. Благодаря этой иммиграции диалекты оказали на общеанглийский язык настолько сильное влияние, что в XVII в. английское литературное произношение допускало многочисленные варианты. Следы диалектов чувствуются еще по сегодняшний день. Но эта иммиграция повела за собой непрерывный обмен населения между столицей и провинцией, что в сильнейшей мере способствовало распространению общего языка. Таким образом Англия получила свой относительно единый общий язык также благодаря значению своей столицы, но общеанглийский язык, сложившийся в несколько иных условиях, менее унифицирован, чем общефранцузский язык.

Уже в наши дни на Балканском полуострове сложились общие языки, которым вероятно в будущем предстоит изменить или расширить свои границы. Они также образовались под влиянием языка столиц. Южные сербские диалекты очень отличны от

---

[1] Материалом этого параграфа автор обязан любезному сообщению *Amerigo Castro*; см. также *Navarro Thomas*, Manual de pronunciacio'n española, M. 1918. Относительно португальского см. *Leite de Vasconcellos*, Esquisse d'une dialectologie portuguaise, 1901; *J.-J. Nunes*, Compendio de gramatica historica portuguesa, L. 1919.

[2] *W. Horn*, Untersuchungen zur neuenglischen Lautgeschichte, 1905; *W. Horn*, Historische neuenglische Grammatik, 1908; *Morsbach*, Ueber den Ursprung der neuenglischen Schriftsprache, 1888.

белградского письменного и устного языка[1]. Ударение стоит на другом месте, долгота и краткость звуков не соблюдаются и флексии очень упрощены. Во многих отношениях эти говоры стоят между сербским и болгарским языками; фактически невозможно провести границу между этими двумя языками. Но, начиная с эпохи балканских войн, существует общесербской язык, захватывающий и поглощающий эти южные говоры в пределах королевства. Мы хорошо знаем, как происходит замена икавского диалекта общим литературным языком[2]. Основной факт—замена звука i сочетанием звуков iye. Это вытеснение общесербским языком одного из диалектов облегчается в Сербии существованием родовой общины—задруги[3]. В пределах задруги язык должен быть, понятно, единым. В задругу благодаря браку постоянно вступают женщины из других областей, говорящих на других диалектах. Эти диалекты не выдерживают борьбы с общесербским языком, и значение этого последнего увеличивается. Литературный язык делается общим языком для всех сербов королевства.

В Германии, где столица основана недавно и к тому же не имеет бесспорного главенства над страной, распространение общенемецкого языка совершилось вне зависимости от какого бы то ни было политического объединения. Общенемецкий язык—это прежде всего письменный язык, обязанный своим успехом религиозным причинам, а своим возникновением—нуждам колонизации[4]. Немецкий язык Лютера благодаря реформации распространился по всей нижненемецкой области; к концу XVI столетия в этой области уже не пользовались другим письменным языком кроме общего литературного языка. Более медленным было распространение этого языка в католических областях Германии и в протестантской Швейцарии. Но и сам Лютер воспользовался языком, уже долгое время существовавшим до него. С XIV и даже с XIII в. в магистратских и княжеских канцеляриях существовала тенденция пользоваться общенемецким языком, отличающимся от областных диалектов. Пример брали с имперской канцелярии[5]: эта последняя старалась избегать диалектальных особенностей и употребляла один и тот же язык во всех областях, подлежащих ее ведению. Это ясно уже при императоре

---

[1] *O. Broch*, Die Dialekte des süddeutschen Serbiens, 1903, «Schriften der Balkan-Kommission, Linguistische Abteilung».

[2] *H. Hirt*, Der ikavische Dialekt im Königreiche Serbien, «Sitzungsberichte der kais, Akademie der Wissenschaften», Wien. Phil. Historische Klasse, B. 146, 1903.

[3] «Брак есть один из постоянных человеческих посредников между языками и местной историей». *Terracher*, Les aires morphologiques dans les parlers populaires du nord-ouest de l'Angoumois, p. X et 228.

[4] *Kluge*, Von Luther bis Lessing, 1904; *Kluge*, Deutsche Sprachgeschichte, Z. 1920; *Kluge*, Unser Deutsch, 1910; *Gutjahr*, Die Anfänge der neuhochdeutschen Schriftsprache von Luther, 1919.

[5] *Socin*, Schriftsprache und Dialekte im Deutschen, S. 164.

Карле IV, в середине XIV в. Этот канцелярский язык был особенно силен тем, что он был языком колонизации. Действительно, шаг за шагом немецкий язык внедрялся в славянские области, вытесняя славянские языки. Общенемецкий язык сложился в городах колонизационного района Восточной Германии; этот язык приобрел громадное значение вместе с реформацией, закрепился благодаря открытому к тому времени книгопечатанию и стал письменным языком всякого культурного немца.

Общерусский язык сложился иначе[1]. В течение всех средних веков письменным языком России был старославянский язык первых переводчиков религиозных текстов. Этот старославянский язык, основанный на южнославянских говорах (Салоникской области), в России несколько приспособился к русскому языку, все же не сливаясь с ним совершенно. Хотя малообразованные люди иногда писали, подчиняя свой письменный язык своему устному языку, все же литературным языком оставался церковнославянский язык. Начиная с петровской эпохи русский язык освободился от влияния старославянского языка и, подвергаясь влиянию языков Западной Европы, в частности французского и немецкого, приблизился к разговорному языку центральной России, к языку ее старой столицы—Москвы. В течение XIX в. таким образом образовался литературный язык, в котором есть пережитки старославянского языка, но в главнейших своих частях этот язык опирается на современный разговорный язык.

Польский язык был литературным языком с XIV столетия; особенно ярко он развился как таковой в XVI в. в районе Кракова (Малая Польша). Однако литературным общим языком является язык не этой области: он вышел из района Познани (Великая Польша), где в X в. сформировалась польская национальность. Таким образом из четырех больших групп диалектов: мазовецкой, познанской, краковской и диалектов поляков в Галиции[2] основой для литературного общего языка послужил диалект Познани; этот язык развился в пределах Малой Польши и завершил свое развитие в восточной части области, в Галиции, т. е. наполовину колонизованной, этнографически не исконной польской области.

Есть наконец общие языки чисто литературного происхождения. Таков общеитальянский язык[3]. Он сложился как общий язык в начале XIV в. благодаря авторитету и влиянию таких писателей, как Данте, Петрарка и Боккаччо, в эпоху, когда

[1] *Будде*, Очерк истории современного русского литературного языка XVII—XIX вв., «Энциклопедия славянской филологии», вып. XII, 1908 г.

[2] *Casimir Nitsch*, Mowa ludu polskiego, 1911.

[3] *D'Ovidio*, Lingua e dialetto, «Archivio glottologico italiano», t. I, 564—583; *G. Ascoli*, Il toscano e il linguaggio letterario degli Italiani, «Archivio glottologico italiano», v. VIII, p. 121—128; *Pio Rajna*, Origine della lingua italiana, «Manuale della letteratura italiana», par d'Ancona e Bacci, v. I, изд. 2-е, 1908, p. 15—24.

страна не имела никакого политического единства. Эти писатели использовали конечно язык, на котором говорили вокруг них; отсюда и название lingua toscana (*тосканский язык*), которое литературный итальянский язык носит со времени Данте. Но из этого вовсе не надо заключать, что итальянский книжный язык есть областной диалект, распространившийся по всей стране; язык, который Данте сделал литературным и который стал с течением времени общеитальянским, это язык Флоренции и ее образованного общества. Сам тосканский диалект обладает некоторыми особенностями, не перешедшими в литературный язык. Например в нем мы находим переход звука с (русское к) в положении между двумя гласными в фрикативный fuoho *(огонь)* вместо fuoco и la hasa вместо la casa *(дом)*. Однако же надо указать, что несколько причин другого порядка сделали из Флоренции «обетованную землю» общеитальянского языка. Кроме славы ее писателей и ее значения как литературного центра, в этом случае сыграло роль положение Флоренции между Римом и Болоньей, двумя центрами интеллектуальной жизни Италии. Кроме того флорентийский диалект по своим качествам был приспособлен, более чем другие, к роли общеитальянского языка: он был ближе к латинскому языку и тем самым давал возможность каждому образованному итальянцу перестроить свой диалект в общий итальянский язык. Так подготовлялся триумф *тосканского языка*, который окончательно восторжествовал, когда в XIV в. венецианец Бембо писал свои произведения уже на этом языке.

* * *

Различные способы образования общих языков (несколько типов их образования мы только что показали) конечно влияют на отношение этих языков к диалектам. В тех случаях, когда сам общий язык есть не что иное, как один из диалектов, вышедший из ряда соседних диалектов, эти последние осуждены на более или менее быстрое поглощение общим языком. Диалект, служащий основой общему языку, приобретает особое значение в ряду других диалектов. Конечно такой диалект обыкновенно теряет все то, что в нем есть своеобразного; так например аттический диалект, став общегреческим языком, освободился от некоторых важных особенностей. Но и остальные диалекты с своей стороны быстро изнашиваются, сталкиваясь с общим языком. Если только особые обстоятельства не продлят их жизни в форме специальных или литературных языков, границы диалектов изглаживаются, и в конце концов они сливаются с общим языком. На севере Франции в сущности уже нет диалектов. Здесь между общефранцузским языком и местным говором нет больше посредствующего звена. Пикардиец уже знает только два языка: говор своей деревни и общефранцузский язык; последнему он научился в своей школе и каждое утро имеет с ним

дело в своей газете. Кроме того местный говор все больше и больше пропитывается элементами, заимствованными из общего языка. Но если случайно в общефранцузский язык войдет несколько слов из местного говора, то это не остатки старого диалекта и не начало образования нового диалекта,—это только местный облик общего языка. Материалы на пикардском диалекте можно найти только в текстах с давностью в несколько столетий. Этот диалект прекратил свое существование в тот день, когда говорящие потеряли ощущение независимости и ценности своего диалекта.

Мы почти не знаем, что произошло в древней Греции и древней Италии. Но надо думать, что диалекты этих стран были более или менее поглощены общегреческим и общелатинским языками. В основе всех современных греческих диалектов лежит эллинистическая койнэ. После установления единого общего языка этот язык раздробился опять, как это обычно бывает, но на этот раз это дробление происходило уже на новой основе; в новогреческих диалектах мы ничего не можем найти, что связывало бы их с греческими диалектами, поглощенными койнэ. Местные диалекты были так полно поглощены койнэ, что их можно распознать только по некоторым деталям произношения или словаря. В надписях, даже наиболее близких к устному языку, нельзя отыскать остатков древних диалектов[1].

В Италии латинский язык поглотил ряд языков, о которых мы теперь знаем очень мало. Он впитал в себя также и диалекты, близкие к диалекту Рима. Усилиями нескольких ученых открыты в словаре, морфологии и фонетике латинского языка некоторые диалектальные черты, которые сохраняются повидимому некоторыми диалектами современной Италии[2].

Следовательно надо различать диалекты по их различному отношению к общему языку. Раньше всего—и это вполне понятно—исчезают диалекты, наиболее близкие к диалекту, лежащему в основе общего языка. Это кажущееся банальным наблюдение имеет значение при изучении столкновения языков (см. стр. 269). Так например есть очень ясное различие между влиянием, которое оказали на английский язык языки датский и франконормандский[3]. Этот последний почти не повлиял на грамматическую структуру английского языка; датский же язык оказал очень глубокое влияние на английский язык:

---

[1] *Thumb*, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus, 1901.

[2] *G. Mohl*, Choronologie du latin vulgaire; *Ernoult*, Les éléments dialectaux du vocabulaire latin, 1909; *Ribezzo*, Reliquie italiche nei dialetti dell'Italia meridionale, «Atti Acad. Arch. Lett. Bell. Arti», Napoli, v. I, 1908; *M. G. Bartoli*, Alle fonti del Neolatino, 1910.

[3] *Jespersen*, Progress in Language, p. 170—173. Об отношении английского диалекта Шотландии к общеанглийскому см. *W. Grant* and *J. M. Dixon*, Manual of Modern Scotch, 1921; О языковом вопросе в Норвегии см. *R. Iversen*, Bokmaal og Talemaal i Norge, 1921 и *A. Burgun*, Le developpement linguistique en Norvège depuis 1814. 1919—1921.

порча и упрощение граматической системы осуществились на два столетия раньше в областях, занятых главным образом датчанами, сравнительно с южными областями Англии, захваченными норманнами. Если отвлечься от политических и социальных условий,—а надо заметить, что норманны были очень малочисленны в Англии и здесь составляли всегда специальную замкнутую группу,—причина различной стойкости английского языка на юге и на севере лежит в степени родства столкнувшихся языков. Дело в том, что со стороны грамматического строя между английским и датским языками было много сходных черт, которых не было во франконормандском и английском.

Общие языки, которые прежде всего являются письменными языками, как немецкий и итальянский, находятся в несколько другом положении относительно своих диалектов. Норма, которая представлена в виде общего языка, не противостоит диалектам, так как ни один из диалектов не стремится поглотить другой. Любой из диалектов и общий язык—это два языка, расположенные один над другим; в каждой области существует широкое единство языка, более широкое, чем местный говор, и более ограниченное все же, чем общий язык. Так, в Пьемонте и в Ломбардии разговорный язык не согласуется с языком книжным. Язык книги кажется искусственным и архаичным; это—язык мертвый, без самостоятельной жизни и, как говорит Асколи, без «sicurezza»[1]. Точно так же и в Германии и в наше время можно говорить о диалектах. Они занимают промежуточную ступень между местным говором и общенемецким языком; диалекты охватывают площадь более или менее обширную и имеют границы более или менее четкие. Они имеют свое место и в литературе и в прессе. И общенемецкий язык захвачен ими постольку, поскольку в нем нет единого произношения, а произносится он в разных областях по-разному. Если скинуть со счетов высокообразованную часть городского населения, то надо отметить, что немцы, говоря на общенемецком языке, всегда вносят в свое произношение много диалектизмов. Везде пишут на едином общенемецком языке; но всегда нетрудно судить о происхождении говорящего немца по его произношению. Провинциальные различия, иногда наблюдаемые в речи французов, незначительны сравнительно с аналогичными различиями у немцев.

Однако, как мы только что сказали, различие между общенемецким письменным языком и областными диалектами не абсолютно. Как и следовало ожидать, между тем и другими происходит беспрестанный обмен; они взаимно проникают друг в друга. В результате диалектальные различия смягчаются: это—процесс настолько определенный, что мы и здесь, как и в предыдущем случае, можем предвидеть исчезновение

[1] *Ascoli*, «Archivio glottologico italiano», v. VIII, p. 126.

диалектов в более или менее далеком будущем. Но в этой взаимной конкуренции между диалектами и общим языком есть сторона, о которой мы еще ничего не говорили: это—относительная стойкость и тех и других.

Можно сказать о всяком общем языке то, что Мейе сказал о греческой койнэ[1]: «Это идеальная норма, со временем становящаяся все более архаичной, все более и более удаляющейся от тенденций развития разговорной речи, и нужно постоянно возобновляемое усилие, чтобы согласовать естественные тенденции развития языка с этой нормой». Общий язык—это «не закрепленный раз навсегда язык, но, с другой стороны, это и не правильно развивающийся язык; это язык с особым равновесием, постоянно колеблющимся между закреплением и развитием». Это равновесие сохранять очень трудно. Общий язык, распространяющийся на очень обширную область, где население постоянно меняет место, где социальные классы скрещиваются и смешиваются, совершенно неизбежно изменяется. Целость такого общего языка подвергается сильным испытаниям. Если общий язык, находящийся в таком положении, дрогнет и изменится, это—его близкий конец, так как никакая сила не может сделать так, чтобы он изменялся везде, где на нем говорят, одинаковым образом. История дает много примеров такого распадения языка. Но прежде чем дойти до такого состояния, общие языки долгое время сопротивляются изменению. За них политические условия, сила школы и административного аппарата. Быть может, их лучший защитник, это—письмо.

***

Здесь мы будем говорить о письменном языке (ему посвящена специальная глава этой книги) лишь постольку, поскольку он связан с развитием общего языка. Письменный язык представляет с этой точки зрения традицию и хранилище закрепляющих язык правил. Без сомнения традиция может существовать и без письменности. У галлов, по словам Цезаря, были науки, которые друиды передавали своим ученикам со слуха; эти знания передавались из поколения в поколение без помощи письма. В Индии религиозные тексты задолго до введения какой бы то ни было письменности передавались устно, не претерпевая ни малейшего изменения. Но ясно без дальних слов, что традиция во много раз сильнее и устойчивее, если она опирается на письменную форму.

Не надо смешивать письменный язык с литературным языком. Хотя обычно оба эти понятия покрывают друг друга, но бывают случаи, когда они противостоят друг другу и даже находятся в противоречии. Письменный язык часто есть только выра-

---

[1] «Aperçu d'une histoire de la langue grecque», p. 263.

жение общего языка, в то время как литературные языки обычно отличаются от общего языка. Во многих странах художники слова, поэты и рассказчики составляли отдельную касту со своими традициями, обычаями и привилегиями; таким образом их язык имел все отличия специального языка, он требовал обучения, в частности обучения известной технике. Бывало даже, что роль поэта была наполовину религиозной, и некоторые литературные языки в то же время—и языки культа; например санскрит долго сохранял характер культового языка. В Греции например особенности языка высокой лирики основываются несомненно на том, что он связан со специальными культовыми языками. Но даже и вне всякого религиозного влияния во многих странах образовались литературные языки с ограниченной областью употребления. Эпический язык Греции—это один из примеров таких специальных литературных языков, сложенных поэтами и закрепленных раз навсегда. Всякий, кто в Греции брался за эпическое творчество, пользовался языком, не совпадающим ни с каким из устных языков: Аполлоний Родосский и Квинт из Смирны подчинялись гомеровской традиции. Также и в Афинах установился обычай употреблять в хорах трагедий всегда одинаковый язык, уснащенный доризмами, но не соответствующий вполне никакому из существовавших тогда дорических диалектов. В Индии также были литературные языки, образовавшиеся на основе тех или иных диалектов, употреблявшиеся только для некоторых литературных жанров и только некоторыми категориями поэтов. Их языковая самостоятельность сводилась к тому, что они противостояли общему языку. У малайцев, говорящих на не индоевропейском языке, есть специальный язык, служащий им литературным языком,—язык кави, насыщенный санскритизмами [1].

Но даже не говоря о таких случаях, когда литературный язык происходит от специального языка, можно легко провести различие между языками литературным и общим. Действительно, основное в общем языке—то, что он есть средняя между всеми формами речи, на которых говорят пользующиеся общим языком. Когда общий язык распространяется по всей стране, элементы, служащие для установления этой средней, становятся все более многочисленными.

Но мастер слова нуждается в индивидуальном орудии, которое могло бы передать своеобразие его ума и его чувства. «Язык создан для широкого употребления и поэтому,—говорит Баррес,—он в состоянии выразить только грубые положения» [2]. У Флобера было две манеры письма: одна—в личной переписке и другая—изысканный стиль—в литературных произведениях. «Художественный стиль»—это всегда реакция против

---

[1] См. знаменитый труд *W. von Humboldt*, Ueber die Kawisprache auf der Insel Java, Berlin 1836—1839.

[2] «Un homme libre», p. 87—88.

общего языка; в известной мере—это арго, литературный арго, который может иметь различные разновидности,—одни у парнасцев, другие у символистов, третьи у декадентов,—но во всех случаях представляет собой изменение обиходной речи. Эти арго, употребляемые в узкой среде литературных кружков небольшим числом посвященных, нас здесь не интересуют. Нужно только, может быть, сказать, что иногда они дают общему языку несколько слов или оборотов. Но нам следует рассмотреть такой случай, когда литературный язык есть только письменный язык и когда оба языка— и литературный и письменный—выражают норму общего языка.

Услуги, оказанные писателями при образовании общефранцузского языка, громадны. Мы обязаны французским языком—таким, каким мы его изучаем в школе,—соединенному усилию грамматиков и писателей[1]. Они выковали для нас это прекрасное орудие, зорко стоя на страже его чистоты. Очистка языка, происходившая несколько столетий, может показаться педантичной и состоящей из мелких придирок; но этот труд был нам очень полезен, и мы должны быть благодарны тем, кто его проделал. Благодаря школьным учителям, воспитанным на наших писателях, мы в состоянии выражать наши мысли в самой пригодной для этого форме; мы владеем языком, все слова которого имеют точный смысл, обороты которого определены во всех мельчайших оттенках их значений. Выбросив из письменного языка все, что было в нем противного естественности и хорошему вкусу, подчиняя язык разуму и приличию, они «сделали наш язык способным,—как говорит Бугур,—передавать самые высокие понятия и поднимать самые низкие»; они приспособили язык ко всем требованиям ума. Общий язык широко использовал их работу. Он приобрел тем самым четкость в изяществе, точность в разнообразии и, по слову Ривароля, «честность, свойственную его гению».

Великие писатели делают со словами то же, что короли некогда делали с монетой: они им назначают ценность, какая им заблагорассудится, и закрепляют их курс, по которому все должны их принимать. Некоторая доля мыслей великих писателей переходит с языком в нас. Когда мы говорим по-французски, нам диктуют наши слова Паскаль, Ларошфуко, Лабрюйер, Боссюэт, Монтескье и Вольтер. Всякий из нас, как бы он мало ни был образован, говоря, черпает языковый материал, иногда бессознательно, из своих школьных воспоминаний. Нетрудно было бы указать современного писателя, язык которого есть не что иное, как копия с языка наших классиков. Он может служить образцом всем, кто берется писать по-французски, воплощая в абсолютном совершенстве идеал французского лите-

[1] *Brunot*, Histoire de la langue française, t. IV, p. 219 et suiv.; *Alexis François*, La grammaire du purisme et l'Académie française au XVIII siècle, Paris 1905.

ратурного языка в его «общей» форме. Действительно, в каждом из его произведений по его словоупотреблению, по связи слов, по оборотам и ритму фразы вы узнаете печать наших великих мастеров. Для оценки такого тонкого искусства нужен очень изысканный вкус; наслаждение узнавать и находить в этой прекрасной, щекочущей слух материи происхождение каждой из нитей, из которых она соткана.

Но создание «общей» формы, как бы она ни была совершенна, есть всегда только один момент в истории языка, и письменный язык всегда отстает от языка устного.

Образование письменного языка—это остановка в развитии языка. Его формы кристаллизуются и, костенея, теряют естественную гибкость жизни. Но было бы чистой иллюзией думать, что язык может когда-либо остановиться в своем развитии. Может показаться, что язык останавливается, когда над языком естественным наслаивается язык искусственный; но расхождение между этими двумя языками, вначале слабое, со временем становится все большим и большим, и наконец это противоречие превращается в разрыв. Этот процесс образования письменных языков можно сравнить с образованием слоя льда на поверхности реки. Лед образуется из воды реки; вернее, он не что иное, как вода реки, но в то же самое время он и не река. Ребенок, увидев лед, наивно думает, что реки больше нет, что ее течение остановилось. Иллюзия! Под слоем льда вода продолжает течь, следуя своему руслу. Если бы случайно лед треснул, вода бы сразу брызнула вверх. Так и с языком. Письменный язык—ледяная корка на реке. Текущая подо льдом река—народный естественный язык. Холод, производящий лед и стремящийся задержать течение реки,—это усилия грамматиков и учителей, а луч солнца, освобождающий язык из плена, это непобедимая сила жизни, побеждающая правила, ломающая узы традиции.

Современный французский язык в достаточной степени оправдывает приведенное сравнение. Расхождение между языками письменным и устным становится все больше и больше. Ни синтаксис, ни словарь обоих языков не совпадают. Даже морфологии различны: простое прошедшее, прошедшее несовершенное сослагательного наклонения уже не употребляются в устном языке. Особенно бросается в глаза разница в словаре. Французы пишут на мертвом языке, который восходит к писателям XVII в. и совершеннейшие образцы которого в наше время дает писатель, о котором мы говорили выше. Но говорят французы совсем на другом языке. С XVII в. французский обиходный словарь изменился[1]. Различие между этими двумя словарями напоминает различие между словами «низкого» и «высокого штиля»;

---

[1] *F. Gohin*, Les transformations de la langue française pendant la deuxième moitié du XVIII siècle (1740—1789), Paris 1903.

француз постеснялся бы написать большинство слов, которые он употребляет в разговорном языке. Человек, говорящий так, как он пишет, кажется существом искусственным, необычным; таких людей становится все меньше и меньше.

В течение долгого периода высшие классы по традиции сохраняли архаический язык под влиянием успехов письменного языка; только в низших слоях населения естественно развивался язык, обновляя свои выразительные средства. В наше время искусственный язык высших классов исчезает, уступая место народному языку. Все пуристы оплакивают это «снижение» языка, но их жалобы бесплодны[1]. Рикошетом этот процесс задевает даже письменный язык; газеты, спешно редактируемые, в которых пишут наспех статьи люди, часто необразованные, все чаще и чаще берут выражения, обороты и даже формы из устного языка; солецизм (неправильный оборот) je m'en rappelle, варварский оборот de façon à ce que встречаются там постоянно. Ряд других «ошибок», не менее грубых, встречается ежедневно в газетном языке. В одной из парижских газет с большим тиражем можно прочесть такие обороты: il demande à ce que; avec cette brusquerie dont il ne se départ jamais; cette affaire ressort de la préfecture de police; il ne se gêna pas pour l'agoniser de sottises; au point de vue pécunier; alors il s'enfuya и т. п.

Можно заметить, что в этом варварском языке есть многочисленные реминисценции письменного языка; например se départir de, ressortir à—это слова письменной речи; употребление простого прошедшего—это одна из характерных черт письменной речи. Журналисту, совершившему эти ошибки, казалось, что он пользуется письменной речью; но по недостатку образования он составил свой письменный язык из искусственных и часто неверных выражений. Так же точно Григорий Турский, латынь которого кишит ошибками, взятыми из устной речи окружающих, пользуется отложительным глаголом, исчезнувшим уже давно из устного языка: многие из его отложительных глаголов не существовали даже и в классической латыни[2].

Нужно признать, к чести французской печати, что в нескольких больших газетах язык сохраняет свою литературность; редакторы этих газет неотступно соблюдают правила письменного французского языка. Если число этих газет все уменьшается, зато их язык становится все правильнее; они стараются бороться с окружающей вульгарностью, и их язык от этого становится только чище. Так получается, что парижская пресса пользуется не одним языком. Какой-нибудь листок употребляет устную речь, слегка олитературенную. Наоборот, язык какой либо большой ежедневной газеты—это язык лучших писателей, чистейший «французский литературный язык».

[1] В частности, *E. Deschanel*, Les déformations de la langue française, 1898; *P. Stapfer*, Récréations grammaticales et littéraires, 1900.
[2] *Bonnet*, Le latin de Grégoire de Tours, 1890, p. 402.

Но этот литературный французский язык—это язык искусственно усвоенный; расхождение между ним и устным обиходным французским языком так велико, что первому приходится учиться, часто долго и с большим напряжением. Никто не знает, сколько времени будут еще пользоваться им и обучаться ему. Во всяком случае можно предвидеть, что с французским литературным языком будет то же, что сталось с латинским языком: он сохранится как мертвый язык, со своим словарем и правилами, закрепленными раз навсегда. Живой язык будет развиваться вне связи с ним, как это случилось с романскими языками. Самое большее, если литературный французский язык будет служить резервуаром, из которого устный язык будет черпать недостающие ему слова (стр. 213). Литературный французский язык будет противостоять народному французскому языку, как две разновидности арабского языка или как мандаринский китайский язык живым устным языкам Китая[1]. Если бы была проведена полная реформа французской орфографии, различия между обоими языками еще больше бросалось бы в глаза.

Конечно существование литературного французского языка не помешает образованию общего французского языка под ним; вульгарная латынь, от которой идут романские языки, также достаточно отличалась от классической латыни, которой продолжали пользоваться в письменной речи в эпоху Антония и Клавдия. Рядом с общегреческим языком эллинистической эпохи существовал литературный искусственный язык, который отличался от него словарем и даже морфологией.

Действительно, может существовать несколько общих языков—один над другим.

В древней Индии санскрит, бывший вначале языком культовым, стал литературным общим языком в тот день, когда иноземная династия впервые ввела этот язык в светский обиход; в наши дни это книжный язык, орудие одновременно высшей культуры и религии. Продолжают читать и произносить тексты из Махабхараты и Пуран в храмах так же, как католическая церковь продолжает употреблять латинские тексты. Но совершенно ясно, что санскрит распространяется далеко за пределы индусских говоров; он не только охватывает весь Индостан, где на нем говорят народы совершенно различных рас и языков, но его вывезли и далеко за пределы полуострова браминские и буддийские миссионеры.

Но существование санскрита не помешало возникнуть другим общим языкам. Задолго до эпохи образования из санскрита литературного языка, эпохи довольно поздней, так как она приблизительно совпадает с началом нашей эры, языки более молодые, чем санскрит, стали употребляться как письменные общие языки. В 250 г. до н. э. царь Ашёка в своих надписях поль-

[1] *Steinthal*, Abriss der Sprachwissenschaft, S. 53.

зуется этими языками как письменными общими языками; в качестве языков религии, конкурируя с санскритом, другие языки, например пали, служили для буддийских текстов; наконец в драме, рядом с санскритом, обычно пользовались некоторыми литературными языками, пракритами, которые напоминают до известной степени язык лирики и эпоса в Греции[1].

Но под этими пракритами[2] существовали с давних пор и теперь существуют диалекты и местные говоры. Некоторые из этих диалектов приобрели настолько большое значение, что стали удовлетворять и литературным целям; таковы хинди, бенгали, марати. Существует теперь в Индии даже общий язык— индустани, в основе которого нет никакого реально существующего диалекта.

Мы можем заключить эту главу этим примером языков Индии. Он прекрасно иллюстрирует отношения общих языков между собою и с местными диалектами. Он показывает, как по существу трудно провести границу между элементами, их определяющими, до какой степени они непрестанно проникают друг в друга и воздействуют друг на друга. Все это потому, что образование общих языков, так же как и их развитие и распад, управляются историческими причинами, лежащими вне языка,—процессами культуры.

---

[1] *F. Lacôte*, Essai sur Gunādhya et la Brhatkathā, p. 40—50.
[2] *Jules Bloch*, La formation de la langue marathe, 1914.

ГЛАВА IV

СОПРИКОСНОВЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ[1]

Никогда или почти никогда не бывает, чтобы какой-либо говор длительно развивался безо всякого внешнего влияния. Напротив, влияние соседних языков на данный язык часто играет важную роль в языковом развитии.

Соприкосновение языков является исторической необходимостью, и соприкосновение это неизбежно влечет за собой их взаимопроникновение. На наших глазах и в непосредственной близости от нас находятся области, где история как бы нарочно смешала народы, говорящие на различных языках; в таких областях расширение торговых сношений, необходимость общения требуют умения говорить на нескольких языках. Балканский полуостров всегда был и остается хаосом языков, как и рас, наций и религий. Славяне, греки, албанцы, румыны, турки, евреи, армяне образуют в наше время более или менее значительные группы, смешивающиеся на территории полуострова. Во Фракии живут греки, в Македонии—румыны, в Албании—сербы, в Аттике—албанцы. Нигде здесь политические границы не совпадают ни с границами рас, ни с границами религий: католики и православные, мусульмане и иудеи находятся среди разных наций и рас. Языки, обычно способствующие разграничению наций и религий, еще больше способствуют смешению: здесь существуют в непосредственной близости языки сербский и болгарский, греческий и албанский, румынский и турецкий, армянский, и даже испанский (по-испански здесь говорят евреи). При этом мы перечислили еще только основные языки, оставив в стороне диалекты.

---

[1] *H. Schuchardt*, Slawodeutsches und Slawoitalienisches; *E. Windisch*, Zur Theorie der Mischsprachen und Lehnwörter, «Berichte über die Verhandlungen der kön. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften», Leipzig 1897, S. 101—126. По основным вопросам: *Schuchardt*, Kreolische Studien, «Sitzungsberichte der kaiser. Akademie der Wissenschaften», Wien 1882—1890, Bd. 101—105, 116 и 122; «Zeitschrift für romanische Philologie», Bd. XII, XIII; S. 476, 508; Bd. XV, S. 88—123 и «Revue des études basques», t. VI (1912); *Sayce*, Introduction to the Science of Language, t. I, p. 219 (примеры смешанных языков). См. также труды *Н. Я. Марра*, яфетическая теория которого предполагает существование множества смешанных языков (см. «Яфетические сборники» 1922 и далее, «Japhetitische Studien», L.-B.).

Такое столкновение многочисленных языков, необычное для современной Европы, в истории было часто правилом. Последствия такого положения для языков очень значительны. Два языка, приходя в соприкосновение, всегда оказывают большее или меньшее влияние друг на друга. Основываясь на таких фактах, некоторые лингвисты утверждают даже, что нет несмешанных языков. Поэтому нам нужно исследовать, в каких условиях происходит соприкосновение языков и каковы его языковые последствия.

***

Было бы совершенно неточно представлять себе соперничество двух языков происходящим всегда совершенно одинаково; ибо разные языки различны и по силе, а следовательно и по сопротивляемости.

Когда соперничают два культурных языка, как немецкий и французский, оба одинаковой мощи и к тому же достаточно различные по структуре, то такое соперничество языковых последствий почти не дает и протекает исключительно в области политико-экономической. Подготовка к борьбе происходит еще в школе; но победы одерживаются в жизненных столкновениях. Отмечают какую-либо швейцарскую деревушку, откуда немецкий язык изгнал французский, другую деревушку, где, наоборот, победил французский[1]. Не следует в таких случаях сравнивать достоинства борющихся языков, беря их отвлеченно. Жители этих деревушек, располагая двумя орудиями, одинако о прочными и действительными, выбрали то из них, которое больше соответствовало их нуждам. В зависимости от того, в каком направлении относительно языковой границы развиваются экономические отношения, в том же направлении будет перемещаться эта граница. Практический интерес—единственный хозяин в подобных случаях и решает дело в пользу того или другого языка; впрочем оба эти языка могут долгое время находиться в состоянии равновесия.

Кроме экономических условий нужно учитывать и политическое положение. Некоторые народы из патриотизма или же из чувства независимости и из оппозиции к соседнему государству пользуются каким-либо языком или же даже развивают его предпочтительно перед другим. Совершенно ясно например, что соотношение французского и фламандского языков в Бельгии зависит не только от экономических условий; к ним присоединяются и политические причины, о которых не должен забывать лингвист. Уже лет двадцать в Ирландии развивается движение за возрождение старого национального языка; это движение порождено главным образом политическими причинами: Ирлан-

---

[1] *Zimmerli*, Die deutsch-französiche Sprachgrenze in der Schweiz, 1891—1899.

дия стремится освободиться от языка своего векового врага — Англии. Никогда так много не говорили в Эльзасе по-французски, как в эпоху захвата этой области Германией; до 1771 г., когда Эльзас принадлежал Франции, у эльзасцев, не подвергавшихся никакому языковому давлению, было меньше оснований избегать разговора на своих алеманнских говорах.

В балканских странах соперничество языков в значительной степени направляется политическими причинами. Но и религия также играет здесь значительную роль. Армянский язык например обязан доброй долей своей жизненности тому, что существует независимая армянская церковь. Принадлежность к одной конфессиональной группе увеличивает силу сопротивления языка. На мысе Доброй надежды в 1688 г. французские изгнанники—протестанты—составляли четверть населения колонии, но так как в управлении, в политических сношениях и церкви разрешалось пользоваться только голландским языком, то через столетие французский язык уступил полностью место голландскому.

Есть еще одно чувство, очень мощное, составляющее силу и поддержавшее неприкосновенность не одного языка, это — чувство своего престижа. Никогда римлянин не согласился бы учиться одному из этих варварских языков, quorum nomina vix est eloqui ore Romano (*даже названия которых невозможно произнести римским устам*) (*Помпоний Мела*, III, 3); и мы знаем, что латинский язык в самой Италии задушил этрусский, оскский и умбрский языки. Престиж латинского языка стоял так высоко, что прошло не больше ста лет после завоевания Галлии, и она уже посылала в Рим учителей красноречия.

Стремление греков не подчинить своего языка языку победителя сохраняло греческий язык целые столетия; никогда турецкий язык не мог не только вытеснить, но даже потеснить греческий язык. Греки говорили на турецком языке в официальных учреждениях, но никогда, как говорят итальянцы, lingua del cuore (*язык сердца*) не уступала места lingua del pane (*языку хлеба насущного*).

Значение соответственной ценности языков становится ясным во многих случаях. Можно почти относительно каждого языка указать коэфициент его ценности. В XIX в. армянский язык отступил перед русским языком в пределах Европейской России. Но польский язык устоял перед русским на западе царской империи; русский и польский—это два языка одинаковой силы, не уступающие ни в чем друг другу. Сила распространения, обнаруживаемая некоторыми индоевропейскими или семитскими языками, как например арабским, есть несомненно результат сложных причин, но среди этих причин играет роль и ценность языка.

Изолированные языковые островки, разбросанные случайно среди населения, говорящего на другом языке, не выдерживают

17*

напора и быстро поглощаются, если только окружающий язык обладает достаточно высокой культурой. Известно, как трудно разным этническим группам Соединенных штатов поддержать неприкосновенность своих языков в борьбе с английским. Даже немецкий язык терпит тяжкие поражения и быстро вырождается; немцы США начинают говорить: Milch gleicht der Onkel nit, составляя таким образом кальку с uncle does not like milk[1]. В середине XVIII в. одна швабская колония поселилась в Испании, у подножия Сиерры-Морены; в этой колонии немецкий язык совершенно забыт, мы находим только его следы в фамилиях[2]. Равным образом и французский язык французов-эмигрантов, поселившихся в Германии и в Нидерландах после отмены Нантского эдикта, недолго сопротивлялся напору окружавшего его языка. На север от Франкфурта есть несколько деревень, населенных некогда французами, но язык этих деревень стал немецким[3].

Рассмотрим теперь воздействие какого-либо общего языка, представителя высокоорганизованной культуры, на группу местных говоров, не имеющих ни единства, ни связи. Такой случай мы находим в Бретани в отношениях между бретонским и французским языками. Борьба между бретонским и французским ни в какой степени не походит на борьбу французского и немецкого языков в Швейцарии. В этом последнем случае эти два языка идут вперед или отступают как две стоящие друг против друга армии. Они могут стоять вооруженными друг против друга долгое время. Если одна из них отступает или наступает, налицо фактическое перемещение языковой границы; на захваченных участках население говорит по-французски или по-немецки. Дело обстоит совершенно иначе в борьбе между бретонским и французским языками. Граница между этими двумя языками не изменилась за последние несколько столетий, несмотря на несомненные успехи французского языка в Бретани[4]. В XI в., как установлено, бретонский язык уже не заходил дальше своей нынешней границы, т. е. почти прямой линии, идущей от северо-запада на юго-восток, начиная с Plouha, по берегу между Paimpol и Saint-Brieuc до устья La Vilaine и проходящей ниже Quintin и выше Elven. По правой стороне от этой линии уже девять или десять веков говорят почти исключительно на французских диалектах (gallots, как они здесь называются). Борьба двух языков вырисовывается в совершенно другом виде. Вернемся к

---

[1] *Baumgartner*, Die deutsche Sprache in Amerika, цит. *Meillet*, «Bulletin de la Société de linguistique», t. XVIII, CXVI.

[2] *S. Feist*, «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», Bd. XXXVI, S. 344.

[3] Есть еще поныне в Вюртемберге группа населения, говорящего по-провансальски: ср. *Morosi* в «Archivio glottologico», v. XI; *A. Rössger*, Neu Hengstett (Burset). Geschichte und Sprache einer Waldenserkolonie in Württemberg, 1883.

[4] См. *Paul Sebillot*, «Revue d'éthnographie», janvier 1886; *J. Loth*, «Revue celtique», t. XXIV, p. 295; t. XXVIII, p. 374.

нашему примеру двух армий, стоящих друг против друга. Здесь нет ни правильного боя, ни территории, с которой победители заставляют отступать побежденных. Здесь мы видим только непрерывный переход большого числа языковых элементов из одного языка в другой; это как бы перебежчики из одного враждебного лагеря в другой; наступит момент, когда ни в одном из лагерей не останется прежде бывших в нем солдат. Это—мирное проникновение, а не завоевание.

Посмотрим, что же делается действительно на западе от проведенной нами выше границы. Все без исключения бретонские диалекты захвачены французским языком. Культурный язык несет целый поток новых слов, означающих новые предметы, понятия и нравы. Уже с конца XV в. французские литература и религия наводнили бретонский язык французскими словами; это происходило оттого, что французский язык давал бретонцам образцы поучительной литературы. Таким образом бретонский язык все больше ограничивался кругом специальных и сельских интересов. В последние пятьдесят лет военная служба и преподавание французского языка в школе сделали это движение более стремительным. В то же самое время изменились условия борьбы между этими двумя языками.

В течение долгого времени это проникновение совершалось в форме незаметного эндосмоса: каждый день все увеличивающееся число французских слов проникало незаметно для говорящих в бретонский язык. Но, даже вводя в свой язык французские слова, большинство бретонцев продолжало говорить все же по-бретонски. В наши дни подавляющее большинство бретонцев двуязычно, и следовательно борьба между этими языками происходит как бы в сознании говорящих. Эта борьба для бретонского языка безуспешна. Выгоды, приобретаемые от знания французского языка, бесконечно больше тех, которые дает знание одного только бретонского языка. Французский язык—это язык буржуазии, единственный язык городского общества; поэтому деревенские девушки стремятся говорить на нем так же, как они стремятся носить модные костюмы. Но и кроме того общение говорящего по-бретонски населения с французским буржуазным обществом становится все более оживленным; служащие, прислуга говорят со своим начальством и господами по-французски. Развитие туризма делает иностранца и буржуа источниками доходов для местного жителя. Отсюда необходимость и выгода овладения французским языком. Образ жизни также влияет на язык. Отмечено, что бретонский язык значительно менее устойчив на побережье, чем внутри страны; это потому, что моряки обыкновенно работают вдали от своей деревушки и ежедневно общаются с людьми, говорящими на разных языках и диалектах; понятно, им нужно владеть общим языком страны, т. е. французским. Наконец по побережью Бретани проходят основные пути сообщения, и здесь находятся главные города, т. е.

здесь следовательно происходит торговля и сюда постоянно приезжают туристы[1]. Таким образом французский язык стал для Бретани общим языком, чем никогда не был язык бретонский с его раздробленностью на диалекты. Следовательно в конечном счете борьба между бретонским и французским языками сводится к борьбе экономической; но соотносительная мощь обоих языков обусловливает особые условия этой борьбы.

***

Можно предвидеть исчезновение бретонского языка, но не нужно торопиться пророчить его. Бретонский язык еще очень крепок. Не говоря уже о преданности бретонцев своим национальным традициям, нужно также учесть большую силу этого языка, проистекающую из значительного прироста населения среди говорящих по-бретонски. Кроме того преимущества двуязычия могут служить лишним основанием для употребления бретонского языка среди бретонцев. Этот язык—готовый специальный язык, служащий защитой их независимости. Бретонский язык может еще долгое время сохраняться в качестве специального языка среди некоторых групп рыбаков-ловцов сардин, среди рабочих на солончаках и в шиферных разработках, среди конских барышников. Трудно сказать, сколько времени он может просуществовать в этой роли; у него будет возможность обновляться и возрождаться при условии, если достаточно многочисленная группа людей будет поддерживать чистоту этого специального языка.

Однако уже есть островки, где бретонский язык исчез. Так, рабочие Эннебон говорят только по-французски. Еще показательнее положение на полуострове Геранд, где бретонцев, говорящих по-бретонски, можно найти только в четырех деревушках Бацской общины, населенной по преимуществу солеварами. Но и в них бретонский язык с трудом сохраняет свое существование. К тому же по мере того, как уменьшается территория этих бретонских языковых островков, сведенная к минимуму, в самых этих островках число говорящих по-бретонски уменьшается: по-бретонски говорят только люди старше 50 лет; дети уже не понимают родителей. Можно предвидеть срок окончательного исчезновения бретонского языка в этом уголке.

Мы знаем и другие языки, которые постигла та же участь. На лужицких наречиях, принадлежащих к славянским языкам, говорят и теперь в Шпреевальде; но ближайший к ним язык—полабский, на котором говорили в районе Нижней Эльбы, исчез уже в XVIII в. От прусского языка, языка балтийской ветви, на котором говорили еще на побережье Балтийского моря между Данцигом и Кенигсбергом в конце XVI в., ныне не осталось

[1] *Camille Vallaux*, La Basse Bretagne, 1907.

и следа. В Англии корнский диалект, принадлежащий к кельтским языкам, занимавший в средние века повидимому весь Корнуэльский полуостров, включая современный Дэвон, и смыкавшийся по ту сторону Бристольского канала с валлийскими диалектами, к нашему времени совершенно исчез. Повидимому последним человеком, говорившим на этом языке, была некая Долли Пентрет, умершая 26 декабря 1777 г. в Сен-Поле около Пензанс, в возрасте 102 лет. Но еще в средине XIX в. смогли собрать клочки молитв, ругательства и отрывки фраз на этом языке в разговоре крестьян; в 1875 г. еще были в Корнуэльсе старики, умевшие считать на этом языке до двадцати[1].

Встает вопрос, что надо понимать под смертью языка и когда мы можем говорить о ней. Полабский язык растворился в немецком, как корнский—в английском; бретонский мало-помалу растворяется во французском. В английском языке Корнуэльса, не считая давних корнских слов и выражений, сохранившихся по традиции, сохранилось много пережитков древнего языка края. Во французском языке Бретани чувствуется соседство бретонского языка, как в английском языке Ирландии—ирландского[2]. Не только в словаре встречаются слова и обороты местного языка; этот последний влияет на фонетику и даже на некоторые частности грамматики, как например порядок слов или употребление предлогов. Так например в Бретани в городском французском языке ударение часто ставится по-бретонски и сохраняет силу, свойственную ему в бретонском языке. В Кемпере, говоря по-французски, делают сильное ударение на втором слоге от конца слова; приглушают конечные звонкие согласные, особенно фрикативные: une chemisse neuf или un fromache; употребляют французский глагол faire, как бретонское ober со значением настоящего вспомогательного глагола (pour faire le diable s'irriter=pour que le diable s'irrite); дополнение при страдательном залоге ставят с приставкой avec (бретонское gant): tué avec son voisin (вместо par) и т. п. Также и в английском языке Ирландии говорят, следуя обороту ирландского языка: I will take it of you вместо from you; или же: he went against his father в значении to meet his father, или же what way are you (в смысле: *как вы поживаете*), или еще on the head of it (*по поводу этого*), переводя ирландские cad chaoi bh-fuil tu?, ann a cheann.

Таким образом, пропитываясь французскими и английскими элементами, бретонский и ирландский языки оказывают влияние на поглощающий их язык.

Наступит ли такой момент, когда бретонский язык будет так пропитан французским языком, что первый будет казаться только несколько отличным от других, отсталым диалектом вто-

[1] «Revue celtique», t. III, p. 239.
[2] *Joyce*, English as we speak it in Ireland, 2-d ed., 1910.

рого? Если бы это случилось, то было бы невозможно установить дату смерти этого языка. Всегда оставались бы особенности произношения, синтаксические обороты и особенно изолированные слова в исчезнувшем бретонском языке, которые казались бы элементами, заимствованными французским языком у бретонского, в то время как в действительности это были бы остатки бретонского языка, затопленные заимствованиями из французского языка. Бретонцы не смогли бы сказать в какой-либо данный момент, говорят ли они еще на бретонском языке, полностью пропитанном французским языком, или на французском, в котором тут и там сохранились обломки бретонского. Бретонский язык как бы растворился во французском, как кусок сахару растворяется в воде. Можно было бы, понятно, сказать: бретонского языка больше нет. Но не было бы ли это поверхностным суждением? В сущности бретонский язык существовал бы до тех пор, пока употреблялись бы заимствованные из него элементы. Но в таком случае галльский язык не умер, так как во французском языке есть несколько слов, взятых из этого языка: и не считая латинского языка, нужно считать продолжающим в нашем языке свое существование ряд языков, более или менее известных,—всех языков, из которых черпали свой материал в течение веков языки латинский и французский.

Так трактует этот вопрос теория, утверждающая, что все языки в большей или меньшей степени—смешанные. Другая же теория[1] высказывает, напротив, положение, что мы в одно и то же время всегда говорим только на одном языке. Согласно этой теории единство языка, как бы ни были многочисленны его иноязыкие элементы, сохраняется в сознании говорящего. Один язык может конечно раствориться в другом; все же говорящему на одном из них при переходе на другой приходится сделать скачок. Всегда будет определенный момент, когда он будет сознавать, что он переходит с одного языка на другой. Французский язык—язык романский, английский язык—германский; и тот и другой такими и останутся, несмотря на все внешние воздействия, которым они подвергались, ибо говорящие чувствуют, что они говорят на языке своих предков; как бы далеко мы ни восходили, вплоть до латыни и прагерманского языка, мы всегда найдем непрерывный ряд людей, чувствовавших, что они говорят на том же языке, на котором говорили и предыдущие поколения, и желавших так говорить. Это две исключающие друг друга теории. Чтобы попытаться их согласовать, надо исследовать, до какой степени иностранные элементы, вошедшие в язык, могут нарушить единство языка.

***

Оставим в стороне словарные заимствования, которые перехо-

[1] *Meillet*, «Scientia», t. XV, p. 403.

дят из одного языка в другой. Эти заимствования характерны тем, что они ни в какой мере не предполагают, что заимствующий говорит на том языке или в какой-либо степени знает тот язык, из которого он берет слово или выражение. Если француз-спортсмен говорит на французском языке, начиненном английскими словами, то это еще не значит, что он умеет говорить по-английски, даже если он правильно произносит употребляемые им английские слова. Следовательно словарные заимствования, как бы значительны они ни были, остаются, так сказать, внешними по отношению к языку.

Но есть и другие заимствования, предполагающие глубокое взаимопроникновение двух языковых систем. Это кальки, примеры которых мы уже приводили выше (см. стр. 193).

Калька всегда получается от смешения двух словесных образов, взятых из двух различных языков и смешиваемых в речи. Школьник, ошибочно переводящий французскую фразу: donne moi ma vache латинской da mihi mea vacca или французскую же фразу Pierre est le roi латинской Petrus est regem, ошибается из-за того, что французские ma vache, le roi могут иметь значение и именительного и винительного падежей.

Совершенно то же происходит, когда по аналогии с итальянским dammi la mia vacca (*дай мне мою корову*) словинец говорит dajmi moja krava. Это явление мы не назовем смешением падежей, так как при обоих оборотах налицо различение падежа управляющего и падежа управляемого; но это—смешение словесных образов: говорящий пользуется итальянским словесным образом, говоря по-словински[1].

Другой и несколько отличный пример того же явления мы находим у швейцарского писателя К. Ф. Мейера в его фразе: er ist kränker als du nicht denkst; сравн. французский оборот:— il est plus malade que tu ne le penses. Ошибка в немецком происходит оттого, что писатель мыслил отрицательным сравнительным оборотом, свойственным французскому и итальянскому языкам; он соединил романскую мысль с немецкой речью.

Этот вид ошибок может проникать в язык очень глубоко: калькируют даже самые типы фраз, и этим путем порядок слов в некоторых языках иногда заимствуется соседними языками. Немецкий язык в Австрии под влиянием славянских языков разрешает себе большую свободу в порядке слов. Он часто ставит сказуемое или прямое дополнение в начале фразы: guten Morgen wünsch' ich Ihnen (*доброго утра я вам желаю*), Recht hat er (*прав он*), gut ist's gegangen (*хорошо сошло*) и т. п., как можно сказать на славянских языках. В Богемии говорят: Schwester haben wir ganz kleine (*сестры у нас совсем маленькие*) по аналогии с чешским sestru máme malickou. В Южной Австрии влия-

[1] Этот пример, как и следующие, взят у *Schuchardt*, Slawodeutsches und Slawoitalienisches, S. 90.

ние славянских языков особенно сказывается на месте отрицания в фразе: nicht scheut er sich ihn zu verleumden (*не стыдится он клеветать на него*), что является калькой со словинского: ne se sramuje ga obrekovati.

При привычке одинаково свободно изъясняться на двух языках говорящий обычно бессознательно переносит идиомы из одного языка в другой. По-валлийски превосходная степень прилагательных выражается черезе iawn (*верно*), соответствующее английскому very (*очень*); отсюда da iawn (*очень хороший*)— калька английского very good. Употребление наречий для изменения смысла глаголов характерно для германских языков. Это же употребление мы находим в языковых областях, соседних с областями, говорящими по-английски или по-немецки, что объясняется влиянием этих последних языков. Валлийское cael allan—калька английского to find out, dyfodi fyny—калька to come up; torri i lawr—калька to break down; rhoddi i fyny—калька to give up. Аналогично в шотландском гаэльском cuir as есть перевод английского to put out, как cuir air—to put on и т. п. Под влиянием немецкого по-ладински (романский язык кантона Граубюнден) говорят drizzer our (*исполнять*,—немецкое ausrichten), gnir avaunt (*происходить*,—немецкое vorkommen), vair ain (*вникать*,—немецкое einsehen). Здесь мы находимся уже на границе словаря и морфологии.

Некоторые кальки еще ближе подходят к морфологии, почти проникая в нее. В некоторых местных польских говорах, находящихся под влиянием немецкого языка, образовалось особое прошедшее время со вспомогательным глаголом иметь, ja to mom sprzedane (*я это продал*,—по-немецки ich habe es verkauft) вместо правильного польского sprzedałem (*продал*)[1].

В Италии, в провинции Кампобассо, есть сербо-хорватская колония, переселившаяся около XV столетия из Иллирии и говорящая до сего дня на одном из штокавских диалектов; в говоре этой колонии подметили в чисто словинской фразе употребление итальянского члена: da mi kaze le pute (*пусть мне он покажет пути*).

Словинский язык не только заимствовал у немецкого языка глаголы, наречия, частицы и числительные. Он создал член (артикль), а также часто употребляет страдательный залог по аналогии с немецким[2].

В португальском языке в Индии (Мангалур) под влиянием английского языка устанавливается употребление «'s» для обозначения принадлежности. Сначала говорили governor's casa по аналогии с английским governor's house, затем стали говорить governador's casa; португальский язык обогатился английской морфемой. Мы уже знаем, что в языках несходных, но географи-

[1] *Casimir Nitsch*, Mowa ludu polskiego, 1911 г., p. 136.

[2] *Feist*, «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen», Bd. XXXVI, S. 326.

чески соприкасающихся, часто наблюдаются общие фонетические явления (см. стр. 59). То же может быть и в морфологии. Так например творительный предикативный, существовавший в финских языках, перешел в индоевропейские языки (славянские и балтийские), соседившие с ним[1]. Но это не мешает финским и славянским языкам быть морфологически различными. Все же такие заимствования нарушают цельность морфологической системы языка. Пока заимствование ограничивается небольшим числом оборотов, оно может еще считаться словарным заимствованием; но если заимствованный оборот становится образцом и вводит в наше языковое мышление определенный словесный образ как постоянное явление, мы имеем дело с приобретением языком нового морфологического приема.

Может произойти даже полное устранение первоначального приема; допустим, что португальский язык свой обычный оборот a casa do homem (*дом человека*) заменит новым оборотом homem's casa. От этой замены вся морфологическая система языка, понятно, не изменится. Будет заменено только одно колесико, только одна частица введена в механизм. Но если бы в морфологической системе португальского языка произошло несколько таких изменений, не мог ли бы наступить момент, когда говорящий не знал бы, на каком языке собственно он говорит: португальском или английском? Говорящий этого не чувствовал бы, а ученый не мог бы установить.

Для ответа на этот вопрос надо опереться на ценные показания смешанных языков. Такие языки существуют. Но наши сведения о них, к сожалению, недостаточно достойны доверия. Мы уже упоминали о языке армянских цыган, который, сохраняя свой цыганский словарь, принял полностью морфологическую систему армянского языка и следовательно стал армянским языком с цыганским словарем. То же произошло с языком английских цыган. В давнее время английские цыгане говорили на чистом цыганском языке; впоследствии, сохраняя свой цыганский словарь, они сплели его с английскими морфемами. Так например древняя цыганская фраза komōva te jal adre mi duvelesco kēri kana merōva (*я хочу попасть в божий дом после смерти*) в новоцыганском превратилась в I'd kom to jal adre mi duvel's ker when mandi mer's[2]. Оба приведенные факта совпадают и должны быть объяснены одинаковым способом. Они настолько странны, что наводят на подозрение, не являются ли они искусственными. Это как будто попытка сделать армянский или английский языки непонятными, ставя цыганские слова на место армянских или английских. Другими словами, мы как будто имеем дело не с усвоением цыганским языком чужой морфологии, а с дефор-

[1] *Meillet*, «Bulletin de la Société de linguistique», t. XII.

[2] *Pischel*, цит. *Schuchardt*, Slawodeutsches und Slawoitalienisches, S. 8—9.

мацией армянского или английского языков посредством введения в них цыганского словаря. Трудно из этих фактов сделать определенный вывод.

Но одна из отличительных черт смешанных языков—это их изношенность. Эта их черта позволяет лучше понимать их образование.

От взаимодействия соприкасающихся языков проистекает их взаимное изнашивание. Необходимость быстро найти орудие для общения друг с другом заставляет говорящих делать взаимные уступки, удаляя из каждого языка по возможности все чрезмерно специфическое и сохраняя только общие черты в соседящих языках.

На Кавказе, как и на Балканском полуострове, в наше время царит смешение языков. Тюркский, армянский, грузинский, черкесский покрывают область различными диалектами, настолько отличающимися один от другого, что лингвистам не удается установить их родство между собою. Основная причина быстрого изменения этих языков заключается как раз во влиянии на них соседних языков. Здесь перед нами прекрасный пример изнашивания от трения. В юго-восточном Дагестане по обоим берегам реки Самура мы находим ряд диалектов, принадлежащих к группе кюринских языков. Мало-помалу соседние и татарский языки поглощают эти диалекты; площадь, ими занятая, постепенно уменьшается, и даже в пределах этой площади эти диалекты подвергаются сильному воздействию соседних языков. Разрушительная сила не везде одинакова, но она везде чувствуется, и если верить А. Дирру[1], лучшему их исследователю, то самый важный результат сводится к упрощению морфологии этих диалектов.

Еще в 1819 г. Гримм[2] утверждал, что столкновение языков неизбежно ведет к исчезновению грамматических форм. Правда, это следствие не неизбежно, но его часто приходится констатировать. Языки, меняющие место, благодаря многообразному воздействию других языков, часто очень отличных по строю, теряют свои характерные черты обычно скорее, чем языки населения, живущего на одном месте. Перемена места часто бывает причиной языковой деградации. Этим объясняется различие греческого языка колоний от греческого языка метрополий. К другим очень правдоподобным причинам этого различия (см. стр. 318 и сл.) следует присоединить также воздействие не-греческих языков, на которых говорили в областях, где поселялись греки. Даже не допуская того факта, что греческий язык колоний испытал в своей структуре влияние окружающих его языков, все же можно думать, что относительное упрощение его объясняется соседством с различными языками. Население,

[1] «Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien», Bd. XXXIV, S. 301; Bd. XL, S. 22.

[2] «Deutsche Grammatik», S. 177.

говорившее на этих языках, начав говорить по-гречески, навязало грекам некоторые новые навыки, с которыми менее многочисленные греки со временем примирились.

Это положение, надо думать, значительно способствовало установлению общегреческого языка. Когда греческие диалекты под влиянием других языков устранили некоторые из своих наиболее ярких особенностей, они тем самым оказались более приспособленными к тому, чтобы слиться в общем языке — койнэ. Но то, что происходит с диалектами одного и того же языка, происходит и с различными сталкивающимися языками: одинаковые действия приводят к одинаковым результатам. Таким образом между двумя или несколькими языками устанавливается некоторое состояние равновесия, приводящее к установлению смешанного языка, служащего общим языком. Всегда при смешении языков должен быть один более сильный язык, служащий базой смешения[1]. Однако может случиться, что общий язык образуется в результате смешения языков, входящих в этот общий язык приблизительно на равных основаниях; так обстоит дело с языком «сабир» средиземноморских портов. «Сабир» образовался в результате смешения языков: французского, испанского, греческого, итальянского и арабского. Все эти языки участвовали в образовании «сабира», соединяя в одно свои словари, грамматические же особенности всех этих языков стерлись.

«Пиджин-инглиш», служащий общим языком в дальневосточных портах, и язык «брокен-инглиш», употребляемый туземцами Сиерры-Леоне, — как и «сабир» — смешанные языки[2]. Основой языку «пиджин-инглиш» служит китайский язык, отличающийся отсутствием морфологии. Это в сущности китайский язык с английским словарем. Пользуясь словарем английского языка, кстати очень к этому приспособленным, строят фразы, в которых строго соблюдается порядок слов, соответствующий законам китайской грамматики. Такое соединение, давая порой замечательные комбинации, доказывает уже отмеченное сродство между английским и китайским языками. Здесь таким образом налицо язык, лежащий в основе смешения; но сам характер этого языка, почти лишенного морфологии, как бы специально предназначал его к роли, которая ему выпала на долю.

Как на пример смешанных языков можно указать на креольские говоры. В их основе всегда лежит какой-либо из европейских языков: французский, испанский или английский; но эти языки, входя в креольские говоры, потеряли особенности своей морфологии, превратясь как бы в языковую пыль. Это как бы

---

[1] *E. Windisch*, op. cit., S. 104, 113.

[2] Образцы «пиджин-инглиш» у *Leland*, Pidgin-english, Sing-Song in the China-English Dialect, 1900; о «брокен-инглиш» см. *F. W. Migeod*, The Languages of West Africa, 1911-1913; об арабско-малгашском *J. Ferrand*, «Mémoires de la Société de linguistique», t. XIII, p. 413.

песок без извести, камни без цемента, растворенное и лишенное формы вещество. Туземцам для сношений с торговцами-иностранцами пришлось усвоить чужой язык, который в конце концов вытеснил их родной язык. Но обучение новому языку никогда у них не доходило до конца: оно ограничилось поверхностными слоями языка, выражениями, означающими обычные предметы и основные, нужные в обиходной жизни, понятия; внутренний строй языка с его тонкими построениями не был усвоен.

Причина этого явления—чисто социального порядка. Креольские говоры—это говоры людей порабощенных, о правильности языка которых их господа никогда и не думали заботиться. Следовательно это в некоторой степени специальные языки, в этом отношении схожие с указанными цыганскими говорами, тоже ставшими специальными языками, только по другим причинам. Но все же креольские говоры, как и «сабир», «пиджин-инглиш» или «брокен-инглиш»,—смешанные языки, образовавшиеся в результате слияния двух или нескольких языков; лишенные морфологической характеристики, эти смешанные языки не могут быть причислены ни к одному из языков, принявших участие в их образовании. Это настоящие языковые гибриды[1]. В следующей главе мы рассмотрим, какие последствия ведет за собою такая гибридизация.

---

[1] Об испанском языке Марианских островов см. статью *K. Wulff*, «Festschrift V. Thomsen», 1912.

ГЛАВА V

РОДСТВО ЯЗЫКОВ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД [1]

Термин «родство» в приложении к языкам—двусмысленен и часто вводит в заблуждение людей, мало знакомых с наукой о языке. Но даже некоторые лингвисты, что менее простительно, принимали иногда эту метафору всерьез и строили для языков генеалогические таблицы. Эти лингвисты считали возможным говорить, что например французский и итальянский языки родились от латинского языка, говорить о языках-отцах, сыновьях и братьях. Это неудачная терминология, так как она дает неверное представление об отношении языков друг к другу. Нет ничего общего между «родством» языков и родством в физиологическом смысле слова.

Один язык не рождается от другого; ни один лингвист не смог бы указать момента, когда это «рождение» происходит. Говоря, что французский язык происходит от латинского, мы этим только хотим сказать, что французский язык—это форма, которую принял латинский язык в определенной стране в определенную эпоху. Во многих отношениях французский язык—тот же латинский язык. Как бы мы далеко ни проследили историю французского языка, мы найдем только различные его состояния, образующие ступени и приближающие нас мало-помалу к латинскому языку. Однако совершенно невозможно указать момент, где кончается латинский язык и где начинается французский. В истории французского языка есть пропуски: как раз те периоды этого языка, о которых у нас мало материала, играли решающую роль в образовании французского языка. С другой стороны, развитие французского языка, уведшее его так далеко от латыни, не всегда шло равномерно. Но, несмотря на разнообразие перипетий развития, между латинским и французским языками существует историческая преемственность, составляющая родство этих двух языков. Мы здесь касаемся той стороны языка, которую можно назвать «преемственностью».

Другая же сторона языка открывается перед нами, когда мы к нему подходим синхронически.

---

[1] *Meillet*, Le problème de la parenté des langues, «Scientia», p. 403 и работы *M. Schuchardt'a*, перечисленные в предыдущей главе.

Пользуясь нашими выводами относительно естественного дробления языков, мы легко можем применить термин «родство» к двум диалектам, происходящим из одного языка. На протяжении известной территории язык, первоначально однородный, распадается на несколько диалектальных групп, из которых каждая имеет свои особенности, захватывающие большее или меньшее число соседних групп. Эти группы называются родственными и остаются ими, каким бы изменениям ни подверглась каждая из них. Как бы ни было велико расхождение между исходным общим языком и диалектами, явившимися в результате дробления, мы должны считать их все родственными между собой, если это родство доказывается исторически.

Не приходится здесь считаться с различиями, устанавливаемыми в языке политическим и социальным укладами; языковое родство охватывает одновременно и без различия как диалекты, сведенные к положению местных языков, патуа или профессиональных арго, так и диалекты, поднявшиеся до положения общего языка. Диалекты пикардский, нормандский, пуатевинский и беррийский родственны между собой и родственны равным образом французскому диалекту Иль-де-Франса, ставшему общим языком обширной территории. Если историку французского языка следует различать внутри этого языка все его разновидности, то тот, кто хочет охватить одним взглядом развитие этого языка, вправе рассматривать его как единство, изменяющееся в течение столетий. Действительно, изменения, происшедшие в этом языке, в большей своей части вытекают из его внутреннего развития. Дробление диалектов, образование общего языка и все больший захват им местных языков—весь этот грандиозный процесс, историю которого мы очертили выше, совершается внутри французского языка, ни в чем не нарушая родства диалектов[1].

Но в этом родстве есть различные степени. Так например провансальский—это общий язык, охватывающий ряд местных диалектов, над которыми он наслоился. Мы знаем, что провансальский язык есть результат объединения местных говоров, имеющих общее происхождение с диалектами северной Франции, т. е. происходящих от латинского языка. Само собою понятно, что местные провансальские говоры ближе друг к другу, чем любой из них по отношению к какому-либо собственно французскому говору. Французский и провансальский языки объединяются происхождением от одного общего, ранее существовавшего языка: это—два отличных состояния, поддерживаемых как различные в течение столетий, единого языка, который можно назвать, хотя дело не в имени, вульгарной латынью Галлии. Таким образом, чтобы установить родство двух языков, мы при-

[1] *Meyer-Lübke*, Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft, 1901; *Bourciez*, Eléments de linguistique romane, 1910; *Zauner*, Romanische Sprachwissenschaft.

нуждены сочетать обе указанные выше точки зрения: диахроническую и синхроническую.

Но это сочетание может быть распространено еще дальше; оно может захватить и все романские языки, происшедшие в равной мере от латинского языка. То, что мы назвали вульгарной латынью Галлии, только специальная форма, по всей вероятности очень мало отличная от вульгарной латыни в целом, которая в Италии дала итальянский язык, в Испании—испанский, в Португалии—португальский, в Румынии—румынский, не говоря о других менее значительных его представителях. Все эти языки—общие языки, нормализованные литературной традицией, поддерживаемые и распространяемые известными политическими условиями; все эти языки включают в себя значительное число диалектов и поддиалектов. Степень родства всех этих диалектов между собою, если отвлечься от различия между общими языками и местными говорами, заключает ряд степеней. Некоторые из них, диференцировавшиеся в недавнее время, еще очень близки друг к другу. Но есть сохранившие мало общего; это—те, которые отделились друг от друга уже давно; таковы например какой-либо португальский говор, противопоставленный какому-либо из румынских говоров. Если отвлечься от внешних влияний, о которых сейчас нет речи, различие проистекает от их самостоятельного развития; но в последнем счете в глазах лингвиста португальский и румынский языки все же только две трансформации одного языка, а именно латинского.

Латинский язык нам известен. Следовательно мы можем проследить проделанный им путь вплоть до современных романских языков и, оценивая относительное значение изменений, определить степени родства. Вряд ли нужно подчеркивать, насколько помогает романистам знание социальной и политической истории стран романской речи; это—постоянный контроль; это—возможность точно датировать перипетии, через которые прошли и народы и их языки. Но наши источники кончаются с латынью: наши знания не заходят древнее латыни приблизительно III столетия до нашей эры. Определение родства, основанное на языковых и исторических данных, сразу становится менее уверенным и твердым. Но можно все же итти далее латыни благодаря сравнительному методу, значение которого мы постараемся показать[1].

Сравнительный метод есть только распространение исторического метода на прошлое. Он заключается в применении к эпохам, от которых до нас не дошло никаких документов, метода, применяемого к эпохам историческим.

[1] *Meillet*, Sur la méthode de la grammaire comparée, «Revue de métaphysique et de morale», 1913, p. 1—15. Основные достижения ясно изложены *Поржезинским*, Введение в языковедение.

Мы только что видели, что современные романские языки— следствие самостоятельного, но параллельного развития говоров, происходящих из латыни. Что составляет единство романских говоров, это—сумма черт, общих всем этим языкам: их родство определяется этими чертами. Большинство этих черт существовало уже в латыни в более или менее отчетливой форме; некоторые из них представляют собой новообразования, но те из них, которые встречаются во всех романских языках, даже в тех случаях, когда в латыни мы не находим для них точного соответствия, могут считаться пережитками плохо нам известного языкового состояния, так называемой вульгарной латыни, языка, образующего посредствующее звено между латынью и романскими говорами. Следовательно существует сравнительная грамматика романских языков, не только устанавливающая прямую связь преемственности между этими языками и латынью, но позволяющая нам также восстановить грамматический строй того периода этого языка, о котором у нас или совсем нет или есть очень мало документов.

Но и сама латынь—не одинокий язык, оторванный от других языков. В грамматике латинского языка мы находим много черт, общих с греческим языком, отмеченных еще древними. Современные ученые показали, что и греческий и латинский языки примыкают к другим языковым группам, начиная с санскрита, распространенным на обширной территории от Индии до западных пределов Европы. За неимением лучшего названия их назвали «индоевропейскими языками». Ясно без пояснения, что термин «языки» должен здесь пониматься в вышеуказанном смысле: это языковые группы, каждая из которых могла представлять в какой-либо определенный исторический период более или менее обширное единство, но которые все в течение веков раскололись и диференцировались так, как мы это показали выше.

Соединяя в одно общие черты всех этих языков, мы образуем то, что называется сравнительной грамматикой индоевропейских языков[1]. Эта грамматика стоит над целым рядом сравни-

---

[1] Прежде всего *Brugmann* und *Delbrück*, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen; *Meillet*, Introduction à l'étude comparative des langues indoeuropéennes. Основатель сравнительной грамматики индоевропейских языков—немец Франц Бопп (*Bopp*, Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litthausichen, Gothischen und Deutschen, 183[illegible]); затем *Schleicher*, Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 1861; *F. de Saussure*, Mèmoire sur le systéme primitif des voyelles dans les langues indoeuropéennes, 1879; *Hirt*, Der indogermanische Ablaut, 1900; Die Indogermanen, ihre Verbreitung, ihre Urheimat und ihre Kultur, 1905—1907; *Bechtel*, Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Schleicher, 1892; *Hübschmann*, Das indogermanische Vocalsystem, 1885; *Schrader*, Sprachvergleichung und Urgeschichte, 1890; *Schrader*, Die Indogermanen, 1911; *Schrader*, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde, 1901; *Feist*, Europa im Lichte der Vorgeschichte, 1910; *Feist*, Kultur, Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen, 1913.

тельных грамматик более ограниченного объема—сравнительной грамматикой романских языков, сравнительной грамматикой славянских языков, сравнительной грамматикой германских языков и т. д. Каждая из этих сравнительных грамматик восстанавливает часто чисто схематически языковое состояние, называемое например общегерманским[1] или, скажем, общеславянским языком, и из которых каждое представляет аналогию с вульгарной латынью (или общероманским языком), результатом реконструктивной работы сравнительной грамматики романских языков. Существование латыни дает романистам особенно прочную основу для их выводов; славистам и германистам часто приходится жалеть, что нет праславянских и прагерманских текстов, какие дали бы их реконструкциям драгоценное подтверждение. Но не нужно преувеличивать невыгод положения германистов и славистов сравнительно с романистами. Для последних латынь служит только контролем: они строят свои гипотезы, не заботясь о латыни, и иногда при проверке могут с удовлетворением констатировать свою правоту против латыни. Предполагаемый общий язык, восстанавливаемый под именем народной латыни, часто имеет для романиста больше значения, чем классическая латынь, дошедшая до нас в книгах. Классическая латынь часто служит романистам только для восстановления народной латыни, в одно и то же время исходной и конечной точки их исследовательской работы.

Лингвисты, восстанавливающие индоевропейский праязык, оперируя главным образом гипотетическими реконструированными формами языков, осуждены на работу в крайней степени схематическую. Индоевропейский язык, восстанавливаемый учеными, лишен какой бы то ни было конкретной реальности: это, как было сказано, «только система соответствий». Отсюда следует, что самый глубокий знаток индоевропейского праязыка не сможет сказать на этом языке такую простую фразу, как *лошадь бежит* или *дом большой*. Самое большее, что мы знаем об этом языке, сводится к принципам его грамматического строя: никто не может говорить на этом языке, но всякий лингвист должен знать, какие были грамматические категории в этом языке, как они в нем выражались, каково было значение его суффиксов и окончаний.

А это—основное, так как эти грамматические сведения дают нам возможность языковыми средствами восстанавливать исторические связи, соединяющие языки друг с другом. Сравнительный метод, хотя он направлен в глубокое прошлое, имеет значение только для поздних эпох, объясняя детали языков, дошедших до нас в текстах. Наиболее ясная ценность сравнительной грамматики индоевропейских языков заключается в определении

---

[1] *Kluge*, Urgermanisch, 1913.

родственных связей этих языков между собой[1]. Все языки Индии и Ирана, языки славянские и германские, романские и кельтские рассматриваемые диахронически, для лингвиста представляют собою результат последовательных диференциаций одного и того же языкового состояния, предшествующего всем другим и называемого индоевропейским праязыком.

Можно ли продолжить исследование еще дальше? Нет оснований думать, что это невозможно, и некоторые лингвисты даже убеждены в этой возможности. Мы видели, как была создана сравнительная грамматика индоевропейских языков: она надстроилась над рядом сравнительных грамматик отдельных языковых групп. Можно представить себе, что, продолжая историческое исследование языков и выясняя общие принципы их строя, науке удастся восстановить праязыки, которые будут относительно индоевропейского праязыка тем, чем является праславянский язык по отношению к прагерманскому языку, латинский—к греческому или, ближе к современности, французский—к итальянскому.

Уже давно были отмечены некоторые пункты сходства между языками индоевропейскими и финно-угрскими. На почве семитского, где сравнение ушло значительно вперед, выдвинуто несколько характерных черт, представляющих странное сходство с индоевропейским. Из этого некоторые лингвисты заключили о возможности языкового единства, объединяющего языки индоевропейские и семитские[2]. Оба языка, по этой гипотезе, в конечном счете представляют собой одну языковую группу; французский язык по существу тот же язык, что арабский и эфиопский, как это доказано относительно его связи с русским, персидским и ирландским. Нас не должно смущать большое различие между этими языками: если гипотеза о родстве индоевропейской группы с семитской смела, то это не потому, что объединяемые таким образом языки крайне различны. Несомненно только, что из всех в настоящее время установленных языковых групп ближе всех других к индоевропейской группе группа семитская. Могут ли наиболее общие языковые группы быть сведены к еще более обширным языковым группам, исторически их объединяющим?[3] Это тайна будущего; есть значительное число языков, которых еще не касался

---

[1] О новых индоевропейских языках, открытых в к. XIX—нач. XX вв. в Центральной Азии, см. *Meillet et Sylvain Lèvy*, «Journal asiatique», 1910—1913; «Mémoires de la Société de linguistique», t. XVII et XVIII; *Gauthiot*, «Mémoires de la Société de linguistique», 1911 и Essai sur le vocalisme du sogdien, 1913. Обзор результатов исследований—*Meillet*. «Revue du Mois», août 1912.

[2] *Hermann Möller*, Semitisch und Indogermanisch, 1909; Indoeuropaeisk-semitisk sammenlignende Glossarium, 1909; *Pedersen*, «Indogermanische Forschungen», Bd. XXII, S. 341; *Cuny*, «Revue des études anciennes».

[3] *Trombetti*, L'unitá d'origine del linguaggio, 1905.

сравнительный метод или о которых он еще не сказал своего последнего слова.

* * *

Из всего этого вытекает как ценность сравнительного метода, так и присущие ему недостатки. Он опирается исключительно на языковые принципы и может рассчитывать только на слабую помощь смежных наук. Действительно, надо остерегаться смешивать родство диалектов, вытекающее из их сравнения, с родством рас и родством культур. Это три различные научные области.

Три категории ученых работают порознь в области предистории: антропологи, археологи и лингвисты. В распоряжении первых—скелеты и черепа, вторых—остатки материальной культуры: одежда, оружие, вазы, посуда, орудия различной формы и материала,—словом, все, что осталась от доисторического человека; лингвисты же пользуются сравнением звуков и слов. Ученые всех этих трех групп методически классифицируют все используемые ими факты; они устанавливают в пределах своей области, если только это возможно, хронологические и причинные связи намеченных ими рядов. Но до сего дня им еще не удалось связать свою работу с работой своих соседей. Еще нет общего мерила.

Сравнительная грамматика представляет собою систему, в которой языки классифицированы по своим характерным чертам и распределены по языковым семьям. Сопоставляя звуки и формы, ученые ясно очерчивают новые черты каждого языка, противопоставленные пережиткам более древнего периода. Лингвистам удалось выяснить предисторию индоевропейских языков. Но они не знают тех, кто говорил на этих языках. Они не могут сказать, каковы были предки греков или германцев, римлян или кельтов. Они знают только, через какие изменения прошли прагерманский и прагреческий, праиталийский и пракельтский, прежде чем они приняли ту форму, которая нам известна из древнейших текстов. Даже названия, которые они дают восстанавливаемым ими языкам, чисто произвольные и условные. Если мы отбросим лингвистическое значение слова *индоевропейский*, то обнаружим, что оно не имеет никакого смысла, так же как и *праиталийский*, *пракельтский* и *прагерманский*. Эти слова имеют смысл только для лингвистов.

Термины, которыми пользуются археологи, также не выходят за пределы их науки. Установив классификацию древних ваз или, скажем, оружия и определив их географическое распространение, археолог затрудняется определить, к какой культуре их надо отнести. Доисторические орудия анонимны; они настолько анонимны, что их приходится условно называть по месту находки. Археологи говорят о гальштатских стоянках или латенском оружии или об орнаменте Виллановы

или ауньетицкой утвари. Антропологи подобным же образом говорят о неандертальском человеке или о черепе Шапель-о-Сэн и сопоставляют долихоцефалов или брахицефалов разных районов, не имея возможности связать свои этнографические деления с языковыми делениями.

Дело в том, что, держа в руках череп первобытного человека, мы никогда не знаем, что было в этой костяной коробке, какие ассоциации в ней образовывались, какие возникали в ней словесные образы. Уже выше мы сказали (см. стр. 218), что нельзя установить определенной связи между языком и расой. Мы не можем сказать, какими орудиями пользовался народ, язык которого мы знаем, и в какой мере существует соответствие между языками и культурами.

Одно вполне достоверно и часто оправдывается в истории: люди разных рас могут говорить на одном и том же языке; они могут говорить на разных языках и пользоваться одной и той же посудой. Даже усовершенствованные орудия никогда не остаются в руках только одного народа; это настолько верно, что нельзя даже учитывать этнических движений доисторической Европы по археологическим периодам (векам каменному, бронзовому, железному).

Как только книгопечатание было изобретено, оно немедленно распространилось среди наций, столь различных по языку, как германцы, французы, итальянцы. Дело следовательно не в фактических трудностях, но в принципиальной невозможности устанавливать связь между результатами вышеупомянутых трех рядов научных изысканий. Языковое родство не может получить никаких подтверждений ни от археологии, ни от антропологии. В лучшем случае лингвист может рассчитывать получить от смежных дисциплин или руководящую гипотезу или проверку своих выводов. Для доказательства родства он может пользоваться только лингвистическими средствами.

Предоставленный своим собственным силам, сравнительный метод иногда обнаруживает свое бессилие. Он предполагает, что развитие языков совершалось правильно, беспрерывно, без внешнего случайного вмешательства. Хотя сравнительный метод есть продолжение исторического исследования, он пренебрегает историей, так как он пользуется только теоретическими данными, беря исторический процесс упрощенным, сведенным к правильной последовательности причин и следствий, лишенным всего того, что составляет действительную сущность исторического процесса: сложности и разнообразия. Можно сказать, что сравнительный метод подчиняется в этом роковой неизбежности; оставляя вне поля своего зрения политические и социальные условия, в которых развился язык, он восстанавливает предисторию языка посредством лингвистических средств. На этой почве сравнительный метод чувствует себя твердо, так как опыт доказывает непрерывность языкового процесса,

но отсутствие всяких точных данных об условиях исторического процесса в значительной мере уменьшает ценность выводов сравнительного метода относительно языкового родства. Приходится считать родственными языки похожие. Но этот метод опасен. Попадаются в природе иногда родственники, похожие настолько, что их принимают одного за другого, но не все двойники—родственники. В лингвистике, как и вообще в жизни, сходство бывает обманчиво.

Особенно не следует доверять сходству в словаре. Этимология нас учит, что в языках, историю которых мы знаем, слова близкие или даже вполне совпадающие по форме могут иметь совпадающее значение, будучи совершенно разного происхождения. Например слово bad и по-персидски и по-английски имеет одно и то же значение *плохой*, не имея ничего общего этимологически. Также немецкое Feuer и французское feu *(огонь)* по происхождению совершенно различные слова. Также совершенно случайно внешнее сходство между английским whole и греческим ὅλος (*весь, целый*); между латинским femina и древнесаксонским fêmea, fêmia (*женщина*), латинским locus (*место*) и санскритским lokas (*мир*), новогреческим μάτι *(глаз)* и полинезийским mata *(видеть)*. Количество примеров может быть легко увеличено.

Словарь может измениться сверху донизу, в то время как язык не терпит существенных изменений в своей фонетической и грамматической структуре. Очень важно знать словарь, если мы изучаем культуру, представленную данным языком. Словарь таким образом служит как бы мостом между лингвистикой и археологией. Но он упирается с обеих сторон в тупики, так как по словарю мы не можем еще сделать заключение ни о типе языка, ни даже о типе материальной культуры.

На западе и на юге Европы мы находим два обширных словаря доисторической давности; границы распространения этих словарей не совпадают с границами диалектов. Один из них, называемый западным словарем, охватывает италийскую, кельтскую и германскую области, а в областях балто-славянских, особенно в балтийской, смешивается с собственно восточным словарем. Другой словарь, называемый средиземноморским, ясно виден в греческом языке, но в важнейшем из италийских языков—в латинском—он столкнулся с западным словарем и частично вытеснил его. Таким образом мы находим в кельтском и в германском, к которым в известной мере присоединяется италийский язык, значительное количество общих слов, хотя грамматически эти три языка не одинаково близки. Кельтская и италийская ветви языков грамматически настолько близки, что некоторые лингвисты высказали гипотезу об итало-кельтском единстве[1]. Но германская ветвь языков по своей грамматической

---

[1] *Dottin*, Manuel pour l'étude de l'antiquité celtique, 1915; *Hirt*, Die Indogermanen; *Feist*, Kultur, Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen.

структуре очень отличается от кельтской ветви. Если же в некоторых отношениях германская ветвь приближается к италийскому языку, то в других случаях можно указать на сходство ее с балтийско-славянской ветвью. Короче говоря, грамматические отношения между этими языками не согласуются с их словарными отношениями.

Отношения фонетические также не совпадают. В сущности может показаться странным, что мы в этот вопрос вводим фонетику. Фонетические изменения происходят несомненно механически, независимо от воли говорящего, даже бессознательно, но на основании такого небольшого числа принципов и с таким поразительным разнообразием результатов, что в фонетике нельзя отыскать характеристики известного типа языка. Кроме того фонетические изменения абсолютны: здесь мы не различаем, как в морфологии, форм слабых от форм сильных, последних пережитков предшествующих состояний языка. В этих пережитках грамматика указывает на прошлое языка и дает возможность определить родственные связи этого языка. Фонетика, не оставляющая за собой следов в виде таких пережитков, ничего не дает для определения родства языков.

* * *

Но, даже ограничивая свое исследование грамматическими критериями, мы не можем уйти от трудностей, ибо и грамматика дает почву для различных толкований. Устанавливая родство диалектов между собой на основании сходства их грамматического строя, мы предполагаем, что этот строй изменяется правильно и беспрерывно. Но что же доказывает нам эту беспрерывность?

Известно, как много внешних обстоятельств влияет на морфологию. Пока морфология затронута только в своих поверхностных и второстепенных слоях, в ней сохраняются характерные черты, достаточные для определения языкового родства. Но можно себе представить такую крайнюю степень изменения языка, когда он под влиянием повторного воздействия объединит в себе почти в равной мере грамматические особенности двух соседних языковых семейств. Это, надо сказать, случай очень редкий, приведенный нами выше под названием гибридизации. Всем известно, насколько гибридизация затрудняет классификацию в естественных науках, нарушая ее порядок и единство. В случаях языковой гибридизации грамматический критерий становится недействительным.

Этот же критерий становится совершенно недействительным в случаях, когда грамматические изменения происходили быстро или известны нам только с такими большими пробелами во времени, что в двух данных языках, хотя имеющих общего предка, уже нет ничего общего. Если бы мы знали французский

язык только в его устной современной форме, если бы мы кроме того не знали других романских языков и латыни, то не так уже легко было бы доказать, что французский язык принадлежит к языкам индоевропейским. Несколько грамматических деталей, как противопоставление il est и ils sont (произносится ilé, ison), или же форма числительных, или личных местоимений плюс несколько словарных фактов, как например термины родства,—вот и все, что сохранилось во французском языке от индоевропейского. Почем знать? Может быть нашлись бы более серьезные основания, чтобы причислить тогда французский язык к языкам семитским или финно-угрским?

На земном шаре, быть может, существуют не открытые еще индоевропейские языки; лишенные истории и принадлежа бесписьменному населению, они могли потерять все признаки, могущие показать их происхождение. Применяя вполне правильно наш метод, мы не сможем доказать, что эти языки родственны греческому, латыни или санскриту. И точно так же на основании нашего метода приходится утверждать, что в равной мере невозможно доказать, что данные два языка не родственны друг другу.

Можно пойти еще дальше. При морфологическом критерии языкового родства нужно для установления родства наличие четкого выражения морфологии: иначе доказательство может стать невозможным. Следовательно в определении родства языков и диалектов есть степени, зависящие не от исторических отношений между языками, но от большего или меньшего своеобразия их грамматической структуры. Есть языки с очень сложным грамматическим аппаратом, с целым арсеналом разнообразнейших морфем, классификаторов, суффиксов, с определенным местом каждого из них в слове, с обусловленным благодаря этому рядом характерных особенностей фразы; таковы например языки группы банту. Эти языки требуют больших усилий от желающего ими овладеть; но у них есть преимущество: их морфологические особенности резко выражены. Если бы мы встретили где бы то ни было на земном шаре язык с такими же грамматическими особенностями, пользующийся такими же приемами суффиксации и классификации или приемами, различие которых от грамматических приемов в банту объяснялось бы правильными фонетическими изменениями, мы были бы вправе заключить из этих данных, что этот язык принадлежит к группе банту, и использовать его в сравнительной грамматике этой группы языков.

Но существуют языки другого типа: языки без грамматики, в которых грамматические отношения выражены не фонетически, а только сочетаниями отдельных слов. Таковы, как мы уже указывали, языки Судана и языки Дальнего Востока. Индивидуальные черты языка выступают здесь менее четко: порядок слов, кроме того что представляет меньше разноообразия,

чем фонетические морфемы, менее доказателен. Когда в языке принято какую-либо категорию слов помещать в определенном месте фразы, когда например в ирландском глагол всегда ставят в самом начале фразы, а в турецком—в самом конце, то этот порядок слов можно считать результатом механического процесса, частично грамматического, и объяснять следовательно общим состоянием языка. Напротив, когда мы имеем дело с общим языковым процессом, подчиняющим порядок слов связи мыслей, которые нужно выразить, как это мы находили в китайском языке, то мы должны признать за этим процессом нечто интеллектуальное и следовательно абсолютное; этот процесс приобретает большую ценность в глазах всякого, желающего создать общую теорию категорий человеческого ума; но этот процесс затрудняет историка языка, ставящего перед собой задачу найти в данном языке отличающие его от других характерные черты. В таком языке, лишенном морфологии, невозможно точно определить языковое родство: в таких случаях для этого определения необходимо обратиться к словарю, что, как мы видели, опасно. Китаец говорит «во³ бу на та¹», что дословно соответствует французскому moi pas craindre lui. Это особый французский язык, то, что называют francais petit-nègre. Но ведь мы знаем туземцев западной Африки, которые говорят именно на таком французском языке. Если бы они говорили по-китайски, они точно так же располагали бы слова, с той только разницей, что эти слова состояли бы из других звуков. Petit-nègre располагал бы в таком случае двумя разными словарями—французским и китайским, но сохранял бы один и тот же словесный образ, и мы не могли бы отличить французской фразы от китайской.

Как поступить, когда нужно классифицировать по семьям языки, подобные охарактеризованным выше, почти лишенные грамматического аппарата и словарь которых кроме того потрясен внешними событиями? Таково положение с языками манде Западной Африки; словари этих языков в результате исторических событий крайне пестры, а грамматический аппарат почти всех этих языков очень беден[1]. Зная предшествующее состояние этих языков не больше, чем за пятьдесят лет, мы не можем проследить происхождение и образование их словаря. Мы совершенно лишены возможности распределить эти языки по семьям; во всяком случае наша классификация будет полна колебаний и неуверенности. В этом случае мы—жертвы отсутствия памятников, а также и нашего метода, препятствующего нам обращаться к другим наукам за помощью, чтобы заполнить брешь в лингвистической документации.

---

[1] *Delafosse*, «Mémoires de la Société de linguistique de Paris», t. XVI, p. 86.

* * *

На основании этих соображений следует признать, что определение родства языков—вещь относительная. Оно зависит прежде всего от количества языковых свидетельств; эти свидетельства, подкрепляемые политической и социальной историей, и составляют более или менее внушительную совокупность доказательств; когда же мы имеем дело с языками, история которых нам неизвестна, то определение родства зависит также от богатства и разнообразия грамматических форм; наконец внутри одной и той же языковой семьи родство языков часто затемняется взаимным воздействием одного языка (диалекта) на другой.

Некоторые лингвисты-теоретики могут сказать, что эта относительность не важна. Для них родство языков и диалектов существует как абсолютная норма, вне зависимости от какого бы то ни было доказательства. Они выводят действительно это родство из сознания и желания говорящих пользоваться тем же языком, что их отцы. И в самом деле, в большинстве случаев чувство языковой непрерывности само по себе уже достаточно для установления родства языков. Но следует учитывать возможность ошибки самих говорящих: раз возможна гибридизация, соединяющая в одном языке характерные черты двух языков, то может случиться, что говорящий перейдет с одного языка на другой незаметно для самого себя. Таким образом поколение переменит язык, не замечая этого. Это, понятно, редкий случай, который невозможен у культурных народов, но вполне допустим при некоторых языковых и социальных условиях. Мы все же должны учесть и такую возможность. Эта возможность крайне неблагоприятна для определения родства языков. В этом случае уже не только доказательство родства становится невозможным, но и самое понятие родства стирается и исчезает.

К счастью родство большинства языков, особенно языков с хорошо известной нам историей, определено с большой точностью. Лингвистам удалось установить такие крупные языковые семьи, как индоевропейскую[1], семитскую[2], финно-угрскую[3], банту[4], малайско-полинезийскую[5] и др. Родственные связи между языками этих семей в некоторых частностях еще неясны, но в общем не внушают сомнений. Нет никакого сомнения и в том, что прогресс сравнительного языковедения даст нам возможность увеличить число языковых семей, установленных вполне точно.

---

[1] *Brugmann* und *Delbrück*, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen; *Meillet*, Introduction a l'etude comparative des langues indoeuropèennes.

[2] *Brockelmann*, Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, 1907—1908.

[3] *Szinnyei*, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, 1906.

[4] *Meinhof*, Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen, 1910.

[5] *Brandstetter*, Monographien zur indonesichen Sprachforschung, 1910. Ср. также *G. Ferrand*, Essai de phonétique comparée du malais et des dialectes malgaches, 1909.

ЧАСТЬ V

ПИСЬМО

ГЛАВА I

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПИСЬМА[1]

Если проблема происхождения языка не допускает удовлетворительного разрешения, то не так обстоит дело с проблемой происхождения письма. К последней мы можем подойти вплотную: можно без труда обозреть ее и окинуть взором во всем ее объеме. Дело в том, что начало письма сравнительно близко от нас. Мы знаем древние языки только с момента, когда они были запечатлены на письме. Но многие из них известны нам именно с этого момента, и часто первый текст на исследуемом языке, которым мы располагаем, есть в то же время первый, написанный на этом языке. С другой стороны, в нашем распоряжении есть языки, на которых стали писать только в наше время и почти на наших глазах. Мы следовательно можем наблюдать по живым следам приемы, посредством которых устный язык становится языком письменным, и оценить результаты этого перехода.

Однако, чтобы понять начальный период письменности, нужно отделаться от наших умственных привычек цивилизованных людей. Для нас символическое значение письма—вещь вполне естественная. Нашим детям стоит только немного поупражняться и слегка подумать, чтобы понять, что черные значки на белом, которые их глаза видят в книге, соответствуют словам, которые слышат их уши. Очень скоро они привыкают к этой психологической гимнастике, заключающейся в умении координировать письмо со звуками, сочетать в слове представления

---

[1] Основные принципы см. *Ph. Berger,* Histoire de l'écriture dans l'antiquité, 1891; *Danzel,* Die Anfänge der Schrift, 1912; *Lévy-Bruhl*, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, 1910 и последняя глава *Maspero*. Histoire des peuples de l'Orient. Относительно материальных приемов, посредством которых создалось и усовершенствовалось письмо, см. в книге: *Morgan,* L'humanité préhistorique, p. 271 и дальше, главу о выражении мысли. Эта глава своим текстом и иллюстрациями прекрасно дополняет данные настоящей главы.

зрительные с представлениями слуховыми. Время, посвященное нами в детстве, чтобы усвоить эту гимнастику нашего мышления, было таким коротким, что мы о нем даже не помним. Представление о письменной речи мы приобрели без усилия, почти совсем как от природы данный естественный навык.

И однако же нет никакого сомнения, что это умение человеку не дано от природы. Мы пользуемся плодами интеллектуальной работы, проделанной нашими отдаленными предками; их попытки облегчили нашу задачу, подготовили наши умственные способности. Сколько времени и усилий истратили они, чтобы развить мозг, переданный нам, до такой степени, что мы даже не замечаем затрачиваемого нами усилия!

***

Мы знаем, что прежде чем писать словами, люди писали целыми мыслями. Образ сначала служил знаком вещей. Но само это употребление не пришло сразу; оно предполагает уже, что человек осознал рациональную значимость графического знака. Однако и поныне есть дикари, совершенно отожествляющие образ с самим предметом. Это отожествление, такое странное для нас, не есть ни иллюзия, ни грубое недоразумение. Оно происходит оттого, что дикарь воспринимает все—образы и самые вещи—мистически. Весь внешний мир в его глазах состоит из цепи явлений, обладающих таинственными свойствами, причем отношения между этими явлениями не подчиняются, по его мнению, принципу противоречия. Его собственная деятельность включена в таинственную связь явлений внешнего мира. Что бы он ни сделал, все отражается в мире видимом и невидимом. То, что мы называем суеверием, т. е. придание таинственного смысла самым простым явлениям, установление предполагаемой скрытой связи между самыми разнородными явлениями,—есть обычное состояние ума дикаря. Все это имеет исключительное значение при анализе пользования графическими знаками.

Допустим, что цивилизованный человек отмечает свой путь веткой дерева или чертит крест на песке или на скале. Это его действие имеет разумный мотив, например отметить дорогу, чтобы потом ее легче было найти или дать указание своим спутникам, идущим за ним. Но в сознании дикаря самое простое начертание знака, обладающее таинственным значением, внушено совершенно другими мотивами. Бросить ветку на пути—это значит овладеть землей, по которой идешь, совершить заклинание, привлечь или отогнать духа, сбить с пути невидимого врага, преградив ему дорогу, или же, напротив, оставить ему залог, которым он воспользуется против вас; словом, это значит совершить акт, последствия которого, полезные или вредные, продолжают свое действие в безграничной вселенной.

Так же точно изображение осла или собаки в сознании цивилизованного человека—это только образ осла или собаки и больше ничего. Но для дикаря этот образ—сам осел или сама собака. И если рисунок изображает не безобидное существо, а опасного зверя или свирепого врага,—каких только опасностей он не сулит! Поэтому язык знаков обладает для дикаря всеми магическими свойствами устного языка, свойствами запрещенных слов (табу) и евфемизмов. Так же опасно нарисовать тигра или бегемота, как и назвать их, так как рисунок, как и слово, составляет часть таинственной сущности всякого существа[1]. Или из противоположного чувства, но идущего из того же источника, изображают врага, опасное животное, чтобы их умилостивить и сделать себе из них могущественных союзников. Некоторые дикари изображают на своем оружии змею или леопарда, думая, что эти животные сообщат оружию часть своего могущества. Так украшенное копье или щит обладают магической силой: леопард например придает им силу, а змея—хитрость, разрушающую козни врага. Так создается целый арсенал фетишей и талисманов, передавая в образной символике мистические воззрения диких.

Было бы конечно преувеличением заключить всю умственную деятельность первобытного человека в такие узкие границы. Дадим ему немного простора и допустим, что он порой сбрасывал с себя иго мистических воззрений. Знак мог быть у него также особого рода рефлексом, указывая на бессознательную потребность выйти за пределы своей личности, проецировать свое «я». Это могло быть чем-то похожим на детскую игру прохожего, вырезывающего ножом свое имя на стене, или жестом гуляющего, радующегося солнцу и свежему воздуху и концом своей трости сбивающего стебли травы и почки деревьев. Допустим также, что у первобытного человека были и художественные переживания. Почему в сущности им и не быть? Рисунки пещерного человека на костях оленя отличаются совершенством, напоминающим японских художников. Эти древние предшественники Утамаро и Хокусаи могли гордиться своими произведениями; почему они не могли рисовать, исходя только из эстетических побуждений? Желая анализировать с точностью источники умственной деятельности первобытного человека, мы должны в ней отвести известную долю рефлекторным актам и эстетическим побуждениям. Но все же при этом остается существенное различие между цивилизованным человеком и первобытным. Цивилизованный человек, понятно, может на время отбросить правила рассудка. Но когда он вновь овладеет собой и опять войдет в свою колею, он возвращается, естественно, к разумному восприятию вещей; он даже свое безумие воспринимает только, сравнивая его с обычным своим состоянием. Наоборот, обычное

[1] *Danzel,* Die Anfänge der Schrift, S. 72—73.

состояние мышления первобытного человека, это—состояние мистическое. Мистицизм его окружает со всех сторон, его питает и поддерживает. Даже если он и выходит как будто из его пределов на время, оно все же связано с ним глубокими корнями.

Представления первобытного человека о знаке исключают возможность письма, такого как наше, построенного на разумном основании. История создания письма предполагает следовательно, что ум первобытного человека уже освободился от мистицизма. Это произошло не сразу. Исходной точкой несомненно было то, что знак одновременно допускал несколько толкований и мог служить различным целям[1]. Знак, будучи талисманом с магическим действием, в то же время был для первобытного человека материальной репродукцией предмета и таким представлялся его уму. Понемногу магические свойства знака устранялись, субъективные и мистические представления подчинялись объективным и разумным, и наконец произошла замена первых последними.

Голова леопарда, нарисованная на древке копья, должна была сообщить последнему магическую силу; но она помогала владельцу найти это копье, если оружие соседей не имело такого же знака; таким образом этот рисунок становился знаком собственности. Ветка, брошенная на дороге в целях магических, может указать дорогу; она таким образом становится памятным знаком. Так, в мистическое действие вкрадывается рассудочный элемент, понемногу развивающийся и в результате побеждающий. Вполне правильно видят в знаках собственности и в памятных знаках отправную точку письменности[2].

Но памятные знаки—это только полпути к развитию письма. Если они могут выражать некоторые формы мысли, они никогда не выражают самой мысли. Знаменитый пример этому мы видим в «жезлах-вестниках» австралийцев. Эти палочки, покрытые зарубками, служат для передачи сообщений, приказов, иногда целого ряда очень сложных приказов; но непосвященный не может их истолковать. Жезл-вестник без самого вестника непонятен. Для посылающего—это прежде всего способ поддержать память посланца, ограждая себя от измены. Жезл есть наставление, памятный знак. В сочетаниях своих зарубок он дает алгебраическую и образную схему нужного сообщения, конспект речи. Он содержит число и связь мыслей; но самих мыслей в нем нет.

По крайней мере их нет для большинства людей. Правда, можно представить себе, что между двумя корреспондентами установится тайное соглашение, даже без ведома посланца; по этому соглашению такая-то зарубка будет означать такую-то мысль. На этот раз мы имеем дело уже с письменностью, конечно зачаточной и с очень ограниченными возможностями;

[1] *Danzel*, Die Anfänge der Schrift, S. 48.

[2] *A. van Gennep*, «Revue des traditions populaires», 1906, p. 73—76; *A. van Gennep*, Religions, moeurs et légendes, 1909.

но она все же позволяет установить между двумя лицами передачу сообщений в материальной форме; это уже почти письмо.

К той же категории, что и «жезл-вестник», принадлежат «кипу» перуанцев и «вампумы» ирокезов. Известно, что значат эти слова. Кипу—это веревочки из шерсти различных цветов, на которых помещены в различных местах узлы различной сложности. Сочетая одновременно цвет веревочек, толщину и положение узлов, связывая эти веревочки условным образом, можно было представить символически мысли и их связь. Эти кипу играют большую роль в «Письмах перувианки» м-м де Графиньи; они, так сказать, приобрели право гражданства во французской литературе. Вампумы—это ожерелья из раковин, сочетания которых образут геометрические фигуры. Некоторые из них, как говорят, состоят из 6—7 тыс. отдельных раковинок. Самый длинный из известных вампумов состоит из 49 рядов раковин. Замечательно в кипу и вампумах использование нового элемента—цвета, увеличивающего вариации и возможности выражения мысли.

Однако кипу и вампумы, как они ни ценны, могут быть только пособиями для памяти; даже если бы удалось доказать, что с ними могут ассоциироваться некоторые мысли, все же их комбинации нельзя приравнять к системам письма, ибо последние имеют своей целью выразить в с я к у ю мысль. Письмо не могло развиться из кипу и вампумов из-за материала, из которого они были сделаны. Их нельзя было совершенствовать. Некоторые авторы утверждают, по крайней мере относительно кипу, что они допускали комбинации типа алфавита; но несомненно здесь идет речь о позднейшей попытке воспользоваться кипу для передачи европейского алфавита. Подобным же образом в Ирландии был составлен по образцу латинского алфавита огамический алфавит посредством черточек, проведенных на углах камней. Подобные попытки несомненно не могли иметь успеха.

Письмо должно было пойти в своем развитии по другому пути. Исходной его точкой было изображение, показывающее глазу идею предмета, и в частности рисунок, закрепляющий изображение на камне или на глине, на коре или на пергаменте.

Тот день, когда знак впервые сочли за объективное изображение чего-то, был началом письма. Весло, водруженное Улиссом на могиле Эльпенора («Одиссея», XI, 77; XII, 25), было, так сказать, первой древнегреческой надписью. Это весло должно было напоминать прохожим профессию покойного, совершенно так же, как изображения на наших вывесках указывают, какими товарами торгует лавка. Это весло было эмблемой. Человечество долго пользовалось этим языком эмблем даже в эпохи исторические, хотя мы теперь склонны в них видеть только аллегории. Примером может служить посольство скифов, которые, по словам Геродота (IV, 131), послали Дарию птицу, крысу, ля-

гушку и пять стрел. Это было послание в образной форме, которое было истолковано мудрым Гобрием.

Громадным успехом было овладение рисунком, возможность сделать из изображения эмблему вещи. Соединяя ряд изображений, можно было дать глазу последовательный и связный рассказ. Такого рода «говорящие изображения» мы находим в доисторических образных надписях, открытых на скандинавских скалах; подобные же надписи мы и поныне находим в употреблении у диких народностей Америки[1]. Лубочные рисунки играют ту же роль; еще ближе к ним кинематографическая хроника, заменяющая чтение газеты.

Из всего этого родилось идеографическое письмо; это—первое письмо, которое нам известно и к которому восходят все системы письма, употребляющиеся человеком. Оно состоит в том, что каждое отдельное понятие или предмет изображается соответствующим отдельным знаком. Мы можем себе представить, чем было первоначальное идеографическое письмо благодаря хорошо изученным трем системам письма: письму китайскому, клинописи и письму иероглифическому. Но важно, что ни одна из этих систем не сохранила своей чистой идеографической формы, и в известных нам памятниках, очень древних, идеография занимает уже ограниченное место. Причина в том, что идеография как система письма недостаточна и слишком многое оставляет для догадки.

Если даже допустить, что каждое понятие какого-либо языка получит в данный момент ясный и вполне передающий его знак,—что практически немыслимо,—все же эта сложная система будет уже недостаточной завтра, ибо она не может охватить бесчисленные оттенки мысли и поспевать за всеми ее беспрестанными изменениями. Совершенно закрепленное идеографическое письмо—это тяжелая мантия, сковывающая мысль; последняя очень скоро разорвала бы свои оковы, и даже обрывки их не были бы пригодны к употреблению. Подобная система письма могла бы применяться разве только к какой-либо тайной науке, зафиксированной раз навсегда и не подлежащей изменению; это была бы система формул для лаборатории, но не орудие распространения мысли, народного воспитания и социального прогресса. Несмотря на то, что и китайская и иероглифическая системы письма являются не чистой идеографией, а идеографией с поправками, все же они вызывают, как известно, много возражений.

Преимущество, может быть единственное, идеографического письма заключается в том, что его могут читать люди, говорящие на разных языках. Морской сигнальный код толкуется всеми моряками одинаково, хотя и на различных языках. Идеография, изображающая только понятия и никогда не изоб-

[1] *De Morgan*, op. cit., p. 272—273.

ражающая звуков, имеет то же преимущество, что и сигнальный код; она уничтожает необходимость посредничества устной речи, она воспроизводит не язык звуков, а язык мыслей. Но нетрудно показать, насколько это преимущество кажущееся. Сигнальный код может применяться по самой своей природе только к небольшому числу точных и технических, т. е. неизменяющихся, понятий, относительно которых между людьми данной профессии легко устанавливается соглашение. Но нельзя распространить код на все понятия. Идеографическое письмо могло бы иметь общее значение, если бы оно заключало в себе только знаки, понятные без объяснений непосредствено всякому разумному человеку. А это—химера. Пока речь идет о конкретных понятиях, как например птица, перо, бык, глаз, солнце, трудностей нет. Но они начинаются, как только нужно изобразить отвлеченные понятия: если для этих последних мы примем произвольные, ничем не связанные с понятием идеограммы, мы жертвуем основным принципом идеографического письма; если же мы используем уже имеющиеся идеограммы конкретных предметов, например перо у нас будет служить эмблемой правосудия, бык—богатства, а глаз—королевской власти, мы создадим двусмыслицу.

А как быть с грамматическими понятиями? Идеографическое письмо не в силах их передать. Некоторые языки могут без труда обойтись без этих обозначений—это языки без флексий. Если грамматика языка состоит только в порядке слов, идеографическому письму легко передать такую грамматику. Вполне понятно, что если есть специальные знаки для понятий: *я*, *хотеть*, *есть*, *мясо*, то фраза petit-négre: *я хотеть есть мясо*, может быть точно передана идеографическим письмом. Достаточно установить раз навсегда порядок, в котором должны читаться идеографические знаки. В таком случае морфология заключается, как говорилось выше, только в порядке слов. Но такой прием очень скоро встретит препятствия; ибо, как бы ни был язык лишен грамматических элементов, все же всегда в нем найдутся простейшие грамматические понятия, не передаваемые идеографическим письмом без насилия над самим собой; таковы например различия между индивидом и родом, между существительным и глаголом, понятия времени, наклонения, отрицание и т. д. Если передавать эти понятия специальными знаками, прибавляемыми к знаку основного понятия, как показатель степени прибавляется к алгебраической букве, это значит вводить в письмо новый принцип, а именно различение «знаков пустых» от «знаков полных». Таким образом идеографическое письмо усложняется, будучи основано на двух различных принципах. Или же к идеограмме прибавляют специальные черточки, которые указывают ее морфологическое значение; таким образом есть основная идеограмма, которая изменяется сотнями способов в зависимости от употребления изображае-

мого ею слова в фразе, к которой присоединяются новые элементы. Это увеличивает число идеограмм до бесконечности и делает такое письмо практически непригодным. Или же рядом с идеограммой ставят один или несколько «пустых знаков», показывающих ее грамматическую роль. Неудобно здесь то, что несколько стоящих рядом знаков выражают только одно понятие. Первый прием больше подходит для языков моносиллабических; действительно, мы его находим в графике языков Дальнего Востока, например в китайском. Но даже в китайском языке первый из этих приемов приходится сочетать со вторым. Так трудно записывать речь, пользуясь идеографическим письмом.

***

Нет ни одной идеографической системы письма, которая такой и осталась бы. Причина этого без сомнения заключается в очевидных недостатках идеографии; но это есть также результат неизбежной эволюции, которая сделала из письменного языка естественного посредника между языком мысли и языком звуков.

Сознание владело различными приемами для передачи мысли; в его распоряжении были и жест и звук; оно создало изображение. Эти приемы допускали употребление условных знаков, которые могли применяться в различных случаях, но которые часто также дублировали друг друга. Несомненно есть случаи, когда жест выражает понятие проще, чем это делает звук, а звук легче, чем изображение. Но в целом символическое значение звука очень скоро совсем покрыло и заменило символическое значение изображения; изображение и звук стали взаимными заместителями. Как только они уравновесили друг друга по значению, изображение смогло служить эмблемой, а затем и графическими представлением звука. Тогда название вещи, связанное, со своей стороны, с вещью, связалось также с изображением, вызывавшим представление этой же вещи. Знак, изображавший вещь, стал также знаком звука, выражавшего ту же вещь. Звуковое письмо было создано[1].

Допустим, что некий графический знак изображает кабана (по-французски porc) и не означает вначале ничего, кроме этого понятия. Так как этот знак читается porc, он в конце концов начнет уже означать не животное, но его французское название, а следовательно и звуки, составляющие это название. Отсюда вытекает возможность употребить этот знак для фонетического изображения всякого слова, включающего эти звуки. Так, этот знак можно использовать для фонетического изображения комплекса звуков por, идет ли речь о кабане (porc), морском порте (un port)

[1] Об интересном развитии системы письма, изобретенного в наше время у племени бамум (Камерун), см. *Delafosse*, «Revue d'ethnographie et de traditions populaires», 1922.

или порах (pores) кожи; больше того, в многосложных словах этот знак может служить вообще для передачи слога por вне зависимости от смысла. Тогда его можно было бы употребить для передачи этого слога в словах trans-por-ter, col-por-teur и т. д.

Этим приемом пользуются в ребусах: желая привести к слову pré/pa/ra/tion, рисуют луг (pré), шаг (pas), крысу (rat) и черенок (scion).

Но в ребусе это только случайная забава, в фонетической же идеографии это соотношение строго установлено традицией. Этот вид письма имеет однако два важных недостатка. Число знаков идеографической письменности по вышеуказанным причинам необходимо ограничено. Но в то же время число понятий не ограничено. Это неизбежно: понятий больше, чем знаков; следовательно приходится связывать условно с одним и тем же знаком несколько понятий. Обычно в одном знаке совмещают понятия близкие, собственные и переносные. Так, в клинописи круг означает не только *солнце*, но и *свет*, *блеск*, *белизну*, *день*; в иероглифике знак *глаза* означал также *зрение*, *бодрствование* и *науку*. Так как каждое из этих понятий выражено в слове различными звуками, знак приобретает столько же новых фонетических значений. В клинописи один и тот же знак может изображать до 15—20 различных звуковых комплексов; это называется «полифонией» знака.

Зато в каждом языке бывает, что один слог, составляющий сам по себе отдельное слово, имеет несколько совершенно не связанных друг с другом значений. Таковы например во французском языке: por, о котором мы уже говорили (porc, port, pore), слог vin (vin—*вино*, vingt—20, vint—*пришел*, vainc—*побеждает*), слог sin (saint—*святой*, sein—*грудь*, sain—*здоровый*, cinq—*пять*, ceint—*опоясанный*, seing—*подпись*) и т. д. Идеографическое письмо изображает каждое из этих слов, понятно, отличным знаком, т. е. (продолжая французский пример) для слога por будет три различных знака, для слога vin пять и для sin шесть. В клинописи насчитывают до семнадцати знаков для изображения слога «tou». Это называется «омофонией» знаков.

Омофония и полифония—диаметрально противоположные недостатки, действие которых должно было бы нейтрализоваться, что и происходит иногда. Но цитированные выше примеры могут дать представление о трудностях, часто непреодолимых, с которыми столкнулись при расшифровке подобных текстов[1].

---

[1] Относительно истории дешифровки клинописи см. *J. Ménant*, Les écritures cunéiformes, Paris 1864; великие имена в этой области: *Grotefend*, *Eug. Burnouf*, *Chr. Lassen*, *H. Rawlinson*, *Oppert*. Настоящим инициатором чтения иероглифов был *Fr. Champollion* младший. Затем следует упомянуть *Ch. Lenormant*, *de Rougé*, *Salvolini*, *A. Lepsius*, *Birch*, *Brugsch*, *Maspéro*. Ср. *A. Cattaui Bey*, Champollion et le déchiffrement des hiéroglyphes, 1922; *Sottas et Driotton*, Introduction a l'étude des hiéroglyphes, 1922.

Ассирийцы, принявшие клинопись, попытались устранить неудобства полифонии посредством фонетических дополнений: написав слово посредством идеограммы, они уточняли его произношение, дописывая последний слог фонетически. Это смешение идеографии и фонетизма—характерная черта и одна из трудностей ассирийского письма; оно с необходимостью вытекало из первичного недостатка полифонии [1].

У омофонии есть не меньший недостаток: он заключается в том, что тот же звуковой комплекс может означать несколько различных понятий. Для того чтобы его исправить, были изобретены «ключи». Это добавочные знаки к фонетическим идеограммам, уточняющие их смысл. Вместо того чтобы посредством фонетического дополнения указывать настоящее произношение данной идеограммы, к юч позволяет выбрать из нескольких омонимов нужный. Вернемся к цитированному примеру и допустим, что идеограмма представляет французский слог por; чтобы избежать всякой возможной двусмысленности, снабдим идеограмму специальным значком, указывающим, о чем идет речь: о животном, морском порте, весе пакета, манере держать голову или же о порах кожи. Этот значок будет как бы «ключом» ребуса.

Этот прием нашел себе самое систематическое и полное применение в китайском письме. Мы уже говорили, до какой степени китайской язык, лишенный флексий, лучше любого другого подходит для использования идеографической письменности. Чтобы исправить недостатки омофонии в китайском языке, придумали особые показатели, сочетаемые с фонетической идеограммой и указывающие на смысл слова; долгое время число этих показателей было неопределенным; в 1616 г. окончательно определили их число в 214. По-китайски они носят название «бу^4», что значит отдел или класс. Это действительно детерминативы, выражающие—плохо ли, хорошо ли—общие понятия, социальные или естественные классы и категории мышления. Таким образом китайский графический знак состоит из двух элементов: первый—идеограмма, ставшая фонограммой, изображающая звуки слога, составляющего слово, и второй элемент, дающий ключ к ребусу, уточняя значение слова.

Языки, для которых были сперва изобретены клинопись и иероглифическое письмо, были флективными, и в них слова состояли из нескольких слогов. Поэтому прием, позволивший усовершенствовать китайское письмо, дал в них посредственный результат. Однако несомненно, что египтяне, изобретая детерминативы, пришли по существу к тем же китайским «бу^4». Иероглиф, читающийся ankh например, может означать либо *жизнь*, либо *ухо*, но в последнем случае он сопровождается изображением уха, изображением которое служит детерминативом (определителем). Даже в эпоху, когда египетское письмо

[1] *Fossey*, Manuel d'assyrologie, t. I.

стало чисто фонетическим, можно найти иногда детерминативы, сохранившиеся по традиции. Что до клинописи, то она даже в эпоху своего наибольшего распространения заключала в себе много разночтений. Только став силлабическим письмом, она сделалась практичной; в качестве силлабического письма ею воспользовались (в надписях Дария) для записи индоевропейского языка—древнеперсидского. Но вообще говоря, из всех идеографических систем письма клинопись была наименее живучей; последним образцом ее была клинопись Ахеменидов. Ее повсюду заменили фонетическим письмом, в частности арамейским, происходящим от финикийского алфавита.

***

Финикийский алфавит—такой, каким мы его находим на стеле Месы (ныне в Луврском музее), относящейся к 900-м годам до нашей эры,—некоторыми считается результатом деформации иероглифического письма. Но, эта деформация совершалась медленно, через ряд ступеней. Выше мы показали, как естественное развитие из идеограммы создало фонограмму. Некоторые системы письма, как например китайская, могли остановиться на полпути между этими двумя видами письма благодаря целой системе искусных приемов; но было совершенно неизбежно, что иероглифика, особенно примененная к флективному языку, должна была в более или менее продолжительный срок стать фонетическим письмом.

Первая стадия, которая была достигнута на этом пути,—это слоговое письмо. Эта стадия интересна прежде всего тем, что она показывает большое значение слога (см. стр. 61). Следует все же заметить, что слоговое письмо вызывалось эволюцией самой идеографии. В моносиллабическом языке это само собою разумеется, так как слово всегда состоит только из одного слога. В иных языках достигали того же результата, так как каждая идеограмма в известных случаях должна была означать один из слогов (обычно первый) изображаемого слова. Поэтому например названия букв семитского алфавита—это слова, обозначающие различные предметы, названия которых начинаются соответствующей буквой. Это же имеет место в огамическом ирландском алфавите. Достоинство слогового письма—его краткость: оно отмечает с точностью начальные согласные слогов и в сущности удовлетворительно для языков, не имеющих групп согласных и в которых качество гласных может быть определено из морфологии, как это имеет место в семитских языках. Следовательно эта промежуточная стадия могла во многих случаях быть окончательной. В семитских языках гласные были указаны на письме значительно позже введения алфавита, и притом когда язык употреблялся людьми, знавшими его несовершенно.

Слоговое письмо нашло себе применение на Дальнем Востоке. Японцы после ряда опытов, на которых мы не будем останавливаться, извлекли из китайской скорописи слоговой алфавит из 47 знаков, называющийся «ката-кана»; впрочем они им пользуются далеко не во всех случаях; принятая у них система письма есть компромисс между китайским письмом и слоговым письмом. Зато корейцы приняли полностью слоговое письмо арамейского происхождения и сделали из него свое национальное письмо (см. ниже).

Кипрское письмо, расшифрованное благодаря тому, что им пользовался греческий язык, принадлежит тоже к слоговой системе[1]; это письмо нам известно главным образом по греческим текстам. Его происхождение неизвестно; но несомненно, что оно было изобретено не для греческого языка; к тому же оно его передает очень несовершенно. На самом Кипре оно было заменено греческим алфавитом.

Буквенное письмо было последней, высшей стадией письма. Оно вышло из необходимости обозначить гласные, не увеличивая числа письменных знаков. Семитское письмо должно было в определенный момент получить обозначение для гласных звуков, так называемые matres lectionis *(матери чтения)*, для облегчения процесса чтения. Греческий алфавит искусно использовал принцип matres lectionis для создания специальных знаков для каждой гласной. Ренан полагал, что «буквенное письмо есть создание семитов»[2]. Это возможно. Но в наше время уже нельзя с такой уверенностью поддерживать старую теорию, согласно которой греческий алфавит заимствован у финикиян. Дюссо[3] считает, напротив, что алфавитом мы обязаны эгейской цивилизации, которую мы знаем,—правда, очень плохо,—по критским памятникам. По Дюссо, и греки и финикияне получили алфавит от эгейцев. Во всяком случае финикийский алфавит повлиял на греческий, как это ясно из названий греческих букв (Геродот V 58 называет греческие буквы φοινικήια γράμματα—*финикийские письмена*). Греческий алфавит, усовершенствованный ионийцами, скоро распространился равномерно по всей Греции. Греки же перенесли алфавит на Запад. В Италии алфавит пришел к латинянам и этрускам из Кум, колонии евбейцев из Халкиды. Вслед за основанием Марселя греческий алфавит проник в долину реки Роны; там находили еще в начале нашей эры галльские надписи, сделанные греческими буквами.

На Востоке роль распространителя алфавита играл арамейский язык эта роль была значительной, что объясняется историческими обстоятельствами. Но этому способствовало и усовершенствование письма. Как иероглифическое письмо,

---

[1] *Bréal*, Sur le déchifferement des inscriptions chypriotes, «Journal des Savants», août—septembre 1877.

[2] «Grammaire générale et comparée des langues sémitiques» p. 114.

[3] «Les civilisations préhélleniques dans le bassin de la mer Egée», p. 434.

благодаря пользованию папирусом и необходимости быстрого писания, перешло в Египте сначала в иератическое, а потом и в демотическое, так же и финикийское письмо в арамейском языке облеклось в скорописную и практическую форму: углы букв закруглились, верхушки букв сошли на-нет, черточки стали заканчиваться связывающими буквы хвостиками. Арамейский алфавит дошел до Индии. Большинство алфавитов Центральной Азии происходит от него. Наконец он достиг Дальнего Востока, так как современное корейское письмо основано на нем.

Алфавитное письмо—последняя стадия развития письменности—охватило всю Европу в начале нашей эры благодаря грекам и римлянам. Этот факт объясняется исторической причиной—пропагандой христианства. Проповедники, внушавшие христианскую религию «язычникам», одновременно учили их читать «священное писание» и должны бы и с этой целью составлять алфавиты по образцу того, которым они пользовались сами. Греческий алфавит таким образом послужил образцом для готского алфавита благодаря Вульфиле и для славянского благодаря Кириллу и Мефодию. Алфавиты же древненемецкий, древнеанглийский и древнеирландский были построены по образцу латинского.

Мы в общем знаем, каким образом были составлены эти различные алфавиты. Вульфила например начал с того, что взял из греческого алфавита все буквы, обозначавшие звуки, бывшие в его родном языке, и сохранил за ними их значение. Для остальных звуков он, как умел, использовал буквы греческого алфавита, оставшиеся неиспользованными: так, греческое «Ψ» передало глухой зубной спирант, а греческое «ϴ»—звук hw. Он заимствовал также буквы из других алфавитов. Так, готское F без сомнения взято из латинского алфавита, а два знака были сохранены из древнего рунического алфавита. Можно было бы привести подобные факты из истории многих алфавитов. Между прочим сами греки, заимствуя свой алфавит у финикиян и приспособляя его к своему языку, обращались с ним так же свободно.

Во всяком случае есть существенное различие между алфавитами греческого и латинского происхождения. Первые были составлены с редкой точностью людьми, обладавшими очень четким чувством фонетических отношений и передававшими оттенки произношения с редкой проницательностью. Готский алфавит Вульфилы—прекрасное орудие, достаточно точное; славянский алфавит Кирилла и Мефодия—настоящий шедевр. Как далеки от них алфавиты англосаксов и ирландцев! Эти последние приложили много усилий в течение долгих столетий к тому, чтобы приспособить латинский алфавит к своему языку; в полной мере это им не удалось.

Ресурсы латинского алфавита были действительно недостаточны для той цели, которую они себе ставили. Фонетическая

система этих двух языков была настолько различна, насколько это только возможно. Латинский язык имеет большое количество взрывных, звонких и глухих, ирландский язык, наоборот, богат спирантами. Кроме того ирландский язык обладал большим разнообразием звуков сравнительно с латинским языком. Ирландское письмо установилось мало-помалу, по частям, путем многочисленных исканий, путем ряда полумер, следовавших одна за другой и бессвязных. По этим причинам ирландское письмо всегда требует комментариев. Оно—полная противоположность готскому письму, целиком и систематически продуманному в мозгу своего творца. Но не следует все же приписывать всю заслугу успеха одному составителю алфавита. Если Вульфиле так хорошо удалось то, что не удалось ирландским монахам, причина тому и та, что он работал над лучше подготовленным материалом. Готский язык, каким мы его знаем по памятникам, правилен грамматически, что характерно для литературного языка, закрепленного и введенного в норму. Ирландский же язык, наоборот, в момент введения письменности представлял собою неописуемый хаос. С таким же правом можно противопоставить старославянский древненемецкому и древнеанглийскому.

ГЛАВА II

ПИСЬМЕННЫЙ ЯЗЫК И ОРФОГРАФИЯ

Во все времена люди чувствовали значение письменного языка. Первоначально они приписывали письмо божественному вдохновению. Древние евреи верили, что Моисей получил его от самого бога; египтяне приписывали его богу Тоту (*Платон*, Федр, 274); древние греки, приравнивая изображение письма к уменью возделывать землю или к пользованию огнем, ставили Кадма рядом с Триптолемом и Прометеем.

Однако эта высокая оценка письма первобытными людьми происходит не от признания полезности этого изобретения и не от предвидения тех услуг, которые письмо потом оказало их потомкам; причина их высокой оценки письма в том, что они видели в нем таинственный процесс, обращавший на себя их внимание опасностями, заключенными в нем. Письмо— это уже наука. А к науке люди всегда относились с опаской, и не без основания, так как она дает владеющим ею возможность делать как зло, так и добро.

Вначале пользовались письмом для полумагических процедур. При своем зарождении письмо было особого рода колдовством. Письменный язык долго сохранял этот характер. Написать имя на листе коры или на шкуре животного—это значило держать в своей власти человека, который носит это имя, подчинить его, иметь возможность по желанию прославить или опозорить его, спасти или погубить. Первые написанные строчки с чьим-либо именем были чародейством: формулы умилостивления, или врачевания, или порчи, или колдовства. Если слово произнесенное может обладать магической силой (см. стр. 175), то тем более слово написанное. Первыми стали писать следовательно колдуны.

У многих народов письмо и гаданье не отделяются друг от друга. Для кельтов, как и для германцев, письмо—это «тайна» (гот. runa—*тайна*), это система магических действий[1]. Кусок дерева, на котором вырезывали письмена, служил в то же время

---

[1] *Neckel*, Zur Einführung in die Runenforschung, «Germ.-Rom. Monatsschrift», Bd. I, 1909.

для гаданья. Оба понятия смешиваются вплоть до нашего времени в словаре ирландцев и бретонцев. В то время как Buchstabe (дословно: *буковая палочка*) означает по-немецки букву, по-ирландски crann-chur (дословно: *бросание дерева*) означает *гаданье*, так же coel-bren (дословно: *дерево для предсказаний*)— по-валлийски[1].

Даже освободившись от магического характера, письмо внушает боязнь и уважение. Люди сохраняют суеверное почтение к писанному тексту. Религия и право использовали это чувство, чтобы связать наш ум письменной формулой, которая не изменяется, и буквой, которая презирает разум. По-французски еще говорят c'est écrit или c'était écrit в смысле *это решено, это предрешено, это судьба*, как если бы мы разделяли восточное воззрение, по которому судьбы людей записаны заранее в большой книге, листы которой переворачиваются каждый день. Значение, придаваемое написанному тексту, вполне понятно. Написанное сохраняется, а сказанное улетучивается. Сказанное слово, закрепленное на письме, остается навсегда как доказательство; судят по «письменным показаниям». Письмо, переставшее быть магической цепью, все же осталось цепью.

Таким образом практика, находясь в согласии с традицией, поддерживает противоположение языка письменного языку устному. По правде говоря, они никогда не смешиваются. Было бы ошибочно думать, что написанный текст может быть точным воспроизведением устного слова. Вопреки мнению многих, мы никогда не пишем так, как говорим; мы пишем (или стараемся писать) так, как другие пишут. Самые необразованные люди, как только берутся за перо, чувствуют, что они пользуются особым языком, не таким, как язык устный, языком, имеющим свои правила и обычаи, свои собственные задачи и свое собственное значение (см. стр. 250). Это чувство имеет свои основания.

Письменный язык—наиболее характерное выражение «общего языка» (см. выше). Общий же язык, по самому своему существу находится в противоречии с устным языком; устный язык под давлением индивидуальных стремлений постоянно стремится отойти от идеальной нормы, представленной общим литературным языком. Письменный язык поэтому подвергается постоянно натиску языка устного, так как общий язык опирается главным образом на письмо. Кроме того письмо служит также выражением для ряда специальных языков. Есть даже специальные языки, существующие только в письменной форме. Также и в этом отношении есть постоянное расхождение между устным словом и письмом.

---

[1] *J. Loth,* Le sort et l'écriture chez les anciens Celtes, «Journal des Savanst», septembre 1911, p. 403 et suiv.

***

Это расхождение бросается в глаза в вопросе об орфографии. Нет народа, который не страдал бы от этого расхождения; но известно, что французский язык, как и английский, находится в особенно плохом положени в этом отношении. Некоторые называют орфографическую неурядицу во Франции национальным бедствием[1]. Важно выяснить размер этого зла, его причины и возможные способы его устранения.

Чтобы правильно поставить проблему, нужно прежде всего спросить, в какой мере какая бы то ни было орфография в состоянии смягчить разрыв между устным словом и письмом, т. е. до какой степени точности письмо может передавать произношение. Сложность некоторых орфографий как раз и происходит оттого, что в них заключена попытка слишком подробно разъяснить тонкости произношения. Эти затруднения часто возникают вне той страны, где говорят на данном языке. Стремление к точности при передаче звуков связано с распространением языка среди людей, не говорящих на нем с детства. Так, обычай ставить ударения на греческих словах установился в Египте, где по-гречески говорили чужеземцы, которым нужно было знать место ударения в слове. Точно так же в Эфиопии стали вставлять гласные в семитское письмо. Первые эфиопские тексты писались на сабейском письме без гласных; из семитских систем письма эфиопское письмо первое стало отмечать гласные— прием, необходимый для людей, мало знакомых со сложной системой семитской морфологии. Это было настоящее улучшение орфографии, делавшее ее более верным отражением устного слова.

И однако никакая орфография никогда не воспроизводила точно устную речь. Представим себе так называемую фонетическую транскрипцию, состоящую из разнообразных букв и снабженную диакритическими значками. Но даже и такая транскрипция никогда не даст возможности читать текст с правильным произношением человеку, никогда не слышавшему языка, на котором написан этот текст. Учебники фонетики обыкновенно описывают звуки, опираясь не на речевой аппарат человека, а на язык, известный читателю. Это и проще и точнее. Разъясняют, что такая-то буква воспроизводит, допустим, английское звонкое «th», или парижское «r», или твердое немецкое «ch», или что такая-то гласная есть французское

---

[1] *Arsène Darmsteter*, La question de la réforme orthographique, «Mémoires et documents scolaires», № 73, Paris 1888; *F. Brunot*, La réforme de l'orthographe, Paris 1905; *L. Havet*, La simplification de l'orthographe, «Revue Bleue», 11 mars, 1905; *M. Bréal*, Un dernier mot sur l'orthographe (ibid.); *M. Grammont*, La simplification de l'ortographe française, «Revue des langues romanes», novembre—décembre 1906, p. 537 et suiv. Изложение вопроса см. *Dutens*, Etude sur la simplification de l'orthographe, 1906.

«а», произнесенное с парижским акцентом. Какое дело до тех, кто не слышал живой английской, немецкой или французской речи с парижским акцентом!

Но и этот способ не достаточен. Даже с помощью точных соответствий с известными ему языками читатель не сможет отдать себе ясного отчета в звуках нового для него языка и их воспроизвести; для этого ему нужно услышать, как говорят на этом языке. Дело в том, что устный произносимый язык очень сложен; в нем всегда налицо масса подробностей—сила звука, интонация, приступ, которые самое совершенное письмо передать не в состоянии.

Мысль о фонетической транскрипции, применимой для всех языков,—химера, ибо количество вариантов произношения в различных языках слишком велико, чтобы транскрипция могла быть совершенно точной. Это особенно стало ясным после попыток установить единообразное написание географических собственных имен: пришли в конечном счете к тому, что их написание всегда дает возможность разночтений[1]. Даже языковеды, пытаясь установить единую систему транскрипции для всех изучаемых ими языков, терпят неудачу[2].

Если же довести принцип фонетической орфографии до крайних пределов, то придется установить почти для каждого языка отдельную систему знаков, ибо очень мало языков, имеющих совершенно одинаковые системы звуков и артикуляций. В английском языке нет почти ни одного звука, совпадающего с французским языком: следовательно для английского языка нужны были бы другие знаки. Это значило бы умножать до бесконечности орфографические знаки: лучше оставить все так, как оно есть, так как для того, чтобы узнать значение знака, надо все равно услышать живую речь.

К тому же орфографические системы, наиболее совершенные, никогда не смогут принять во внимание диалектические особенности языка: так например особенности произношения какого-либо пикардца или жителя провинции Франш-Контэ, не говоря уже о марсельце или гасконце, никогда не будут отмечены на письме.

Вторая трудность состоит в том, что с течением времени, более или менее быстро в зависимости от языка, фонетическая орфография отстает от устного языка. Основная причина орфографических кризисов и лучшее доказательство разрыва между письменным языком и устным заключается в невозможности для

---

[1] *Christian Garnier*, Méthodes de transcription rationnelle générale des noms géographiques s'appliquant à toutes les écritures usitées dans le monde, Paris 1899.

[2] *K. Brugmann*, «Indogermanische Forschungen», Bd. VII, S. 167; *Hirt*, Zur Transkriptionsmisere, «Indogermanische Forschungen», Bd. XXI, S. 145; *Chr. Bartolomae*, «Indogermanische Forschungen», Bd. XXI, S. 366; *J. Wackernagel*, ibidem, Bd. XXII, S. 310.

орфографии поспевать за поступательным движением языка. Устная речь изменяется непрестанно[1]. Письменный же язык, наоборот, по самому своему существу консервативен не только потому, что он есть конкретное выражение общего языка, нормализованного грамматиками, но и потому, что он не может так быстро изменяться, как язык устный. Конечно, традиция— вещь сильная, когда ее защищают литература, школа, все образованные люди. Но все же традиция—не единственное препятствие для изменения орфографии. Неизменность для письменного языка есть необходимость; письменный язык—это язык идеальный, закрепленный раз навсегда. Его невозможно изменить, после того как он окончательно сложился. Какие бы мы ни приложили усилия, чтобы приспособить это жесткое одеяние к формам покрываемого им тела, нам никогда не удастся подчинить его капризам устного языка и заставить расти вместе с телом; это мертвая вещь на живом существе.

Иногда удивляются медленности, с которой академический язык приспособляется к развитию морфологии и словаря устного языка. Академия до сих пор не одобрила таких выражений, как je m'en rapelle или de façon à ce que, широко употребительных уже в течение целого столетия. Да это и не важно; в наше время эти речения всеми приняты. Но медлительность Академии имеет свои основания. Среди различных тенденций, обнаруживаемых ежедневно устным языком, многие исчезнут, не приобретя права гражданства. Когда какая-либо тенденция живуча, ей нужно время, чтобы достичь своей цели; если даже предположить, что ее закрепят в тот же день, когда она одержит верх, все же это уже поздно, так как она осуществлялась уже давно. То же и в орфографии. Как бы точна она ни была, как бы быстро она ни изменялась, она принимает по своему существу только уже испытанные и закрепленные употреблением формы.

Но ей трудно быть всегда точной и поспевать за устным языком. В этом отношении есть различие между языками. Иногда с полным правом удивляются различиям, представляемым с точки зрения орфографии такими языками, как английский и немецкий, французский и испанский. Конечно немецкая орфография не плоха, а испанская и совсем хороша; английская же и французская орфографии совсем плохи. Только орфографии тибетского и ирландского языков могут равняться с ними. Кельтисты, шутя, приводили уже в пример такие ирландские написания, как saoghal, lanamhain, oidche, cathughadh, произносящиеся приблизительно как sîl, lânun, î, cahu. Есть в чем позавидовать французу, который пишет oiseau и произносит wazo,

---

[1] Относительно французского произношения: *Thurot*, La prononciation française depuis la commencement du XVI siècle, 1881-1883; *Rosset*, Les origines de la prononciation moderne étudiées au XVII siècle, 1911; относительно английского произношения: *Ellis*, «Transactions of the Philological Society», 1873—1874.

и англичанину, который пишет enough, knight, wrought и произносит inaf, nait, rōt. Но нужно привести и смягчающие обстоятельства для этих злополучных языков. Различие между разными орфографиями объясняется историческими причинами.

Прежде всего надо помнить, что общие языки, выражением которых являются эти орфографии, сложились более или менее давно. Затем, фонетическое развитие в некоторых языках происходит значительно быстрее, чем фонетическое развитие других, и изменяет произношение слов сильнее; итальянский и испанский устные языки меньше отошли от латыни, чем французский язык. Английский язык совершенно перевернул фонетическую систему, унаследованную им от прагерманского языка. Кроме того условия, в которых образовались различные орфографии, были различны в разных странах. Много внешних и даже индивидуальных причин действовало на орфографию. Иногда это—влияние реформатора, как например Солсбери в Уэльсе, перевод библии которого пользовался особым авторитетом; он писал через «ei» местоимение, произносившееся «i», и это написание сохранилось до наших дней. В России сильно влияние традиции старославянского языка; оно сохранило в современном русском языке написание *того* для слова, произносимого tavo. Во французском языке в конце XVI в. орфография подпала под влияние ученых, проникнутых классичекими традициями и этимологическими соображениями. Это именно они—виновники ошибок, последствия которых мы несем на себе; но они действовали в духе своего времени. Та же беда постигла и Ирландию, где орфография была закреплена после многочисленных опытов педантами, находившимися в плену у традиции. В середине XVI в. в Шотландии гаэльский язык был объектом попыток орфографической реформы в знаменитой рукописи, переписанной между 1512 и 1526 гг. сэром Джемсом Макгрегором, деканом Lismore в Argyllshire; по этой книге можно судить о расхождении между языками письменным и устным, существовавшим тогда. Но не следует преувеличивать сложность ирландской орфографии; она в значительной мере проистекает из первоначальной ошибки—употребления букв как диакритических знаков для уточнения произношения других букв. Это придает письму неприятный вид, к которому все же привыкаешь довольно скоро после небольшой практики. И доказательство того, что традиционные орфографии имеют коечто и хорошее,—это то, что мы в состоянии читать очень точно весьма сложные нереформированные ирландские тексты, современные рукописи декана Макгрегора, а в реформированной орфографии значение некоторых написаний от нас ускользает.

Из этого понятно не следует, что надо защищать ирландскую или французскую орфографии, уснащенные как бы нарочно буквами лишними и бесполезными. Наш язык пострадал больше, чем любой другой, от вредного влияния ученых педантов.

Разве они не предлагали написания cyre вместо sire под предлогом (неверным), будто это слово происходит от древнегреческого слова κύριος *(господин)*? Французская орфография не последовала за ними в этом случае; но им мы обязаны написанием poids через «d» и vingt через «g», хотя эти звуки в этих словах никогда не произносились и в первом случае орфография не соответствует и этимологии: poids восходит к латинскому pensum, а не к pondus. Они также восстановили буквы, уже давно не произносившиеся. Случается, что иногда эти лишние буквы стали произноситься; произносят «s» в слове festoyer, несмотря на родство этого слово со словом fête; люди, щеголяющие произношением, произносят неправильно слова cheptel, dompter, sculpteur с «p», тогда, как здесь оно немое. Случаются и худшие недоразумения. Старое слово lais *(завещание)* от laisser под влиянием глагола léguer получило новый вид, на который оно не имело прав; стали его писать legs через «g»; и это слово многими ныне произносится с «g», как собственное имя Leygues. Таким образом орфография совершенно нарушает словарные связи[1]; она отделяет festoyer от fête и legs от laisser; но зато она неправильно соединяет forsené (буквально *вне рассудка*) с force (*сила*) путем написания forcené. Иногда она же нарушает словообразование: неудачное употребление начертания «ge» вместо «j» создало написание gageure (*заклад*), которое часто теперь рифмуют с beurre, хотя оно образовано от глагола gager с суффиксом «ure» как piqure *(укол)* от piquer или mouillure *(увлажненность)* от mouiller.

Мы никогда не кончили бы, если бы захотели перечислить все недостатки французской орфографии[2]. Последние дискуссии позволили составить их перечень; он очень длинен и широко известен.

Этот перечень еще вырастет. Орфографический кризис зависит от социальных условий, при которых развивается язык; по мере того как будет увеличиваться разрыв между литературным и устным французскими языками, беда станет острее. Большое число слов, которые еще употребляются в разговоре, будут окончательно изгнаны в письменный язык; их будут узнавать только из книг, устная традиция не будет поддерживать их произношения. С ними будет то же, что и с иностранными словами, вошедшими в язык через книги. Французы произносят rail или wagon согласно печатной форме этих слов, если читать по-французски английское написание; но те же французы говорят bifteck, потому что это слово они усвоили из устной речи.

---

[1] Об аналогичных фактах в немецком языке: *Behagel*, Der Einfluss des Schrifttums auf den Sprachschatz, «Zeitschrift des deutschen Sprachvereins», Bd. XVIII, S. 35—40, 68—76.

[2] *A. Gazier*, L'orthographe de nos pères et celle de nos enfants, «Mélanges de littérature et d'histoire», Paris 1904, p. 321; *G. Paris*, Mélanges linguistiques, Paris 1906.

Gageure, как rail и wagon—слово книжное; этим объясняется его судьба. Письменная форма языка постоянно влияет через книгу на устную его форму.

В Англии то же расхождение между языками письменным и устным чувствуется уже давно. Английские диалекты насквозь пропитаны литературным языком, вошедшим в них через печать, особенно через газеты. Эти диалекты, как и диалекты французские,—часто не что иное, как литературный язык в диалектальной форме (см. стр. 248). Но при диалектизации какого-либо литературного языка всегда возможно сделать ошибку. Вот типичный образец такой ошибки: английское слово light *(свет)*, в общем языке произносимое lait, в северношотландском диалекте звучит licht. По аналогии в этой области слово delight *(услада)* произнесут dilicht вместо литературного произношения dilait, хотя слова light и delight разного происхождения; или, сочетая оба приема, скажут вместо light (lait)—laicht; это еще один способ неправильной диалектизации литературного слова[1].

Влияние письма на произношение в немецком языке было еще сильнее, чем во французском и английском языках; причина в том, что немецкий общий язык—прежде всего язык письменный (см. стр. 245). Поэтому в самый момент образования общего языка произношение часто подчинялось орфографии. Хотели установить стандартное произношение, которое не было бы произношением ни какой-либо провинции, ни какой-либо социальной группы; стремились и продолжают стремиться к тому, чтобы устный язык подчинить начертаниям письменного немецкого языка. Так например дифтонг «ie» средневерхненемецкого языка превратился в «i» долгое, а написание его осталось прежним; но так как саксонская канцелярия писала «je» вместо «ie» в начале слова, то ввели это различие и в произношение; отсюда различие между jemand *(кто-то)*, je *(когда-либо)* и niemand *(никто)*, nie *(никогда)*[2]. Однако немецкий язык имеет перед французским и английским языками то преимущество, что раз установившееся произношение в нем более устойчиво, чем в этих двух языках. Французский письменный язык будет терпеть все больше и больше неудобств от своего все усиливающегося разрыва с языком устным.

* * *

Нельзя иначе отнестись, как с одобрением, к тем, кто пытается устранить недостатки орфографии. Коротко говоря, их рассуждение сводится к следующему. Французская орфография есть

---

[1] *W. Horn*, Untersuchungen zur neuenglischen Lautgeschichte, S. 55

[2] *W. Braune*, Ueber die Einigung der deutschen Aussprache. Akademische Festrede, Halle 1905.

условная система письма, составленная из лоскутов волею нескольких педантов. То, что установлено по условному соглашению, может по условному же соглашению быть отменено. Мы не вмешиваемся в жизнь языка, исправляя его орфографию. Мы только освобождаем его от подтачивающего его недуга, избавляем наших детей от излишней и значительной потери времени и облегчаем иностранцам изучение нашего языка.

Эти доводы прекрасны, и хорошо было бы, если бы их все приняли во внимание. Нужно было бы поручить комитету из компетентных ученых изыскать способы улучшения французской орфографии; эта работа должна быть продолжительной, как уход врача, следящего за больным до его полного выздоровления. Задача очень длительная, так как надо действовать в данном случае с сугубой медленностью. Много соображений диктует осторожность. Некоторые из них мы укажем.

Слишком радикальная реформа свелась бы к замене привычного нам письменного языка новым. Одному или двум поколениям французов пришлось бы изучать как бы два языка; но кроме того совершенно невозможно внезапно отказаться от всего напечатанного во Франции в течение многих столетий, Есть литературные традиции и привычки, которые нельзя зачеркнуть одним движением пера. Конечно необходимо сделать французский язык более легким и доступным для иностранцев, но нужно признать, что малейшее изменение в наших орфографических правилах выбивает из колеи наши привычные навыки. Не останется ни одной французской страницы, которая не изменила бы совершенно своего вида после применения программы-минимум наших реформаторов. Глаз поминутно будет спотыкаться и мысль будет занята постоянным исправлением текста, что скоро начнет раздражать. На это могут ответить, что это дело одного или двух поколений; при этом нашим внукам не придется учиться тому, от чего мы отвыкнем. Но это возражение против реформы лишний раз показывает, с какой осторожностью нужно проводить всякую орфографическую реформу.

Ограничиваясь постепенным упрощением, производимым по хорошо разработанному плану, мы к тому же не нарушим прав письменного языка, которые мы во всяком случае должны принимать во внимание.

Некоторые ученые слишком склонны рассматривать письменный язык как что-то безусловно подчиненное языку устному. Это—воззрение фонетистов и преподавателей новых языков, стремящихся исправить перегиб школьных учителей, для которых письменный язык есть единственный язык. Действительно, как нужно говорить: такое-то слово письменной речи произносится так; или же такое-то слово устной речи пишется таким образом? Живет ли слово в звуках, срывающихся с уст, или в письме, чернеющем на бумаге? Следует ответить, что для всякого цивилизованного человека оно существует и в том

и в другом. Многие из цивилизованных людей общаются с себе подобными даже больше на бумаге, чем посредством устного слова. Конечно, если мы возьмем момент зарождения письма, то должны сказать, что письменная речь строилась всегда и всецело на основе устной. Когда Вульфила задумал дать письменность языку готов, он искал соответствующую букву для каждого звука готского языка. И в этом смысле правильно высказывание, что письмо следовало за произношением. То же делает в наши дни ученый, записывающий язык дикарей, до него не записывавшийся. В мозгу неграмотного язык имеет очевидно только слуховую форму. Но по мере распространения грамотности и в особенности с введением всеобщего обучения грамоте письменное слово приобретает все большее и большее значение.

В наше время мы уже не представляем себе языка без письменной его формы. Слова возникают в нашем сознании, облеченные в орфографическую форму. Здесь уместно сказать, что орган создал функцию, и какую функцию? Настолько деспотичную, что для некоторых из нас, принадлежащих к так называемому зрительному типу, графический язык кажется значительно более ясным, чем устный. Один из персонажей Мюссэ заявляет, что он хорошо понимает только косое письмо. Это шутливое замечание могут подтвердить многие. Многие понимают со слуха плохо, а хорошо схватывают только при чтении глазами. Другие не усваивают урок со слуха, а должны непременно прочесть то, что им было сказано. Это понятно крайний случай, его редкость делает его особенно разительным. Но каждый из нас, наблюдая за собой, увидит, что он более или менее к нему приближается.

Когда мы слушаем устную речь, чаще всего бывает, что слова в одно и то же время действуют и на наш аппарат зрительный и на слуховой; речь, действуя в таких случаях на слуховые центры, отраженно затрагивает и зрительные центры; мы видим тогда слова, нами слышимые. Подобным же образом, говоря, мы видим произносимые нами слова; они проходят перед нами, как в раскрытой книге; форма, которую мы им придаем при произнесении, часто зависит от того, каков их вид на воображаемом нами письме. Прекрасный способ избегать ошибок произношения—это обращаться к зрительной форме слова, всегда сопровождающей в нашем сознании форму слуховую. И обратно, зрительная форма слова сопровождается при чтении его слуховым ощущением; мы как бы напеваем себе фразы книги, которую мы читаем; когда же мы пишем, наше перо подчиняется указаниям внутреннего голоса. Можно сказать, что в языковой деятельности нормального цивилизованного человека все формы языка функционируют в одно и то же время. Итак, письменный язык играет в психологии речи большую роль. До тех пор пока мы будем учить детей читать и писать, нужно считаться с его правами, даже если порой они нарушают права языка устного. Такое заключение не исключает возможности орфографической

реформы. Вполне естественно, что прилагают усилия к уменьшению расхождения между письменным языком и языком устным. Но не нужно забывать, что полное соответствие между ними невозможно; и так как слово существует в такой же мере в письменной форме, как и в устной, может быть не так уж плохо, что орфография имеет неправильности и пороки. Это закрепляет в памяти сильнее лицо слова. Некоторая необычность одеяния слова лучше подчеркивает понятие, обозначаемое словом.

Вольтер говорил: «Письмо—изображение голоса; чем оно более похоже, тем оно лучше». Это правильно только в теории и как основной принцип при создании новой письменности. В таком языке, как французский, определяя письмо как простое изображение слова, слишком сильно и несправедливо ограничивают значение графического языка. Письменный язык возник некогда из условного соглашения, установленного несколькими лицами. Но это условное соглашение распространилось на все общество и теперь становится необходимостью. Наш общественный быт управляется не разумом, а обычаем, и философские рассуждения беспомощны перед силой обычая. Когда понадобилось использовать более полно для работы дневной свет, было разумней изменить распределение дня, но не менять обозначения часов. Однако поступили наоборот; изменили обозначение времени. Мы согласились завтракать в 11 часов при условии, что 11 часов будут называться полуднем; настолько мы рабы общественных привычек. Орфография—одна из этих привычек для всякого цивилизованного человека. Ее реформировать можно только с большой осторожностью, опираясь на самый обычай.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРОГРЕСС В ЯЗЫКЕ

Письмо—прекрасный пример орудий, созданных человеком, которые с течением времени улучшаются, следуя указаниям опыта при пользовании ими. Громадная пропасть отделяет первые знаки, выбитые когда-то на камне, от знаков, печатаемых нами на бумаге. Этот прогресс—не только чисто технического порядка.

Естественно ожидать, что такой же прогресс покажет и изучение языка, рассматриваемого как результат умственного труда сменяющихся поколений. Нет ли в нашем языковом инструментарии постоянного совершенствования? Не совершенствуются ли с течением времени те разнообразные комбинации звуков, которыми оперирует сознание, передавая мысли? Язык все время находится в движении. Не мнимое ли это движение? Не бесплодное ли топтание на месте? Или, быть может, язык идет к идеальной цели, приближаясь к ней с каждым этапом своего развития? Мы знаем историю некоторых языков за внушительный период времени. Мы видим, как некоторые языки изменяются с большой быстротой. Мы вполне вправе спросить о смысле этих изменений,—другими словами, поставить перед собой вопрос о прогрессе в языке.

* * *

Но прежде всего нужно уточнить значение выражения «прогресс в языке». Люди, употребляющие его, чаще всего переносят в лингвистику мысль, заимствованную из истории литературы. В течение долгого времени привыкли в науке о литературе рассматривать понятие прогресса как догму; эволюцию литературных жанров оценивали или как движение к прогрессу или же как упадок. Это—классическое представление, согласно которому искусство, достигнув высшей точки, приходит в упадок, и начинается порча вкуса. Филологи-классики перенесли это представление в науку о языке, полагая, что высшей точки развития после долгих усилий язык достиг в греческом и латинском и что затем он стал клониться к упадку.

Для латинского языка нормой служил язык Цицерона. Но даже в его языке умудрялись находить неправильности, считали невозможным признавать образцовым язык писем его к друзьям. Настоящим, образцовым латинским языком считали только язык нескольких речей и философских трактатов великого оратора; к ним присоединяли с некоторым колебанием «Комментарии» Цезаря и «Жизнеописания» Корнелия Непота. Язык остальных римских писателей брали под сомнение или же открыто презирали: язык Лукреция—грубый и неопрятный; язык Плавта—неотесанный и варварский; язык Тита Ливия—провинциальный; язык Тацита—странный, неровный, полный как будто нарочитых ошибок; язык писателей эпохи империи расценивали в зависимости от приближения его, часто путем рабского подражания, к языку Цицерона, стиль которого возвели в норму.

Эта оценка древних языков (о греческом языке можно mutatis mutandis повторить сказанное о латинском) основана на досадном смешении литературного языка с языком как таковым, с языком всей страны, с языком, подвергающимся изменению во времени. Конечно латинисты вправе избирать известный образец латинского языка и требовать его от пишущих школьные работы на латинском языке. Это прием догматической грамматики, сводящийся к формулам: надо писать так, а так вот писать нельзя. Классики, приняв этот образец, пошли по следам римских писателей, считавших Цицерона лучшим мастером языка и его язык образцовым. Но совершенно неуместно пользоваться этим искусственным приемом в научном лингвистическом исследовании.

Однако так как раз и поступали лингвисты прошлого столетия[1]. Они устанавливали для языка известный идеал и помещали его в прошлом, при этом в прошлом очень отдаленном. Они утверждали, что в «первобытную» эпоху существовал совершенный язык, вполне правильный. Но так как изменение—один из основных законов языка, то было совершенно неизбежно, что языки по мере своего развития все более и более удалялись от первобытного идеального языка. И каких только не находили они слов для оценки развития языков! Это развитие, по их мнению,—порча, падение, искажение, вырождение! И с каким презрением отзывались они о наших бедных современных языках, этих последышах, которых злой рок сделал последним звеном цепи языков; эти языки, по выражению Шлейхера, «источенные обломки»[2]. Чем язык был древнее, тем больше почтения он внушал. Рассказывают, что один старый эллинист, когда однажды ему задали какой-то вопрос по поводу новогреческого языка, категорически уклонился от ответа, заявив, что

---

[1] В частности *Schleicher*, Die deutsche Sprache, 1869, S. 34, «Sprachvergleichende Untersuchungen», Bd. I, S. 13—17.

[2] «Ueber die Bedeutung der Sprache für die Naturgeschichte der Menschen», S. 27.

он ни за что не будет изучать язык, в котором предлог ἀπό управляет винительным падежом[1]. Этот эллинист, понятно, принял бы с восторгом изречение Шлейхера[2]: «История—враг языка» (die Geschichte, jene Feindin der Sprache). Поистине нелепая мысль, противопоставляющая язык и жизнь, ту самую жизнь, которая и питает язык.

Совершенно не нужно повторять, что представление о совершенном языке, существовавшем будто бы в далеком прошлом человечества, есть такая же химера, как и представление о никогда не меняющемся языке, навсегда застывшем в своей неподвижной форме. Нужно примириться с неизбежностью изменчивости языка и воздержаться от сожалений о золотом веке языка, столь же бесплодных в лингвистике, как и в других областях человеческой деятельности. Разве изменчивость языка не имеет своих преимуществ? Другая лингвистическая школа приняла эту последнюю точку зрения, противоположную первой, перенеся идеал языка из прошлого в будущее[3]. Эта школа постаралась реабилитировать современные языки; по ее мнению, язык тем совершеннее, чем он более развился. Эти ученые только воскресили, применив его к языкам, старый спор двух поколений—поклонников древности и новаторов. Этот спор возобновляется через каждые пятьдесят лет, отражая любовь человека к контрастам и влечение, испытываемое им поочередно к старому и к новому.

Совершенно верно, что современным языкам, например английскому или французскому, свойственны крайняя гибкость, легкость, приспособляемость. Французский язык особенно отличается своей точностью и ясностью. Не допуская отступлений от правил, преувеличений, резких выражений, встречающихся в соседних языках, он стремится всегда к такой точности, что, по словам Вольтера, не разрешает себе ни одного выражения, требующего комментария или оговорки. Но можно ли утверждать, что древние языки, например латинский и греческий, стоят ниже его? И если бы из всех языков нужно было выбрать язык, заслуживающий пальму первенства, кто осмелился бы не отдать ее греческому языку? Это язык божественной природы: кто раз вкусил его прелесть, тому всякий другой язык покажется или пресным или горьким. Речь идет не об идеях, выраженных этим языком, не о его литературе—школе мудрости и красоты, «целительнице души», как говорили египтяне о своих книгах. Сама по себе внешняя форма греческого языка есть несравненный источник наслаждения для человеческого ума. Гармония его ритма и изящество звуков, богатство словаря—

---

[1] По-новогречески говорят ἔλαβα γράμμα ἀπ'τὸν πατέρα μου (*я получил письмо от своего отца*). *Pernot*, Grammaire du grec moderne, p. 180, 444.

[2] «Sprachvergleichende Untersuchungen», Bd. II, p. 144; *Jespersen*, Progress in Language, p. 8.

[3] Эта школа блестяще представлена *Jespersen'ом* (Progress in Language).

это еще не самые ценные его качества. Грамматика греческого языка отличается среди всех других точностью своих морфем, делающих прозрачным состав слова; легкой гибкостью своего синтаксиса, передающего всю значимость выражаемой мысли, отражающего все ее изгибы, позволяющего благодаря своей прозрачности видеть все ее оттенки. Никогда никто не выковывал более прекрасного орудия для выражения человеческой мысли.

Но тот факт, что языки различного типа могли удовлетворять различные нужды мысли, одинаково богатой и требовательной, указывает, что не следует искать совершенства языка в одном каком-либо языковом типе. Было бы странным пытаться доказать, что язык Гомера, Платона и Архимеда ниже или выше языка Шекспира, Ньютона и Дарвина. Все они сказали совершеннейшим образом то, что хотели сказать, только пользуясь разными средствами. И эти средства языка одинаково ценны, так как в каждом из этих языков нашлись выражения, адэкватные мысли, которую нужно было выразить. В самом деле, не было случая, чтобы язык не выразил мысли, которую пытались передать при его помощи. Не верьте неискусным писателям, которые перекладывают вину за свое неумение на язык; вина всегда лежит на писателе, а не на языке.

Вполне очевидно, что велико счастье для писателя использовать готовую традицию, писать на языке, уже обработанном, приготовленном для него рядом его предшественников-писателей. Но это вопрос только большей или меньшей степени трудности. Декарт говорит в своем «Рассуждении о методе»: «Те, у кого наиболее острое суждение и кто обдумывает лучше других свои мысли, с тем чтобы сделать их более ясными и понятными, в состоянии лучше других убеждать в своих суждениях, даже если бы они писали на бретонском языке».

Однако дело не только в таланте писателя. Нужно также учитывать среду, которой он окружен. Так как говорят и пишут, чтобы быть услышанными или прочтенными, то писателю необходимо иметь достаточно культурного читателя, который мог бы его понять. «Только в просвещенные века,—сказал Бюффон,— хорошо пишут и хорошо говорят». Предположим, что бретонец захотел бы написать на своем языке трактат по философии; это ему несомненно удастся. К сожалению, бретонцы, по крайней мере говорящие только по-бретонски, вряд ли особенно интересуются философскими вопросами; но и философы обычно не говорят по-бретонски. Нашего бретонца пожалуй не прочтут и не поймут. Значение языка связано с численностью и степенью культуры тех, кто им пользуется. Поэтому кельтские языки имеют меньшее значение, чем языки романские и германские. Однако в течение нескольких столетий языки ирландский и валлийский служили для выражения прекрасной поэзии, может быть самой оригинальной из всей средневековой поэзии. И можно только

пожалеть, что Dafydd ab Gwylim не писал по-итальянски, как Данте, или по-немецки, как Вольфрам фон Эшенбах: большее число читателей могли бы насладиться его поэзией. Да что же! Что будет со славой Гомера и Платона в день, когда в школах не будут больше учить греческому языку? Пение вороны не хуже соловьиного, если нет слушателей.

***

Продолжая развивать высказанные мысли, мы зашли бы в тупик. Эстетическая и утилитарная ценность языка не должны приниматься во внимание при оценке прогресса языка. Талант писателей в период высокой литературной продукции, национального расцвета и политической гегемонии может сделать язык как бы совершенным и тем самым создать ему славу на всем земном шаре.

Такова была судьба греческого языка в аттическую эпоху, латинского языка в век Августа, французского языка в XVII—XVIII вв. Но вопрос о прогрессе в языке надо ставить, отвлекаясь от преходящих достоинств того или иного языка. Достоинства языка и степень его развития—вещи разные; на основании первых нельзя судить о второй, даже если ограничиться какой-либо одной стороной языка: звуками или грамматическими формами.

Есть языки более и менее мелодичные и плавные, есть языки, более трудные для произношения. Однако фонетические изменения в языке не зависят от желания говорящих придать произношению то или иное недостающее ему качество. Кроме того оценка этих качеств языка в большой мере есть дело личного вкуса и следовательно вносит в обсуждение прогресса языка субъективный элемент, тем самым опорачивая его результаты.

В отношении морфологии также трудно оправдать идею прогресса, ограничивая свое рассмотрение грамматической структурой. Приблизительно сорок лет назад пользовалась большим успехом теория, учившая, что все языки неизбежно проходят через три стадии: изолирующую (корневую), агглютинирующую и флективную. Согласно этой теории каждый из известных языков находится на одной из этих стадий в зависимости от его развития. Так намечался прогресс языка с грамматической точки зрения[1].

Сказанного нами раньше о морфологических изменениях и отношениях между словами и морфемами достаточно, чтобы понять ошибочность этого взгляда на историю языка. Нет никакого сомнения в том, что грамматические элементы часто возникают в результате снашивания ранее самостоятель-

[1] В частности *Hovelacque* La linguistique, 1881; *Misteli*, Charakteristik der hauptsächlichen Typen des Sprachbaues, 1893; *Sayce*, Introduction to the Science of Language, 1890.

ных слов; можно иногда определить по словарю происхождение некоторых суффиксов и даже окончаний, которые время сковало с определяемыми ими словами; так языки обновляют свою морфологию, агглютинируя самостоятельные первоначально элементы. Кроме того фонетическое снашивание укорачивает слова, уничтожает флексии, и язык, становясь из полисиллабического моносиллабическим, возвращается к изолирующей (корневой) стадии.

Но эти различные «стадии»—результат процессов, происходящих одновременно во всех языках, процессов, захватывающих морфологию языка во всех ее частях; их временный успех или неуспех всегда связан с особыми условиями, в которых находится данный язык. Помимо того морфологическое изменение языка никогда не бывает полным; рядом с новыми формами продолжают существовать в языке и старые формы; в языках с длительным развитием, как например французский или английский, можно наблюдать одновременно грамматические черты, относящиеся к различным «стадиям» и объединенные в одной системе.

Так например характерной чертой английского языка иногда считают его моносиллабизм. Действительно, в целом современный английский язык заменил многосложные, богатые суффиксами и окончаниями слова древнеанглийского языка короткими, часто односложными формами. Это результат фонетического изнашивания, очень ярко выраженного в английском языке. Английский язык мог бы реагировать на этот процесс так, как это сделали другие языки. Романские языки например боролись против моносиллабизма посредством прибавления к словам суффиксов. По-французски говорят soleil (*солнце*) вместо латинского sol, а вместо древнего глагола il geint (*он стонет*—от geindre) употребляют в современном французском языке il gèmit (от gèmir). В испанском же языке и совсем нет односложных слов.

Не надо, однако преувеличивать моносиллабизм английского языка[1]; этот моносиллабизм во многих случаях только кажущийся. Здесь легко впасть в ошибку благодаря орфографии, традиционной грамматике и словарям. Среди слов английского языка, рассматриваемых как отдельные по грамматической традиции, многие не имеют самостоятельного существования; многие из таких слов в сущности не что иное, как морфемы или же употребляются только в застывших выражениях, где они неразрывно связаны с морфемами. Такая английская фраза, как I don't know (*я не знаю*), состоит только из одного слова, как латинское слово с тем же значением nescio. Элемент know, наиболее значимый в этом сочетании, отдельно не употребляется. Другие составные части этой фразы также самостоятельно не

[1] *Jespersen*, Progress in Language, p. 10.

употребляются. Это все грамматические элементы без самостоятельного значения; они употребляются только как элементы в самостоятельных фразах. Кроме того моносиллабизм английского языка широко компенсируется заимствованиями из латинского и французского языков. Известно, с какой легкостью английский язык берет чужие слова, которые он считает полезными или нужными для себя. Этот прием позволяет ему почти не пользоваться словопроизводством в своем словаре; оставляя без изменения слова своего исконного фонда, не прибавляя к ним суффиксов или других словообразовательных элементов, английский язык свободно заимствует большое число французских или латинских многосложных слов.

К тому же мы увидим, что противопоставление флективных языков агглютинирующим или изолирующим совершенно не обосновано, если мы обратимся к словесному образу, в котором эти языковые состояния сливаются в едином синтетическом состоянии, объединяющем их. Мы говорим фразами, а не отдельными словами. Единственное различие, которое можно с грамматической точки зрения установить между языками, заключается в месте морфемы, в природе связи между морфемой и словом. Это различие—случайное, а не основное. На нем нельзя построить принципа классификации языков, а тем более на нем нельзя основывать разрешения вопроса о прогрессе в языке.

Никогда не нужно забывать, до какой степени всякий новый факт в языке непрочен. В языке нет прочных окончательных приобретений, обеспечивающих богатство усвоившего их языка.

Всякое приобретение ненадежно и чаще всего уравновешивается убылью. Мы уже видели, как французский язык создал себе вопросительную частицу; нужно было случайное стечение счастливых обстоятельств, чтобы эта частица возникла, усилилась и развилась. Не боясь грубо ошибиться, мы можем предположить, что эта частица в свою очередь в своем естественном развитии потеряет свою выразительность и значение, обветшает и выйдет из употребления. Таков ход развития всех языковых образований. Мы знаем, как возникали латинские вопросительные частицы, такие выразительные и такие удобные; но мы знаем также, как они исчезли. Num vides (*разве ты видишь?*), произнесенное с вопросительной интонацией, стало вопросительной формулой при ожидании отрицательного ответа: *конечно, нет*. Videsne (*разве ты не видишь?*)—с ожиданием утвердительного ответа: *конечно, вижу*. Эти формулы отрицания были для латинского языка драгоценным приобретением; но оно было недолговечным; отрицательные частицы исчезли в результате фонетического изнашивания; и «ne» и «num» стерлись и потеряли свою выразительность. Прогресс, если это слово здесь уместно, был мимолетным.

Но языковые потери нельзя также оправдать предположением, что они ведут к улучшению языка. Следует пожалеть,

что современный французский язык свел свои два прошедших— passé défini (прошедшее простое) и passé indéfini (прошедшее сложное) к одному; различие между ними было действительным, и посредством этих двух времен можно было передавать оттенки, теперь исчезающие, так как нет способов для их выражения. Мы знаем, что́ было причиной исчезновения одного из них (чаще—passé défini): то, что они стали равнозначащими. А они потеряли различие в значении, потому что passé indéfini (типа j'ai fait), вначале составное время, стало по значению простым, потеряло характер перифразы, в которой чувствовалось значение вспомогательного глагола. Возможно, что язык постарается восполнить этот пробел и начнет опять отличать эти два оттенка времени—простое повествовательное прошедшее, обозначавшееся некогда passé défini (il fit), от прошедшего совершенного, выражавшегося ранее passé indéfini (il a fait). Но сейчас мы говорим на языке, потерявшем один из полезных грамматических оттенков. Никто не скажет, что исчезновение imparfait du subjonctif в такой же степени достойно сожаления; но все же это время было иногда очень полезно. Оно имело свое значение в системе французского глагола, дополняя ее. Однако всякое сожаление о том, что оно исчезло, было бы излишним. Вопреки всем усилиям школы, поддерживавшей его, оно исчезло—жертва процессов, которые не в силах остановить человеческая воля.

Устанавливая таким образом баланс потерь и прибылей любого морфологического развития, мы никак не можем вывести из него идеи прогресса. Каждое из изменений, претерпеваемых языком, относится к какому-либо из отдельных фактов и не имеет общего значения.

Правда, один и тот же язык в различные периоды своей истории выглядит по-разному; его элементы изменяются, восстанавливаются, перемещаются. Но в целом потери и прирост компенсируют друг друга. Мы уже объяснили, почему язык, развиваясь естественно, не может достичь логического совершенства, искусственно придаваемого выдуманным языкам (см. стр. 158). Различные стороны морфологического развития напоминают калейдоскоп, встряхиваемый бесконечное число раз. Мы каждый раз получаем новые сочетания его элементов, но ничего нового кроме этих сочетаний. Все зависит однако от руки, которая встряхивает калейдоскоп.

Языковое развитие находится в тесной зависимости от исторических условий; между языковым развитием и социальными условиями, в которых развивается язык, есть очевидная зависимость. Развитие общества увлекает язык по какому-либо определенному пути. Следовательно мы вправе задаться вопросом, нет ли в истории языка как бы отражения истории культуры. Проблема прогресса в языке, рассматриваемая с этой точки зрения, предстает перед нами в совершенно новом свете;

эту новую концепцию развития языка нам теперь надо рассмотреть.

***

Уже не раз указывали на то, что скорее развиваются те языки, которые больше перемещаются, на которых говорит большее число людей, более разнообразное по своему составу. Такие языки, распространяясь на области, где они приходят в соприкосновение с другими языками, действительно теряют свои наиболее специфические черты: они быстро изменяются под влиянием различных языков. Так, сравнивая диалект какой-либо метрополии с диалектом колонии, мы в последнем часто отметим исчезновение некоторых грамматических тонкостей: традиция поддерживала их на родине,—перенесенные в далекие страны, они исчезли. Различие между I shall и I will в американо-английском диалекте уже не существует: употребляют для будущего только форму I will[1]. С другой стороны, скрытые в каждом языке тенденции часто развиваются скорее и полнее, если язык выходит далеко за пределы своей родины. Так например некоторые новшества скорее проявились во французском языке, на котором говорят в Канаде, чем на французском языке запада Франции, откуда французскую речь перенесли в Канаду в XVII в. В некоторых отношениях франзуско-канадский язык кажется архаичным, но в других отношениях он стоит впереди французского языка Франции; он освободился от многих ветхих черт, сохраняемых во Франции по традиции[2]. Также и голландский язык буров ушел в своем развитии дальше, чем голландский язык Голландии[3].

Вообще языки, не меняющие места, консервативны. Языки, на которых говорят в замкнутых областях, находящихся вдали от космополитических центров и больших путей сообщения, бывают удивительно архаичными. Так например литовский язык, крестьянский язык лесной и бедной области, в стороне от больших европейских наций, самый архаический изо всех индоевропейских языков.

Лучше всего языки сохраняются в горных областях или на краю полуостровов, куда внешние воздействия доходят в слабой степени. Примерами могут служить: баскский язык в пиренейских долинах и бретонский—у берегов Атлантического океана.

Густота населения также влияет на развитие языков. Разбросанность населения благоприятствует диференциации диалектов. Если же население собрано в большие бурги и города, эта концентрация облегчает создание общих языков, являющихся

---

[1] *Mencken H. L.* The American Language, N. Y. 1921.

[2] *Geddes*, Study of a Canadian French Dialect, 1908, цит. *Meyer-Lübke*, «Germ.-Rom. Monatshefte», Bd. I, S. 133; *Louvigny de Mantigny*, La langue française au Canada, Ottawa 1916.

[3] *H. Meyer*, Die Sprache der Buren, Göttingen 1901.

как бы средним арифметическим языков различных общественных классов, живущих в этих бургах или городах. Таким образом общественные воздействия не только замедляют или ускоряют языковое развитие, но кроме того они определяют значение и размах этого развития. Все, что мы сказали выше о взаимоотношениях между общими языками, диалектами и специальными языками, может служить иллюстрацией к этому общему положению.

Даже наша умственная деятельность регулируется социальными причинами. История языков, если она захватывает большой период времени, дает нам возможность констатировать влияние социальной эволюции на склад ума говорящих на этих языках. Была отмечена общая тенденция языков освобождаться от мистических черт и становиться более интеллектуальными, а также заменять конкретные выражения отвлеченными. Грамматический строй индоевропейских языков значительно более субъективен и конкретен в древних своих слоях сравнительно с более поздними. Категория времени выражается в нем в более субъективном аспекте длительности; но на протяжении веков понятие времени как таковое все более и более входит в языки и выражается ими.

Изучение языков дикарей подтверждает то, что дает нам история. В этих языках представлено лингвистическое состояние, на котором не отразилось почти совсем или в очень небольшой степени то, что мы называем культурой. Они изобилуют конкретными и частными категориями и этим отличаются от языков культурных народов, в которых все меньше частных категорий и все больше категорий общих и абстрактных. Дикарь выражает с редкой точностью сотни конкретных подробностей, ускользающих от нас; он уделяет больше внимания например пространственным отношениям, чем наши языки отношениям временным. Всякое действие представляется его сознанию связанным с какой-либо точкой пространства, и пространственные отношения живых существ и вещей отмечаются в языке специальными категориями в такой же мере и даже больше, чем отношения временные[1]. Ибо время—более отвлеченное понятие, чем пространство. Мы, культурные народы, отметая в морфологии более конкретное понятие пространства, охотно выражаем отвлеченное понятие времени. Это факт культуры.

Самый характер исчезновения в языке конкретных категорий подтверждает важную роль культуры в языке. Один из наиболее ярких случаев, это—исчезновение двойственного числа в греческом языке (см. стр. 98). Употребление двойственного числа в диалектах находится в прямой зависимости от степени культуры: диалекты, потерявшие двойственное число еще

---

[1] *Lévy-Bruhl*, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, p. 153; La mentalité primitive, Paris 1922.

в доисторическое время,—это диалекты, на которых говорила наиболее культурная часть населения. Диалекты колоний например опередили в этом отношении диалекты метрополий; тот же самый диалект сохраняет двойственное число в континентальной Греции и теряет его в Малой Азии или на островах. Это—общее и не имеющее исключений положение, если не считать некоторых диалектов, как например аттического; в последнем примере мы видим вмешательство специальных и вторичных сил, которые впрочем, будучи поставлены на должное место, только подтверждают правило, ибо диалекты метрополий, как было уже сказано выше, более консервативны, чем диалекты колоний; диалекты колоний представляют собою язык цвета греческих городов, наиболее активного, даровитого и живого элемента. Культура, в первую очередь литература, расцвела прежде всего в колониях. Так, сохранение двойственного числа в языке является здесь как бы признаком отстающей культуры, а исчезновение этой формы, наоборот, служит знаком передовой культуры.

Не следует без сомнения преувеличивать важность свидетельства греческого языка; и другие причины, уже чисто языкового порядка, объясняют более раннее исчезновение двойственного числа в языке колоний сравнительно с языком метрополии (см. стр. 268). Но свидетельство греческого языка не единственное; оно подтверждается историей большинства языков, даже неиндоевропейских. Такой же порядок исчезновения двойственного числа мы видим и в семитских и в финно-угрских языках.

В наиболее древних культурных языках семитской группы, как ассирийском, древнееврейском, арамейском, эфиопском, двойственное число сохранилось только в нескольких названиях парных органов; но арабский, бывший до VII в. н. э. языком отсталых кочевников, сохранил двойственное число в существительном, местоимении и глаголе; можно даже утверждать, что в истории арабского языка степень высоты культуры определяет степень сохранения двойственного числа. Среди языков финно-угрской группы двойственное число сохраняют только два наиболее отсталых языка: вогульский и остяцкий. Ни в финском, ни в венгерском нет уже и следов двойственного числа. Если мы спустимся вниз по лестнице культуры, то найдем в языках некоторых американских или австралийских племен даже тройственное число[1].

Само собою разумеется, что, изучая в данном случае психические процессы, лежащие в основе языка, мы отвлекаемся от грамматических условий, в которых этот язык осуществляется. Это две стороны, которые надо тщательно различать. Слабая способность к абстракции еще не исключает грамматической сложности. Невозможно установить никакого соотношения

---

[1] *Lévy-Bruhl*, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, p. 157.

между природой категорий сознания и числом или сложностью грамматических категорий. Последняя зависит прежде всего от силы памяти, а у дикарей память обыкновенно очень развита. Их жизненные нужды настоятельно требуют от них сильно развитой памяти. У них нет многочисленных приемов культурных народов, дающих этим последним возможность жить со слабой памятью. Как кажется, никто еще не изучал влияния состояния памяти на развитие языка. Однако же тот факт, что некоторые языки дикарей богаты различными формами и на долгом пути развития сохраняют это, иногда чрезвычайное, богатство сложнейших форм и словаря, очевидно связан с особенным развитием памяти. Память есть по существу элемент консервативный. Следовательно не в грамматической структуре надо искать отражения различия уровней культуры, а в том, насколько выражены в языке конкретные подробности. Есть определенное соотношение между степенью культуры, с одной стороны, и большей или меньшей конкретностью категорий мышления, с другой.

При толковании приведенных выше примеров надо учитывать связь между движением языка к абстракции и развитием культуры. Мы знаем, что язык есть отражение человеческого сознания и что по языку мы можем судить о мышлении, создающем этот язык. Мышление культурного человека более способно к абстракции, чем мышление первобытного человека, так как условия культурной жизни направляют ум к отвлеченному за счет конкретного. Торговля предполагает подсчеты, т. е. рассуждение; развитие политической жизни также благоприятствует привычке и вкусу к общим понятиям; и вообще мысль развивается от конкретного к абстрактному. Мы можем судить по самим себе, сравнивая себя со своими ближними, как велико может быть различие, с точки зрения степени отвлеченности, между двумя мышлениями. Для неграмотного крестьянина, говорящего по-французски, французский язык—орудие очень несовершенное. Поэтому он конечно его исправляет, приспособляя к своему употреблению. Он выбрасывает из него все отвлеченное, сводя к тому, что единственно важно для него— к конкретному. Он вводит в язык например звукоподражание и междометие; отсутствие конкретных категорий во французском языке он компенсирует лексическими средствами; он уничтожает во французских предложениях все, что в них есть формального и логического, расчленяя их.

Неудивительно, что язык дикарей изобилует конкретными словами, разнообразие и точность которых нас изумляют. Это— свойство всех языков негородской культуры. Эта черта была отмечена и в литовском языке, на котором мы знаем целый рассказ, состоящий из ряда звукоподражаний[1]. То же можно было

---

[1] *Leskien*, Schallnachahmungen und Schallverba im Litauischen, «Indogermanische Forschungen», Bd. XIII, S. 167.

бы найти и во французских крестьянских говорах. Сравните например рассказ на естественном крестьянском говоре с языком какого-либо из наших политических писателей XVIII в., сложившемся в школе логиков. Первый будет переполнен конкретными представлениями; он будет разорван, негладок, непоследователен и все же очень выразителен. Второй развивается последовательно в общих, отвлеченных формулах, связанных друг с другом, как посылки силлогизма. Эти два типа языка представляют собою два типа мысли. Но мы не можем даже похвастаться, что наши великие культурные языки совершенно свободны от всякого мистицизма. Они кажутся такими только на первый взгляд. Мистический элемент не в языке, он в самой мысли. Или, вернее, если он есть в языке, туда он попадает из мысли. Не нужно много усилий, чтобы обнаружить в языке неграмотного француза мистический элемент. Сила слова, создание ономастических преданий, колдовские формулы и гаданья, запреты слов с определенным значением во французском фольклоре—что это такое, как не формы мышления первобытного человека в языке культурного народа?

Можно вообразить себе условия, при которых французский язык возвратится вспять и вновь проделает ту дорогу, по которой он пришел к своему нынешнему состоянию. От выражения отвлеченной мысли он перейдет к конкретной. Он наполнится мистическими и субъективными категориями. Будет ли это прогрессом или регрессом? Говоря с точки зрения науки о языке,— ни тем, ни другим. Мы в нашей оценке должны отвлечься от выгод и невыгод, связанных с изменением культуры, даже от возвращения к тому, что называется варварством. Мы не имеем права считать отвлеченный и рассудочный язык более совершенным, чем язык конкретный и мистический, только потому, что первый принадлежит нам. Это два различных мышления, каждое из которых может иметь свои достоинства. Ничем нельзя доказать, что в глазах обитателя Сириуса мышление культурного жителя земли не есть вырождение.

Из всего этого видно, что̀ надо понимать под гипотезой прогресса в языке. Об абсолютном прогрессе очевидно не может быть речи, так же как и об абсолютном прогрессе в морали. Есть различные состояния, которые сменяют друг друга, и в каждом из которых господствуют определенные законы, являющиеся результатом равновесия действующих в них сил. Так дело обстоит и в языке. Некоторый относительный прогресс в истории языков все же можно отметить. Различные языки в различной степени приспособлены к различным состояниям культуры. Прогресс языка сводится к тому, что данный язык по возможности лучше приспособляется к потребности говорящих на нем. Но как бы действителен ни был этот прогресс, он никогда не бывает окончательным. Характерные черты языка

поддерживаются до тех пор, пока говорящие на нем сохраняют те же навыки мысли; но эти черты изменяются, изнашиваются и исчезают. Неверно представление о языке как об идеальной сущности, развивающейся независимо от человека и преследующей свои собственные цели. Язык не существует вне тех, кто думает и говорит на нем. Он коренится в глубинах индивидуального сознания; оттуда он берет свою силу, чтобы воплотиться в звуках человеческой речи. Но индивидуальное сознание— только один из элементов коллективного сознания, диктующего свои законы индивидууму. Развитие языков следовательно есть только один из видов развития общества. В нем не следует видеть беспрерывного движения к определенной цели. Дело лингвиста выполнено, когда он обнаружил в языке игру социально-исторических сил и взаимодействий.

БИБЛИОГРАФИЯ

Следующий ниже перечень отнюдь не претендует на то, чтобы дать исчерпывающую библиографию по всем вопросам языкознания или хотя бы по тем из них, которые были затронуты в предлагаемой книге. Он содержит лишь основные работы, которые своим разнообразием могут лучше всего дать представление о различных аспектах науки о языке. Относительно больше места отведено в перечне французским работам, чтобы отметить место Франции в развитии лингвистической науки.

[Перечень дополнен несколькими периодическими изданиями и монографиями на русском языке по вопросам общего языкознания и славяно-русской филологии; разумеется, эти дополнения не претендуют на то, чтобы охватить все богатство лингвистической литературы на русском языке.—*Ред.*].

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

На французском языке

«Annales de Bretagne», Rennes.
«Année sociologique», Paris.
«Bulletin de dialectologie romane», Bruxelles.
«Bulletin de la Société de linguistique», Paris.
«Journal asiatique», Paris.
«Mémoires de la Société de linguistique», Paris.
«La Parole», Paris.
«Revue celtique», Paris.
«Revue internationale de sociologie», Paris.
«Revue de métaphysique et de morale», Paris.
«Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes», Paris.
«Revue de phonétique», Paris.
«Revue des études anciennes», Bordeaux.
«Revue des études ethnographiques et sociologiques», Paris.
«Revue des études basques».
«Revue des études grecques», Paris.
«Revue des langues romanes», Montpellier.

На английском языке

«American Journal of Philology», Baltimore.
«Classical Philology», Chicago.
«Classical Review (The)», London.
«Harvard Studies in Classical Philology», Boston.
«Transactions of the Philological Society», London.

На немецком языке

«Annalen der Naturphilosophie» (Ostwald's Annalen).
«Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen», Braunschweig.
«Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur» (Paul und Braune's Beiträge), Halle.
«Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen» (Bezzenberger's Beiträge), Göttingen.
«Finnisch-Ugriche Forschungen», Helsingfors.
«Glotta», Göttingen.
«Indogermanische Forschungen», Strassburg.
«Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft», Leipzig.
«Neue Jahrbücher für das klassische Altertum», Leipzig.
«Wörter und Sachen», Heidelberg.
«Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft», Leipzig.
«Zeitschrift für deutsches Altertum» (Haupt's Zeitschrift), Leipzig.
«Zeitschrift für deutsche Wortforschung», Strassburg.
«Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung» (Kuhn's Zeitschrift), Berlin.
«Zeitschrift für romanische Philologie» (Gröber's Zeitschrift), Halle.
«Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften», Wien;
«Berichte über die Verhandlungen der sächs. Gesellschaft der Wissenschaften», Leipzig.

На итальянском языке

«Archivio glottologico Italiano», Roma-Torino-Firenze.
«Scientia», Bologna.

[На русском языке

«Доклады Академии наук СССР», серия В.
«Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук», 1896—1927.
«Журнал министерства народного просвещения», 1834—1917.
«Записки Коллегии востоковедов», Ленинград.
«Культура и письменность Востока», Баку-Москва, I—X.
«Революция и письменность», Москва.
«Русская речь», Ленинград I, I—III.
«Русский филологический вестник», Харьков 1879—1917.
«Советское языкознание», Ленинград.
«Труды Московской диалектологической комиссии Академии наук», I—XII.
«Ученые записки» университетов Московского, Казанского и др.
«Ученые записки Института языка и литературы РАНИОН», Москва, I, III, IV.
«Ученые записки Института этнических и национальных культур народов Востока», Москва.
«Язык и литература», изд. Института сравнительного изучения литературы и языков Запада и Востока, Л. I—VIII.
«Язык и мышление», изд. Института языка и мышления Академии наук СССР.
«Языковедение и материализм», Ленинград, I—II.
«Яфетические сборники», I—VII].

МОНОГРАФИИ

На французском языке

L. Adam, Le genre dans les diverses langues, Paris 1883.
Ch. Bally, Le langage et la vie, Genève 1913.
Ch. Bally, Précis de stylistique, Genève 1905.
Ch. Bally, Traité de stylistique française, Paris-Heidelberg 1909, 2 vol.
D. Barbelenet, De l'aspect verbal en latin, Paris 1913.
Ph. Berger, Histoire de l'écriture dans l'antiquité, Paris 1891.
J. Bloch, La formation de la langue marathe, Paris 1914.
M. Bonnet, Le latin de Grégoire de Tours, Paris 1890.
E. Bourciez, Éléments de linguistique romane, Paris 1910.
Bourdon, L'expression des émotions et des tendances dans le langage, Paris 1892.
P. Boyer et *N. Spéransky*, Manuel de langue russe, Paris 1905.
M. Bréal, Mélanges de mythologie et de linguistique, Paris 1878.
M. Bréal, Essai de sémantique, 3-e éd., Paris 1904.
F. Brunot, Grammaire historique de la langue française, Paris.
F. Brunot, Histoire de la langue française , Paris, 5 vol.
P. Cadière, Phonétique annamite, Paris 1901.
L. Clédat, Dictionnaire étymologique de la langue française.
L. Couturat et *Leau*, Histoire da la langue universelle, Paris 1903.
A. Cuny, Le nombre duel en grec, Paris 1906.
A. Darmesteter, La vie des mots étudiée dans leur signification, Paris 1887.
A. Darmesteter, Cours de grammaire historique de la langue française.
J. Darmesteter, Ormazd et Ahriman, Paris 1877.
A. Dauzat, Essai de méthodologie linguistique, Paris 1906.
Densusianu, Histoire de la langue roumaine, Paris 1901.
E. Deschanel, Les déformations de la langue française, Paris, 1898.
G. Dottin, Manuel pour servir à l'étude de l'antiquité celtique, 2-e éd., Paris 1915.
A. Dutens, Etude sur la simplification de l'orthographe, Paris 1906.
A. Ernout, Les éléments dialectaux du vocabulaire latin, Paris 1909.
G. Ferrand, Essai de phonétique comparée du malais et des dialectes malgaches, Paris 1909.
C. Fossey, Manuel d'assyriologie, t. I'Paris 1904.
R. Gauthiot, Essai sur le vocalisme du sogdien, Paris 1913.
R. Gauthiot, La fin de mot en indo-européen, Paris 1913.
A. van Gennep, Religions, moeurs et légendes, Paris 1908—1909.
Gilliéron et *Mongin*, Etude de géographie linguistique (*Scler* dans la Gaule romane), Paris 1905.
Gilliéron et *M. Roques*, Etudes de géographie linguistique, Paris 1912.
J. van Ginneken, Principes de linguistique psychologique (traduit du hollandais), Paris-Amsterdam-Leipzig 1907.
M. Grammont, Traité pratique de prononciation française, Paris 1914.
M. Grammont, La dissimilation consonantique, Dijon 1895.
L. Havet, Métrique grecque et latine, 3-e éd., Paris 1893.
V. Henry, Précis de grammaire comparée du grec et du latin, 6-e éd., Paris 1918.
V. Henry, Essai sur l'analogie, Paris 1883.
V. Henry, Antinomies linguistiques, Paris 1896.
A. Hovelacque, La linguistique, 4-e éd., Paris 1888.
H. Hubert et *M. Mauss*, Mélanges d'histoire des religions, Paris 1909.
C. Juret, Dominance et résistance dans la phonétique laine, Paris 1913.
B. Leroy, Le langage, Paris 1905.

L. Lévy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Paris 1910.
J. Loth, Les mots latins dans les langues brittoniques, Paris 1892.
V. Magnien, Le futur grec, Paris 1913.
J. Marouzeau, La phrase à verbe *être* en latin, Paris 1910.
A. Mazon, Emploi des aspects du verbe russe, Paris 1914.
A. Meillet, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, 2-e éd., Paris 1920.
A. Meillet, Introduction à l'etude comparative des langues indo-européennes, 4-e éd., Paris (русск. пер. Кудрявского 1914).
A. Meillet, Caractéres géneraux des langues germaniques.
A. Meillet, Recherches sur l'emploi du génitif-accusatif en vieux-slave, Paris 1897.
A. Meillet, Les dialectes indo-européens, Paris 1908.
Mélanges de linguistique offerts à F. de Saussure, Paris 1908.
Mélanges linguistiques offerts à A. Meillet, Paris 1902.
Mélanges d'indianisme offerts à Sylvain Lévi, Paris 1911.
Mélanges Louis Havet, Philologie et linguistique, Paris 1909.
G. Millardet, Etudes de dialectologie landaise, Toulouse 1910.
Max Muller, La science du langage, trad. Harris et Perrot, Paris 1867 (русск. пер. 1865 г.).
Max Muller, Nouvelles leçons sur la science du langage, trad. Harris et Perrot, Paris 1867—1868.
K. Nyrop, Grammaire historique de la langue française, 4 vol. Paris 1913.
G. Paris, Mélanges linguistiques, Paris 1906.
P. Passy, Etude sur les changements phonétiques et leurs caractères généraux, Paris 1890.
H. Pernot, Etudes de linguistique néo-hellénique, I, Paris 1907.
H. Pernot, Grammaire du grec moderne, Paris.
E. Renan, Essai sur l'origine du langage, 3-e éd., Paris 1862.
E. Renan, Grammaire générale et comparée des langues sémitiques, I.
T. Rosset, Les origines de la prononciation moderne étudiées au XVII-e siècle, Paris 1911.
L. Roudet, Éléments de phonétique générale, Paris 1911.
P. Rousselot et *F. Laclotte*, Précis de prononciation française, Paris.
P. Rousselot, Principes de phonétique experimentale, Paris 1897—1909.
P. Rousselot, Les modifications phonétiques du langage étudiées dans le patois d'une famille de Cellefrouin, Paris 1892.
Ch. Sacleux, Grammaire des dialectes swahilis, Paris 1909.
Ch. Sacleux, Essai de phonétique avec son application à l'étude des idiomes africains, Paris 1905.
L. Sainéan, L'argot ancien, Paris 1896.
F. de Saussure, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes, Leipzig 1879.
F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris-Lausanne 1916 (русск. пер. М. 1933).
Ch. A. Séchehaye, Programme et méthodes de la linguistique théorique, Genève-Paris-Leipzig 1908.
P. Stapfer, Récréations grammaticales et littéraires, Paris 1900.
A. Terracher, Les aires morphologiques dans les parlers populaires du nord-ouest de l'Angoumois, Paris 1914.
A. Thomas, Mélanges d'étymologie française, Paris 1902; Essais de philologie française, Paris 1898; Nouveaux essais de philologie française, Paris 1905.
Ch. Thurot, La prononciation française depuis le commencement du XVI siècle d'après les témoignages des grammairiens, Paris 1881—1883, 2 vol.
Leite de Vasconcellos, Esquisse d'une dialectologie portugaise, Paris 1901.
H. Weil, L'ordre des mots, 3-e éd., Paris 1879.
D. Whitney, La vie du langage (trad. de l'anglais), 3-e éd., Paris 1880,

На английском языке

Fr. Boas, Handbook of American Indian Languages (Smithsonian Institution Bureau of American Ethnology, Bulletin 40), Washington 1911.

J. Byrne, General Principles of the Structure of Language, London 1885.

P. Giles, A short Manual of Comparative Philology, 2-d ed., London 1901.

O. Jespersen, Growth and Structure of the Englisch Language, 2-d ed., Leipzig 1912.

O. Jespersen, Progress in Language, 2-d ed., London

J. Morris-Jones, A Welsch Grammar, Oxford 1913.

F.-W.-H. Migeod, The Languages of West Africa, London 1911—1913, 2 vol.

H. Oertel, Lectures on the Study of Language, New York and London 1902.

A.-H. Sayce, Introduction to the Science of Language, 2 vol., 3-d ed., London 1890.

Wheeler Scripture, The Elements of Experimental Phonetics, New York and London 1902.

H. Sweet, Primer of Phonetics, 2-d ed., Oxford 1902.

D. Whitney, Language and the Study of Language, New York and London.

На немецком языке

Baudouin de Courtenay, Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen, Strassburg 1895.

F. Bechtel, Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Schleicher, Göttingen 1892.

O. Behaghel, Geschichte der deutschen Sprache, Strassburg 1911.

F. Bopp. Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litthauischen, Gothischen und Deutschen, Berlin 1833.

K. Borinski, Der Ursprung der Sprache, Halle 1911.

O. Bremer, Deutsche Phonetik, Leipzig 1893.

C. Brockelmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, Berlin 1907—1908, 2 Bände.

O. Broch, Slavische Phonetik, Heidelberg 1911.

K. Brugmann und *B. Delbrück*, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 2-e Aufl. Strassburg.

Th.-W. Danzel, Die Anfänge der Schrift, Leipzig 1912.

B. Delbrück, Grundfragen der Sprachforschung, 1901.

B. Delbrück, Einleitung in das Sprachstudium, 5-e Aufl., Leipzig 1908.

B. Delbrück, Zur Stellung des Verbums, Leipzig 1911.

O. Dittrich, Grundzüge der Sprachpsychologie, 1, Halle 1904.

O. Dittrich, Die Probleme der Sprachpsychologie, Leipzig 1914.

K. O. Erdmann, Die Bedeutung des Wortes, 2-e Aufl., Leipzig 1910.

S. Feist, Europa im Lichte der Vorgeschichte, Berlin 1910.

S. Feist, Kultur, Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen, Berlin 1913.

F. N. Finck, Die Aufgabe und Gliederung der Sprachwissenschaft, Halle 1905.

F. N. Finck, Die Haupttypen des Sprachbaus, Leipzig 1910.

F. N. Finck, Die Sprachstämme des Erdkreises, Leipzig 1909.

G. von der Gabelentz, Die Sprachwissenschaft, 2-e Aufl., Leipzig 1901.

O. Ganzmann, Ueber Sprach-und Sachvorstellungen, Berlin 1902.

H. Gutzmann, Physiologie der Stimme und Sprache, Braunschweig 1909.

H. Hirt, Der indogermanische Ablaut, Strassburg 1900.

H. Hirt, Die Indogermanen, ihre Verbereitung, ihre Urheimat und ihre Kultur, 2 Bände., Strassburg 1905—1907.

O. Hoffmann, Geschichte der griechischen Sprache, Leipzig 1911.

W. Horn, Untersuchungen zur neuenglischen Lautgeschichte, Strassburg 1905.

W. Horn, Historische neuenglische Grammatik, I, Strassburg 1908.
H. Hübschmann, Das indogermanische Vokalsystem, Strassburg 1885.
K. Jaberg, Sprachgeographie, Aarau 1908.
O. Jespersen, Lehrbuch der Phonetik, 2-e Aufl., Leipzig 1913.
F. Kluge, Urgermanisch, Strassburg 1913.
F. Kluge, Von Luther bis Lessing, 4-e Aufl., Strassburg 1904.
F. Kluge, Unser Deutsch, 2-e Aufl., Leipzig 1910.
P. Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache, Göttingen, 1896.
F. Mauthner, Beiträge zu einer Kritik der Sprache, 3 Bände, Stuttgart 1900—1902
C. Meinhof, Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen, 2-e Aufl., Berlin 1910.
R. Meringer und *Mayer*, Versprechen und Verlesen, Stuttgart 1895.
W. Meyer-Lübke, Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft, Heidelberg 1901.
F. Misteli, Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaus, Berlin 1893.
L. Morsbach, Ueber den Ursprung der neuenglischen Schriftsprache, Heillbronn 1888
H. Möller, Semitisch und Indogermanisch, Kjöbenhavn 1906.
F. Müller, Grundriss der Sprachwissenshaft, Wien 1876—1888.
K. Nyrop, Das Leben der Wörter (übers. v. Vogt), Leipzig 1903.
H. Osthoff, Das Verbum in der Nominalkomposition, Jena 1877.
H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, 4-e Aufl., Halle 1909.
H. Pedersen, Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen, 2 Bände, Göttingen 1909—1913.
P. Persson, Beiträge zur indogermanichen Wortforschung, 2 Bände, Upsala und Leipzig 1912.
J. Poirot, Phonetik (aus dem Handbuch der physiologischen Methodik, hsgb. von R. Tigerstedt), Leipzig 1911.
J. von Rozwadowcki, Wortbildung und Wortbedeutung, Heidelberg 1904.
W. Scherer, Zur Geschichte der deutschen Sprache, 2-e Aufl., Leipzig 1878.
A. Schleicher, Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 1861 (4-e Aufl., 1874).
A. Schleicher, Ueber die Bedeutung der Sprache für die Naturgeschichte der Menschen, 1865.
A. Schleicher, Die deutsche Sprache, 2-e Aufl., 1869.
A. Schleicher, Sprachvergleichende Untersuchungen, 2 Bände, 1848—1850.
J. Schmidt, Die Verwandschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen, Weimar 1872.
O. Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte, Jena 1890 (русск. пер. 1886).
O. Schrader, Die Indogermanen, Leipzig 1911.
O. Schrader, Reallexion der indogermanischen Altertumskunde, Strassburg 1901.
H. Schuchardt, Slawodeutsches und Slawoitalienisches.
H. Schuchardt, Ueber die Lautgesetze (Gegen die Junggrammatiker), Berlin 1885.
E. Sievers, Grundzüge der Phonetik, 5-e Aufl., 1901.
H. Socin, Schriftsprache und Dialekte im Deutschen, Heibronn 1888.
H. Steinthal, Abriss der Sprachwissenschaft, 2-e Aufl., Berlin 1881.
F. Stolz, Geschichte der lateinischen Sprache, Leipzig 1911.
J. Storm, Englische Philologie, 2-e Aufl., 1892.
W. Streitberg, Urgermanische Grammatik, Heidelberg 1894.
S. Simonyi, Die ungarische Sprache, Strassburg 1907.
J. Szinnyei, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, Leipzig 1910.
A. Thumb, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus, Strassburg 1901.

R. Thurneysen, Die Etymologie, Freiburg-i-B. 1904.
M. Trautmann, Die Sparchlaute im allgemeinen und die Laute des Englischen, Französischen und Deutschen im besonderen, Leipzig 1884—1886.
W. Vietor, Elemente der Phonetik, 5-e Aufl., Leipzig, 1904.
W. Vondrak, Vergleichende slavische Grammatik, 2 Bände, Göttingen 1906—1908.
K. Vossler, Sprache als Schöpfung und Entwicklung, Heidelberg 1905.
K. Vossler, Frankreich's Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung, Heidelberg 1913.
J. Wackernagel, Studien zum griechischen Perfektum, Göttingen 1904.
D. Westermann, Grammatik der Ewe-Sprachen, Berlin 1907.
H. Winkler, Das grammatische Geschlecht, Berlin 1889.
W. Wundt, Völkerpsychologie, Bd. 1, Die Sprache, 3-e Aufl., Strassburg 1911—1912.
A. Zauner, Romanische Sprachwissenschaft, Leipzig.

На итальянском языке

M. Barone, Sui verbi perfettivi in Plauto e in Terenzio, Roma, 1908.
M. Barone, Sull'origine del genere grammaticale nell'Indoeuropeo, Roma 1909.
F. Ribezzo, I deverbativi sigmatici e la formazione del futuro indoeuropeo, Napoli 1907.
Trombetti, L'unità d'origine del linguaggio, Bologna 1905.

На датском языке

O. Jespersen, Sprogets Logik, Kjöbenhavn, 1913.
H. Pedersen, Et Blik paa Sprogvidenskabens Historie, Kjöbenhavn 1916.
V. Thomsen, Sprogvidenskabens Historie, Kjöbenhavn 1902.

[На русском языке

Академия наук—академику Марру, Л. 1934 г.
Алексеев В., Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация, Л. 1932.
Богородицкий В. А.. Лекции по общему языковедению, изд. 2-е, Казань 1915.
Богородицкий В. А., Фонетика русского языка в свете экспериментальных данных, Казань 1930.
Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики, изд. 5-е, М. 1935.
Бодуэн де Куртенэ И., Об отношении русского письма к русскому языку, СПБ 1912.
Бодуэн де Куртенэ И., Лекции по введению в языкознание, СПБ, 1913 (лит.).
Булаховский Л. А., Курс русского литературного языка, Харьков 1935.
Буслаев Ф., Историческая грамматика русского языка, изд. 5-е, М. 1881.
Виноградов В. В., Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., М. 1934.
Выготский Л. С., Мышление и речь, М. 1934.
Грот Я. К., Филологические разыскания, т. I—II, СПБ 1926.
Еремин и Фалев, Русская диалектология, Л. 1926.
Каринский Н. Очерки языка русских крестьян, М. 1936.
Кудрявский Д. Н., Введение в языкознание, 1913.
Марр Н. Я. Избранные работы. Л. т. I—V.
Мещанинов И. И., Введение в яфетидологию, Л. 1929.
Мещанинов И. И., Проблема классификации языков в свете нового учения о языке, Л. 1934.
Мещанинов И. И., Новое учение о языке, Л. 1936.

Обнорский С. П., Именное склонение, Л. 1926, 1931.
Петерсон Н. М., Очерк синтаксиса русского языка, М. 1923.
Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении, изд, 4-е, М. 1934.
Погодин А. Л., Язык как творчество, Харьков 1913 (Вопросы теории и психологии творчества, т. IV).
Поливанов Е. Д., Введение в языкознание для востоковедных вузов, т. I, Л. 1928.
Потебня А. А., Из записок по русской грамматике, изд. 2-е, Харьков 1888—1899.
Потебня А. А., Мысль и язык, изд. 4-е, Х. 1922.
Поржезинский В. Е., Введение в языковедение, изд. 4-е, М. 1916. (нем. пер. 1910).
Соболевский А. И., Лекции по истории русского языка, изд. 4-е, М. 1907.
Томсон А. И., Общее языковедение, изд. 2-е, Одесса 1910.
Ушаков Д. Н., Краткое введение в науку о языке, изд. 9-е, 1928.
Фортунатов Ф. Ф., Сравнительное языковедение (литогр.), М. 1899.
Шахматов А. А., Очерк древнейщего периода истории русского языка, П. 1915 (Энциклопедия славянской филологии).
Шахматов А. А., Синтаксис русского языка, I—II, Л. 1925—1927.
Шахматов А. А., Очерк современного русского литературного языка, изд. 2-е, Л. 1930.
Шор Р., Язык и общество, М. 1926.
Щерба Л. В., Русские гласные в качественном и количественном отношении, СПБ 1912.
Энгельс Фр., Франкский диалект, М. 1935.
«Языковые проблемы по числительным», Л. 1927].

Послесловие автора

Лингвистическая работа, законченная в 1914 г., несомненно требует поправок, для того чтобы быть на уровне науки в 1924 г. В годы 1914—1924 не по случайному совпадению появился ряд разнообразных трудов по общему языкознанию; никогда еще их не выходило так много и столь высокого качества.

«Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра, опубликованный в 1916 г. (2-е изд. в 1922 г.), мог быть использован автором настоящей книги только после окончательной редакции и только для одной или двух подстрочных примечаний; труд де Соссюра заключает в себе глубокие и оригинальные мысли, которые могли бы осветить ряд вопросов, затронутых в настоящей книге.

В момент окончания печатания настоящей книги г. А. Мейе опубликовал «Linguistique historique et linguistique générale»—сборник статей, одно соединение которых уже дает широкое и гармоничное учение. Так как большая часть этих статей уже раньше была напечатана в различных изданиях, они могли быть использованы и упомянуты в настоящей книге со ссылками на первоначальное место появления.

Одновременно вышла в свет небольшая книга: «La linguistique ou science du langage», в которой г. Марузо (Marouzeau) в простой и ясной форме излагает общедоступно некоторые из проблем, изученных лингвистами.

Две работы первостепенного значения, обе под заглавием «Язык», опубликованы уже после отпечатания настоящей книги: первая написана г. Э. Сепиром[1], вторая принадлежит г. О. Есперсену[2]; автор сожалеет, что

---

[1] *E. Sapir*, Language. An introduction to the study of speech, N.-Y. 1921 (русск. пер. 1935 г.).

[2] O. Jespersen, Language; its nature, development and origin, L. 1922.

он не смог обогатить и украсить свое изложение идеями этих книг. Автор охотно почерпнул бы кое-что также из труда г. Тромбетти (*Trombetti*, Elementi di glottologia, Bol. 1922), в которой почти универсальная эрудиция служит опорой оригинальной теории развития языка.

Несколько учеников Г. Шухардта (H. Schuchardt), объединив выбранные ими со вкусом отрывки, составили небольшой учебник по общей лингвистике, полный мыслей значительных и ярких. Этот «H. Schuchardt-Brevier» (Halle 1922), как указывает его подзаголовок, представляет собой подлинно «Путеводитель по общей лингвистике».

Проблемы общей лингвистики анализирует также г. Ф. Брюно (*Brunot*, La pensée et la langue); он применяет в своем труде новый метод изучения, распределяя языковые факты по выражаемым ими понятиям; его критика старых традиционных грамматических рамок соответствует некоторым замечаниям в настоящей книге (см. главу «Грамматические категории»).

Много полезных указаний можно почерпнуть из книги г. Мийарде (*Millardet*, Linguistique et dialectologie romanes, 1923). Автор в ней смело затрагивает некоторые вопросы лингвистической методологии и горячо их обсуждает.

Наконец «Festschrift Wilhelm Streitberg» (Heidelberg, 1924) освещает, как это видно из подзаголовка, положение и задачи, стоящие перед языковедами.

Читатель всячески приглашается ознакомиться с этими трудами; даже в тех случаях, когда в них развиваются идеи, сходные с идеями настоящей книги, они трактуются с других точек зрения, с другой оценкой и в других масштабах; что касается подробностей, то каждая из этих книг заключает в себе массу новых фактов, которые с пользой можно было бы ввести в настоящую книгу или которыми можно было заменить данные в ней примеры.

Однако ни одна из этих книг, по мнению автора настоящего труда, не дает ему основания для изменения общего плана настоящей книги.

Это служит доказательством тому, что наука о языке достигла такого уровня развития, при котором всякий общий синтез может строиться только одним путем.

Может быть единственная часть требует пересмотра—именно первая, посвященная звукам. Она построена по плану, который пожалуй уже устарел. Теперь, после труда «L'Assimilation» (Paris 1924), которым г. М. Граммон (M. Grammont) предваряет свою общую фонетику, ожидаемую нами, выясняется более простой и более научный способ группировки фактов.

План настоящей книги должен был бы включать в конце четвертой части шестую главу, посвященную распределению языков на земном шаре. Эта глава не введена в книгу по практическим соображениям, но эта задача, которая могла быть в данной книге только намеченной, теперь уже осуществлена в полном объеме в «Les langues du monde» группой лингвистов под руководством г.г. А. Мейе и М. Коэна (M. Cohen). Объем этого обширного описания языков оправдывает решение автора не включать эту задачу в настоящую книгу.

Интерес, проявленный некоторыми философами к его книге, должен побудить автора более четко высказать свои общие идеи, придать больше определенности своей системе и, особенно, согласовать ее в большей степени с достижениями психологических наук. Книга, выпускаемая г. Делакруа (*Delacroix*, Le langage et la pensée, Paris 1924) одновременно с переизданием настоящего труда, делает это пожелание бесполезным. Все лингвисты порадуются помощи, оказываемой им специалистом по смежной дисциплине. Немецкий философ г. Э. Кассирер (Cassirer) выпустил в 1923 г. книгу под заглавием «Philosophie der symbolischen Formen», T. I. «Die Sprache»; в ней он касается ряда основных вопросов общей лингвистики.

ПРИМЕЧАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Совершенно правильно разграничивая проблему возникновения отдельных языков и проблему возникновения человеческой речи в целом, Вандриес ошибочно считает последнюю проблемой нелингвистического порядка. Несомненно, что для решения вопроса о возникновении языка в целом должны быть привлечены данные ряда других дисциплин, но ведь привлечение данных других дисциплин необходимо при рассмотрении вопроса не только о возникновении, но и о дальнейшем развитии языка. Проблема возникновения языка является одной из основных проблем современного материалистического языкознания, ибо всякое рассматриваемое нами явление мы осмысливаем полностью только в его генезисе.

Анализируя средства решения проблемы происхождения языка, Вандриес предостерегает против заключения о характере первобытного языка на основе тех материалов, которые дают нам языки «дикарей» (т. е. народов, стоящих на более ранней ступени общественно-хозяйственного и культурного развития). Автор прав, указывая, что эти языки проделали длинный путь развития и не являются столь примитивными, как это иногда думают; но в свете учения о едином глоттогоническом процессе, согласно которому все языки проходят одни и те же ступени развития, но в различные хронологические эпохи, названные языки стоят ближе к исходной точке развития, чем языки народов, находящихся на более поздних ступенях развития, а потому несомненно могут дать больше материала для суждения о характере языка в начальный период его существования. Изучение языка детей, обращение к которому для решения проблемы возникновения языка Вандриес также отвергает, дает меньше, так как ребенок, окруженный уже говорящими взрослыми, развивается в иных условиях, чем первобытный человек. Но тем не менее и из изучения развития мышления и речи ребенка можно кое-что извлечь для понимания закономерностей развития мышления и речи человека на ранней ступени его существования.

В решении самой проблемы возникновения языка Вандриес склоняется к теории первобытного синкретизма. Но сама по себе эта теория недостаточна для решения вопроса, так как она рассматривает генезис искусств и речи в отрыве от их общественной базы. Вандриес делает шаг по пути к верному решению, говоря, что язык образовался в обществе в тот день, когда люди испытали потребность общения между собой и когда человеческий мозг был достаточно развит, для того чтобы пользоваться языком. Но надо было пойти дальше и объяснить, почему возникла эта потребность общения и в результате чего человеческий мозг достиг необходимой ступени развития. Проблема возникновения человеческого общества, без решения которой нельзя говорить о возникновении языка, а также возникновения языка как средства общения в процессе трудовой деятельности общественного человека решена Энгельсом (см. «Труд как фактор эволюции в процессе развития от обезьяны к человеку» в «Диалектике природы»), в последнее же время вопрос о происхождении языка подвергся детальной разработке в трудах академика Н. Я. Марра (см.

s. v. «Происхождение языка» в предметном указателе в издании его «Избранных работ»).

Стр. 21 «Самое общее определение, которое можно дать языку, это назвать его системой знаков».

В определении языка как системы знаков без объяснения генезиса этих знаков, приводящем к отрыву языка от мышления и бытия, Вандриес примыкает к де Соссюру (см. *Ф. де Соссюр*, Курс общей лингвистики, М. 1933, стр. 77 и сл.).

Стр. 22 «Но нам известна и естественная форма зрительного языка—язык жестов».

Как пережиток определенные стабилизированные жесты, выражающие определенные понятия, сохранились и у современных культурных народов. Так например кивок головы выражает утверждение или согласие; несколько раз быстро повторенное горизонтальное движение головы выражает отрицание или отказ и т. п. Помимо работ, указанных Вандриесом, о роли кинетической, или линейной (т. е. жестовой), речи на ранних ступенях развития человеческого общества см. *Н. Я. Марр*, Избранные работы (s. v. «Линейный язык», «Происхождение языка»).

Стр. 28 «...ученые индологи объясняли всю мифологию блеском молнии или ходом солнца».

Здесь имеются в виду солярная (т. е. «солнечная») мифологическая теория Макса Мюллера и метеорологическая, или «нубилярная» (т. е. «облачная») теория А. Куна, пользовавшиеся значительной популярностью в середине прошлого века и подвергшиеся жестокой критике в работах исторической и антропологической школ в конце того же столетия.

ЧАСТЬ I

ЗВУКИ

Глава I

Звуковой материал языка

Глава посвящена сжатому систематическому изложению физиологии звуков речи. С полным основанием разграничивая три момента в звуковой стороне языка—производство, передачу и восприятие звука, Вандриес, как и большинство лингвистов, подробно останавливается лишь на первом. Для этого имеются достаточно веские причины. Изучение производства звука более просто, более доступно непосредственному наблюдению; кроме того производство однозначно определяет само звучание—звук, являющийся результатом определенной работы органов речи. Правда, один и тот же звук может быть получен в результате различных работ органов речи (различных способов производства звука); но определенная работа органов (способ производства звука) всегда дает один и тот же результат, одно и то же звучание.

Существенным недостатком фонетических воззрений Вандриеса является совершенное отсутствие учения о фонемах как звуках, на которых основано различение смысловых единиц человеческой речи. Между тем теория фонем, элементы которой имеются и у де Соссюра, стоит в центре внимания новейшей лингвистики. Правда, Вандриес обращает внимание на фонематическую роль некоторых звуковых моментов, которые в наиболее распространенных европейских языках этой роли не играют (удар голосовой щели в датском, интонация слова в языках Дальнего Востока), но рассмотрения звуковых средств в целом как системы различителей смысловых единиц мы у него не находим. Термин же «фонема» у Вандриеса употребляется в том же смысле, как и у де Соссюра,—для обозначения результата произнесения (фонации), т. е. просто конкретного звука языка вне зависимости от его роли в языке.

Стр. 30 «Языковеды почти не занимаются слушанием».

Акустическое качество звуков речи изучается преимуществено теми языковедами, которые пользуются экспериментально-фонетическими методами исследования. Из русских лингвистов большое внимание слуховой стороне языка уделяет А. И. Томсон («Общее языковедение», Одесса 1906, 2-е изд., 1910, глава IV) и В. А. Богородицкий («Фонетика русского языка в свете экспериментальных данных», Казань 1930).

Стр. 32 «...открытое «è», закрытое «é»...

В русском языке тоже наблюдается в известных положениях закрытое и открытое «е» (ср. *это* с «е» открытым и *эти* с «е» закрытым); но различие между «е» открытым и закрытым у нас не играет роли для различения смысла. Русское открытое «е» более закрытое, чем французское открытое «е», русское закрытое «е» приблизительно такое же, как французское.

«Во французском парижском «а» легко отличимы три варианта: закрытое «а» в pâte, открытое в patte и среднее в carotte».

«А» в pâte является также более задним, а «а» в patte—более передним. В русском языке мы найдем последнюю разницу между «а» в слове *дал* и «а» в слове *дать*; «а» в слове *дал* (в силу своего положения перед велярным «л») является более задним.

Стр. 33 «...согласные взрывные гортанные, фарингальные или межсвязочные».

Межсвязочным взрывным является так называемый glottal stop, о фонетическом использовании которого см. ниже стр. 40. К фарингальным (от farinx—зев) современные фонетисты относят так называемый «аин», представленный в языках семитских, на территории Союза—в яфетических языках Дагестана и Северного Кавказа.

Стр. 34 «Если взрыв образуется у твердого нёба, получается палатальное «к»...»

Подобным же звуком является русское «к» в положении перед гласными «е», «и», например *кит*, *реке́*. Определение этих звуков как палатальных является впрочем не вполне точным.

«Если же взрыв происходит у мягкого нёба или в направлении к нёбной занавеске—получается велярное «к»...»

Подобным же звуком является русское «к» в положении перед гласными заднего образования «а», «о», «у», например *как*, *кол*, *курица*. В некоторых языках встречаются согласные с еще более задней преградой (так называемые глубокозаднеязычные), например татарское qul (*рука*).

Стр. 35 «Есть фрикативные зубногубные, зубные, альвеолярные, палатальные, велярные...»

Зубногубным фрикативным является например русское «ф», альвеолярным фрикативным является русское «с», хотя многие русские лингвисты помещают его в категорию зубных, не отличая по месту образования от «т»; палатальным (в указанном выше условном смысле) является русское «х» перед «е», «и», например *хитрый*; велярным (т. е. заднеязычным или задненёбным)—русское «х» перед «а», «о», «у», например *холм*. Английское «th» обычно называют не зубным, а межзубным или интерденτальным.

«...они называются полувзрывными или лучше аффрикатами».

Примером аффрикат могут служить русские «ц», «ч».

Стр. 36. «... нужно было бы помножить число анализированных нами согласных на два...»

Вандриес ограничивается только двумя наиболее распространенными типами работ голосовых связок; в действительности многие виды согласных (например все взрывные ртовые) образуют значительно большее число разновидностей благодаря изменению гортанных работ; так например в яфетических языках Дагестана встречаются—при одном месте образования—взрывные «смычногортанные» (с надгортанной артикуляцией), глухие придыхательные, глухие чистые, звонкие, т. е. число согласных взрывных приходится множить не на два, а на четыре. С другой стороны, обычно не все согласные любого данного языка могут быть и глухими и звонкими.

Так например в русском языке «р», «л», «м», «н» не имеют глухих соответствий. Лишь изредка, опять-таки в определенных положениях (в конце слова после глухого согласного), эти звуки могут становиться глухими (например в словах *Петр*, *тепл*). Напротив, русские аффрикаты «ц», «ч» не имеют звонких соответствий. Лишь, изредка, опять-таки в определенных положениях (в конце слова перед начальным звонким согласным следующего слова, если оба слова тесно между собой связаны и произносятся без паузы), они могут становиться звонкими (например *отец болен*, *дочь больна*).

«Язык очень часто пользуется этим консонантическим элементом, делая из «u», «i», «ü» согласные».

Звуком, промежуточным между гласными и согласными, является русский «й». В положении перед ударением щель, остающаяся для прохода воздуха в полости рта, становится у́же, и звук этот становится по существу согласным (например в словах *яма*, *елка*). В положении же после ударения щель эта делается шире, и звук становится по существу гласным (например в словах *крайний*, *сарай*, его называют в этих случаях неслоговым «и»). Примером неслогового «у» (звук, близкий к тому, который является во французских oui, loi, но более приближающийся к гласному, чем французский) могут служить украинские и белорусские звуки, соответствующие русскому литературному «в» и «л» перед согласным и в конце слова (например украинское *бив*, белорусское *быў*). Эти звуки в таком же положении встречаются в некоторых русских говорах. Звук, близкий к тому, который слышится во французском lui (неслоговое «ü», т. е. лабиализованный звук высокого переднего образования,— подобным слоговым звуком является русское «у»—орфографическое «ю» между двумя мягкими согласными, например в слове *любит*), встречается в некоторых украинских говорах в Польше (например в районе Пинска) в сочетании с «ы» или «и» после «р» в тех словах, где по-русски звучит «о», например *рюывный*—русский *ровный* («юы» произносится в один слог).

Стр. 37. «Велярный «l»...есть также и в славянских языках».

Таким звуком является обычное русское твердое «л».

«...плавные... могут функционировать, как гласные, образуя слог».

В русском языке в быстром произношении плавные в безударных слогах также могут становиться слоговыми: в результате редукции безударный гласный совершенно исчезает, и его функцию принимает плавный согласный. Так например слова *продавщица*, *сделала* могут быть в беглой речи произнесены с слоговым «р», «л», (в первом случае совершенно исчезает неударяемое «о» после «р», во втором случае—неударяемое «а» между двумя «л», которые сливаются в один слоговой звук).

Стр. 38. «Дифтонгом называется сочетание двух гласных в одном слоге».

Примером дифтонгов могут служить русские «ай», «ей», «ий», «ой», «уй» в словах *край*, *скорей*, *кий*, *домой*, *дуй*, где «й» в положении после ударения является неслоговым гласным, а не согласным.

«Литовский язык доныне сохраняет специальную трактовку «el» и «er»...

В литовском языке ударные слоги различаются по музыкальной интонации; в одних музыкальный тон к концу слога повышается, в других—понижается. В дифтонгах с восходящим ударением (т. е. стоящих под ударением и имеющих восходящую интонацию, которая обозначается ˜)вторая часть дифтонга произносится более высоким тоном. В сочетаниях гласного с «r», «l» так же, как и в обычных дифтонгах (сочетаниях слогового гласного с «i» или «u» неслоговым), при наличии восходящего ударения повышение интонации не ограничивается гласным, но продолжается и во время произнесения «r» или «l», например duktr̃es—*дочери* (родительный падеж).

«Следует заметить, что...носовые гласные «an», «in», «un», не соответствуют гласным «a», «i», «ü», но скорее «o», «e», «eu» закрытому».

Французское носовое «а» чаще рассматривается французскими фонетистами как заднее «а» («а» в pâte); носовые же «е» и «eu» приравниваются

к соответствующим открытым, а не закрытым звукам (см. *Passy*, Dictionnaire phonétique).

Стр. 39. «Древнегреческий язык сохранил в своих ударениях следы этой судьбы носовых, и даже в наше время можно подтвердить это положение примерами из литовского языка».

В древнегреческом, так же как и в литовском, ударный слог мог иметь двоякую интонацию—восходящую и восходяще-нисходящую. Последняя могла падать лишь на долгий гласный или дифтонг. Помимо дифтонгов в собственном смысле слова эта интонация могла падать на сочетание краткого гласного с плавным или носовым согласным. В литовском, так же как и в сочетаниях с плавными, восхождение тона при восходящей интонации продолжается во второй неслоговой части дифтонга и в сочетаниях с носовыми согласными, например, szim̃tas—*сто*.

Стр. 40. «Два датских слова... отличаются в произношении только наличием удара».

В русском языке твердый приступ фонематического значения не имеет; как вариант произношения он появляется лишь изредка, при особо отчетливом произношении перед начальным гласным: *экий чудак*! (можно произнести *'экий чудак*!). В некоторых же языках СССР он имеет фонематическое значение, т. е. является средством различения одних слов от других, например в некоторых яфетических языках Северного Кавказа (кабардинском и др).

Стр. 43. «...во французском языке... инспирируя альвеолярный «t», показывают восхищение или удивление; инспирация звука «f» выражает или удовлетворение лакомки, или чувство усилия, или острой, но не сильной боли».

Аналогичные чувства выражают эти звуки и в русском языке. Как видно из приведенных примеров, они наличны в междометиях, по существу являющихся не словами, но звуковыми жестами, передаваемыми описательно, как «причмокивание», «прищелкивание», «отдувание» и т. п.

Глава II

Фонетическая система и ее изменения

В качестве основного положения этой главы Вандриес выдвигает положение о наличии в каждом языке не просто совокупности звуков, но системы их, т. е. наличия связи между всеми элементами их, притом связи физиологической. Несомненно, что каждый язык для производства звуков пользуется определенной системой связанных между собой типичных работ органов речи. Эта система в лингвистике обычно называется артикуляционной базой. Но к этому следовало бы добавить (и даже выдвинуть на первый план), что звуки данного языка связаны между собой не только физиологически, но и (в первую очередь) как различители определенных смысловых единиц. Этого Вандриес не делает; как уже было сказано в примечании к предыдущей главе, ему вообще чужда концепция фонемы.

Говоря о самой механике звуковых изменений, Вандриес высказывает общепринятую у младограмматиков точку зрения на так называемые «звуковые законы» как на эмпирическое констатирование факта, имевшего место в определенную эпоху в определенном языке. Но, следуя де Соссюру и Мейе, Вандриес вносит в это понятие существенную поправку, подчеркивая необходимость различать ф о р м ы изменения звуков (субституцию и длительную эволюцию, очаг изменения и зону и пути его дальнейшего распространения и т. п.).

Точно так же Вандриес вносит ряд дополнений к тем объяснениям, которые давались младограмматиками наблюдавшимся отклонениям от звукового закона; наряду с действием аналогии и заимствованием он отмечает менее значительные, но своеобразные явления культурно-исторического характера, как гиперурбанизм.

Пытаясь найти причины звуковых изменений, Вандриес указывает на фонетическое влияние на данный язык или диалект других языков или диалектов и на определенную естественную тенденцию звуковых изменений, существующую в каждом языке. Как и А. Мейе (см. «Введение в сравнительную грамматику индоевропейских языков», Юрьев, 1914, стр. 22), он приписывает большую роль в этих изменениях смене поколений. В действительности ни влияние одних языков на другие (хотя оно и играет большую роль), ни естественная тенденция звукового развития, ни смена поколений сама по себе не в состоянии объяснить, почему происходят те или иные изменения. Необходимо вскрыть, почему данному языку свойственна именно такая-то тенденция и почему именно в такую-то эпоху язык претерпевает более интенсивные изменения. Указания на общие закономерности звукового развития языка мы находим в работах акад. Н. Я. Марра (см. «Избранные работы» s. v. «Звуки речи», «Звуковые законы» и т. п.). Существенным дополнением к работам Марра, затрагивающим фонетические проблемы, и разъяснением некоторых его положений является статья Л. В. Щербы «О диффузных звуках» (Академия наук—ак. Н. Я. Марру, Л. 1935). Работы Марра и Щербы показывают, насколько важно учение о фонеме и для построения исторической картины звукового развития языка.

Стр. 45. «Во французском языке звуки «а» и «о» имеют, вообще говоря, различный тембр, в зависимости от того, краткие они или долгие».

В русском языке гласные не имеют различия по длительности, подобного французскому или немецкому. В ударном открытом слоге все русские гласные дольше, чем в ударном закрытом или в безударном. Кроме того удлинение гласного у нас иногда используется для выражения эмоциональных оттенков (например *баальшущий пароход!*).

Стр. 47. «Никому так не трудно произнести смягченное «l», как французам нашего времени, которые еще недавно им владели».

Современное французское «j» (орфографически изображается через «y» или «il», «ill» после гласной) частью развилось из очень смягченного «l», отличающегося от обычного тем, что при произнесении его (как и при произнесении вообще так называемых мягких звуков) язык в передней своей части примыкает к небу более широкой поверхностью. В результате перехода в «j» это очень мягкое «l» совершенно исчезло из французского литературного языка.

«Классический образец правильных изменений, это—«передвижение согласных» в германских языках...»

В истории русского языка примером закономерных фонетических изменений может служить судьба гласных «ъ» и «ь», существовавших некогда во всех славянских языках. На протяжении XII в. (а в некоторых говорах может быть и XIII) во всех восточнославянских наречиях, т. е. в тех наречиях, из которых развились современные восточнославянские языки (русский, украинский и белорусский), в конце слова и в середине слова в безударном положении перед слогом с любым другим гласным (не «ъ», «ь»), а также с сохранившимися «ъ», «ь» эти звуки исчезли, а под ударением и перед слогом с исчезнувшими «ъ», «ь» перешли: «ъ» в «о», «ь» в «е», например старое *сънъ* перешло в *сон*, старое *дьнь* перешло в *день*, старое *бьрьвьно* перешло в *бревно* (см. подробнее *А. И. Соболевский*, Лекции по истории русского языка, М. 1907).

Стр. 50. «Катулл смеется над одним римлянином,... который в подражание греческому языку произносил латинское «c» с придыханием...»

Латинское «c» («k») было непридыхательным, и в латинском языке вообще не было придыхательных согласных. Вследствие сильного влияния греческой культуры и языка в патрицианских слоях римского общества конца республики и эпохи империи в латинском языке появились придыхательные глухие согласные «c» («k»), «t», «p» (древнегреческие «φ», «θ», «χ» были придыхательными)—сначала в собственных именах, а затем и в нарицательных (например pulcher—*красивый* вместо старого pulcer). Впрочем это произношение удержалось лишь в единичных словах. В истории рус-

ского языка аналогичным примером может служить офранцуженное произношение высших слоев дворянства начала XIX в., подвергавшихся сильному влиянию французской культуры и языка. Ср. у Пушкина в «Евгении Онегине» о Лариной-матери:

«...И русский Н, как N французский,
Произносить умела в нос...»

(здесь идет речь о произношении по французскому образцу носовых гласных).

Стр. 52. «Если нам даны два диалекта, развившихся из одного и того же языка по определенным законам, их фонетическая система дана в этих законах».

Вандриес, как и А. Мейе, в интерпретации понятия звукового закона выдвигает в качестве главного его содержания формулировку звуковых соответствий (корреспонденций) между родственными языками; самые же причины, вызывавшие эти корреспонденции, могут быть весьма различными (см. выше, вводное примечание ко всей главе). Этим пониманием звукового закона социологическая школа значительно отклоняется от младограмматической концепции звуковых изменений, придававшей понятию фонетического закона характер объяснительный.

Стр. 53. «Когда второй ряд этих слов вошел во французский язык... фонетические законы, изменившие форму слов первого ряда, уже перестали действовать».

В истории русского языка подобным примером может служить проникновение сочетания «жд» в словах, заимствованных из старославянского языка. В ряде случаев древневосточнославянскому «ж» соответствовало старославянское «жд» (например древневосточнославянское *вижю*, современное *вижу*, старославянское *виждо*^{н} с «о» носовым). В древнейших восточнославянских памятниках, даже списанных со старославянского, «жд» чаще заменялось через «ж», так как сочетание «жд» вообще было чуждо древневосточнославянским наречиям. В дальнейшем же, когда в восточнославянских наречиях это сочетание стало возможным (оно получилось вследствие исчезновения «ь» между «ж» и «д», например *ждать* из старого *жьдать*), в русский и другие восточнославянские языки проникли из старославянского языка многие слова с «*жд*» в тех корнях, где в русском языке было «ж», например *гражданин* наряду с *горожанин*, *хождение* наряду с *хожу*.

«Причина в том, что Butter, Messe, mass заимствованы из латинского языка».

Аналогична судьба старославянских заимствований в русском языке. В русском литературном языке на месте древнего ударного «е» перед твердым согласным и в конце слова появился «о» (с сохранением мягкости предшествующего согласного), например *нёс*, *вёсла*, *сёстры*, *всё*. Но в словах, заимствованных из старославянского, где этого перехода не было, мы находим «е» вместо ожидаемого «о» («ё»), например *крест*, *небо* (ср. исконное русское *нёбо*), *бытие*.

Стр. 54. «Например в каком-нибудь сельском диалекте можно услышать lèr вместо loir рядом с произношением poire».

Аналогичное явление можно наблюдать в русских говорах. В русском литературном языке, как и в южнорусских говорах, безударное «о» вследствие редукции (ослабления) не отличается от «а». В северорусских же говорах старое различие неударяемого «о» от «а» сохранилось. Но в словах, проникших в северные говоры из литературного языка, вместо этимологического «о» является в первом предударном слоге «а», например *салдат*, вместо *солдат*.

Стр. 56. «И даже, говоря географически, мы часто будем наблюдать на данной площади фонетическую ступенчатость...»

Подобное явление можно иллюстрировать и фактами из русских говоров. В древнерусском языке «ѣ» существовало как звук, отличный от «е». В русском литературном языке в произношении «ѣ» и «е» уже давно не

различаются. Двигаясь от Москвы на север (московский говор лежит в основе нашего литературного языка), мы в определенном месте (в районе Костромы) пересечем границу, за которой «ѣ» будет произноситься перед твердыми согласными, как дифтонг «иэ», а перед мягкими—как «и», например *хлиэб*, *мисяц*. А еще дальше к северу (на Сухоне, в районе г. Тотьмы) мы попадаем в такой район, где «ѣ» будет произноситься как дифтонг «иэ» и перед мягкими согласными (т. е. не только *хлиэб*, но и *миэсяц*). Эти три способа произношения «ѣ» (считая совпадение «ѣ» с «е», свойственное литературному языку и говорам к северу от Москвы по правую сторону Волги) отражают в то же время три последовательные исторические ступени развития «ѣ». Наиболее архаичным является тотемское произношение, более новым—костромское, еще более новым—московское.

Стр. 57. «...мы в этом сослагательном восстановили взрывный под влиянием таких форм...»

Термин «аналогия» употребляется Вандриесом, как и всей социологической школой, условно, для обозначения устранения звуковых чередований из грамматического ряда слов (парадигма склонения, спряжения, словообразовательного ряда). Проблема психологического механизма аналогии, вызвавшая большие споры в лингвистической литературе младограмматиков, оставляется без внимания. Примером аналогии в этом условном понимании в истории русского языка может служить произношение *берёзе*, *на берёзе*, где после мягкого «р» произносится «о» (пишется «е», «ё»). В древности и здесь и в именительном падеже произносилось «е». Затем «е» перед твердым согласным и в конце слова перешло в «о» с сохранением мягкости предшествующего согласного. В результате вместо старого *береза* фонетически получилось *берёза*. В дательном и предложном падежах фонетически этот переход не мог получиться (так как изменение «е» в «о» не происходило перед мягкими согласными). Но под влиянием именительного падежа получились формы *берёзе*, *на берёзе* и т. д.

Стр. 59. «В действительности же есть спонтанные фонетические изменения...»

В отличие от Мейе, принимающего теорию субстрата для объяснения звуковых изменений языка (ср. его «Linguistique historique et linguistique générale», P. 1921), Вандриес относится к ней крайне скептически, объясняя спонтанные изменения из сдвигов уже существующей системы звуков.

Глава III

Фонетическое слово и словесный образ

Правильно отмечая, что в действительности мы никогда не имеем дела с изолированными звуками («фонемами» по его терминологии), Вандриес в этой главе пытается раскрыть соотношения между звуковой стороной языка и членением речи на определенные смысловые единицы («деления психологические и грамматические»), дать фонетическую характеристику отдельного слова и исследовать комбинаторные изменения звуков в пределах отдельного слова. Эта попытка неизбежно приводит его к осознанию того, что не все звуки языка имеют одинаковое значение как различители смысловых единиц. Вандриес подымает вопрос о различной «силе» «фонем» (т. е. звуков) именно со стороны обозначения ими смысловых единиц. Он указывает например на тот факт, что диссимиляция не имеет места тогда, когда все части слова этимологически ясны (т. е. отчетливо осознаются говорящим). Но он не в состоянии довести раскрытие связи между звуковой стороной и смысловыми единицами речи до конца и ограничивается лишь рассмотрением отдельных явлений (например диссимиляции) именно вследствие уже указанного отсутствия у него понятия фонемы как звука-различителя смысловых единиц; ибо только это понятие дает возможность преодолеть тот разрыв между фонетикой, с одной стороны, и разделами языкознания, изучающими смысловую сторону языка (грамматикой,

склеикологией), с другой стороны, который так характерен для младограмматиков и, пожалуй, для всего языкознания второй половины XIX в.

Для фонетической характеристики отдельного слова Вандриес считает наиболее важными явления конца слова, поскольку ударение может обнимать и целую группу слов, а не только одно слово. Здесь на воззрения Вандриеса бесспорно оказали влияние исследования Готьо о явлениях конца слова в индоевропейских языках. Но Готьо изучал языки древнеписьменные; вообще же явления конца слова тоже не являются вполне надежным критерием для фонетического выделения слова. Так, например, русские предлоги, являясь отдельными словами, не всегда подчиняются тем нормам конца слова, которые вообще действуют в русском языке (например мы говорим *перед одним* без оглушения конечного «д» в слове *перед*, но *раз один* произносим, как *рас один*).

В этой же главе Вандриес в кратких чертах характеризует психическую сторону речевого акта, выдвигая в качестве основных понятие с л о в е с н о г о о б р а з а как содержания, облеченного или могущего быть облеченным в известную звуковую форму, и понятие ф р а з ы как формы звукового оформления словесного образа. Признавая таким образом в отличие от части психологистов XIX в. примат фразы над отдельным словом, Вандриес при рассмотрении понятия словесного образа остается целиком на почве индивидуальной психологии представлений, рассматривая речевой акт лишь в той его части, которая связана с передачей импульса от центра к периферии нервной системы, и не касаясь условий возникновения этого импульса.

Стр. 61. «...наследникам ведийских риши...»

Риши—святые отшельники древнеиндийских мифов, которым традиция приписывает составление гимнов Вед—наиболее раннего памятника древнеиндийской литературы и языка. Эти гимны, дошедшие до нас в довольно поздних списках, но оформленные не позднее 2000—1500 лет до нашей эры, сложены в основном силлабическим стихом. Позднейшие учения о стихосложении древней Индии исходят в описании метров из счета слогов.

«...в кипрском письме...»

Найденные в 50-х годах на острове Кипре надписи, сделанные своеобразным письмом, близким по форме к древнекритскому, были прочитаны в 70-х годах соединенными усилиями ряда ученых; они оказались написанными на кипрском диалекте греческого языка не буквенным, а слоговым письмом.

«...греческие слова *των αιλων, τον ἀρ υρον*»...

Των αιλων—кипрская форма, соответствующая аттическому *τῶν ἄλλων* родительного падежа множественного числа от *ἄλλος* (*другой*); *τον ἀρ υρον* (*серебро*) в винительном падеже имеет ту же форму в аттическом.

Стр. 62. «Это все становится поразительно ясным на регистрирующем цилиндре кимографа».

Кимограф—равномерно движущийся цилиндр, соединенный с различного рода записывающими приборами, широко используемый при экспериментальной работе в самых разнообразных областях. При фонетических исследованиях он дает возможность регистрировать в форме кривых как движения органов речи, так и воздушные колебания, получающиеся в результате этих движений. Подробно о применениии кимографа в экспериментальной фонетике см. *В. А. Богородицкий*, Курс экспериментальной фонетики, вып. I—III, Казань 1917—1922.

Стр. 63. «...ударение падает на последний или предпоследний слог...»

На последний слог ударение всегда падает например во французском языке, на предпоследний—в польском.

«...в некоторых на первый слог».

На первый слог ударение падает в финском (суоми), большей частью в коми-зырянском.

«Есть языки, в которых ударение свободное».

Примером языка с свободным ударением, т. е. ударением, падающим на любой слог относительно конца или начала слова, является русский.

Стр. 63. «...энклитики—маленькие словечки, не имеющие самостоятельности и примыкающие к предшествующему слову».

В русском языке примером энклитик могут послужить частицы «ли», «ка» и т. п. (*пришел ли он?*, *иди-ка сюда*).

«...развивается второстепенное ударение наряду с главным».

Такое второстепенное ударение мы наблюдаем в русских длинных сложных словах, например в слове *кораблекрушение* помимо главного ударения наблюдается второстепенное ударение на первом слоге.

Стр. 64. «...ударение вовсе не обязательно падает на самый важный слог слова..».

В некоторых языках ударение действительно падает на наиболее важный (корневой) слог. Так например в немецком в незаимствованных словах ударение всегда лежит на корневом слоге.

«Во многих языках конечный отрезок слова претерпевает особую трактовку».

Такое явление мы наблюдаем например в русском языке, где все звонкие согласные (кроме «м», «н», «р», «л») в конце слова сменяются глухими (*лоп* вместо *лоб*, *роф* вместо *ров* и т. д.).

Стр. 65. «Во всех языках есть частицы, предлоги или союзы, происшедшие часто из старых самостоятельных слов, превратившихся в грамматические орудия».

Так, в русском языке частица условного наклонения «бы», «б» развилась из самостоятельного слова *бы*, являвшегося вторым и третьим лицом единственного числа аориста от глагола «быть». Союз *если* развился из глагола «есть» (связка) и вопросительной частицы «ли» (*есть ли*) и т. п.

«...сокращение во многом переходит за границы обычных фонетических законов языка и объясняется грамматическим характером слов, в которых происходит».

Примером подобного сокращения может служить русское *здравствуйте*, которое обычно произносят, как *драсте*.

Стр. 67. «В первом случае налицо аккомодация, во втором же эпентеза».

Примером аккомодации («приспособления») может служить произношение русского *сшить*. Произношение «с» от «ш» отличается тем, что при первом язык приближается к переднему нёбу и альвеолам более узкой поверхностью и в более передней части, чем при втором. Когда мы произносим *сшить*, язык уже при произношении первого звука занимает то положение, какое он обычно занимает при произношении «ш», и оба звука сливаются в одно долгое «ш» (мы произносим: *шшыть*). Примером эпентезы может служить развитие гласного в начале слова перед стечением определенных согласных, наблюдаемое в ряде русских говоров,—например *аржаной хлеб* вместо *ржаной хлеб*. В результате согласные разъединяются, отходя к разным слогам. Примером вставки звука между двумя звуками может служить широко распространенное в говорах *ндравиться* вместо *нравиться*. Вставку гласного между двумя согласными, не могущими по нормам данного языка быть произнесенными подряд, мы наблюдаем во всех тюркских языках; ср. узбекское произношение интернациональных терминов tьraktor, tьramwaj.

«...в некоторых языках...первый взрывный группы превращается в спирант...»

Аналогичное явление наблюдается в русском *кто*, которое часто произносится, как *хто*. Подобный же случай с переходом аффрикаты в спирант (фрикативный) наблюдается в русских словах *что*, *конечно*, которые нормально произносятся, как *што*, *конешно*.

Стр. 68. «...в словах ходового языка неустойчивое сочетание «tn» обычно упрощается».

Во многих русских (севернорусских) говорах подобным образом упрощается сочетание «дн», дающее в результате упрощения одно «н» долгое. Например *менный*, *бенный*, вместо *медный*, *бедный*.

«Или же произойдет диференциация, которая может коснуться или взрывного, или носового».

В русском нелитературном произношении такая диференциация постоянно наблюдается в сочетаниях губного взрывного или фрикативного с губным носовым, например *лanпa, транвай* вместо литературного *лампа, трамвай.*

Стр. 69. «Здесь впрочем ассимиляция заключается в замене свистящей посредством шипящей...»

Примером ассимиляции на расстоянии (т. е. не соседних звуков) может служить русское нелитературное *шичас* или *чичас* вместо *сейчас.*

«...вместо debri (*есть*) некоторые бретонские диалекты говорят drebi».

Примером метатезы в русском языке может служить *ладонь* из *долонь, тарелка* из *талерка.*

«...из латинского arborem произошли испанское слово arbol и провансальское albre».

Латинское arborem—винительной падеж от arbor—*дерево.* Следует иметь в виду, что существительные современных романских языков развились из винительного, а не из именительного падежа латинского языка.

«...вместо того чтобы два раза произвести артикуляцию «r», ограничиваются одной артикуляцией этого звука, вторую же артикуляцию заменяют артикуляцией «l».

Аналогичный случай представляет русское нелитературное произношение *дилектор, колидор, секлетарь,* вместо *директор, коридор, секретарь.*

Стр. 72. «Каждому ребенку приходится полностью создавать свой язык».

О развитиии детской речи на материалах русского языка см. «Детская речь», под редакцией Н. А. Рыбникова, М. 1927 г. (с библиографией более ранней литературы).

ЧАСТЬ II
ГРАММАТИКА
Глава I
Слова и морфемы

Глава посвящена в основном грамматической структуре слова. В анализе последней социологическая школа соприкасается во многом со своими предшественниками, что особенно ясно становится при сопоставлении ее грамматических учений с грамматическими учениями русской лингвистической школы Фортунатова. Так, учение Фортунатова об основной и формальной принадлежности почти буквально совпадает с учением Вандриеса о семантеме (основная принадлежность) и морфеме (формальная принадлежность). Отличие только в том, что Вандриес, выделяя грамматические значения как значения отношений слов в предложении, не различает двойственного характера этих отношений: 1) собственно отношений между понятиями, выраженными в словах данной фразы; 2) отношений говорящего к отношениям первого рода (к таким отношениям принадлежат например отношения, выраженные категорией времени или наклонения). Вандриес упоминает и об отношениях второго рода, но не отграничивает их от отношений первого рода. Между тем различение этих двух типов грамматических значений имеет свои основания под углом зрения структуры предложения.

Термины «семантема» и «морфема» в применении Вандриеса имеют несколько другое значение, чем в русской лингвистической терминологии. Под «семантемой» Вандриес понимает слово как носитель определенного значения или ту часть слова, которая это значение выражает (без той части слова, которая выражает исключительно отношение, если это отношение выражено в особой части слова). Термин «морфема» у Вандриеса обозначает не всякую значимую часть слова, взятую под углом зрения его грамматической членимости (корень, суффикс, приставку, окончание), но всякое средство выражения отношений. Он применяет этот термин и к значимым частям слова, если они выражают определенные отношения

этого слова, и к звуковой характеристике слова, не связанной с определенной значимой частью слова (ударение, интонация, если в них выражены отношения), и к отдельным словам—служебным или незнаменательным (предлогам и т. п.).

Впрочем при анализе средств выражения («морфемы») у Вандриеса пропущено удвоение, которое играет важную роль во многих языках и в частности в древних индоевропейских (санскрите, греческом, латинском и др.), откуда так часто черпает Вандриес свои примеры.

Расширительное толкование «морфемы» у Вандриеса имеет и положительную и отрицательную стороны. Несомненно правильным является указание на то, что грамматические средства языка не ограничены формами отдельного слова; здесь Вандриес удачно избегает ошибочного отождествления грамматической формы в языке с членимостью слова, отождествления, характерного например для школы Фортунатова. Но не диференцируя качественно перечисляемых им различных видов «морфем», рассматривая их статически, в отрыве от развития языка и мышления, Вандриес устраняет возможность изучения возникновения и развития грамматических категорий. Далее, при таком понимании семантемы и морфемы, какое мы находим у Вандриеса, невозможным становится анализ такого важного явления, как соотношение лексических (словарных) и грамматических средств для выражения одних и тех же отношений (как на данном этапе языка, так и с точки зрения его исторического развития). Так например в русской фразе *прихожу я к нему вчера и вижу*...отношение к моменту выражено исключительно особым самостоятельным словом *вчера*, а могло бы быть выражено и грамматически. В истории многих языков мы сталкиваемся с таким явлением, когда одни и те же отношения раньше выражались лексичскими средствами, а затем начали выражаться грамматическими. По Вандриесу же, всякое отношение выражено морфемой, т. е. грамматическими средствами.

Стр. 77. «βωμὸν καλὸν ἀνέθηκεν ὁ Σιμωνίδης (*прекрасный жертвенник воздвиг Симонид*)».

Звуковыми комплексами (неточно называть их «слогами», как это делает Вандриес, или даже «сочетаниями слогов», так как их границы не всегда совпадают с границей слога), выражающими основные понятия, здесь являются: Σιμωνίδη=основа слова *Симонид*, ἀνέθη=основа глагола ἀνατίθημι = *воздвигаю* в аористе, βωμό=основа слова *жертвенник*, καλό-основа слова *прекрасный*. Звуки и звуковые комплексы, указывающие, кому принадлежит признак, кто совершил действие и т. п.: «ς» (в слове Σιμωνίδης)—окончание именительного падежа, указывает, что это лицо является действователем; «κ» (в ἀνέθηκεν)—суффикс времени (именно аориста); «εν» —окончание третьего лица (указывает, кто совершил действие); «ν» (в βωμὸν)—окончание винительного падежа единственного числа (указывает, что «жертвенник» является объектом действия); «ν» (в κ λὸν) также является окончанием винительного падежа единственного числа и указывает, что признак принадлежит именно жертвеннику (прилагательное согласуется в роде, числе и падеже с существительным).

Вандриес берет греческий пример, так как в современном французском языке выражение отношений между словами в большей части случаев дается порядком слов и служебными словами; русский язык, напротив, представляет тот же строй, что и греческий, в чем нетрудно убедиться, проанализировав параллельно с греческим текстом его русский перевод.

«Другие же, как местоимения и член во французском языке, пишутся как отдельные слова».

Такими же морфемами, с точки зрения Вандриеса, являются и русские предлоги.

Стр. 78. «Она служит, как обычно говорят, для выражения нереальности...»

Аналогично употребление частицы «бы», «б» в русском условном наклонении: *он пришел бы*. Эта частица в русском языке не закреплена за определенным местом во фразе.

Стр. 78. «...Это добавление будет означать, что фраза передает речь кого-то третьего...»

Ср. русские вводные словечки *мол, де, дескать.*

«Обе формы всегда чувствуются говорящим как нечто единое, хотя между двумя частями этого единства можно поместить слово и первая из них—простая морфема».

Критерием морфемы для Вандриеса является синтаксическая функция соответствующего значимого элемента, а не обязательная тесная спайка с тем словом, к которому она непосредственно относится, различные отношения которого она выражает. Морфемами, с точки зрения Вандриеса, являются, как уже указывалось выше, и русские предлоги.

«...это французское отрицание представляется нам в такой же мере единым, как греческое отрицание οὐκ, скажем, в οὐκ ἐσθίω (*я не ем*) или ирландское nitoimlim».

К этому можно добавить: или как русское *не* в *я не хочу.*

Стр. 79. «...чередование гласных играет ту же роль, как и флексия, прибавленная к слову».

Рассмотренное явление мы наблюдаем и в русском языке. Ср. *ходит—похаживает, спросит—спрашивает, носит—занашивает.* Звук «а», являющийся в корне вместо «о», выражает длительность или повторяемость действия. Нужно только иметь в виду, что в русском языке такая «внутренняя флексия» всегда сопровождается какими-нибудь префиксами, суффиксами и окончаниями. В русском языке в чередовании принимают участие не только гласные, но и согласные (ср. чередование «д—ж», «с—ш» в приведенных примерах).

Стр. 80. «Он же различает действительное значение от страдательного в греческих сложных словах πατροκτόνος (*убивающий своего отца*)—и πατρόκτονος (*убитый своим отцом*) и т. д.».

Во всех приведенных примерах различие определяется не характером самого тона, а местом, на которое он падает. Различные грамматические отношения и в русском языке в известных случаях выражены местом ударения: ср. *пилы́* (родительный падеж единственного числа от *пила*)—*пи́лы* (именительный падеж множественного числа), *дома́* (именительный множественного числа от *дом*)—*до́ма* (родительной падеж единственного числа).

«Эта роль музыкального ударения в индоевропейских языках... особенно примечательна...»

Как уже было сказано в предыдущем примечании, приведенные примеры не являются примерами на грамматическую роль музыкального ударения, именно музыкального (различного по движению тона). Примером на роль музыкального ударения могут служить такие формы, как ἀγαθή (прилагательное женского рода единственного числа именительного падежа *добрая*) и ἀγαθῇ (дательный падеж единственного числа того же прилагательного), где различие заключается именно в характере музыкального тона, а не в его месте. Правда, здесь музыкальное ударение падает на несколько различные гласные («η» было «е» долгим открытым, а «ῃ», происшедшее из дифтонга «ēi»,—«е» долгим закрытым), но уже в V в. до н. э. оба эти звука в аттическом диалекте повидимому не различались, тогда как различия тона держались значительно дольше, и следовательно должен был быть период, когда эти формы различались только музыкальным тоном.

«Здесь высота тона имеет значение морфемы».

О синтаксическом значении высоты тона в русском языке см. *В. А. Богородицкий*, Общий курс русской грамматики, М. 1935, гл. XIII и XIV.

Стр. 81. «...нулевая морфема играет роль наравне с другими морфемами».

Нулевая морфема играет большую роль в русском языке. Ею характеризуется именительный падеж существительных, оканчивающихся на согласный звук (*дом, отец, ночь, кость* и т. д.), родительный падеж множественного числа существительных женского рода на «а» (*жен, рук, ног* и т. д.), среднего рода на «о» (*озёр, сёл* и т. д.), некоторых мужского рода

на твердый согласный (*сапог, чулок*) и др. Недаром русский языковед Ф. Ф. Фортунатов, исходя из фактов преимущественно русского языка, задолго до Вандриеса выдвинул учение об отрицательной принадлежности (т. е. нулевой морфеме).

Стр. 82. «...в латинском языке можно без нарушения ясности смысла перемещать по желанию каждое из трех слов, во французской фразе это невозможно без изменения смысла».

К русскому языку целиком применимо сказанное о латинском; однако совпадение некоторых падежных флексий приводит к возможности случаев, когда отношение между словами определяется лишь смыслом, порядком слов и фразовой интонацией, например *плуг вспахивает поле, весло задело платье.*

Стр. 83. «...дают впечатление единого представления,...которое мы находим во французском il a donné (*он дал*), включая выражение времени и числа».

Русский язык опять аналогичен греческому, морфемы в нем в аналогичных формах не пишут отдельно; ср. *он умоется*, где выражено время, лицо и число (суффикс «ет»), законченность действия (префикс «у»), залог (суффикс «ся»).

«Кроме того семитское спряжение выражает также и род...»

То же мы находим и в русском языке в формах прошедшего времени. Отличие состоит в том, что в русском языке в тех глагольных формах, где выражен род, не выражено различие в лице, что связано с происхождением этих форм из причастия.

Стр. 84 «...дает нам две новые формы суффикса (τωρ, τορ). Это суффикс имен родства».

Чередование гласных в суффиксах при склонении, хотя и не столь широко применяемое, мы находим и в русском языке (ср. *купец—купца, клочок—клочка* и т. д.).

Стр. 85. «...в грузинском языке...».

Префиксы лица в грузинском древнелитературном языке различаются еще в зависимости от строя глагола: в субъективном строе это «v» для первого лица, «q̇» для второго лица; в объективном строе это «m» для первого лица, «g» для второго и «s» («h»), иногда «ш», для третьего с различным падежным оформлением. Связь префиксов лица с местоимениями личными выступает в грузинском языке еще яснее, чем в арабском.

Стр. 86. «„ἄν“ само по себе ничего не значит, но ἄν ἐποίει, ἄν ποιῇ имеет вполне определенное значение».

Греческая частица «ἄν» сочетается с любыми глагольными формами (кроме повелительного наклонения) для выражения действия, чем-то обусловленного, приблизительно она обозначает *разве что, возможно, при известных условиях*, в части значений соответствует частице «бы» русского условного наклонения.

«Невозможно перевести одним и тем же предлогом французский предлог à на немецкий язык...»

Такими же «пустыми» словами являются и русские предлоги. Любой из русских предлогов получает чрезвычайно разнообразные значения в зависимости от того, с какими словами сочетается, и его также нельзя перевести на какой бы то ни было иностранный язык каким-нибудь одним предлогом, как ясно показывают русские переводы приведенных в тексте примеров.

Стр. 87. «В венгерском...часто морфема выражена только в последнем слове a jó ember-nek (*доброму человеку*), а не az-nak jó-nak ember-nek)».

В венгерском языке, как и в большинстве угрофинских языков, а также в турецких языках, прилагательное при существительном всегда выступает в неизменной форме (не склоняется, не согласуется). Слово az (сокращенная форма—a), стоящее перед прилагательным, имеет исконное значение указательного местоимения, а в данном случае играет роль определенного члена.

Стр. 87—88. «В древнем османском литературном языке возможна перестановка элементов («dir», «ler») даже в тех случаях, когда эти элементы употреблены в их собственном смысле для обозначения третьего лица множественного числа глагола *быть*».

Некоторые морфемы (в смысле Вандриеса) и в русском языке обладают большой подвижностью. Мы можем сказать, не меняя смысла, *я вчера пришел бы* и *я бы вчера пришел.* Но таких морфем будет небольшое количество.

Стр. 88. «Вся фраза до двойной вертикальной черты—это грамматические указания, морфемы, а после черты—семантемы».

С аналогичным явлением мы сталкиваемся в западнокавказских языках (например в абхазском).

Стр. 89. «Сначала дано отвлеченное, а затем конкретное».

Некоторый намек на такой грамматический прием мы изредка встречаем и в русском разговорном языке, например: «*а он ходил туда, Иван-то, в город-то?*»

Стр. 90. «...та же самая форма служит в эмфатическом употреблении...»

Во французском языке есть два рода местоимений. Одни из них не могут употребляться без глагольной формы, являясь по значению подлежащими и дополнениями глагола (je—*я*, me—*меня*). Другие так называемые эмфатические (например moi—*я*) могут употребляться отдельно и образовывать самостоятельные предложения в случаях, аналогичных русскому *кто это сделал?—Я.*

«В турецком языке единство слова создается фонетическим явлением—гармонией гласных, которая регулирует вокализм различных слогов по гласному доминирующего слога».

Это явление широко распространено также в других тюркских (татарском, узбекском, казакском и др.), монгольских и некоторых угрофинских языках. Оно состоит в том, что один и тот же суффикс заключает в себе гласный заднего образования, если в корне гласный заднего образования, и гласный переднего образования, если в корне гласный переднего образования, и лабиализованный гласный, если в корне лабиализованный гласный. Например татарское qul-da (*в руке*), но ɵj-də (*в доме*). Явление это принято теперь называть не «гармонией гласных», а более точно «сингармонизмом», так как изменению подвергаются не только гласные, но и согласные, окружающие эти гласные (при гласных переднего образования они несколько смягчаются).

«В некоторых языках... есть тенденция образовать столько слов, сколько есть фраз, и столько фраз, сколько есть слов».

Подобную тенденцию мы наблюдаем в палеоазиатских языках СССР—на крайнем северо-востоке Сибири, которые вообще обнаруживают много общего с некоторыми американскими языками. Так например в луоравэтланском (чукотском) языке слово-предложение k-ь-nmь-rkьn соответствует нашему предложению с тремя членами: *он убивает детей*: «k»—сокращение из kmiyьn (*ребенок*), «ь»—соединительная гласная, «nmь»—корень глагола *убивать*, «rkьn»—суффикс настоящего времени, третье лицо единственного числа выражено отсутствием суффикса. Не следует только думать, будто в этих языках вообще нельзя выделить в фразе слов, и что вся речь состоит из таких слов-предложений.

«Наоборот, в языках семитских и древних индоевропейских... слово совершенно самостоятельно, что ясно обнаруживается в некоторых специальных фонетических трактовках, например в трактовках конечных отрезков слов, в тонкостях чередований и в ударении».

Особые явления, характерные для конца слова, мы находим и в русском языке (именно переход звонких согласных в глухие), который сохранил в основном тот же синтетический строй, что и древние индоевропейские языки.

«Слову не может быть дано общего определения...»

Обзор русской и украинской литературы по вопросу определения слова дан в статье М. Калиновича «Понягтя окремого слова», журнал «Мовознавство» № 6 за 1935 г. (на украинском языке).

Глава II.

Грамматические категории

Как видно уже из самого определения грамматических категорий («грамматическими категориями называются понятия, выраженные посредством морфем»), Вандриес стоит на точке зрения единства грамматического значения и грамматической формы, неразрывной связи определенных понятий и морфем, т. е. грамматических средств, эти понятия выражающих. Такая точка зрения высказана не только в начальном определении, но и последовательно проведена в дальнейшем изложении. Этим Вандриес выгодно отличается как от логицистов и психологистов, анализировавших категории мышления, не считаясь с языковыми средствами их выражения, так и от формалистов, сосредоточивших все внимание на морфологических (в узком смысле) явлениях языка. Исходя из конкретного языкового материала, Вандриес рассматривает грамматические средства языка как конкретные средства, приуроченные к определенному языку в определенную эпоху его развития. Он подвергает детальному анализу некоторые грамматические категории (род, число, время, залог), привлекая для сравнения обильный материал из самых различных языков.

Сравнение категорий различных языков, а также одного языка в разные периоды его существования приводит Вандриеса к взгляду на грамматические категории как на категории исторические, не свойственные языку вечно, а возникающие и разрушающиеся в определенные периоды истории языка. Он указывает на наличие в языке, с одной стороны, категорий в стадии возникновения, а, с другой стороны, категорий в стадии исчезновения. Принимая во внимание этот исторический характер грамматических категорий, он делает попытку проследить историю отдельных категорий. С полным основанием он утверждает, что в основе грамматических категорий не лежит классификация формально-логическая (как это полагают грамматики-логицисты) и что такая классификация не лежала в их основе и раньше, т. е. в эпоху их зарождения. Мы находим у Вандриеса и намек на связь развития грамматических категорий с развитием сознания, хотя в отчетливой форме эта связь у него не формулирована. В то же время он совершенно правильно предостерегает против заключения о мышлении народа по грамматическим категориям, существующим в настоящее время в языке этого народа. С одной стороны, в языке очень долго сохраняются грамматические категории, уже утратившие основания для своего существования. С другой стороны, отсутствие грамматических средств для выражения каких-нибудь понятий не означает, что в сознании народа, говорящего на этом языке, эти понятия не существуют. Последнее положение находит себе яркое подтверждение в практике языкового строительства народов СССР. Языки народов, до революции самых отсталых, грамматическая структура которых отражает очень раннюю ступень развития, в настоящее время оказались вполне способными выразить все понятия, связанные с эпохой строительства социализма, хотя их грамматическая структура в большинстве случаев не подвергается существенной перестройке.

Слишком обще, как и вопрос о связи между грамматическими категориями и сознанием, освещает Вандриес вопрос о социальной обусловленности этих категорий. Он утверждает, что грамматические категории «происхождения социального и зависят от общества». Однако дальше этого общего и тем самым бессодержательного утверждения он не идет. Приложения этого общего положения к анализу конкретных фактов языка мы не находим даже в тех случаях, когда это можно было сделать. Так например, рассматривая проблему индоевропейского грамматического рода, Вандриес правильно указывает, что по существу индоевропейское деление на роды есть явление того же порядка, что и деление на классы в языках банту, и отвергает упрощенное объяснение Фрезера, но сам не делает попытки решить проблему возникновения этой категории, хотя в развитии

индоевропейского рода отразились и многие явления общественно-экономического порядка. Говоря о различных категориях обладания в мандинго, он не вскрывает отражения общественных отношений в этом развитии, хотя сделать это чрезвычайно легко (см. ниже, примечание к стр. 111).

Проблема связи развития грамматических категорий с развитием сознания и развитием общественно-экономических отношений, обойденная автором, поставлена и частью решена в трудах акад. Н. Я. Марра.

Стр. 91. «...там, где сослагательное и желательное слились, говорящие не различают в единственной оставшейся форме двух грамматических употреблений...»

Условная форма современного русского языка также выражает и пожелание, а не только условность. Например *я бы пожалуй пошел.*

Стр. 91—92. «...смешение аориста с перфектом или, скорее, превращение древнего перфекта в историческое время, уничтожило во многих языках средство для выражения перфекта».

Различие аориста и перфекта, наблюдаемое в греческом и санскрите, а также в некоторых неиндоевропейских языках, было некогда свойственно и русскому языку (вернее, тем древневосточнославянским наречиям, из которых в дальнейшем развился русский язык). И аорист и перфект были временами прошедшими совершенными (т. е. выражали законченное действие). Но аорист выражал самый факт законченности действия, а перфект —законченное действие, результат которого продолжается в настоящее время. Так например древневосточнославянское *приидохъ* (аорист) означало просто *я пришел*, а *есмь пришелъ* (перфект, он был временем сложным, образовывавшимся с помощью вспомогательного глагола)—*я пришел и нахожусь здесь.* С переходом перфекта в историческое время, т. е. с утратой перфектом своего результативного значения и превращением его в чисто прошедшее время, без какого-нибудь отношения к настоящему, хотя бы в виде своего результата, в истории русского языка форма аориста исчезла совершенно, а форма перфекта стала просто выражением прошедшего времени (прошедшее время современного русского языка по происхождению является старым перфектом, утратившим вспомогательный глагол).

Стр. 93. «Даже слова le prophète (*пророк*) и le pape (*папа римский*) благодаря своему окончанию в средние века принадлежали к женскому роду».

Аналогичные явления мы находим и в истории русского языка. В древнем языке слова *слуга* и *сирота* (в применении к мужчине) часто имеют при себе прилагательные, притяжательные местоимения и причастия в женском роде. Например в челобитной 1623 г.: *пожалуй меня, сироту свою...* (пишет мужчина). Ср. в былинах: *ай же ты удаленький добрый молодец, ай же ты, слуга моя верная, неизменная*». Наряду с этим возможен и обратный процесс: изменение рода существительного вызывает и изменение согласования, например *градской голова*, и даже в заимствованных словах окончания, например *плацкарт* вместо *плацкарта*, *фильм* вместо *фильма.*

Стр. 94. «...мы принуждены говорить la femme-médecin (*женщина-врач*), la femme-professeur (*женщина-профессор*), пользуясь словом femme как своего рода морфемой».

По-русски в аналогичных случаях наблюдается интересная диференциация значений. Хотя женский род можно образовать от всех существительных этого типа, но лишь в некоторых случаях он будет обозначать женщину, занятую соответствующей профессией (*ткачиха, метельщица, учительница*), в других же случаях он будет обозначать жену лица, занятого этой профессией (*докторша, профессорша, инженерша*); в некоторых случаях с расширением применения женского труда слово из одной категории перешло в другую: *приказчица* в литературном языке крепостной России обозначало жену приказчика, позднее—продавщицу. Иногда же мужской и женский род обозначают разные профессии: *машинист и машинистка.* В случаях последнего типа применялись по-русски обороты, аналогичные французскому (*женщина-врач*), в настоящее время выходящие из употребления.

Стр. 94. «Он играет в сопоставлении с двумя другими родами подсобную роль, поскольку он выражает некоторые представления, независимые от противопоставления мужского и женского рода...».

Средний род русского языка обладает в общем теми же свойствами, что и средний род других индоевропейских языков. Он также имеет лишь одну свою форму, а именно именительный и винительный падеж (для обоих одна форма), в остальных же склоняется, как мужской. И значение его приблизительно таково же, как в других индоевропейских языках. В некоторых южнорусских говорах он обнаруживает тенденцию исчезновения и заменяется женским родом (говорят, например, *моя ведро* вместо *мое ведро*).

Стр. 96. «В славянских языках есть также одушевленный род. Его создание и особенно распространение объясняется правильным морфологическим развитием, имеющим исходную точку в индоевропейском языке».

Категория одушевленности и неодушевленности в славянских языках и с точки зрения времени развития и с точки зрения грамматических средств, выражающих ее, представляет явление, отличное от различия по родам. Деление на три рода является отражением далеких доисторических отношений. Различие же одушевленных и неодушевленных предметов развилось главным образом в историческую эпоху. В древнейших славянских памятниках мы находим только зачатки этого явления. С точки же зрения грамматических средств род выражается согласованием зависимых членов, а одушевленность и неодушевленность различаются формой винительного падежа.

Стр. 98. «В старославянском оно вполне жизненно, и теперь еще в некоторых языках, как словинский и лужицкий, мы его еще находим».

Двойственное число существовало еще в историческую эпоху и в тех восточнославянских наречиях, из которых развился русский язык. Тенденция его исчезновения намечается с XIII в. Остатки его сохранились и в современном русском языке:

1. В именительном и винительном падежах числительных д в а, д в е, о б а, о б е (в древности на «а» кончались также именительный и винительный падежи двойственного числа существительных мужского рода, а на «ѣ», которое позднее перешло в «е»,—именительный и винительный падежи двойственного числа женского и среднего рода).

2. В словах сложных: *двусмысленный*, *двуместный*, *двоюродный* (древнее «*двy*», «*двою*» было формой родительного и местного, позднейшего предложного, падежа двойственного числа).

3. В числительном *двести* («сти» из древнего «стѣ»—двойственное число слова *сто*).

4. В некоторых существительных, обозначающих парные предметы, например *уши* (множественное число среднего рода должно было бы оканчиваться на «а»).

5. В некоторых наречных выражениях, например *воочию*—от *очи* («очию» старая форма местного падежа двойственного числа).

6. В сочетаниях существительных с числительными от двух до четырех (*два стола*, *три стола*, *четыре стола*). Это *стола* по происхождению является именительным падежом двойственного числа, а не родительным падежом единственного числа. Первоначально эта форма употреблялась лишь при числительном *два* и лишь в дальнейшем была распространена на числительные до *четырех* включительно.

«Некоторые важные виды категорий числа не имеют последовательного способа выражения».

Разграничение категорий единичности и совокупности не проведено для всех слов и в русском языке. Но в русском языке эти категории вообще имеются. Так, категория единичности имеет специальные образования (ср. *горошина*, *соломина*, *жемчужина* при *горох*, *солома*, *жемчуг*). Категория совокупности выражается в отсутствии множественного или единственного числа у данного слова или по крайней мере в отсутствии его закономерного образования (например *молоко*, *дрожжи* и т. д.).

Стр. 100. «В виде заключается... одна из наибольших трудностей, на которую наталкивается француз при изучении русского языка».

Вид современного русского языка не является непосредственным продолжением той системы видов, которая повидимому была свойственна славянским языкам (ср. выше прим. к стр. 91—92). Система русского глагола развивалась от системы многочисленных времен (именно прошедших) с некоторыми пережитками их видовых значений и с сохранением категории вида как категории лексической, словообразовательной, но не грамматической (эту систему мы застаем в начале нашей письменности) к современной системе вида наряду с временем; современное грамматическое значение укрепилось за видами довольно поздно. Впрочем вид и в современном русском языке является не только грамматической, но и лексической категорией. У нас чрезвычайно мало глаголов, которые при переходе из несовершенного вида в совершенный не изменяли бы своего лексического значения. На русском языке исследованию форм русского глагола посвящены работы Востокова, Некрасова, Ульянова, Фортунатова, Шахматова и многих других. См. *Кошутич*, Граматика русского jезика, П. 1914, стр. 244—274.

Стр. 102. «Этот аорист называется гномическим: он служит для выражения действия, не принадлежащего по существу ни к какому времени и которое, как всякая опытная истина, может относиться также к будущему, как и к настоящему и прошедшему».

В русском языке в подобном вневременном значении употребляется часто настоящее несовершенного вида и настоящее совершенного вида (будущее),—ср. в пословицах *цыплят по осени считают*, *поспешишь—людей насмешишь*. Ср. наблюдения о значении русских времен у авторов, указанных в предыдущем примечании.

«То, что мы называем во французском языке настоящим, очень эластично...»

Употребление настоящего времени в русском языке аналогично в данном случае, как показывает русский перевод примеров Вандриеса.

«Это показывает, с какой гибкостью пользуется язык средствами, находящимися в его распоряжении, но также и то, как трудно внести порядок в категорию времени; она все же остается плохо очерченной».

Постоянное несовпадение времени глагола с временем действительности мы наблюдаем и в русском языке. Ср. например *я уезжаю завтра*, *как он прыгнет и закричит*, *иду я вчера по улице и вижу*, *ну я пошел* (в смысле: *сейчас пойду*) и т. д.

Стр. 103. «Латинское curritur (*бегают*), luditur (*играют*), itum est (*пошли*).. »

Интересно, что в некоторых севернорусских говорах встречается подобный же страдательный оборот с глаголом *итти*; говорят, например, *волков тут идено* вместо *волки тут шли*.

Стр. 105. «Их нельзя рассматривать как страдательный залог...»

Аналогичные явления мы наблюдаем и в русском языке. Ср. *платье хорошо носится* и *товар переносится грузчиками*.

«Это предпочтение очень четко в латинском языке, в котором личный страдательный залог вышел из безличного страдательного: invidetur mihi (*завидуют мне*) предшествовало invideor, как vitam vivitur (*проживают жизнь*) предшествовало vita vivitur (*жизнь проживается*)...»

В русском языке очень распространены параллельные обороты личные и безличные близкого друг к другу значения. Ср. *я хочу—мне хочется*, *я думаю—мне думается* и т. д.

Стр. 108. «Тот факт, что некоторые дикие народы имеют кроме двойственного числа и тройственное...»

Тройственное число (помимо единственного, двойственного и множественного) мы находим, например, в ряде языков туземцев Океании (Новогебридские и другие острова).

Стр. 111. «В немецком языке есть родительный в выражении des Vaters Haus или das Haus des Vaters, но можно также сказать meinem Vater sein Haus, что является совершенно иным оборотом».

Интересно, что в русском языке тоже можно найти примеры выражения обладания дательным патежом; такой способ особенно встречается в говорах и в древнерусских памятниках: ср. в «Русской правде»: *Мати имъ поидеть замужь»*, т. е. *их мать пойдет замуж.*

Стр. 111—112. «Категория зависимости усложняется в таком языке различием между принадлежностью и непринадлежностью. Во французском языке мы не отмечаем этого различия, как бы законным оно нам ни казалось».

К сказанному следует добавить, что не только в одном языке выражены, а в другом не выражены различия между разными степенями обладания, но сама граница между этими двумя категориями обладания в различных языках, где она выражена, проводится различно. Интересно, что в том же языке мандинго *его жена* (a-ta muzu) будет отнесена в ту же категорию, что и *одежда.* Сюда же попадет и *ребенок.* Между тем *муж* для жены войдет в одну категорию с *отцом.* В этом разграничении ярко отражается патриархальная ступень родовой формации с неограниченной властью отца над детьми и мужа над женой. Разграничение по степени обладания мы находим и в некоторых языках СССР, например в тунгусских на севере Сибири. Там это различие выражается в различных притяжательных суффиксах, прибавляющихся к слову для выражения его принадлежности, причем разграничение двух категорий обладания основано на другом принципе. В одну категорию отнесены названия родства, части тела (как и в мандинго), а также предметы, составляющие частную собственность владельца,—обувь, оружие, одежда, жилище, скот и т. п. (этого в мандинго нет), а в другую—все остальное. Например, ламутское: min ut ʃ'эек-u (*мой седловый,* т. е. домашний, *олень*), но: min bo'ju-ŋu (*мой дикий олень*) (которого я убил на охоте и т. п.): «u» является притяжательным суффиксом первого лица единственного числа первой категории обладания, «ŋu»—таким же суффиксом второй категории.

Глава III

Различные виды слов

Эта глава посвящена классификации и образованию частей речи. В отличие от формально-морфологического направления в грамматике Вандриес не только учитывает синтаксический момент в классификации частей речи, но и кладет его в основу, исходя в классификации от двух типов фразы—предложения глагольного и предложения номинального (именного). Исключая из рассмотрения междометия и слова-морфемы (т. е. служебные слова), Вандриес устанавливает наличие среди самостоятельных слов лишь двух основных категорий—имени и глагола. Можно согласиться с ним в том, что деление на имя и глагол есть основное, наиболее существенное деление. Но следовало бы пойти дальше и исследовать, какие более второстепенные категории и на каких основаниях можно вскрыть внутри этих обширных категорий (особенно внутри имени). Наличие переходных образований и нечеткость границы между существительным и прилагательным не могут служить препятствием к разграничению прилагательных и существительных, как не могут служить препятствием к разграничению имени и глагола категории, переходные между именем и глаголом (примеры таких категорий Вандриес приводит).

Существенным недостатком учения о частях речи у Вандриеса является отсутствие понятия сказуемости как основного признака предложения и анализа форм выражения сказуемости. Введение этого понятия много дало бы для решения проблемы именного и глагольного предложения и развития глагольной связи в именной фразе, да и вообще для разграничения категорий имени и глагола. Нужно сказать, что вообще синтаксиче-

ские основания выделения частей речи проанализированы у Вандриеса недостаточно. Совершенно не затронута проблема местоименности, хотя местоимения во всяком случае образуют особую категорию слов, противостоящую всем остальным словам. На этой категории следовало бы остановиться.

В заключение Вандриес дает своеобразную классификацию частей речи с психологической точки зрения. Такая классификация имеет большое значение, поскольку части речи так же, как и все вообще грамматические категории, не существуют вечно, но возникают на определенной ступени языка и развиваются, отражая в своем развитии развитие соответствующих категорий сознания. К сожалению, и здесь Вандриес не доводит исследования до конца и не раскрывает исторической основы выделения частей речи, ограничиваясь фактами индивидуальной психологии и психопатологии.

Стр. 114. «Французское on disait qu'il était mort (*говорили, что он умер*) соответствует немецкому man sagte er sei gestorben; в немецком употребление сослагательного наклонения достаточно для выражения подчиненного характера предложения».

В русском языке связь этих двух предложений может быть выражена как наличием морфемы *что*, так и одной только интонацией при отсутствии каких бы то ни было других грамматических средств выражения (*говорят, он умер*); последняя форма выражения наиболее обычна в устной речи.

Стр. 115. «По-французски долго говорили le bois le roi, le bois la dame (*лес короля, лес дамы*) рядом с le chemin du bois (*дорога леса*, т. е. *лесная дорога*)».

В первом случае связь выражена косвенным падежом имени (старофранцузский различал прямой падеж подлежащего li reis и косвенный падеж дополнения le roi), во втором предложной конструкцией. В русском языке предложной конструкции в этом употреблении не встречается, но возможны различные способы выражения: родительный падеж и притяжательное прилагательное (*дом отца* и *отцов дом* или *отцовский дом*). При этом намечается некоторое разграничение употребления этих двух форм. Не от всех существительных в современном языке образуются притяжательные прилагательные. Еще Пушкин писал *графинина карета* («Пиковая дама»), но уже в середине XIX в. употребление подобного притяжательного прилагательного становится редким.

«Французский язык передает употреблением je, tu, il, то же, что латинский язык выражает флексией».

В латинском языке глагол обычно не имеет при себе личных местоимений. Местоимения эти в качестве подлежащих употреблялись лишь при особом эмфатическом подчеркивании, т. е. в тех случаях, в каких употребляются французские самостоятельные местоимения moi, toi, lui и т. д. (см. примечание к стр. 90), например non ita, respondet ille, devorabo te, nam ego sum magnus, tu es parvus (*не так, отвечает он, сожру тебя, ибо я велик, ты мал*).

«Также и в валлийском языке говорят hwynt (*они*) вместо hwy по аналогии с глагольным окончанием «ynt».

Близость личных местоимений к личным окончаниям глаголов особенно ясна в тюркских языках. Ср. например татарское min jaza-мьn (*я пишу*), sin jaza-sьn (*ты пишешь*) и т. д. Необходимо только иметь в виду, что такая близость в разных языках может объясняться различно. В одних она является результатом позднейшего выравнивания, а в других—показателем сравнительно недавнего образования и личных местоимений и личных окончаний глагола из одного общего источника.

Стр. 116. «Можно сказать je suis fort (*я силен*), как je suis médecin (*я врач*), un homme est grand (*человек велик*) и un grand est homme (*великий—тоже человек*)».

Несмотря на создание в русском языке членной (полной) формы прилагательных, отличающей морфологически прилагательное от существительного (на более древних стадиях их существования отношения прила-

гательного и существительного в славянских языках такие же, как в описанных Вандриесом греческом и латинском: ср. *бѣлъ конь, бѣла-коня, бѣлу-коню,* пережиточно сохраняющиеся в фольклоре—*он садится на добра-коня*), в русском языке прилагательные легко субстантивируются—ср. *портной, фабричный, рабочий* и т. д.

Стр. 116. «В арабском языке есть немало общих окончаний в склонениях и спряжениях».

То же мы наблюдаем в тюркских языках. Ср. например татарское «lar»—суффикс множественного числа существительных и «lar»—суффикс третьего лица множественного числа глаголов (qul-lar—*руки*, jaza-lar—*они пишут*).

Стр. 118. «Book—*книга*, to book—*записывать*; bomb—*бомба*, to bomb—*бомбардировать* и т. п.».

В русском языке как языке синтетического строя стирание границ между отглагольными образованиями и именами наблюдается в другой форме, чем в английском языке—языке аналитического строя; оно заключается в одновременном использовании отглагольных имен на «ние» и в качестве имен действия (nomina actionis с сохранением активного оттенка в семантике) и в качестве имен продукта действия—ср. *печение пирогов* и *сдобное печение*. Другой пример стирания границ между глагольными и именными образованиями дают причастия в своей собственно русской форме (на *чий*), целиком перешедшие в разряд имен (ср. *горячий* и *горящий*, *текучий* и *текущий* и т. д.). Но и вновь вошедшие в язык старославянские причастия на «щий» в известных случаях могут утрачивать оттенок глагольности и даже субстантивироваться (*служащий*).

Стр. 120. «...*новый дом—новый* не сказуемое, а определение».

Отмеченные Вандриесом отношения уже не соответствуют современному строю русского языка; в современном русском языке полные прилагательные постоянно употребляются не только как определения, но и как сказуемые в зависимости от интонации, а частью от порядка, например *он хороший, дом новый*.

Стр. 122. «...корень «es», давший материал для связки в очень древние времена...»

Корень «es» в сильном звуковом виде (т. е. там, где ударение приходится на корневой слог) чередуется в слабом звуковом виде (т. е. там, где ударение приходится на окончание) с «s»,—ср. «есть» и «суть».

«...в этой роли употребляются с различными оттенками значения *сидеть, стоять, представлять собой* и др.»

Об употреблении в современном русском языке описательных форм спряжения см. ст. В. Державина «Описательный пассив и актив» в журнале «Русский язык в советской школе» за 1931 г. Очень широко распространено использование различных глаголов в качестве связки в языках тюркских, например *приходить, уходить, взять* и т. п.

Стр. 124. «...*когда узнали в Риме, что Караун завоевал остров Британию*».

Явление близкое к этому мы наблюдаем в русских отглагольных существительных. Временных значений русские существительные не передают, но видовые значения могут передавать, поскольку сохраняют глагольные приставки и суффиксы, с помощью которых у нас образуются виды. Приведенную выше фразу, не вполне литературно (пользуясь канцелярским стилем), можно было бы по-русски передать так: *после поступления в Рим сведений о завоевании Карауном острова Британии* (в обоих случаях отглагольные существительные передают законченность процесса; если бы действие Карауна не было закончено, когда об этом узнали в Риме, можно было бы сказать: *о завоевывании Карауном острова Британии*). Об употреблении отглагольных существительных в современном русском языке и границах этого употребления велся уже спор среди грамматиков (Пешковский, Винокур и др.).

Стр. 124—125. «...у Плавта мы находим такие фразы: quid tibi nos tactio'st?...»

В русском языке тоже встречаются аналогичные случаи управления отглагольных существительных—ср. *питание овощами, увлечение наукой.*

Стр. 125.«... ἄροτρον, aratrum означает орудие для пахоты (*плуг*), как poclum—орудие для питья (*чашу*).

«"Ἄροτρον (*плуг*) при ἀρόω (*пашу*), aratrum (*плуг*) при aro (*пашу*), poclum (*чаша*) при bibo (*пью*,—ср. фаллиск. pipafo—*выпью*). Определенный суффикс орудия действия, сочетающийся с глагольным корнем, мы имеем и в русском языке: «ло» (этот суффикс распространен и в других славянских языках). Ср. *шить—шило, мыть—мыло, белить—белила* и т. п.

«...суффикса «ter», «tor» имен действующего лица».

Суффиксом имен действующего лица в русском языке является «тель» (*сеятель, деятель, учитель* и т. д.).

Стр. 126. «Многочисленные примеры подобных явлений... во всех индоевропейских языках».

Ср. русское *еда, питье, ход, печенье, варенье* со значениями действия и конкретного предмета.

«...отвлеченное имя часто употребляется с конкретным значением...»

Ср. русский отвлеченный суффикс «ость» в словах *молодость, живость, выносливость* и т. д.; возможны и слова конкретного значения с этим суффиксом, например *новость, грубость* (*я узнал интересную новость, он сказал грубость*). Также суффиксы «та»: *теплота, доброта* и т. д., но и в словах конкретного значения: *высота* (например *высота* № 151—в военном деле). Изменение в числе также придает слову в некоторых случаях конкретность. Ср. *глупость, грубость*, но *не говори глупостей, грубостей, сладость* (в значении абстрактного свойства) и *он любит сладости* (в значении *сладкие вещи*).

Стр. 129. «В германских и славянских языках прилагательное имеет два склонения: одно для прилагательных определенных, а другое для неопределенных...»

Когда-то два таких склонения были и в русском языке (собственно еще в тех восточнославянских наречиях, которые легли в основу русского языка). Определенные прилагательные—это полные прилагательные, неопределенные—краткие. Неопределенное склонение было затем утрачено. Краткое прилагательное сохранилось в современном русском языке в несклоняемой форме и употребляется в качестве сказуемых. Остатки старого склонения кратких прилагательных встречаются в таких окаменелых наречных выражениях, как *на босу ногу, от мала до велика* и т. п.

«Говорят un pourquoi (*одно почему*), des si (*эти если*)...»

Подобную возможность перехода в категорию существительных любого оборота мы наблюдаем и в русском языке, например *без всяких там «почему»!, без всяких «но»!* и т. п.

«Из глагольного предложения он сделал существительное...»

В отличие от языков английского и французского русский язык, как язык синтетического строя и в то же время с мало развитым применением сложных основ, почти не знает такого образования существительных. Ср. впрочем у Гоголя в прозвищах: *Доезжай-недоедешь, Неуважай-корыто*, клички охотничьих собак: *Догоняй, Ругай* и т. п., название кабака: *Не рыдай* и т. п.

Стр. 131. «Этот факт имеет значение при использовании эстетических возможностей языка».

Воззрение на содержание поэтического образа, близкое к воззрению французских психологов, высказывает *Л. В. Щерба* (ср. статью в сборнике «Советское языкознание», т. II); однако вопрос о чувственном содержании поэтического образа может быть освещен и иначе, ср. *Шор*, Язык и общество.

Глава IV

Аффективный язык

Основываясь на традиционном психологическом учении о трех сторонах психической деятельности человека—уме, воле и чувстве,—Вандриес пытается разграничить язык логический, активный и аффективный, или эмоциональный.

В этой главе он анализирует средства аффективного языка, т. е. языка, отражающего эмоциональную сторону человеческого сознания. Между тем все эти три стороны сознания неразрывно друг с другом связаны, образуют некоторое единство, и их нельзя изучать оторванно друг от друга. Связь между логическим и аффективным языком Вандриес и пытается раскрыть как с точки зрения современного состояния языка, так и с точки зрения исторического его развития.

Считая основными средствами аффективного языка синтаксис (именно порядок слов) и словарь, Вандриес видит основное различие между аффективным и логическим языком в строении фразы. Соотношение аффективного и логического языка с его точки зрения таково же, как соотношение между разговорным и письменным языком. С этим взглядом нельзя вполне согласиться. Действительно, аффективный (эмоциональный) момент больше свойственен живой (разговорной) речи. Но соотношение устной и письменной речи в основном определяется в первую очередь не степенью аффективности, а другими моментами. Синтаксические особенности живой речи сравнительно с письменной обусловлены прежде всего тем, что при произнесении нельзя сосредоточить внимание одновременно на столь же обширном отрезке речи, как при письме, а также и тем, что при живой речи возникающий в сознании образ немедленно получает словесное оформление, при письме же этот образ проходит более длительную стадию внутреннего оформления в сознании, вследствие чего может подвергаться неоднократной перестройке, прежде чем получит закрепление на бумаге. Из этого, а не только из большей эмоциональной насыщенности живой речи вытекает и большее распространение в письменной речи подчинения, а в устной—паратаксиса. Вообще же границы аффективного языка и логического в соотношении их с границами разговорной и письменной речи с достаточной четкостью не намечены.

В учении Вандриеса об аффективном языке можно наметить еще ряд противоречий. Так, Вандриес отмечает, что иногда грамматические категории являются средством выражения аффективной (т. е. эмоциональной) стороны языка. Но в то же время он определенно противопоставляет грамматически организованный язык как логический языку аффективному, причем выдвигает гипотезу о развитии языка от дограмматического состояния, соответствующего языку чисто аффективному, к грамматическому по мере превращения языка из аффективного (т. е. эмоционального) в интеллектуальный (т. е. логический). Считая грамматическим лишь язык логический, Вандриес вступает в противоречие с тем, что он сам говорил о грамматических категориях во второй главе этой части.

С другой стороны, утверждение, что язык на древнейших стадиях своего бытия носил характер чисто аффективного крика, приводит нас в несколько измененном виде к теории происхождения языка из междометий, т. е. к поискам причин возникновения речи в явлениях психики изолированного индивида,—поискам, находящимся в явном противоречии с социальной концепцией языка.

Стр. 137. «Морфология служит здесь выразительности в такой же мере, как это мог бы сделать словарь посредством эпитета: *мой маленький дом, мой (бедный) маленький сад*».

Суффиксы, носящие определенно эмоциональный (аффективный по Вандриесу) характер, широко распространены в русском языке. И так же, как во французском языке, эти суффиксы могли вначале не передавать эмоционального оттенка. Таковы например уничижительные и ласкатель-

ные суффиксы «ишка», «ышка», «енка», «очка» «ушка», связанные с уменьшительными. На отсутствие первоначального уничижительного значения у суффикса «ка» указывает наличие в языке ряда достаточно древних слов без этого значения (*ложка* и т. п.). Первоначально не заключал в себе оттенка уничижительности, но затем приобрел его в словах, обозначающих людей, суффикс «ье», имевший значение собирательности и сейчас ее еще выражающий,—ср. *тряпье*, *сырье* (собирательно), но *дурачье*, *бабье* (уничижительно). Ср. у Блока:

С юнкерьем гулять ходила,
С солдатьем теперь пошла.

Стр. 138. «...причем не может быть никакого колебания, какое слово в фразе подлежащее, какое сказуемое и какое дополнение».

Так же обстоит дело и в русском языке, синтетическом по своему строю, как и язык латинский.

Стр. 140. «...установить, каков обычный порядок слов в большом числе типичных фраз древнегреческого языка; но рядом с такими типами фраз есть и другие, порядок слов в которых... предоставлен выбору пищущего».

Русский язык также имеет свободный порядок слов. И тем не менее для всех почти членов предложения можно указать их традиционное, наиболее часто наблюдающееся положение относительно других членов, причем отступления от нормального порядка всегда будут чем-нибудь обусловлены. Так например определение в русском языке стоит обычно впереди определяемого (например *хороший человек*, *высокий дом* и т. д.). Постановка после определяемого обычно вызывается обособлением определения, большим его подчеркиванием (например *лес, густой и мрачный*, *начинался от самого дома*). Напротив, родительный падеж, зависящий от существительного, нормально стоит после этого существительного (например *крыша дома*, *прибытие поезда* и т. д.). Если же этот родительный падеж подчеркивается, он может занять место и впереди управляющего им существительного (например *это моего дяди нос*, Гарин). Постановка глагольного сказуемого на первом месте придает речи характер эпического повествования (ср. «Кавказский пленник» Л. Толстого).

Стр. 143. «Достаточно вспомнить головокружительный успех союза que во французском языке».

В современном русском языке аналогичный «успех» выпал на долю союза *что*. В русском разговорном языке во многих случаях *что* употребляется там, где в письменной речи было бы употреблено *который*. Например *дом, что на горе* (вместо *дом, который стоит на горе*). В древних восточнославянских языках чрезвычайно многообразные функции выполнял союз *а*, но опять-таки в таких памятниках, которые ярче отражают живую речь. Так например в Ипатьевской летописи (начало XV в.) мы читаем: «*хощеши сея волости*, *а убив мене*, *а тобе волость*, *а жив не иду из своей волости*». Союз *а* соответствует здесь нашим *если*, *то* и *а*.

Стр. 146. В языках типа ирландского обычно употребляют пролепсис: *его дом*, *этого человека* вместо *дом человека*.

Интересно, что в тюркских языках грамматизировался обратный порядок членов подобной именной конструкции с обязательным повторением притяжательного местоименного суффикса в управляющем имени—ср. азер.-тюрк. atьn başь, и at başь (дословно: *лошади голова ее* и *лошадь голова ее*)=*голова лошади*, *лошадиная голова*.

Стр. 147.«В болгарском начиная с XIII столетия будущее выражается посредством глагола хотѣти, употребляемого как вспомогательный глагол»,

Так же было и в древнерусском языке: *хочю писать* имело то же значение, что наше *буду писать*. Только наряду с *хочу* в древнерусском языке употреблялись и многие другие глаголы в качестве вспомогательных для образования будущего времени (*почьну*, *иму* и т. д.), тогда как в болгарском (как и в сербском) исключительно употребляются формы глагола *хочу*. В старославянском же положение было такое же, как и в древнерусском.

Стр. 148. «Во второй фразе ирония будет более чувствительной».

В русском языке встречается повторение для выражения определенного эмоционального момента, но, так же как во французском языке, это повторение не грамматизировалось (ср. *море было синее-синее* и *море было очень синее*; стилистически эти две фразы не равнозначащи).

«В именах существительных есть след очень древнего образования множественного числа посредством удвоения, аффективное происхождение которого очевидно».

Удлинение согласного и гласного как средство выражения определенного эмоционального момента наблюдается и в русском языке, хотя и не имеет того грамматического значения, как в семитских. Ср. русское *д-дурак* с начальным «д» долгим, долгота которого заключается в выдержке затвора перед взрывом (более резко, передает бо́льшую эмоциональную окраску), или *баальшущий пароход*! (удлинение гласного первого слога передает различные эмоциональные оттенки, заложенные в этой фразе,—восклицание, удивление и т. п.).

Стр. 148. «Каждый из нас может себя поймать на том, что он в свой повседневный разговорный язык примешивает такие же выражения».

То же самое наблюдаем и в русском языке. Из разговорного языка они проникают и в язык художественной литературы как определенный стилистический прием (особенно у писателей, язык которых близко стоит к разговорному языку). Ср. например у Достоевского: «*Я решаюсь, так сказать, открыть ее* (мою идею) *читателю...*» (*Так сказать* является одним из таких словечек, постоянно употребляемых в обычной разговорной речи).

Глава V

Морфологические изменения

Рассматривая основные виды морфологических изменений, Вандриес отходит от традиционной младограмматической концепции морфологического развития языка как определяемого только двумя моментами—разрушительным действием звуковых законов и выравнивающим действием аналогии. Он допускает в известных случаях значение семантических моментов в морфологическом развитии языка.

В морфологическом изменении языка, по Вандриесу, обнаруживаются две основные тенденции: 1) стремление к единообразию формы, выражающей соответствующие отношения; 2) потребность выразительности, т. е. потребность выразить различными внешними средствами те отношения, которые являются различными в сознании. Эта потребность, как совершенно правильно отмечает Вандриес, полностью никогда не удовлетворяется, поскольку категории языка не являются вполне тожественными категориям сознания. К сожалению, Вандриес совершенно не рассматривает вопроса о генезисе этих двух тенденций и об их соотношении на различных ступенях развития языка. Если первая тенденция (выравнивание форм в результате аналогии) сама по себе вполне понятна, то остается неясным, каким образом произошло это многообразие средств для передачи одного и того же отношения, предшествующее выравниванию. Причина очевидно должна заключаться в том, что на различных ступенях развития сознания одни и те же отношения различно осознаются с точки зрения их тожества и различия. И то, что мы сейчас осознаем в качестве нескольких различных средств для передачи одного и того же отношения (например различные для разных склонений окончания одного и того же падежа), в древности могло осознаваться как средство для передачи нескольких различных отношений.

Ошибочно утверждение Вандриеса, что в изменениях морфологической системы языка мы обычно имеем дело с изменениями отдельных элементов, а не всей системы в целом, как это наблюдается в фонетике. Морфологическая система языка представляет собой столь же стройную и взаимно связанную во всех деталях систему, как и система звуковая, и сдвиги в од-

ной ее части не могут не отражаться на всей системе. Между тем положение о случайном и бессистемном характере морфологических изменений выдвигается в дальнейшем Вандриесом в качестве одного из аргументов против возможности прогресса в языке.

Обращаясь к общим закономерностям морфологического развития языков, Вандриес приводит ряд интересных наблюдений в пользу так называемой теории агглютинации. Он показывает, каким образом морфемы развиваются из служебных слов, утративших самостоятельное значение, а эти последние из слов полнозначных, и выдвигает гипотезу, что подобным образом возникли и морфологические средства таких языков, как индоевропейские и семитские. Эта гипотеза давно уже была выдвинута в языкознании и имеет под собой реальную почву.

Существенным недостатком всей части книги, посвященной вопросам морфологии, является отсутствие указаний на обусловленность изменений строя языка в конечном счете общественно-историческими причинами; ибо только этими причинами объясняется то ослабление, а в известных случаях и полный разрыв грамматической традиции, которые позволяют укрепляться новообразованиям в грамматической системе языка. При отсутствии же указания на социально-историческую обусловленность развитие грамматического строя языка неизбежно начинает трактоваться Вандриесом как самодвижение еще в большей степени, чем развитие звуковой стороны языка.

Стр. 152. «...Такие остатки есть на всякой ступени морфологической эволюции».

В параллель к приводимым Вандриесом примерам можно взять русское слово *путь*. В древневосточнославянских наречиях, из которых затем развился русский язык, было целое особое склонение типа *путь* (к нему относились например такие слова, как *гость*, *зверь*). В дальнейшем почти все слова этого склонения стали склоняться, как слова типа *конь*, который и раньше принадлежал к другому склонению. *Путь* же частично сохранил старое склонение (именительный *путь*, родительный *пути*, дательный *пути*), и только в говорах наблюдается полное выравнивание по аналогии, причем *путь* переходит или в женский род (тип *кость*) или в тип *конь*.

«Множественное число французского les chacals (*шакалы*) не мешает существовать форме les chevaux (*лошади*)».

Так и в русском языке соотношение *сон—сны* не препятствует существовать и соотношению *стон—стоны*, не требуя, чтобы все односложные слова, заключающие в корне «о», выбрасывали это «о» во множественном числе.

«Ребенок, говорящий j'ai li (*я прочитал*) вместо j'ai lu, пользуется приемом аналогии».

Литература по русскому детскому языку указана в примечании к стр. 72.

Стр. 153. «Правильное спряжение вытеснило эти формы из языка».

Подобный процесс унификации грамматических форм мы наблюдаем и в истории русского языка. Так например еще Ломоносов указывал, что слово *добродетель* имеет в творительном падеже множественного числа две формы: *добродетельми* и *добродетелями*. Первая из этих форм старая, существовавшая в древнем языке, вторая развилась позднее под влиянием таких форм, как *женами*, *руками*. В настоящее время форма *добродетельми* совершенно вытеснена из языка.

Стр. 154. «Неправильная форма, если она употребляется редко, забывается и восстанавливается по правильному образцу».

Предположение, что частота употребления имеет большое значение при новообразованиях по аналогии, было выдвинуто еще старшими младограмматиками (Бругманом и Остгофом). С этой точки зрения частотой употребления объясняется то, что в русском языке сохранили особую форму первого лица глаголы *дам* (от *дать*) и *ем* (от *есть*), являющиеся остатками некогда существовавшего особого спряжения. Впрочем вряд ли положение, выдвигаемое Вандриесом, всегда осуществляется. В ряде

случаев аналогии подвергаются как раз очень употребительные формы слов—ср. например широко распространенные формы множественного числа на «а» от слов мужского рода в современном русском языке—*тормоза, директора* и т. п., хотя формы на «ы» как раз являются очень употребительными.

Стр. 154. «Есть обороты явно неправильные, употребляемые постоянно даже образованными людьми...»

Таковы например встречающиеся в русском языке и считающиеся нелитературными формы: *из пламя, нет время* и т. п. Когда-то эти формы употреблялись и в литературном письменном языке (например, у Лермонтова: «*от время и страстей*», «*из пламя и света рожденное слово*»), но затем были из него изгнаны.

«Во французском языке XVI в., когда работа грамматиков не имела ни широты, ни действенности, имевших место позднее, можно встретить большое число неправильностей, не имевших возможности закрепиться в языке».

Интенсивная работа по выработке грамматических форм развертывается обычно в эпоху формирования национального литературного языка. По русскому языку эта работа велась главным образом в 40-х и 50-х годах XVIII в., а также в начале XIX в. В XVIII в. еще часты в русском литературном языке многие неправильные на наш взгляд формы, как например формы родительного падежа множественного числа на «ев» от имен среднего рода на «ие», «ье» (*поместьев, кушаньев*), или на «ов» от имен мужского рода на «а» (например *невеждов*). Эти формы не признавались нашими теоретиками-грамматиками (Ломоносов в своей грамматике для первой из приведенных форм указывает лишь окончание «ий», а для второй «ъ»), но в литературе употреблялись. С начала же XIX в. они выходят из литературного языка. Нужно, впрочем, иметь в виду, что влияние грамматиков-нормализаторов на литературный язык у нас никогда не было столь сильным, как во Франции.

Стр. 155. «Приходится признать, хотя и с сожалением, что эти неправильные обороты соответствуют естественной тенденции языка».

Так, в русском литературном языке на протяжении его истории все шире распространяется например форма множественного числа от имен мужского рода на «а» (*директора, тормоза*). Часто встречаются даже у хороших писателей конструкции типа «*я не мог читать газеты*» (в употреблении этой формы колебался Пушкин), хотя грамматики и стилисты усиленно возражали против этих форм.

«Оно напоминает еще, по крайней мере в своем письменном виде, индоевропейское спряжение, которое во французском языке сохранилось только в этом глаголе».

В подобном же отношении находятся русская связка *есть* (третье лицо единственного числа настоящего времени вспомогательного глагола) и *суть* (третье лицо множественного числа того же времени и того же глагола). Нужно только иметь в виду, что у нас уже давно *суть* не употребляется в значении глагольной связки, хотя например еще у Пушкина мы можем ее встретить: «*Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые...*»

Стр. 156. «...Иногда аналогия осуществляется в пределах одной парадигмы...»

В русском языке мы также наблюдаем случаи осуществления аналогии внутри одной парадигмы. Примером может служить замена звуков «ц», «з» через «к», «г» в некоторых падежных формах имен существительных с основой на заднеязычный звук под влиянием форм, сохранивших заднеязычный звук (например дательный падеж *руке* вместо старого *руцѣ* под влиянием именительного падежа *рука, ноге* вместо старого *нозѣ* и т. д.). Подобным же примером являются глагольные формы, не принятые в литературном языке, но часто встречающиеся в говорах: *пекёшь, пекёт* и т. д.

Стр. 158. «Среди основ среднего рода... некоторые характеризовались суффиксом «es».

Эти основы представлены и в старославянском языке, в современном русском сохраняясь в виде пережитков (*небо—небеса, тело—телеса*).

Стр. 159. «При фонетической эволюции языка некоторые морфемы изнашиваются до того, что они больше уже не пригодны для своих функций».

Приводимое Вандриесом учение о влиянии функции морфемы на ее судьбу категорически отрицалось младограмматиками.

Некоторую тенденцию такого изнашивания мы наблюдаем и в русском языке. В силу редукции (ослабления) конечных безударных слогов в современном литературном языке и в акающих южнорусских говорах совершенно или почти не различаются друг от друга некоторые морфемы, ранее различавшиеся. Так например безударные окончания прилагательных мужского рода единственного числа творительного и предложного падежей в произношении почти не различаются (*красным* и *красном*). Совершенно не различаются безударные окончания прилагательных женского и среднего рода в именительном падеже единственного числа (*красная* и *красное*), и в то же время от них обоих почти не отличается окончание множественного числа (*красные*). Эти окончания в литературном языке отчетливо различают в тех словах, где они находятся под ударением (*золотым, золотом, золотая, золотое, золотые*). Но в некоторых южнорусских говорах, возможно не без влияния совпадения безударных окончаний, утрачено различие женского и среднего рода и под ударением (говорят *моя ведро*). Кроме того в различных говорах русского языка (в том числе и окающих) наблюдается совпадение ранее различавшихся морфем вследствие отпадения некоторых конечных неударяемых гласных. Так например *другой* (родительный падеж единственного числа женского рода) не отличается от *другой* (именительный падеж единственного числа мужского рода), тогда как раньше первая форма звучала *другоѣ* (конечное безударное «ѣ» отпало). Интересные наблюдения по этому вопросу см. *Каринский*, Очерки языка русских крестьян.

«Прежние причастия habitus (от habere—*иметь*), visus (от videre—*видеть*), lectus (от legere—*читать*), tentus (от tenere—*держать*), ruptus (от rumpere—*ломать*) и др. могли быть представлены во французском языке только в формах, лишенных морфологического выражения. Отсюда применение по аналогии выразительного окончания».

Окончания приведенных выше причастий должны были потерять свои гласные в силу того, что в старофранцузском языке все послеударные гласные (кроме «а») исчезали. В окончании же причастия на utus (например solutus от solvere—*развязывать*) первое «u» было в латинском языке долгим под ударением, а следовательно это «u» сохранилось.

Стр. 160. «...немецкое trotz (*несмотря на*), betreffend (*касательно*), датское undtagen (*исключая*) и др.—это самые настоящие предлоги».

Предлоги, происшедшие из самостоятельных слов, мы находим и в русском языке. Ср. наш предлог *под* и существительное *под* (*под*—низ, дно русской печи). Из существительного развился наш предлог *около* (*около* может употребляться и в качестве наречия, но в такой фразе, как например *мы живем около Москвы*, оно будет предлогом). В основе его лежит слово *коло*—круг, колесо (*колесо*—позднейшая форма, заменившая древнюю *коло*). Совершенно ясна связь с самостоятельными словами в таких предлогах как *благодаря, вследствие, в течение.*

Стр. 161. «Определенный член во всех языках происходит из древних указательных местоимений».

В некоторых русских говорах (северных) также наблюдается член, только не перед существительными, как в немецком, французском, английском и др., а после них. Этот член согласуется с существительным, к которому он относится, например: *волк-от, корова-та, коровы-те, корову-ту* и т. п. (Это согласование определенно указывает на то, что мы имеем здесь дело с членом, а не с той неизменяющейся частицей «то», выражающей подчеркивание, которую мы находим в русском литературном языке.) И этот член развился из старого указательного местоимения—*тъ, та, то.*

Стр. 161. «будущие и условные j'aimerai, je lirais происходят от народнолатинских amare habeo, legere habebam».

Употребление глагола *иметь* в сочетании с инфинитивом для выражения будущего времени иногда встречается и в русском языке (главным образом в деловых бумагах, например *имеет быть заседание*, т. е. будет заседание). Украинские формы будущего времени образовались, подобно французским: *ходитиму*, *любитиму* (*я буду ходить*, *буду любить*) из слияния—*ходити иму*, *любити иму* (*иму—беру*).

Стр. 162. «Известно, до какой степени отрицание заразительно и как оно распространяется на соприкасающиеся с ним слова: aucun (*ни один*), personne (*никто*), du tout (*совсем не*)—хорошие французские примеры этого явления...»

Французское aucun (*ни один*) развилось из латинского aliqui(s) unus (*какой-нибудь один*; до XVI в. оно и употреблялось в значении *какой-нибудь*, а того же происхождения итальянское alcuno и испанское algun и до настоящего времени употребляются в значении *некоторый*, *кто-нибудь*). Французское personne развилось из латинского persona (*личность*, *лицо*). Французское du tout буквально обозначает *из всего*.

Стр. 166. «Мы их рассматривали бы как грамматические элементы, лишенные всякого неграмматического значения».

Превращение некогда самостоятельных слов в элементы чисто грамматического значения мы наблюдаем и в истории русского языка. Так например суффикс возвратного залога «ся» (*свалился*, *умылся* и т. д.) еще не так давно (вплоть до XVIII в.) не был неразрывно связан с глагольной формой. Он был отдельным, хотя и не самостоятельным, словом. В XVII в. еще писали: «*с воры ся ему не водити*» (т. е.: *не водиться ему с ворами*). Это «ся» по происхождению связано с винительным падежом возвратного местоимения *себя*. «Ся» было более краткой формой, употреблявшейся в винительном падеже вместо *себя* (или, точнее, его старой формы *себе*) в тех случаях, когда это местоимение не несло на себе самостоятельного ударения. Местоимение же *себе* (дательный и местный падежи в древневосточных славянских наречиях были *себѣ*) связано повидимому этимологически (с точки зрения происхождения) с существительным *особа* (*лицо*).

ЧАСТЬ III

СЛОВАРЬ

Глава I

Природа и объем словаря

Включение наблюдений над лексикой языка в общее введение в науку о языке, каким является книга Вандриеса, вполне соответствует его стремлению осветить язык как явление общественно-историческое. Проводя установки социологической школы с ее резким противопоставлением синхронической и диахронической точек зрения и в вопросах лексикологии, Вандриес справедливо уменьшает роль этимологии, выдвигая на первый план изучение семантики.

Вандриес правильно указывает, что причины изменения значения слов лежат вне самих слов, в реальной действительности, в предметах, называемых словами, но четкой формулировки этого положения мы у него не находим. Вместе с тем резкий отрыв синхронического плана изучения словаря от диахронического не позволяет автору разрешить ряд важных вопросов в динамике развития словаря.

Так, рассматривая проблему полисемии, Вандриес правильно отмечает, что в каждом конкретном случае слово имеет обычно лишь одно значение, определяемое контекстом, но совершенно не рассматривает случаев, когда слово вообще моносемантично (вопрос о термине), а также не раскрывает соотношения полисемии и моносемии в словаре в аспекте истории и лингвистической палеонтологии.

В конце главы Вандриес вскрывает беспочвенность попыток определить количественный состав какого бы то ни было словаря (целого языка, отдельного писателя). В этом с ним можно согласиться, но один из его аргументов в защиту этого положения вызывает возражения: Вандриес считает словарь каждого индивидуума безграничным между прочим на том основании, что каждое новое слово имеет бесконечное количество оттенков значения, а каждое новое значение образует новое слово.

Последовательное проведение подобной точки зрения привело бы не только к отрицанию понятия отдельного слова, но и к отрицанию какого-либо языка кроме языка индивидуального, к отрицанию всякой закономерности в развитии словаря, поскольку закономерность этого рода основывается именно на роли языка как орудия общения, а последняя предполагает существование известным образом отграниченных и общих семантических единиц.

Стр. 168. «...calcul mental и calcul rénal. По происхождению это одно и то же слово».

Медицинский термин сохранил первоначальное значение слова *камешек*, обозначение же этим же словом *счета* связано с примитивной техникой счета с помощью камешков; сдвиг значения произошел уже в латыни.

По происхождению в русском языке родственны такие слова, как *начало* и *конец*, которые вряд ли кто-либо станет соединять.

Стр. 169. «Но зато этимолог различает два различных слова louer...»

Много подобных примеров омонимов разного происхождения мы найдем и в русском языке. Ср. например *ключ* (одного корня с *клокотать*)—*ручей, источник* и *ключ* при замке (одного корня с *клюка*).

В других случаях совпадение происходит вследствие того, что одно из слов является заимствованным, например *брак—женитьба* (от глагола *брать*) и *брак—изъян, недостаток* от немецкого Brack (то же значение).

Богатый материал, хотя частично и устаревший, по этимологии русского языка дает «Этимологический словарь русского языка» Преображенского.

Стр. 170. «Многие из обиходных выражений, допущенных в словари и употребляемых лучшими писателями, представляют порой ужасающие катахрезы...»

Катахрезой (буквально *злоупотребление*, от греческого καταχράομαι—*злоупотребляю*) называется употребление слова в значении ошибочном с точки зрения его первоначального смысла. Примерами катахрезы в русском языке могут служить такие выражения, как *красные* (или *зеленые*) *чернила, благодаря болезни* (*благодаря*, употребляемое в качестве предлога, имеет значение *вследствие, по причине*, первоначально же оно употреблялось в таком значении лишь при словах с благоприятствующим значением, например *благодаря выздоровлению*) и т. п.

Стр. 171. «Не колеблясь говорят по-французски: être acculé aux pires-extrémités (*быть поставленным в безвыходное положение*)...»

Слово acculé этимологически связано со словом cul (*зад*), признанным непристойным, но связь эта утрачена для говорящих. Ср. русское выражение *узнать всю подноготную*, которое в современном сознании никак не связывается с *ногтями* (исторически же это выражение именно связано с *ногтями*—узнать всю подноготную означало добиться признания у пытаемого посредством введения игл под ногти).

Стр. 172. «...нет никакого смысла в lait d' ânon (дословно: *молоко осленка*) вместо laudanum».

Примерами так называемой «народной этимологии» в русском языке могут служить *полуклиника* вместо *поликлиника, спинжак* вместо *пиджак, мелкоскоп* (у Лескова) вместо *микроскоп* (произведено от *мелкий*), *мараль* (у Островского) вместо *мораль* (произведено от *марать*).

Стр. 174. «Различные звуки и их различные сочетания обладают различной выразительной силой».

Критику этого традиционного взгляда на ономатопоэтическую силу звуков—см. *Р. Шор*, Язык и общество.

Стр. 175. «Несчастный Аякс носил в своем имени символ своей судьбы см. *Софокл,* Аякс, ст. 430)».

В этом стихе имя Αἴας (*Аякс*) производится от αἰαῖ (*увы*), αἰάζω (*воплю, стенаю, оплакиваю*).

«Имя Одиссея напоминало некоторые черты характера его деда («Одиссея», песнь 19, ст. 406)».

Дед дал ему это имя, будучи в раздраженном состоянии (от ὀδύσσομαι— *сержусь*).

Стр. 176. «...этим указывая на ее могущество».

Ср. по-русски: «Он слово знает». Вера в магическое значение слова в прошлом подтверждается примерами словесных запретов, между прочим и на материале русского языка. Так например в некоторых местах на севере еще недавно было принято вместо слова *медведь* употреблять более неопределенное *зверь* или *хозяин.* В свою очередь и слово *медведь* некогда (еще в доисторическое время) явилось заместителем какого-то другого слова; оно называет зверя описательно *меду-ед,* т. е. *едящий мед.* Аналогичные запреты существовали на имена многих других опасных животных, а также на имена болезней, смерти, мифических существ—дьявола, домового и т. п. С этими же запретами связаны и охранительные формулы типа: *не дай бог, боже упаси, не к ночи будь помянуто* и т. п.

Стр. 185. «Говорят, что неграмотному крестьянину нужно для...общения 300 слов...»

К возражениям Вандриеса против этого ошибочного утверждения следует еще прибавить, что подобные подсчеты всегда носили тенденциозный, обусловленный классовыми интересами характер.

Глава II

Как слова меняют значение

Эта глава посвящена анализу основных видов изменения значения слов и причин, вызывающих эти изменения. Совершенно правильно отмечая, что этимология как объяснение происхождения отдельных слов немыслима без исторических данных, да и сама является исторической дисциплиной, Вандриес считает, что задача лингвиста состоит в том, чтобы найти общие законы развития семантики. Он рассматривает отдельные виды изменения значения, останавливается специально на проблеме полисемии, которая уже была затронута им в предыдущей главе, исследует соотношение между производными и основными значениями слова, указывает, что вновь развившиеся значения обычно не вытесняют старых, из которых они развились, результатом чего и является полисемия. Исследуя самое направление развития значения, он правильно отмечает, что это развитие не представляет собой прямолинейного движения, но что обычно мы имеем дело с «иррадиацией» значения—излучением из одного основного значения одновременно нескольких производных, каждое из которых в свою очередь может послужить источником для нескольких новых производных (эта мысль была высказана еще Бреалем). Он считает, что, исследуя совокупность значений, выраженных одной звуковой формой, всегда можно установить, какое значение является основным (преимущественным); при наличии же нескольких несводимых преимущественных значений мы имеем дело по существу с несколькими словами. Совершенно верно отмечает Вандриес неустойчивость основного значения во времени в том смысле, что его роль чрезвычайно легко может перейти к другому значению. Это указание могло бы явиться побудительным толчком к анализу соотношения основных и производных значений, к установлению общих закономерностей с точки зрения исторического развития языка, чего Вандриес, к сожалению, не делает. Между тем такой анализ мог бы показать нам, что современные отношения между различными значениями являются иногда наследием далекого прошлого, что в известных случаях мы

не можем говорить об одном основном значении, но о нескольких, одновременно существовавших, значениях слова (первобытная полисемия, которая может объединять и такие значения, связь которых для нас совершенно не ясна) и что многие современные слова одной звуковой формы, но несводимых на наш взгляд значений в действительности имеют один источник,—положение, неоднократно выдвигавшееся акад. Н. Я. Марром.

Вандриес правильно отмечает, что для того, чтобы найти общие принципы развития значения, надо исходить не из самих слов, а из идей, выражаемых соответствующими словами. Но нужно было пойти еще дальше и показать, в зависимости от чего развивается самое сознание. Правда, Вандриес указывает, что в развитии словаря играют роль социальные факторы, и дает ряд примеров, иллюстрирующих зависимость изменения значения от отношений общественно-хозяйственного значения (связь названий *денег* и *скота* в различных индоевропейских языках, *племянника* и *соперника* в древнеиндийском языке и т. п.), но как раз там, где в истории семантики отражаются социальные явления, борьба общественных классов, Вандриес остается на чисто психологической почве; хуже того, он прибегает к понятию «общечеловеческого» или к понятию «национальной психологии», рассматривая ее как категорию вневременную. Общей системы закономерностей развития значения слов с точки зрения отражения в них развития сознания, обусловленного в свою очередь, в конечном счете, развитием общественно-экономических отношений, мы у Вандриеса не находим. Не находим мы у него и анализа закономерностей развития словаря в языках, стоящих на разных ступенях развития, чему уделяли внимание и многие буржуазные исследователи.

Стр. 181. «...sieur (*господин*) и seigneur (*вельможа*) имеют разное значение».

Ср. русские слова *невежа* и *невежда*, происходящие от одного и того же корня. Разница между ними в том, что первое является старым восточнославянским (т. е. принадлежит тем живым наречиям, на основе которых развился русский язык), второе же взято из старославянского (церковнославянского) языка.

Стр. 182. «В исключительно редких случаях мы можем отметить, что в таком-то году то или иное слово...вошло в язык...»

В русском языке ряд слов связывается тоже с именами писателей (*влияние*—Карамзин, *стушеваться*—Достоевский); далее опору для хронологии русских неологизмов дают словарные списки Петра I (*Смирнов*, Западное влияние в русском языке), список Академии 1804 г. (*Булич*, Очерк истории языкознания в России),—ср. *Виноградов*, Очерки русского литературного языка XVII—XIX вв. К сожалению, пока еще нет исследований по хронологии неологизмов русского языка после октябрьской эпохи, хотя хронология многих из них могла бы быть установлена очень точно.

Стр. 183. «Это—другое слово, иностранное слово...»

В русском языке слово *карандаш* представляет заимствование из тюркских языков (первоначальное значение—*черный камень*). Но в новейшее время оно возвращается в тюркские языки в качестве обозначения орудия письма уже как заимствование из русского языка.

Стр. 184. «Семантическая связь удержала эти слова в одной группе».

Нечто аналогичное мы наблюдаем в производных от русского *пить (вино)*. *Пьющий*, *непьющий* приобретают специфизированное значение, относящее их к той же семантической области, что и *пить* в значении *пить вино*. Производные же *пьяный*, *пьяница*, *пьянствовать* уже исключительно связаны с специфизированной областью значения *пить*.

Стр. 185. «Поэтому ничто не помешало слову toga приобрести специальное значение особого одеяния».

В русском языке также издавна существовало соотношение: «е» в глагольном корне—«о» в родственном именном, например: *везу—воз*, *беру—сбор*, *стелю—стол* и т. д. Но это соотношение в современном языке выступает уже не столь ясно. Некоторые соответствия (например *стелю—стол*) мы можем установить лишь этимологически, теперь же мы их не

осознаем. И быть может отчасти в силу меньшей ясности соотношений в русском языке так же, как и в латинском языке, существительные с «о» в корне принимают более специфизированное значение. Так например *воз*—не все, что везут, а определенный вид (высоко нагруженная повозка). Таким образом соотношение между *везу—воз* в русском языке иное, чем например в греческом между ἔχω (*несу*) и ὄχος, которое может означать все, что держит или носит что-нибудь (хранилище кораблей, корабли, повозки и т. д.).

Стр. 185. «Чтобы передать значение *крепко* и *красиво*, немецкий язык пользуется соответственно словами fest и schön».

Подобное явление имело место и в истории русского языка. Наше наречие *надо* (сокращенное *надобно*, древнее *надобе*) и прилагательное *добрый* являются производными от одного и того же ныне уже не существующего коренного слова *доба (пора, удобное время)*. Оба ныне существующие слова (и *надо* и *добрый*) выпали из своего старого семантического гнезда и утратили связь между собой.

Стр. 188. «...единственное правило, это—выражение через глагол действия, которое кажется наиболее характерным в момент фиксации значения слова».

Ср. русское *глазеть*, образованное от *глаз*. Глагол передает некоторый особый характерный оттенок передаваемому им действию, отличный от того, который заложен в других глаголах, выражающих аналогичные действия (например *смотреть*).

Стр. 189. «...латинское название птицы вообще auca по-французски превратилось в название гуся oie».

Примерами сужения значения в русском языке могут служит *квас* при *квасить* (делать кислым)—особый напиток; *готовить* (вообще что бы то ни было)—*готовить* в значении *стряпать*; *пить*—вообще—*пить* в значении *пить вино*; *пиво*—вообще то, что пьется—*пиво* — специальный напиток.

Стр. 190. «...*операция* означает для каждого из собеседников то, что ему ближе всего».

То же самое и в русском языке. Ср. «операция» в военном деле, в медицине, финансовая операция и т. п.

«...пришлось для розы найти другое слово—rosar или garoful di spine».

Примером расширения значения в русском языке может служить значение слова *краска*—первоначально лишь вещество, красящее в красный цвет (этимологически *краска* связана с *красный*), а затем всякое красящее вещество независимо от цвета.

Стр. 192. «То же верно и относительно ирландского глагола atcluiniur (*слышу*)».

Подобный перенос слов из области одного чувства в область другого мы находим также и в русском языке. Ср. *слышен запах, сладкий запах, режущий звук, пронзительный цвет* и т. д.

Стр. 193. «Это, очевидно, объясняется развитием значения независимо в различных странах, где это отмечено».

В русском языке отношение, подобное рассмотренному отношению между словами *раз* и *путешествие*, существует между словами *раз* и *конец* (конец как предел пути, а затем в результате переноса значения и самый путь). Ср. *машина сделала столько-то концов*.

«...отвлеченное выражение распространяется... посредством кальки...»

Многочисленные кальки, а именно для выражения абстрактных понятий, мы находим и в славянском и в русском языках. Первые кальки делались преимущественно с греческих слов, частично еще в связи с переводом культовых книг. ср *совесть*—греческое συνείδησις; кальки из европейских языков проникают в язык, начиная с конца XVIII и начала XIX в. Ср. *влияние* от французского influence, *развитие* от французского développement. Последнее слово было затем в свою очередь использовано при образовании кальки уже с немецкого языка: *саморазвитие* (из немецкого

Selbstentwicklung). Ср. *Виноградов*, Очерки русского литературного языка XVII—XIX вв.; *его же* «Язык Пушкина», М. 1935.

Стр. 194. «Так наречия δεινῶς (*ужасно*) и αἰνῶς (*жестоко*) употреблялись иногда в этом языке для выражения большого количества».

Ср. русское разговорное *больно уж хорошо*, *ужасно милый*, *страшно обрадовался*, *ужасно красивый* и т. п.

«В основе лежит... представление о жалости, смягчающей сердце».

Ср. в русских крестьянских говорах выражение ласки: *ах, ты мой болезный*.

Стр. 195. «...они служат признаком отличия одного человека от другого.»

Один из характерных случаев перенесения явлений, действительно типичных для классового общества, в план общечеловеческой психологии. В действительности все приводимые Вандриесом примеры понятны только в определенной исторической обстановке классового угнетения и классовой борьбы. Таковы приводимые примеры «ухудшения значения» слов, обозначающих известные общественные группы. Соответствующие материалы по русскому языку см. *Булаховский*, Курс русского литературного языка, гл. III «Лексика и фразеология».

Стр. 197. «...но не больше остроумия и вкуса во французских la jambe! или la barbe! la ferme!

Ср. также и русские арготические выражения: *никаких гвоздей*, *на ять*, *на большой палец*.

Стр. 198. «Славянское *скот* (вероятно заимствовано из германского—готское skatts—*монета*) означает одновременно, начиная с древнейших текстов, *скот* и *богатство*».

Ср. еще *куна* в значении *шкурка куницы*, а также определенной денежной единицы в древней Руси с ее сильно развитым охотничьим хозяйством.

Глава III

Как понятия меняют названия

Поставив своей задачей в этой главе установить общие принципы «обновления» словаря, Вандриес уделяет больше внимания социальной основе изменения словаря, чем он это делал в предыдущей главе. Он ставит смену словаря в зависимость от того, на что направлена активность говорящих на данном языке, т. е. в зависимость от хозяйственного уклада соответствующего общества (так объясняет он, например, наличие разных названий для одного и того же на наш взгляд цвета в литовском языке и т. п.). Он обращает внимание и на отражение в словаре определенной социально-групповой идеологии, но не дает четкого определения понятию класса. Поэтому и здесь, как в других местах, Вандриес не доходит до конца в раскрытии социальной обусловленности развития языка. Многих явлений, которые могли бы быть объяснены с точки зрения развития общественно-хозяйственных отношений, он с этой точки зрения не объясняет. Так например он придает большое значение в обновлении словаря магической функции слова, словесным запретам, табу, но не разъясняет, каким образом слово получает это магическое значение в сознании первобытного человека, между тем как здесь может и должна быть вскрыта общественно-историческая основа этого явления.

Вандриес считает, что исследовать «обновление» словаря возможно с двух точек зрения: с точки зрения социальных и индивидуально-психологических основ этого изменения. Но он не показывает, что и в основе индивидуальных психических процессов лежат определенные социальные причины. В качестве причин, вызывающих замену старого слова новым, он указывает например на стирание его фонетической формы или на потускнение значения и на необходимость подчеркнуть различие (когда речь идет о двух предметах, выраженных близкими по корню словами).

Но он не выясняет, чем обусловлено потускнение значения, а также не выясняет и того, почему именно в определенную эпоху потребовалась замена одного из родственных по корню слов новым. Так например при рассмотрении новообразования filius, filia следовало бы обратиться к истории семьи и семейного права в древнем Риме. Сближение этих слов с точки зрения корня является более поздним, чем выражение соответствующих понятий различными корнями, и очевидно связано с изменениями в строе семьи.

Стр. 199. «Французский язык заменил старое слово chef (*голова*), происшедшее от латинского caput (*голова*), новым словом tête (*голова*) (testa—*черепок*)».

Аналогичным примером из истории русского языка, когда старое слово было совершенно вытеснено новым, может служить смена старого слова *око* новым *глаз* (первоначальное значение—*стеклянный шарик, бусинка*). Старое слово сохранилось лишь в производных (например *заочный*) да иногда в поэтическом языке.

Стр. 201. «Но, соединившись в одно выражение, эти два слабых слова могут устоять: говорят sain et sauf (*цел и невредим, в целости*)».

Сочетания таких слов могут возникать и не в результате изгнания из языка односложных слов. Ср. русское аналогичное выражение *цел и невредим* (одно из слов здесь не односложное, а другое, хотя и односложное, вполне свободно употребляется отдельно).

Стр. 203. «По-немецки слова Draht, Kies, Moos синонимичны слову Geld (*деньги*)».

Приведенные немецкие слова—слова студенческого жаргона. Ср. в русском воровском жаргоне многочисленные обозначения денег—*форсы, воробышки, бабки, голяк* и т. д.

«Для передачи идеи *обмануть* во всех языках мы найдем такое же разнообразие».

Ср. в русском *обмануть, надуть, облапошить, провести за нос, околпачить, оставить в дураках, охмурить*.

«Назвать голову горшком... настолько естественно, что это делается... и в других языках».

Ср. русское арготическое *котелок* в выражении *котелок не варит*.

«Его заменяют словами, обозначающими *крюк, щипцы, ложка* и т. д.».

И по-русски человеку с длинными руками шутливо говорят: *убери свои крюки* (или *грабли*). В воровском языке слово *руки* заменяют *грабки, грабли, крючки*.

«Понятие *брать* во всех языках выражается большим количеством различных слов».

Ср. по-русски: *брать, взять, ухватить, схапать, сцапать, заграбастать, цопать, лапать* и т. д.

Стр. 204. «Само parlare поздно появилось в латинском языке (parabolare)...»

Parlare развилось из parabolare, собственно *рассказывать*, от parabola (*притча, басня*), что в свою очередь произошло от греческого παραβολή (*притча, басня*).

«... по-русски *молвить, говорить*...»

Можно добавить также: *сказать*.

«Все эти глаголы сравнительно недавнего происхождения, как и греческий глагол ἀγορεύειν».

Ἀγορεύειν (*говорить*) первоначально имело значение лишь *говорить в народном собраниц*; глагол этот является производным от ἀγορά (*народное собрание*). Наряду с этим глаголом в греческом языке употреблялся глагол более древнего происхождения φημί (*говорю*). Глагол *говорить* в древнерусских памятниках не встречается. Обычно для выражения речи употребляется глагол *речи* (старославянская форма *рещи*; от этого корня в современном языке сохранилось существительное *речь*), *сказати* или взятое из старославянского языка *глаголати*.

Стр. 205. «Все это—выражение противопоставлений пола, играющее важную роль во многих языках».

В русском языке также в сравнительно редких случаях различие животных по полу выражено производными от одного корня; чаще используются просто разные слова. Ср. *волк—волчица*, *медведь—медведица*, *лев—львица*, но: *бык—корова*, *жеребец—кобыла*, *кобель—сука*, *селезень—утка*, *петух—курица* (в говорах впрочем есть и *кур* в значении *петух*) и т. д. Очень же часто название животного не содержит никакого указания на пол. Так например *собака* не обозначает специально ни *собаки-самца* (для этого есть слово *кобель*), ни *собаки-самки* (*сука*). То же можно сказать и о словах *лошадь*, *конь*, половые различия выражаются словами *жеребец* и *кобыла*.

«Аналогично немецкий язык заменяет слово sich erbrechen через sich übergeben».

В русском языке количество евфемистических замен также весьма значительно. Ср. например замены обозначения беременности: вместо «брюхатая», употребляемого еще Пушкиным—«в таком положении», «в интересном положении», «в ожидании», «беременная»; замены обозначений физиологических актов, как «рвет», «стошнило» и т. п.

Стр. 206. «Эти смягченные выражения придают образу смерти менее тягостный облик».

Ср. аналогичные русские выражения *почил*, *приказал долго жить* (теперь уже не употребляется), *скончался* (употребляется и теперь). Возможно, что создание евфемизмов было связано с древней верой в магическую силу слова, тем более что существует большое количество не смягчающих, а вульгарных замен: *протянуть ноги*, *сыграть в ящик*, *дать дуба*, *экачуриться* и т. п.

«Поэтому оно не так пугает больного».

Выражение *хирургическое вмешательство* употребляется и в русском медицинском языке.

Стр. 206—207. «По-ирландски не меньше дюжины слов для медведя и столько же для лосося».

См. примечание к стр. 176.

Стр. 207. «Во многих языках бранные слова претерпевают условное искажение, открывающее им доступ в общество...»

Ср. также в русском языке выражения типа *елки-палки*, *елки зеленые*, заменяющие известные неприличные ругательства.

Стр. 209. «...славянское *лошадь* и *конь*».

Интересно, что *лошадь* и *конь* существуют не в одних и тех же говорах современного русского языка.

«...Le destrier не то же, что palefroi...»

Destrier—название боевого коня рыцаря, на которого пересаживались перед боем. Название происходит от старофранцузского destre *(правый)*. Термин—метонимического характера; предполагается, что конь получил такое название вследствие того, что оруженосец, ведя свою лошадь левой рукой, правой вел коня своего господина, когда тот не садился на него для битвы. Palefroi—из народнолатинского paraveredus (из греческой приставки παρά и кельтского корня—средневаллийского gorwyld—*скаковая лошадь*)—означало верхового коня для путешествий, но не для боя.

«В этом разнообразном словаре отражается сложность нашего современного общества».

В русском языке название заработной платы, особенно в дореволюционное время, для разных областей сильно специфизировалось, хотя и не в такой мере, как во французском (ср. *оклад*, *жалованье*, *заработок*, *кормовые*, *гонорар*, *содержание* и т. д.).

Стр. 210. «...свой собственный «благородный» словарь, из которого изгонялись все «подлые» слова...»

В истории русского литературного языка тоже можно указать периоды, когда идеологи определенных слоев дворянства отстаивали «чистоту» языка и горячо противились введению того, что им казалось «простонародным». В XVIII в. Тредьяковский упрекал Ломоносова в том, что он

считал возможным употреблять в литературном языке слова, взятые из «площадного» языка (*глаз* вместо *око*, *лоб* вместо *чело* и т. д.). В конце XVIII—начале XIX в. сентименталисты указывали на необходимость с большим разбором допускать в литературный язык слова из крестьянской речи («мужик говорит *пичужечка* и *парень*; но первое приятно; второе отвратительно»). Известные пуристические тенденции отразились в словаре Российской академии (1805—1822). Нареканию за «простонародность» языка подвергался Пушкин (критика «жителя Бутырской слободы» на «Руслана и Людмилу»), еще в большей мере Гоголь и писатели «народной школы». См. *Виноградов*, Очерки русского литературного языка XVII—XIX вв.

Стр. 210. «... писатели, обычно высмеивавшие его...»

Аналогичные материалы для изучения «модных словечек» русского аристократического языка XVIII в. дают сатирические журналы и комедии того времени (Новиков, Фонвизин и другие).

Стр. 212. «Возможность создания новых слов значительно расширяется благодаря словопроизводству и словосложению».

Ср. также примеры русского словопроизводства и словосложения, появляющиеся часто на наших глазах, как *летчик, машиностроение, соцсоревнование, ударник, стахановец* и т. д.

«... прием называния его по имени его изобретателя...»

Многие из этих слов, став международными терминами, вошли и в русский язык: ср. *ампер, вольт, силуэт, форд, монпасье* и многие другие.

ЧАСТЬ IV

СОСТАВ ЯЗЫКОВ

Глава I.

Язык и языки

Правильно указывая на единство всех трех сторон языка—фонетики, грамматики, словаря,—рассматривавшихся в предшествующих частях каждая в отдельности, Вандриес в качестве основного положения этой главы выдвигает разграничение индивидуальной речи, языка как средства общения в определенной общественной группе, и речевой деятельности в целом как свойства, которым наделены все люди. Это разграничение строится в согласии с принципами, выдвинутыми социологической школой, причем особое внимание уделяется именно разграничению речевой деятельности в целом и языка как исторически сложившейся системы знаков, используемой в целях общения в определенном человеческом коллективе. Останавливаясь на причинах различия между языками, Вандриес подвергает резкой критике расовую теорию, выводящую языковые различия из различий расовых, не только в том чистом виде, в каком она является у Фридриха Мюллера, и в каком она в настоящее время отвергнута почти всеми представителями буржуазного языкознания, но и в том более скрытом виде, в каком она является например у Финка, основывающего различия языков на различиях этнической психологии. Как представитель социологической школы, он на первый план выдвигает момент социальный, подчеркивая, что наиболее важным средством объединения любой социальной группы является именно язык. Но то понимание общества, из которого исходит Вандриес в своих построениях, в корне ошибочно: оно кладет в основу определения общества не наличие определенных форм производства и производственных отношений, но наличие известных явлений коллективной психологии, якобы выступающих в социальных группировках человеческих особей. Поэтому-то социальные причины различия между разными языками (как и между разными диалектами одного языка) изложены у Вандриеса неправильно и не исследованы до конца, подменяясь причинами «общечеловеческими». Он приписывает например большое значение для языкового отграничения

одной общественной группы от другой моментам соперничества одной группы с другой, даже моментам тщеславия, являющегося якобы побудительным толчком для отграничения, но не разъясняет социальные (добавим, весьма различные) корни этого соперничества. Говоря о различии в языке отдельных групп в пределах одного и того же языка, он не раскрывает различного соотношения между группами разного порядка (например между разными общественными классами и разными профессиональными группировками). Чисто схематически устанавливается им наличие двух противоположных тенденций в развитии языка: диференциации, в результате отграничения друг от друга различных общественных групп, и унификации, необходимой как противодействие диференциации вследствие того, что язык в процессе все дальше идущей диференциации неизбежно должен был бы потерять свое значение как средство общения. Эта схема заменяет у Вандриеса исследование социально-исторических основ этих двух тенденций, хотя излагаемые им факты настойчиво толкают исследователя в этом направлении.

Стр. 220. «...историк языка, уходя в прошлое, открывает в образовании глубоко различных систем синтаксиса действие внутренних законов, объясняющих развитие этих языков».

Необходимо иметь в виду, что вследствие того, что все языки развиваются в тесной связи с другими языками, в синтаксисе каждого языка мы обнаруживаем целый ряд последовательных наслоений, оставленных этими другими языками, различными в различные исторические эпохи. И исследуя например синтаксис современного русского языка, мы не всегда с достаточной легкостью установим, какие явления в нем уходят в доисторическое прошлое, какие самостоятельно развились позднее, в историческую эпоху, а какие внесены другими языками, влиявшими на русский язык в различные эпохи (старославянский и греческий с начала нашей письменности, немецкий и латинский в начале и середине XVIII в., французский и отчасти английский в конце XVIII и начале XIX в., снова немецкий в 30—40-х годах XIX в.).

Стр. 220—221. «...немецкое слово leihen означает в одно и то же время prêter *(давать в долг, ссужать)* и emprunter *(брать взаймы)*».

В русском языке существуют различные выражения *давать взаймы* и *брать в долг*. Но в современном разговорном языке очень часто оба они заменяются одним словом *занять* или *одолжить* (ср. например *займи мне пять рублей* в значении *ссуди мне пять рублей* и *я одолжил у него пять рублей* вместо *я занял у него пять рублей)*.

Стр. 221. «...инстинкт, заставляющий группы индивидов осознавать как общее объединяющие их особенности, противопоставляя себя другим группам...»

Здесь опять (ср. выше, примечание к стр. 195) Вандриес возводит общественные отношения, типичные для классового общества и понятные именно из истории классового общества, в норму «общечеловеческого».

Стр. 223. «Он с гордостью заявит, что только он и его односельчане говорят правильно и хорошо, а что по ту сторону ручья или долины речь уже перестает быть правильной».

В отношении русских крестьянских говоров богатый материал шуток и насмешливых поговорок собран у *Даля,* Пословицы русского народа.

«Малерб считал, что у грузчиков Port-au-foin наиболее верное чувство языка; он называл их своими учителями языка».

В определенную эпоху, когда—в связи с начинающими развиваться капиталистическими отношениями—оформляется национальный «общий» язык, идеологи этого языка часто обращаются к живой речи широких масс народа для обогащения литературного языка. Ср. у Пушкина: «Разговорный язык простого народа... достоин глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентинском базаре. Не худо нам иногда прислушаться к московским просвирням: они говорят удивительно чистым и правильным языком».

Стр. 224. «...существуют диалекты, например диалект Франш-Контэ и Лиможа; эти диалекты в свою очередь подразделяются на многочисленные местные говоры».

То же мы наблюдаем и в русском языке. Всю область русского языка можно разделить в основном на два обширных наречия—северное и южное (не считая переходных среднерусских говоров, тянущихся довольно узкой полосой с северо-запада на юго-восток и включающих в свою территорию между прочим Москву). Северное в свою очередь можно разбить в основном на пять групп говоров: поморскую, олонецкую, западную (около Новгорода), восточную (Вологда, Киров, заходит за Урал), владимирско-поволжскую (Верхняя Волга); южное—на три: орловскую, тульскую и рязанскую. Каждая группа в свою очередь делится еще на отдельные говоры, слегка уклоняющиеся друг от друга (так например в Холмогорах и на Мезени говорят несколько различно, хотя и мезенский и холмогорский говоры принадлежат к одной и той же поморской группе).

Глава II

Диалекты и специальные языки

Эта глава посвящена проблеме диалектов, разграничению диалекта и языка, взаимоотношениям литературного языка и диалектов, специальным языкам, т. е. языкам различных социальных групп. Вандриес не соглашается с мнением некоторых лингвистов (в особенности романистов), отрицающих вообще наличие диалектов и считающих возможным говорить лишь о территориальном распространении определенных лингвистико-диалектальных явлений (изоглосс). Он считает возможным говорить о диалектах как об определенных лингвистических единицах, несмотря на неясность границ между отдельными диалектами. С этим вполне можно согласиться, но самое понятие диалекта дается Вандриесом не исторически; он не указывает существенного различия между диалектом как племенным языком в дофеодальном обществе и местным диалектом феодальной эпохи, возникновение которого тесно связано с раздроблением страны на мелкие замкнутые экономические единицы; он не отмечает изменений, вносимых в судьбу и характер диалектов созданием национальных «общих языков».

Разграничение между диалектом и языком построено Вандриесом на внешнем количественном принципе, который явно недостаточен. Он считает отсутствие четких лингвистических границ между двумя лингвистическими единицами основанием к тому, чтобы считать эти единицы диалектами одного и того же языка. Таким образом у него оказываются диалектами одного и того же языка французский и провансальский. Но при разграничении языка и диалекта необходимо принять во внимание исторические и политические условия развития национальности, говорящей на соответствующем языке. В противном случае неверное положение легко становится политически вредным орудием национального угнетения.

Говоря о специальных языках, т. е. о говорах различных социальных групп, Вандриес делает не менее существенную ошибку, не вскрывая принципиального различия между общественными группами различного рода, отражающегося на языковых взаимоотношениях различных групп. Он не делает различия между языком различных общественных классов и языком различных профессиональных и т. п. групп, тогда как говоры (арго) различных профессиональных групп следовало бы рассматривать как дальнейшее деление внутри языка определенного класса. Говор каждой профессиональной группы несомненно отражает в себе помимо специфических особенностей и общие черты, присущие языку того класса, к которому данная группа принадлежит.

Стр. 229. «Следовательно особенности словаря так же, как и особенности грамматические и фонетические, распределяются, не совпадая с другими особенностями».

С подобным явлением мы сталкиваемся и при изучении русских говоров. Русская диалектология изучена значительно слабее, чем французская, но тем не менее и для русских говоров мы можем провести изоглоссы (линии равноговорения) отдельных звуковых, грамматических, даже словарных явлений, причем в большинстве случаев изоглоссы различных явлений не будут друг с другом совпадать. Наиболее характерными чертами севернорусских говоров (или севернорусского наречия, как принято его иногда называть в лингвистической литературе) обычно считают оканье (т. е. сохранение качества неударяемых гласных) и цоканье (смешение «ц» и «ч»). Но границы распространения даже этих основных явлений не совпадают. Граница оканья (южная) идет извилистой линией с северо-запада на юго-восток, от эстонской границы до устья Урала. Южная же граница цоканья проходит значительно севернее. Так например в центральной части РСФСР, где граница оканья проходит лишь немного севернее Москвы (Загорск по Ярославской железной дороге уже находится в окающей области), граница цоканья проходит за Волгой по линии Грязовец—Буй—Галич—Макарьев. Севернорусские говоры характеризуются сверх того наличием «г» взрывного (при «г» фрикативном в южнорусских говорах). Но по «г» взрывному с северными говорами объединяются также и среднерусские (к которым принадлежит и московский). Граница «г» взрывного пройдет еще дальше к юго-западу (лишь на очень небольшом пространстве на Волге, к северу от Сталинграда, эта граница совпадает с границей оканья). Такие же несовпадения мы обнаружим и в области грамматики. Граница совпадения дательного и творительного падежей в одной форме (*с рукам, с ногам*), распространенного во многих северных говорах, не совпадает с границей старой формы родительного падежа женского рода прилагательного «молодые», которая распространена значительно уже. Словарь часто расходится в очень близких говорах (так например флюгер на Пинеге называется *корзовка*, а немного севернее—на Кулое—*махавка*).

«Шмидт основывал свою теорию на материале индоевропейских диалектов, где, по его мнению, как и в романских языках, изоглоссы не совпадают».

Теория волн Иоганна Шмидта (1872) состояла в том, что все индоевропейские языки представляют непрерывный ряд, причем соседние языки заключают в себе больше общих черт, чем языки, более удаленные друг от друга. Примером такого большего сходства именно соседних языковых групп может служить хотя бы развитие (гипотетически восстанавливаемое) гласных в отдельных, исторически засвидетельствованных, индоевропейских языках. В индоиранских языках из шести восстанавливаемых гласных праязыка («а», «ā», «о», «ō», «е», «ē») получилось всего две—«а» и «ā». В «а» совпали старые «а», «о», «е» (краткое), в «ā»—старые «ā», «ō», «ē» (долгие). В славянских языках сохранились «е» краткие и долгое, «а» и «о» совпали в одном звуке—краткие в «о», долгие в «а». В германских языках также сохранились «е» (подвергшись дальнейшим видоизменениям), а «а» и «о» также совпали, но иначе: «а» и «о» краткие совпали в «а», а «а» и «о» долгие—в «о». Наконец еще дальше на запад, в греческом и латинском языке, различаются все шесть указанных выше гласных. Объяснение сходности явлений соседних языков с точки зрения теории волн заключалось в том, что современные отношения отражают те распределения диалектов, которые существовали и в древности. Изменения в диалектах распространялись подобно концентрическим кругам, расходящимся на воде от брошенного камня, и при этом перекрещивались друг с другом (опять-таки подобно волнам на воде от нескольких брошенных камней). Теория волн являлась возражением против господствовавшей до того в языкознании теории родословного дерева Шлейхера (1861), согласно воззрениям которого индоевропейский язык распался некогда на два

основных отдела, а из этих отделов стали в свою очередь развиваться новые языки, становясь в свою очередь родоначальниками новых групп языков, ответвлявшихся от них подобно тому, как ствол дерева дает разветвления. По существу же теория волн опровергает и теорию миграций, заставляя относить возникновение индоевропейских языков к позднему периоду и показывая бесплодность поисков праязыка и пранарода.

Стр. 229. «...каждый из них обладает совокупностью многочисленных и достаточно четких признаков, не позволяющих нам смешивать провансальский язык с французским».

В некоторых пунктах на границе русского и украинского языков мы находим говоры, заключающие черты того и другого языка. Но тем не менее русский и украинский языки определяются вполне четко как самостоятельные. Более того. Мы даже об этих переходных говорах обычно можем сказать с достаточной определенностью, являются ли они говорами украинского языка с добавлением некоторых русских черт, или наоборот.

Стр. 230. «...есть ряд других отличительных черт, позволяющих провести приблизительные границы, отделяющие их друг от друга».

То же можно сказать о русских говорах. Ср. выше, примечание к стр. 224.

«Диалект поэмы «Saint Alexis» один, а диалект «Saint Léger» или «Cantilène de Sainte Eulalie»—другой...»

Речь идет о древнейших памятниках старофранцузской литературы: поэма о святом Алексии относится к XI в., поэма о святом Леодегарии—к концу X в.; кантика святой Евлалии датируется IX в.

Наши древние памятники также были писаны на различных диалектах. В восточнославянской языковой области, где сложился русский язык, существовало несколько крупных экономических и политических центров, и в каждом был свой литературный язык—в основе старославянский (церковно-славянский) с добавлением особенностей живого местного диалекта. Так, например, язык Лаврентьевской летописи, писанной в Ростовско-суздальской земле, отличается от языка Новгородской летописи.

«В древней Греции диалект эпоса был другим в сравнении с диалектом лирики...»

Наибольшее значение в качестве литературного диалекта в древней Греции имел аттический, который позднее (в эпоху эллинизма) лег в основу общегреческой *κοινή* (общего языка). Языком гомеровского эпоса был ионийский диалект. Лирики (Алкей и Сафо) писали на эолийском диалекте. Греческая драма вообще писалась на аттическом диалекте, но в хоре ее встречаются доризмы, которые, впрочем, иногда проникают и в диалог.

Стр. 232. «...по-португальски calao, по-румынски smecherasca и т. д.».

По-русски употребляется название «блатной язык», «блатная музыка».

Исчерпывающую библиографию по русскому воровскому языку и некоторым другим специальным языкам см. в сборнике «Язык и мышление», т. III—IV.

Стр. 233. «...и метафора и метонимия употребляются в арго особенно часто».

Ср. в русском воровском языке: *воробышки—деньги, лягавый—сыщик, засыпаться* или *завалиться—попасться, чердак—лоб* и т. п.

Стр. 234. «В cant мы то там, то сям находим слова ирландские, как например twig *(понимать)*, ирландское tuigim *(я понимаю)*».

В русском блатном языке мы также находим большое количество иностранных элементов, например *пижон* (объект преступления) из французского, *бан* (вокзал) из немецкого, *фраер*—человек, не принадлежащий к преступному миру, оттуда же, *хрять*—итти из цыганского (цыганское

хриа—итти), *бабай* (старик) из тюркских языков, *хевре* (компания)—из еврейского и т. п.

Стр. 235. «Школьники часто прибегают к «жаванэ»; этот же прием засвидетельствован в школах германских и славянских стран».

Подобные языки, основывающиеся на определенных звуковых отступлениях от обычного языка, существовали и на основе русского языка (например описанный Помяловским язык бурсаков, изменяющий слова перестановкой слогов и прибавлением к каждому слогу спереди слога «ши», а сзади слога «ци»,например *шичтоци*—что).

Стр. 236. «...слова обиходного языка, прочитанные от конца к началу...»

Аналогичное явление представляет собой «тарабарская грамота» или «литорея» древнерусских книжников, существовавшая в нескольких вариантах. В простой литорее гласные не изменялись, согласные же замещались по табличке:

б в г д ж з к л м н
ш щ ч ц х ф т с р п;

так слово *корабль* в литорейной записи 1229 г. означено «томашсь».

Литературу см. *Е. Карский*, Славянская кирилловская палеография, глава «Криптография или тайнопись».

Стр. 237. «У караибов например мужчины говорят по-караибски, а женщины по-аравакски».

Наличие особого мужского и женского языка мы находим и у некоторых народов СССР, задержанных колонизаторской политикой царизма на низкой ступени развития, у народов, говорящих на палеоазиатских языках, например у чукчей-луораветлан. У осетин еще в XX в. существовал особый «девичий язык», ныне приобретающий характер школьного языка. Исторически различие мужского и женского языка повидимому представляет собой древнее явление и отражает раннюю эпоху разделения полов в родовом обществе по их хозяйственной и общественной роли.

«У яванцев начальник обращается к своему подчиненному на языке нгоко, а подчиненный отвечает на языке кромо».

Язык нгоко используется также при общении между равными. Кроме того существует еще третий язык—кромо биосо. На нем обращается высший к низшему, если он относится к последнему с уважением. Эти три языка в общении между представителями различных общественных групп употребляются лишь на восточной и центральной Яве.

«Отсюда и употребление тайных языков, продолжающих употребляться и после того, как вновь посвященный вошел в новую среду».

Рассматриваемое Вандриесом явление отражает опять-таки очень раннее деление по возрастным группировкам, свойственное эпохе родового строя.

Стр. 238. «Как часто в нашем обществе воздерживаются от употребления того или иного слова из боязни, что слово навлечет бедствие, им обозначаемое: absit omen!—это формула дикаря».

Ср. у Мельникова-Печерского:

«Не послушаю я наветов дьявола...—начала было Дуня, но порывистым движением Варенька крепко схватила ее за руку.

— Не поминай, не поминай погибельного имени,—оторопевшим от страха голосом она закричала» («На горах»)

Ср. также примечание к стр. 176.

Стр. 238-239. «...их живучесть объясняется нуждами и традициями специальной группы людей, выделяющихся из массы других людей по своей профессии».

Так, возникшие в феодальной крепостнической Руси русские условные языки офеней (разносчиков), лошадиных барышников, портных, шаповалов и некоторых других кустарных промыслов сохранялись и в конце XIX в. и даже в нач. XX в.

Глава III

Общие языки

Эта глава посвящена условиям формирования и развития письменных и разговорных общих языков, т. е. языков, используемых в качестве средства общения как между говорящими на различных диалектах в пределах одного языка, так и между говорящими на различных языках. При этом Вандриес правильно указывает на различие между понятиями общего и литературного языка, хотя иногда они и совпадают. Формирование и развитие общих языков, по Вандриесу, определяется обстоятельствами не языковыми—распространением организованного политического могущества, влиянием преобладающего общественного класса или литературы, общим движением цивилизации; к сожалению, в результате неверной концепции общества, отмеченной нами выше у Вандриеса, он нечетко определяет самые внеязыковые причины, обусловливающие образование общих языков.

Как это вообще характерно для представителя буржуазного языкознания, указываются многочисленные факторы, зависимость же между ними не устанавливается. Нечетко определяя общественно-исторические основы возникновения «общих языков», Вандриес не обращает достаточно внимания на существенные различия в формах существования «общих языков» в античном государстве и в буржуазном обществе нового времени, на различия той общественной основы, на которой они возникают в том и в другом случае.

В отдельных случаях Вандриес указывает на классовую природу общего языка (так например он говорит, что в основе французского общего языка, как он складывался в XVII в., лежал язык парижской буржуазии), но последовательно классовая природа общего языка им не выявлена. Уделяя внимание возникновению особых специальных литературных языков (эпических, религиозных) наряду с общими языками, он не вскрывает исторических причин, вызвавших появление таких специальных языков. Рассматривая вопрос о взаимоотношении разговорного и письменного итальянского литературного языка, совершенно правильно Вандриес отмечает расхождение этих двух языков как черту архаическую, но не объясняет, чем вызвано это расхождение. Следует отметить, что расхождение письменного и устного языка вообще характерно для феодальной эпохи, когда складывался итальянский литературный язык.

Говоря о взаимоотношении общего литературного языка и различных диалектов той страны, где этот общий язык распространен, Вандриес указывает на стирание диалектов под влиянием общего языка, но не анализирует детально этого стирания в различные исторические эпохи.

С полным основанием указывая на бо́льшую устойчивость письменного языка, каким в настоящее время является в большинстве случаев общий язык, Вандриес видит в этом причину глубокого разрыва между письменным и разговорным языком, наблюдаемого например в современном французском языке. Но он не исследует исторических причин этого разрыва, считая его неизбежным следствием самой природы общего письменного языка. На примере русского литературного языка послеоктябрьской эпохи, преодолевающего этот разрыв, мы прекрасно можем убедиться в том, что такой разрыв не обязателен и что он обусловлен там, где он есть, определенными историческими условиями—все усиливающимся антагонизмом классов в капиталистическом обществе.

Стр. 241. «Здесь,как и в германских диалектах, совпадающие изоглоссы совпадают и с прежними административными границами».

В русских говорах границы определенных явлений часто также совпадают с административными границами. Так например граница «ў» неслогового из «л» перед согласными и в конце слова *(пaўка, стоў*, вместо *палка, стол)* пересекает р. Пинегу, причем совпадает со старой административной границей Архангельской и Вологодской губерний. В Централь-

ной черноземной области, где было сильно развито помещичье землевладение, часто оказываются (или во всяком случае оказывались перед самой революцией) различными говоры даже соседних деревень, если они принадлежали при крепостном праве различным помещикам. В бывших Калужской и Воронежской губерниях еще до войны было отмечено многими исследователями различие в говорах деревень, принадлежавших при крепостном праве монастырям, и говорах деревень помещичьих (см. *Д. К. Зеленин*, Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных, 1911).

Стр. 246. «... в главнейших своих частях этот язык опирается на современный разговорный язык».

Процесс образования общерусского литературного языка в более точном виде представляется следующим образом. В X—XI вв. восточными славянами был действительно, как это указывает Вандриес, усвоен старославянский (или церковно-славянский) язык, в основе южнославянский. В силу характерной для феодальной эпохи разобщенности отдельных областей этот язык является не в виде единого стандарта, а в виде местных разновидностей, образовавшихся в результате проникновения в него явлений живых восточнославянских наречий (разновидность киевская, новгородская, смоленская и т. д.). Приблизительно с XIV в. начинается на территории, занятой восточными славянами, формирование обширных государственных объединений—Московского государства, Белорусско-литовского княжества, Украины (политически была подчинена Польше, но представляла собой достаточно обособленную единицу). На территории этих государств формируются на основе старых восточнославянских диалектов национальные языки—русский, белорусский и украинский. Церковно-славянский литературный язык продолжал в Московском государстве использоваться в качестве литературного языка вплоть до XVIII в. При этом в развитии литературного языка Московского государства следует отметить два основных момента: 1) разновидность церковно-славянского языка, принятая в Москве, начинает вытеснять другие литературные разновидности (новгородскую, псковскую и т. д); 2) в церковно-славянский письменный язык все больше и больше проникает черт, идущих из живого русского языка, и в первую очередь из московского говора. Некоторые памятники XVII в. (особенно канцелярские—бумаги наших приказов) являются памятниками почти что живого русского языка. Вместе с тем в связи с укреплением и расширением экономических связей с Западом усиливается влияние западноевропейских языков. С XVIII в. наш литературный язык окончательно строится на национальной основе. Следует особо подчеркнуть (не только для русского, но и для всех рассмотренных Вандриесом общих языков), что переход к национальному литературному языку был обусловлен началом формирования в недрах феодального общества капиталистических отношений, что вызывает в свою очередь формирование наций и национальных языков. В силу долгого использования русскими церковно-славянского языка в качестве литературного многие церковно-славянские элементы органически вошли в русский язык. Особенно ярко это сказывается в словаре (ср. *Шахматов*, Очерк современного русского литературного языка; *Будде*, Очерк истории литературного русского языка XVII—XIX вв.; *Виноградов*, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.).

Стр. 249—250. «... можем предвидеть исчезновение диалектов в более или менее далеком будущем».

Еще до революции в русском языке обнаруживалось сильное влияние литературного языка на местные говоры. Сравнительно недавно исчезли некоторые черты, характерные для соответствующих говоров (цоканье в пределах старой Владимирской губернии, проникновение некоторых явлений аканья туда же). После революции влияние литературного языка протекает еще интенсивнее (ср. *Каринский*, Очерки языка русских крестьян). Но в то же время и литературный язык получал и получает многое

из диалектов. В последнее время в него проникло много слов, ранее известных только говорам.

Стр. 251. «У малайцев... есть специальный язык, служащий им литературным языком,—это язык кави; он насыщен санскритизмами».

В настоящее время кави не используется в качестве литературного языка. Общим литературным языком для всей Индонезии является малайский, в основе язык полуострова Малакки. На нем пишут книги и печатают газеты. Язык этот несколько различен для разных районов Индонезии. В последнее время намечается тенденция образования единого стандартного литературного языка на основе яванского диалекта этого малайского языка.

Стр. 254. «В одной из газет с большим тиражем можно прочесть такие обороты»:

Вандриес приводит ряд солецизмов. Они относятся к трем категориям: 1) ошибки в управлении: demander à ce que... вместо demander *(спрашивать)*, ressortir de ce que вместо ressortir à... *(относиться к ведению)*; 2) ошибка в глагольном окончании: s'enfuya вместо s'enfuit *(он убежал)*; 3) ошибки лексические: agoniser (*быть в агонии*) вместо agonir *(донимать)*.

Стр. 256. «...в драме рядом с санскритом обычно пользовались... пракритами».

Индийская теория драмы точно распределяет употребление санскрита, пракритов и апабхрамша (т. е. литературной обработки народных говоров) между действующими лицами соответственно их касте: так, по-санскритски говорят боги, брахманы и цари; женщины царского рода говорят на пракритском наречии шаурасени, представители низших каст—на апабхрамша.

Глава IV

Соприкосновение и смешение языков

Глава посвящена вопросам языкового смешения, влияния одних языков на другие и причинам этого влияния. Последовательно проводится идея исторической необходимости взаимодействия между собой различных языков. Рассматривая конкретные примеры вытеснения одних языков другими, отметив важную роль в этом вытеснении экономических и политических условий, Вандриес не раскрывает однако до конца причин вытеснения и сопротивляемости языков. Вместо анализа национальной и колониальной политики господствующих классов буржуазного общества он выдвигает в качестве факторов, определяющих исход борьбы двух языков, такие мнимые величины, как «престиж» языка, его «сила» и т. п. Так например, говоря об отступлении армянского языка перед русским при упорном сопротивлении в то же время последнему польского языка (речь идет о языковых отношениях, существовавших в царской России), он оперирует лишь неопределенным понятием сравнительной «силы» языков, полагая, что польский язык упорно сопротивлялся русскому языку лишь потому, что оба языка—равной «силы». В действительности же упорное сопротивление польского языка объясняется более ранним вступлением Польши на путь капиталистического развития (сравнительно с Арменией) и более ранним оформлением ее национального литературного языка.

Совершенно правильно отмечает Вандриес, что две, на первый взгляд противоречивые, теории, существующие в лингвистике по вопросу о взаимоотношениях между различными языками (признание всякого языка смешанным и признание наличия единства языка), в действительности не исключают друг друга, но обе приложимы к любому языку и нуждаются в согласовании.

Анализируя конкретный языковый материал и выясняя, какие стороны языка подвергаются иноязычному влиянию, Вандриес находит, что это влияние проникает чрезвычайно глубоко и может захватывать не только

словарь, который легче всего подвергается иноязычному влиянию, но и морфологическую структуру и синтаксический строй. Это положение приводит Вандриеса к возможности подлинной гибридизации (смешения) языков, определяющей его очень скептическое отношение к компаративному методу (см. следующую главу).

Стр. 259. «...через столетие французский язык уступил полностью место голландскому».

В настоящее время этот язык, в основе голландский, но сильно отклонившийся от голландского языка метрополии, является под названием африканского (africaans—язык буров) вторым официальным языком (наряду с английским) Южноафриканского союза.

«Стремление греков не подчинить своего языка языку победителей...»

Устойчивость греческого языка (впрочем, сильно преувеличиваемая Вандриесом, так как в новогреческом языке есть значительный вклад турецкой лексики) объясняется, разумеется, не столько «престижем» этого языка, сколько феодальным в основном строем султанской Турции, при котором языковая раздробленность не вызывает противодействия ни со стороны государственной власти, ни со стороны господствующих классов.

В XIX в. армянский язык отступил перед русским языком в пределах Европейской России...»

Говоря о потеснении русским языком языков кавказских, Вандриес не говорит об основном факторе этого потеснения—агрессивной ассимиляторской политике царизма на Кавказе. Впрочем потеснение, о котором говорит Вандриес, касалось лишь денационализировавшейся верхушки господствующих классов, тогда как широкие массы сохраняли свой язык.

Стр. 260. «...немцы США начинают говорить: Milch gleicht der Onkel nit, ... кальку с uncle does not like milk».

Английская фраза означает: *дядя не любит молока.* Немецкая же фраза буквально значит: *молоко не похоже дядя.* Английское слово like помимо значения *любить* (в смысле *мне нравится что-нибудь*) имеет также значение *похожий*. В немецкой фразе английский глагол like переведен словом *походит*. С подобными же явлениями мы постоянно сталкиваемся, наблюдая русскую речь в устах не-русских (ср. у Достоевского слова немки-хозяйки в «Преступлении и наказании» о своем отце: *«ходит руки по карманам»* вместо *руки в карманы* или *в карманах*).

Стр. 263. «...делают... ударение на втором слоге от конца слова, приглушают конечные звонкие согласные...»

Во французском языке ударение всегда падает на конечный слог, а конечные согласные звонки.

Стр. 265. «...могут иметь значение и именительного и винительного падежей».

Во французском, как известно, нет форм склонения. Ошибка первой фразы заключается в том, что дополнение, зависящее от глагола, стоит в именительном падеже, а не в винительном. Надо было бы сказать: da mihi meam vaccam *(дай мне мою корову)*. Ошибка второй фразы в том, что именное сказуемое стоит в винительном падеже, а не в именительном. Надо было бы сказать: Petrus est rex *(Петр—царь)*.

«Он соединяет романскую мысль с немецкой речью».

Аналогичный случай введения отрицательного оборота из другого языка мы можем наблюдать и в русском языке. В XVIII в. русский литературный язык находился под сильным влиянием латинского языка, который в то время являлся международным научным языком. И у Ломоносова мы находим построенный по латинскому образцу оборот с одним отрицанием, когда по-русски следовало бы употребить два:

Где не смеют устремленны
Ветры волн когда взбудить...

Насколько сильно было тогда латинское влияние, видно из того, что Ломоносов употребляет этот оборот с одним отрицанием в переводе с французского (из Фенелона), где в подлиннике как раз стоят два отрицания, как следовало бы по-русски: où jamais le vent n'ose *(где никогда ветер не осмеливается).*

Стр. 266. «При привычке одинаково свободно изъясняться на двух языках говорящий обычно бессознательно переносит идиомы из одного языка в другой».

Впрочем в каждом языке, как например в современном русском, имеется большое количество идиом, исконно не русских, но ставших русскими в результате буквального перевода с иностранного языка и распространения наряду с исконно русскими. Примером может служить выражение: *разбить на-голову* (неприятеля), проникшее в язык в XVIII в. в качестве дословного перевода немецкого идиоматического выражения *auf's Haupt schlagen.*

«...португальский язык обогатился английской морфемой».

Довольно большое количество иностранных морфем мы найдем и в русском языке. Приставка превосходной степени «наи» (*наилучший, наибольший* и т. д.), не очень впрочем употребительная в настоящее время, проникла из польского языка, оказывавшего сильное влияние на русский до XVIII в. (ср. польское najlepszy *(самый лучший)*, najgorzy *(самый плохой)* и т. д.; ср. также многочисленные словообразовательные суффиксы иностранного происхождения, сочетающиеся в современном языке и с русскими корнями («изм», «изация», «ист» и т. д.).

Стр. 267. «...творительный предикативный, существовавший в финских языках, перешел в индоевропейские языки (славянские и балтийские), соседившие с ним».

Имеется в виду творительный падеж именного сказуемого: *он был учителем* и т. п., а также творительный падеж, относящийся к косвенному дополнению так же, как в приведенном примере сказуемое относится к подлежащему, например: *его сделали учителем.*

Употребление предикативного творительного падежа шире, чем в русском, распространено в некоторых других славянских языках—в польском, в кашубском, где сказуемое может стоять в творительном падеже и в настоящем времени. Под влиянием польского языка он встречается в наших памятниках XVII в. (впрочем иногда и в настоящее время говорят *он учителем* вместо *он учитель).* К гипотезе возникновения этого оборота под влиянием финских языков нужно отнестись с некоторой осторожностью. В угрофинских языках в предикативном употреблении выступает не тот падеж, который обычно выражает орудие действия, как наш творительный. Например в финском и мордовском употребляется транслатив, тогда как орудие действия выражено инструктивом (финский) или инессивом (мордовский); в коми-зырянском в предикативном употреблении выступает именительный падеж и лишь для слов, заимствованных из русского языка, действительно может употребляться инструменталь (творительный).

«...в новоцыганском превратилось в I'd kom to jal adré mi duvel's ker when mandi mer's».

В последней фразе является ряд слов и морфем английского происхождения: I—*я* (вместо прежнего выражения лица глагольным окончанием), to—показатель инфинитива в английском языке, окончание родительного падежа—'s. Язык русских цыган также подвергся сильному влиянию русского языка. Так например в словообразовании постоянны гибридные формы из цыганского корня и русской приставки (в глаголах), например лава *(беру, взимаю)*, вылава *(вынимаю)*, залава *(занимаю)*, злава *(снимаю)*, пирилава *(перенимаю)* и т. д., не говоря уже о многочисленных чисто словарных заимствованиях.

Стр. 269. «Это в сущности китайский язык с английским словарем...»

Аналогичный смешанный русско-китайский язык существует на Дальнем Востоке.

Глава V

Родство языков и сравнительный метод

В соответствии с принципами французской социологической школы строго разграничивая синхронию и диахронию, Вандриес различает метод исторический, изучающий язык в диахроническом плане, т. е. с точки зрения его последовательного развития, и сравнительный, изучающий синхронически (на одном историческом этапе) два диалекта или языка, развившиеся из одного источника. Оба метода дополняют друг друга, и сравнительный метод является по существу продолжением исторического метода в доисторию. Следуя традициям компаративизма, Вандриес считает сравнительный метод в известных случаях даже более надежным, чем исторический.

Уделяя особое внимание сравнительной грамматике индоевропейских языков, на материале которых главным образом и оформился сравнительный метод, Вандриес в противоположность крайним ортодоксальным представителям компаративизма считает индоевропейский праязык лишь чистой схемой, системой корреспонденций, не соответствующей никакой конкретной реальности и служащей лишь для восстановления принципов грамматической структуры исторического прошлого ныне существующих индоевропейских языков.

Однако, несмотря на такое понимание праязыка, как будто запрещающее делать какие-нибудь выводы конкретно-исторического порядка, Вандриес в ряде случаев делает уступки традиционным компаративистским воззрениям. Последовательно отстаивая точку зрения различия языка и расы, Вандриес подчеркивает, что языковое родство не следует смешивать с родством расы и цивилизации, но допускает существование в глубокой древности некоторого единства для группы родственных языков. Очевидно такое единство не может мыслиться чисто языковым, но должно представлять собой и некоторое этническое единство (поскольку какой-то народ должен был быть конкретным носителем этого языка), которое оказалось настолько могущественным, что распространило свое влияние на обширный комплекс самых различных языковых и этнических единиц. Последовательная борьба с расовой теорией неизбежно должна была бы привести и к полному отказу от концепции праязыка.

Вандриес обращает внимание на многие неясные и противоречивые моменты во взаимоотношениях отдельных индоевропейских языков (например наличие резко расходящихся западного и южного словаря, не совпадающих с предполагаемым делением древних индоевропейских диалектов по фонетическим и грамматическим признакам). Он признает, что лингвистическое родство имеет очень относительное значение, что оно зависит от данных истории и что часто древние отношения бывают нарушены позднейшими языковыми взаимоотношениями.

Как специалист в области языков индоевропейских, привыкший иметь дело с языками главным образом флективного типа, Вандриес оказывается в большом затруднении, когда сталкивается с проблемой применения сравнительного метода к языкам, близким к аморфному типу, какими например являются западносуданские. Он прямо считает, что к таким языкам трудно применить сравнительный метод, хотя они и много могут дать для уяснения общих положений грамматики.

И наконец, после ряда правильных указаний на слабые места сравнительного метода, Вандриес все же приходит к довольно неожиданному заключению, что, к счастью, существуют определенные языковые «семьи», отношения внутри которых хотя и спорны в деталях, но в целом несомненны. К таким группам он относит индоевропейскую, семитскую, угро-финскую и некоторые другие.

Сознавая всю шаткость сравнительного метода и отсутствие под ним реальной исторической почвы, Вандриес оказывается бессильным преодолеть традицию компаративизма, совершенно отбросив понятие праязыка.

Стр. 271. «...между латинским и французским языками существует историческая преемственность, составляющая родство этих двух языков».

Французский язык развился на основе народнолатинских говоров покоренной Римом Галлии. Старое галльское население, говорившее на кельтских языках, в результате романизации утратило родной язык и приняло латинский, включив в него лишь немногочисленные кельтские элементы. Подобным же образом из народнолатинских говоров развились и другие романские языки.

«Другая же сторона языка открывается перед нами, когда мы подходим к нему синхронически».

Как последователь французской социологической школы Вандриес отчетливо разграничивает синхроническую и диахроническую точки зрения, т. е. рассмотрение языковых данных на одном определенном этапе и рассмотрение языка в его историческом развитии.

Стр. 277. «Археологи говорят о галльштатских стоянках, или о латенском оружии, или об орнаменте Виллановы, или об ауньетицкой утвари».

Галльштатские стоянки—памятники доисторической галльштатской культуры, представляющей собой начальную стадию обработки железа. Культура была распространена в Европе с XV до V в. до н. э. Наиболее многочисленные памятники этой культуры обнаружены в Венгрии и Югославии. Название свое культура получила по галльштатскому могильнику близ Галльштадта (в Австрии). Латенская культура, сменившая галльштатскую, была распространена в Западной Европе с V в. до н. э. по II в. н. э. Культура обнаруживает решительное господство железа. Название ее происходит от места la Tène (мель) на берегу Невшательского озера в Швейцарии, где были обнаружены принадлежащие этой культуре свайные постройки. Культура Виллановы—доэтрусская культура Италии. Была распространена в X—IX вв. до н. э. Названа по месту, где впервые была обнаружена (имение Вилланова близ Болоньи).

Стр. 278. «Антропологи подобным же образом говорят о неандертальском человеке или о черепе Шапель-о-Сэн и сопоставляют долихоцефалов или брахицефалов разных районов, не имея возможности связать свои этнографические деления с языковыми делениями».

Неандертальским человеком называется разновидность первобытного человека, распространенная в Европе в третью межледниковую эпоху. Название свое эта разновидность получила по месту, где ее останки впервые были обнаружены (Неандерталь в Германии). Точнее, это была вторая находка останков человека этого типа: она была сделана в 1856 г., тогда как неполный череп, принадлежащий человеку неандертальского типа, был найден в Гибралтаре в 1848 г.; но именно находка 1856 г. обратила на себя внимание. Череп, найденный в Шапель-о-Сэн (Франция, департамент Коррэз), также принадлежит к неандертальскому типу. Долихоцефалы—длинноголовые, брахицефалы—короткоголовые; антропологическое деление на долихоцефалов и брахицефалов основывается на черепном указателе (отношение между длиной и шириной черепа).

Стр. 279. «Количество примеров может быть легко увеличено».

Вандриес, следуя А. Потту, впервые применившему этот способ разъяснения понятия этимологической связи слов, приводит созвучные слова различных языков, имеющие различную этимологию, в целях предостережения против заключения об общем источнике на основании чисто внешнего и случайного сходства. Во всех приведенных примерах он имеет в виду традиционную индоевропейскую этимологию.

Немецкое Feuer *(огонь)*, как и слова аналогичного корня в других германских языках, сопоставляются на основании звукосоответствий с греческим πῦρ, умбрийским pir, ирландским ir с тем же значением. Французское feu, как и слова аналогичного корня в других романских языках (итальянское foco, испанское fuego и др.), выводятся из латинского focum (винительный падеж от focus, *очаг, жертвенник, костер*).

Английское whole из древнеанглийского haal сопоставляется с немецким heil, древневерхненемецким heil и со старославянским цѣлъ (русское *целый*). Греческое же ὅλος выводится из формы ὅλϝος (существовавшей наряду с ὅλος, ср. гомеровское οὖλος, где «ῦ»=«u» неслоговое—перед «λ» в результате перестановки), которая сопоставляется с латинским salvus (*целый, невредимый*), санскритским sarvas (*целый, весь*).

Латинское femina (*женщина*) рассматривается как отглагольное прилагательное (*кормящая грудью*) от глагола fēlāre, который сопоставляется с санскритским dhārù-s (*сосущий*), греческим θηλή (*сосец*) и не связано с древнесаксонским fêmea, fêmia, так как санскритскому dh соответствует германское d.

Латинское locus (*место*) из древнелатинского stlocus рассматривается как производная основа от корня, представленного например в санскритском sthala (*место*), греческом στέλλω (*изготовляю*) и т. п., хотя этимология эта не вполне убедительна. Санскритское lōka-s (*свободное место, мир*) сопоставляется с литовским laũkas (*поле*), древневерхненемецким lōh (*заросшая прогалина*), латинским lūcus (*роща*), где u из дифтонга ou, на что указывает древнелатинская форма loucom (винительный падеж от этого слова), оскское lúvkei (*в роще*).

«...мы находим в кельтском и в германском, к которым в известной мере присоединяется италийский язык, значительное количество общих слов...»

Во всех индоевропейских языках действительно содержится некоторое количество слов, происходящих из общего источника. Но таких слов сравнительно небольшое количество. Большее количество слов мы можем указать таких, которые общи не всем индоевропейским языкам, а нескольким группам их, причем—на что обращает внимание Вандриес, следуя Мейэ,—на основании словаря можно построить интересную группировку индоевропейских языков. Оказывается, что многие слова, общие северным и западным группам индоевропейских языков, неизвестны южным и восточным. Это положение можно иллюстрировать следующими примерами. Корень, который мы находим в русском глаголе *ковать, кую*, наличен также в балтийских, германских и италийских языках (ср. литовск. káuju (*кую*), древневерхненемецкое houwan (*ковать*), латинское cūdo (*кую*) с добавлением суффикса d), но неизвестен греческому, армянскому и индоиранским языкам. Корень, имеющийся в русском слове *зерно* (старославянское *зрьно*, древневосточнославянское *зьрно*), также известен в балтийских языках (древнепрусское syrne), германских (готское kaurn, современное немецкое Korn), италийских (латинское grānum), кельтских (древнеирландское grān). Корень глагола *сеять* (старослав. сѣти) обнаруживается в литовском sė́ti, готском saian (*сеять*), древнеирландском sīl (*посев*), латинском sēmen (*семя*). Обоих этих корней нет ни в греческом, ни в армянском, ни в индоиранских языках. Для названия *рыба* существует общий корень в западных индоевропейских (латинском—piscis, ирландском—īask, готском—fisks). Но этот корень неизвестен не только в южных и восточных индоевропейских языках, но также в славянских и балтийских.

«Кельтская и италийская ветви грамматически настолько близки, что некоторые лингвисты высказали гипотезу об итало-кельтском единстве».

Грамматическая близость италийских и кельтских языков несколько преувеличена, хотя действительно обе эти группы обнаруживают некоторые грамматические черты, выделяющие их из остальных индоевропейских языков, например родительный падеж единственного числа на i от основ на o,—ср. латинское lupi (*волка*), древнегалльское Segomar-i (собственное имя). Этой формы не знают другие индоевропейские языки и даже италийские, кроме латинского. Некоторые следы этого образования обнаруживаются лишь в древнеиндийском.

Стр. 280. «Короче говоря, грамматические отношения между этими языками не согласуются с их словарными отношениями».

Нужно указать, что все же по некоторым грамматическим чертам можно выделить те же группы, которые выделяются и в словарном отношении. Так например аугмент (наращение в прошедших временах глагола) известен лишь южным и восточным языкам—греческому, армянскому и индоиранским, которые, как было указано выше, объединяются в словарном отношении. Но действительно во многом деление по грамматическим чертам не совпадает с делением по чертам словарным. Так например славянские языки в системе глагола обнаруживают много общего с греческим и индоиранскими языками, тогда как в словаре во многом сходятся, как было уже сказано выше, с германскими и латинским.

«Отношения фонетические тоже не совпадают».

Имеется в виду деление всех индоевропейских языков на две обширные группы по одному фонетическому признаку. Деление основано на том, что в одних и тех же корнях в западных языках имеются заднеязычные или гортанные согласные, а в восточных—переднеязычные,—ср. древнеиндийское çatam—русское *сто* (старославянское *съто)*, с одной стороны, и латинское centum, немецкое hundert и т. д., с другой стороны. Деление не совпадает с указанным выше словарным делением. К восточному отделу принадлежат языки индоиранские, армянский, славянские, балтийские, к западному—германские, греческий, италийские, кельтские. В лингвистике принято называть западные языки—языками kentom (старая латинская форма centum—*сто)*, а восточные—языками satəm (авестийская форма для *сто)*.

Стр. 281. «Может быть нашлись бы более серьезные основания, чтобы причислить тогда французский язык к языкам семитским...»

На нехарактерный для индоевропейской грамматической системы облик грамматической структуры современного французского языка обратил внимание акад. Н. Я. Марр, считая некоторые черты, обнаруживаемые французским языком, типологически более древними, чем черты, характеризующие латинский язык (см. *Н. Я. Марр*, Как трудно стать лингвистом-теоретиком, сборник «Языковедение и материализм», вып. I).

Стр. 282. «Мы совершенно лишены возможности распределить эти языки по семьям».

В сравнительно недавнее время (1911 г.) немецкий исследователь Д. Вестерман попытался построить сравнительную грамматику суданских языков. Впрочем позднее (в 1927 г.) он сам отказался от мысли об объединении всех суданских языков и сосредоточил свое внимание на сравнении лишь западносуданских языков (расположенных у побережья Атлантического океана).

ЧАСТЬ V

ПИСЬМО

Глава I

Происхождение и развитие письма

Детально исследуя проблему возникновения письма, Вандриес видит источник письма, с одной стороны, в первобытной пиктографии, а с другой, в символическом языке вещественных знаков, распространенном в первобытном обществе. С достаточным основанием обращает он внимание на роль магического знака в оформлении письма на ранней его ступени, вытекающую из большой роли магических представлений для первобытного мышления. Преждевременно однако утверждать, что письмо в своем источнике носило исключительно магический характер, как это делает Вандриес, следуя воззрениям Леви-Брюля на характер мышления первобытного человека.

Излагая историю распространения отдельных систем письма, Вандриес

совершенно не останавливается на экономических и исторических причинах этого распространения.

Почти не затронута Вандриесом очень важная проблема связи типа письма с грамматической структурой языка. Особенно интересно было бы обратить внимание на соотношение между аморфным строем и идеографическим письмом и агглютинативным строем и силлабическим письмом (Вандриес лишь вскользь говорит о некоторых особенностях идеографического письма, соответствующих моносиллабическому строю китайского языка). *Ср. И. И. Мещанинов,* К вопросу о стадиальности в языке и письме.

Стр. 287. «...этот рисунок становился знаком собственности...»

Знаки родовой, а позднее и частной собственности—так называемые тамги—еще в XX веке засвидетельствованы у тюркских и кавказских народов.

«Ветка, брошенная на дороге, ...может указывать дорогу...»

Дорожные знаки засвидетельствованы еще в XIX в. у народов Сибири.

«Эти палочки, покрытые зарубками, служат для передачи сообщений, приказов, иногда целого ряда очень сложных приказов».

У европейских народов широко развито применение зарубок в качестве счетных знаков (бирок). Указание на применение зарубок в качестве памятных и гадательных знаков есть у древних историков. Так, древние славяне, по свидетельству черноризца Храбра, болгарского писателя X в., до принятия письма из Греции также писали «чертами и резами» (т. е. знаками, зарубками). Подобные же указания есть относительно германцев.

Стр. 289. «Подобные же надписи мы находим и поныне в употреблении у диких народностей Америки».

Образное письмо засвидетельствовано еще в XX в. у палеоазиатского народа юкагиров (одулов). См. «Языки и письменность народов Севера» под общей редакцией Я. П. Алькора, ч. III. Л. 1934. Многочисленные образные надписи на скалах в Сибири опубликованы в «Древностях» Московского археологического общества.

Стр. 292. «В клинописи один и тот же знак может изображать до 15—20 различных звуковых комплексов».

«Полифония» клинописи объясняется помимо приводимой Вандриесом причины еще и тем, что знаки ее сохраняли наряду с ассирийским еще и шумерское чтение.

Стр. 293. «Ассирийцы, принявши клинопись, попытались устранить неудобства полифонии посредством фонетических дополнений».

Клинопись впервые стали употреблять шумеры—древние насельники Месопотамии. В своей первоначальной форме она была приспособлена для передачи именно шумерского языка, языка нефлективного. От шумеров ее приняли семитские народы Месопотамии, говорившие на флективных языках.

Стр. 294. «Только став силлабическим письмом, (клинопись) стала практичной...»

Раскопки последних лет показали, что на основе клинописи было создано и алфавитное письмо (находки в Рас-Шамре в 1929 г.).

«Финикийский алфавит такой, каким мы его находим на стеле Месы...»

В настоящее время (с 1924 г.) известна более древняя надпись на библосском саркофаге (XIII в. до н. э.).

Стр. 295. «Дюссо считает..., что алфавитом мы обязаны эгейской цивилизации...»

Эгейская, или критомикенская, культура—догреческая культура Греции и островов Эгейского моря (2000—1000 до н. э.). Памятники ее сохранились главным образом в Микенах и на Крите (последние древнее). На Крите найдены между прочим и надписи двух типов—образного и линейного (в двух вариантах), которые до сих пор однако еще не прочитаны.

Таким образом сопоставление отдельных знаков этих надписей с греческим письмом весьма проблематично.

Стр. 295—296. «...иероглифическое письмо благодаря пользованию папирусом и необходимости быстрого писания перешло в Египте в иератическое, а потом и в демотическое...»

Иератическое письмо—более поздняя форма древнеегипетского письма, утратившая рисуночный характер. Демотическое (т. е. народное) письмо—еще более поздняя форма, существовавшая в эпоху эллинизма (при Птоломеях) и приобретшая черты курсивного письма.

Стр. 296. «... два знака были сохранены из древнего рунического алфавита».

Рунический алфавит—алфавит, засвидетельствованный в древнескандинавских надписях, начиная с III в. н. э. Название письмен—руны—от древнескандинавского rūn *(тайна)*. В основе рунического письма лежит измененное греческое курсивное и частью латинское письмо.

«...славянский алфавит Кирилла и Мефодия—настоящий шедевр. Как далеки от них алфавиты англосаксов и ирландцев!».

В древности существовали две системы славянского письма—кириллица и глаголица. Первое из них получило более широкое распространение. На основе его была создана и русская гражданская азбука, которой мы в настоящее время пользуемся. Второе, более сложное по внешнему рисунку букв, повидимому более древнее. В древности как раз оно и называлось кириллицей по имени предполагаемого изобретателя этого письма.

Различаясь по внешней форме, обе системы, имеющие в качестве источника греческое письмо, построены на одном принципе. Рассматривая отношение этих систем письма к звуковой системе древнеболгарского языка, для которого они впервые были созданы, следует признать, что они действительно являются весьма тонко продуманным средством передачи древнеболгарских звуковых особенностей. Правда, в этих системах сохранены некоторые лишние для славянских языков знаки греческого алфавита (например ѳ, два знака для «и» и т. д.), но зато для всех других болгарских звуков, различение которых важно для различения смысловых единиц языка, т. е. для всех старославянских фонем, созданы дополнительные знаки. При этом порой самый характер этих дополнительных знаков указывает на то, какие из изображаемых ими звуков фонетически между собой близки. Сравнение этой системы с системой древнеирландского письма, как правильно отмечает Вандриес, далеко не к пользе последней, в которой обнаруживается значительная хаотичность. Одни и те же знаки могут обозначать различные звуки и иногда в одном и том же положении. Так например «p», «t» обозначают глухие взрывные в начале предложений, после фрикативных и частью после «r», «l», звонкие взрывные—частью после тех же «r», «l» и после гласных; «b», «d», «g» обозначают звонкие взрывные в абсолютном начале и иногда после «r», «l», фрикативные после гласных и иногда после согласных. С другой стороны, один и тот же звук в одном и том же положении может обозначаться разными знаками, например ferg, а также ferc *(гнев)* (на конце звучит звонкий взрывный согласный).

Глава II

Письменный язык и орфография

Напоминая о постоянном расхождении между письменной и устной речью, Вандриес указывает, что особенно ярко это расхождение проявляется в орфографии. Однако категорическое заявление его о невозможности фонетического письма, приложимого ко всем языкам, явно преувеличено.

Наиболее существенный недостаток изложения Вандриесом вопроса о соотношении между письменным знаком и живой речью вытекает из отсутствия у него понятия фонем как звуков-различителей смысловых

единиц речи. Признавая, что современная французская орфография переживает кризис, заключающийся в чрезвычайно резком разрыве между орфографическими нормами и живой речью, Вандриес считает необходимой орфографическую реформу. Однако общих принципов, на основе которых должна быть проведена эта реформа, он не указывает.

Главное, что удерживает Вандриеса от решительного признания необходимости устранения тех недостатков французской орфографии, которые он сам так ярко изобразил,—это боязнь разрыва с культурным наследием прошлого. Здесь налицо явная переоценка внешнего «одеяния» письменного языка—его орфографической нормы. Блестящий опыт русской орфографической реформы в СССР ясно показывает, насколько подобный страх является неосновательным.

Стр. 299. «...c'est écrit или c'était écrit в смысле *это решено, это предрешено, это судьба...*»

Ср. русское *на роду ему написано; что написано пером, не вырубишь топором* и другие подобные пословицы и поговорки.

Стр. 303. «В России сильно влияние традиции старославянского языка; оно сохранило в современном русском языке написание *того* для слова, произносимого *tavo*».

Утвердившееся правописание, сохранившееся и после реформы 1917 г., *того* было действительно поддержано церковно-славянским языком (в нашей орфографии есть правила, сложившиеся под влиянием церковнославянского языка). Но следует заметить, что форма *того* так произносилась и в древнерусском языке (приблизительно до XVI в.). Впрочем с точки зрения современного языка в этой форме совершенно не может быть оправдано лишь «г» (вместо «в»). Что же касается первого «о», то оно поддержано ударными окончаниями прилагательных *(большóго, молодóго* и т. п.). В рационально исправленной орфографии мы не должны стремиться к обязательно точному соответствию написания и звучания; следует сохранить единство написания одних и тех же значимых элементов в различных фонетических условиях.

Стр. 304. «Мы никогда не кончили бы, если бы захотели перечислить все недостатки французской орфографии».

Русская орфография, из которой реформа 1917 г. устранила основную массу «исторических» написаний (с «ѣ», «ѳ», «i»), подобных французским, все же содержит некоторые написания, основанные на историческом принципе, причем некоторые из этих написаний с исторической точки зрения также являются ошибочными. Так например, как общее правило, мы пишем в безударном положении «о» там, где оно исторически звучало, хотя бы с точки зрения современного языка мы и не могли доказать, что здесь надо писать «о», а не «а» (например *собака, корова* и т. д.). Однако в ряде случаев утвердилось в силу традиции ошибочное написание «а», например *паром* (древнерусское *пором*). Ср. анализ русской (дореформенной) орфографии у *Ушакова,* Русское правописание (с литературой вопроса).

Стр. 305. «Это другой способ неправильной диалектизации литературного слова».

Английское light *(свет)* сопоставляется с немецким Licht *(свет);* delight—*восхищать(ся), услаждать(ся)* имеет источником латинское delectare *(забавлять, веселить, услаждать, восхищать);* ср. французское délecter *(услаждать).*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРОГРЕСС ЯЗЫКА

В заключение Вандриес ставит одну из кардинальных проблем языкознания—проблему общего направления развития языка. Решительно отвергнув свойственное филологам воззрение на язык как на застывшую норму, Вандриес повторяет общее положение, выдвинутое основополож-

никами сравнительно-исторического метода, о необходимости исторического подхода к языку. Обращаясь к исторической концепции языка, он ставит вопрос, можно ли говорить вообще о развитии языка в определенном направлении, и рассматривает две противоположные гипотезы; одна из них, более ранняя, принятая главным образом в первой половине XIX в., утверждает, что некогда был идеальный язык, который впоследствии деградировал; другая переносит идеал языка в будущее. Решительно отвергая первую гипотезу, указав, что несостоятельность ее очевидна, Вандриес более детальному анализу подвергает вторую. Он полагает, что невозможно решить, в каком направлении развиваются звуковой строй и морфологическая структура языка, но пытается найти известные закономерности, объясняемые зависимостью языка от общественного развития как в области семантического развития языка, так и в области исторической судьбы его и взаимоотношения отдельных языков. Так, он указывает на освобождение языка от первобытного мистического характера вследствие развития цивилизации, на развитие языка от большей конкретности выражения в сторону большей абстрактности. Он отмечает большую консервативность (архаичность) языков, расположенных в стороне от космополитических центров и больших дорог, большее дробление языка на диалекты при рассеянии его на большой территории.

Правильно отмечая связь развития языка и развития сознания, Вандриес во многих случаях не дает четкого и верного объяснения тех или иных особенностей языкового развития. Освобождение языка от магического характера объясняется не только развитием «цивилизации», причины этого лежат глубже, в общем ходе общественно-экономического развития. Рассеяние языка по большой территории само по себе не объясняет дробления на диалекты. Нельзя согласиться с Вандриесом в том, что мы не можем найти общего направления звукового и грамматического развития языка. Конечно еще не все закономерности этого развития в настоящее время найдены, но определенные тенденции этого развития, в частности в области строя предложения, в работах советских лингвистов указаны (Ср., напр. *И. И. Мещанинов*, Новое учение о языке, Л. 1936).

В корне ошибочен конечный вывод Вандриеса о невозможности установить абсолютный прогресс в развитии языка. Ярко и правдиво рисуя условия существования языков малых народностей в недрах буржуазного общества (бретонец не мог бы по-бретонски написать философский трактат, так как бретонцы, говорящие по-бретонски, не интересуются философией), Вандриес однако не понимает, что речь идет о закономерностях существования этих языков именно в буржуазном обществе, где они действительно обречены на вытеснение языками более мощных наций, что подлинный прогресс в языке, как и в обществе, возможен лишь с уничтожением самих предпосылок национального и классового угнетения.

Судьба многих народов СССР, бывших в царской империи отсталыми и обреченными на вымирание, а ныне передовых участников социалистического строительства, блестяще показала, в каких условиях осуществим прогресс в истории языков и языка.

Стр. 311. «...(греческий) язык—божественной природы...»

В параллель высокой оценке греческого и французского языков приводим интересную оценку русского языка у Ломоносова:

«Карл пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с богом, французским с друзьями, немецким с неприятельми, итальянским с женщинами говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображении краткость греческого и латинского языка... Меня долговременное в российском слове упражнение совершенно о том уверяет. Сильное красноречие цицероново, великолеп-

ная виргилиевая важность, овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему, но недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуем» («Российская грамматика»).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

языковедов, грамматиков и составителей алфавитов, упоминаемых в тексте

Асколи Гр. И. (1829—1907)—выдающийся итальянский лингвист, исследователь индоевропейских языков в целом и романских языков в частности, основоположник теории субстрата. В сочинении «Studij orientali e linguistici» (1854) доказывал наличие семитских элементов в этрусском языке. В более позднем сочинении «Fonologia comparata del sanscrito, del greco e del latino» (1870) выдвинул ряд новых положений по сравнительной фонетике индоевропейских языков, между прочим предположил наличие трех рядов задненебных согласных вместо принятого ранее одного.

Бальи Шарль (1865)—современный швейцарский лингвист, представитель социологической школы. Работает главным образом в области стилистики и грамматики романских языков. Его важнейшие работы: «Traité de stilistique», 1909; «Le langage et la vie», 1911, изд. 2-е 1926.

Бембо Пиетро (1470—1547)—венецианский писатель, поэт и историк; разработал правила тосканского литературного языка, изложив их в сочинении «Della volgar lingua», 1525.

Бреаль М. (1832—1915)—известный французский лингвист, работавший главным образом в области классических языков, давший перевод и анализ евгубинских таблиц, основного памятника умбрского языка, уделявший большое внимание общим проблемам семантики. Основные его труды: «Les tables eugubines», 1875; «Sur le déchifrement des inscriptions cypriotes» ,1877; «Dictionnaire étymologique latin», 1885; «Essai de sémantique», 1897.

Бросс Шарль де (1709—1777)—выдающийся французский ученый, автор ряда работ по вопросам истории, этнографии и языка; разработал общую теорию языка, в которой пытался обосновать материалистически происхождение языка и объяснить социальными причинами его развитие; в отличие от более ранних исследователей для решения этих проблем уделяет большое внимание языку «дикарей». Эта теория изложена в его сочинении «Traité de la formation mécanique des langues et des principes physiques de l'étymologie», 1765 (русский перевод Александра Никольского «Рассуждение о механическом составе языков и физических началах этимологии», изд. Российской академии, два тома, СПБ, 1821—1822).

Бугур Д. (1628—1702)—французский иезуит, писатель, занимавшийся также разработкой норм французского литературного языка; взгляды его в этой области изложены в следующих сочинениях: «Doutes sur la langue française proposés à M. M. de l'Académie», 1674; «Nouvelles remarques sur la langue française», 1675.

Вернер К. (1846—1896)—известный датский лингвист, исследователь германских языков, открывший так называемый закон Вернера, установивший зависимость характера германского передвижения согласных от места ударения. Этот закон опубликован Вернером в статье в «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», 1875.

Габеленц Георг фон дер—известный немецкий лингвист, написавший большой обобщающий труд по общему языкознанию с широким привлечением материала неиндоевропейских языков—«Die Sprachwissenschaft», 1901. Как и отец его—синолог Конон фон дер Габеленц,—он примыкает к психологическому направлению в языкознании.

Гезихий—греческий (александрийский) грамматик и лексикограф, живший приблизительно в IV или V в. н. э., составивший словарь греческого языка, содержащий помимо слов также формы и фразы. При составлении этого словаря автором были использованы более ранние словари—Диогениана (использовавшего в свою очередь более ранний словарь Памфилия), а также словари Аристарха, Аппиона, Гелиодора и др. Словарь в том виде, в каком дошел до нас, содержит много позднейших вставок, сделанных переписчиками. Впервые был издан Марком Музурусом в Венеции в 1544 г.

Гердер Иоган-Готфрид (1744—1803)—знаменитый немецкий философ и писатель, тесно связанный с литературным движением Sturm und Drang, много занимавшийся также вопросами языка. В своем сочинении «Ueber den Ursprung der Sprache», 1772, изд. 2-е 1789, разработал общую теорию возникновения языка, связываемого им с развитием человеческого мышления. Вопросам языка Гердер также уделяет место в своих работах «Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts», 1774—1776, и «Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit», 1784—1791.

Граммон М.—известный современный французский лингвист, автор ряда оригинальных теорий по фонетике. Важнейшие труды: «La dissimilation consonantique», Dij., 1895; «L'assimilation», P. 1923; «Traité pratique de prononciation française», P. 1914; «Traité de phonétique», P. 1933.

Гримм Я. (1785—1863)—знаменитый немецкий лингвист и филолог, основатель исторического метода в языкознании, основоположник германской филологии. Его основные лингвистические труды: «Deutsche Grammatik», три тома, 1819—1837; «Geschichte der deutschen Sprache», 1848. Весьма многочисленны его труды по фольклору, истории германских древностей, средневековой литературе. Им же начат академический словарь немецкого языка («Deutsches Wörterbuch», 1854, и др.), продолженный после него другими немецкими филологами.

Гумбольт Вильгельм фон (1765—1835)—знаменитый немецкий мыслитель и политический деятель, основоположник сравнительно-исторического метода в языкознании, давший в первоначальном виде ту типологическую классификацию языков, которая и в настоящее время принимается большинством лингвистов. Его важнейшие лингвистические сочинения: «Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelst der baskischen Sprache», 1818; «Ueber das Entstehen der grammatischen Formen», 1822; «Ueber den Dualis», 1827; «Ueber die Verwandschaft der Ortsadverbien mit den Pronomina...», 1829; «Ueber die Kawi-Sprache auf der Insel Java» (введение к этому сочинению «Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts» переведено на русский язык П. Билярским—«О различии в строении человеческих языков и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода», 1859) и многие другие.

Дарвин Чарльз (1809—1882)—знаменитый английский естествоиспытатель, основатель эволюционного учения в биологии. В своем сочинении «The decent of man and on selection in relation to sex», 1871 (неоднократно переводилось на русский язык под заголовком «Происхождение человека и половой подбор»), он затронул также проблему возникновения языка, который он выводит из криков, передающих различные эмоции.

Дармстетер А. (1846—1888)—французский лингвист, специалист в области языков романских, в частности французского. Основные труды: «La voyelle atone...», «De la formation des mots nouveaux dans la langue française», 1887, «La vie des mots...», 1887, «Cours d'une grammaire historique de la langue française», 1891.

Декарт Рене (1596—1650)—знаменитый французский математик и философ, первый выдвинувший идею искусственного «философского» языка.

Дионисий Галикарнасский—греческий историк и грамматик I в. до н. э. Основное его сочинение «Περὶ συνθέσεως ὀνομάτων» («О соединении слов») посвящено вопросам построения периода, различиям стиля и т. п., причем идеалом для него является аттическая проза. В сочинении о стиле Демосфена и в письме к Помпею он рассматривает Демосфена в качестве величайшего стилиста и неблагоприятно отзывается о стиле Платона.

Дирр А. (1867—1932)—известный немецкий лингвист, исследователь кавказских (в особенности дагестанских) языков; до войны 1914 г. долгое время работал на Кавказе. Основная его работа—«Einführung in die kaukasischen Sprachen», 1925, где он подводит итоги своей исследовательской работе. Кроме того им помещен ряд описаний отдельных языков (а также статей общего характера) в «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа», Тифлис с 1904 по 1913 г.

Кадм—легендарный греческий герой, по преданию сын Агенора, царя финикийского, основатель города Фив в Беотии; ему древние приписывали создание греческого алфавита на основе финикийского.

Кирилл (Константин) и *Мефодий*—братья-греки, родом из Солуни, предполагаемые изобретатели славянского письма (IX в.). По имени младшего из братьев названа наиболее распространенная система славянского письма (кириллица), из которой развился и современный русский алфавит.

Мейе А. (1866—1936)—выдающийся французский лингвист, один из крупнейших представителей французской социологической школы, известный своими трудами в области общего языкознания, сравнительной грамматики индоевропейских языков, а также отдельных индоевропейских языков (старославянского, армянского, древнегреческого, древнеперсидского и др.). Важнейшие его работы: «Introduction à l'étude comparative des langues indoeuropéennes», изд. 4-е (русский перевод Кудрявского «Введение в сравнительную грамматику индоевропейских языков», Юрьев 1914); «Linguistique historique et linguistique générale», Paris 1922; «Les dialectes indoeuropéens», Paris 1908 и многие другие.

Мюллер Макс (1823—1900)—знаменитый английский языковед, главным образом санскритолог, филолог и историк религии, основатель сравнительной школы мифологии; уделял большое внимание проблеме происхождения языка, подвергая резкой критике распространенные ранее теорию междометий и теорию звукоподражания. Основные его лингвистические сочинения: «Lectures on the science of language», L. 1860 (русский перевод «Лекции по науке о языке», 1865); «Ueber die Resultate der Sprachwissenschaft», 1872; им же переведены многие памятники древнеиндийской литературы в многотомном издании «Sacred Books of the East», 1879—1895, и издан ряд важнейших древнеиндийских текстов.

Парис Гастон (1839—1903)—французский филолог, специалист в области романских языков и средневековых литератур. Важнейшие его работы: «Histoire poétiqe de Charlemagne», 1865; «La póesie du moyen âge», 1885; «La litterature française au moyen âge», 1888; «Melanges linguistiques», 1903 (посмертное издание); многочисленные комментированные издания старофранцузских текстов.

Мюллер Фридрих (1834—1898)—известный австрийский лингвист и этнолог. Пытался построить классификацию языков, основанную на антропологических принципах. Основной его лингвистический труд «Grundriss der Sprachwissenschaft», Bd. I—V, 1879 и сл.

Платон (430—347 до н. э.)—знаменитый древнегреческий философ; в своем диалоге «Кратил» подвергает устами Сократа критике оба основных решения проблемы связи слова и предмета—естественное и договорное, выдвинутые философией его времени, и приближается к идее языкового обычая.

Пор-Рояля грамматика («Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal»), опубликованная в 1676 г., была написана Клодом Лансело и Ан-

туаном Арно; это—первая в европейской литературе грамматика, основанная на логическом принципе.

Рудэ Л.—современный французский фонетист, автор известного фонетического труда «Elements de phonétique générale».

Соссюр Ф. де (1857—1913)—выдающийся швейцарский лингвист. Основоположник социологической школы в языкознании. Работал в области общего языкознания, сравнительной грамматики индоевропейских языков, а также отдельных индоевропейских языков. Важнейшие его работы: «Cours de linguistique générale», Paris—Lausanne 1916, изд. 2-е (русский перевод «Курс общей лингвистики» М. 1933); «Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indoeuropéennes» Leipzig 1879 и мн. др.

Ульфила (или Вульфила)—готский епископ IV в. н. э., переводчик Библии на готский язык и составитель готского алфавита на основе греческого.

Шлейхер Август (1821—1868)—выдающийся немецкий лингвист, представитель натуралистического течения в языкознании, детально разработал звуковую и грамматическую систему гипотетически восстановленного им общеиндоевропейского праязыка. Основными его работами являются: «Sprachvergleichende Untersuchungen», 1848—1850; «Handbuch der litauischen Sprache», Pr. 1856—1857; «Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen», 1861; «Die Darwinische Theorie und die Sprachwissenschaft», 1863 (есть русский перевод).

Шмидт Иоганн (1843—1901)—выдающийся немецкий лингвист, выдвинул теорию волн, на фактах взаимоотношения индоевропейских языков опровергающую теорию миграций. Основные его сочинения: «Zur Geschichte des indogermanischen Vocalismus», 1871; «Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen», 1872; «Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra», 1889; «Kritik der Sonantentheorie», 1895.

УКАЗАТЕЛЬ ЯЗЫКОВ

чает в себе также элементы, свойственные южнокавказским яфетическим языкам. Древнеармянский язык (грабар) сильно отличается от новоармянских литературных языков, сложившихся в XIX в. на основе живых говоров—59, 95, 97, 122, 161, 162, 168, 197, 209, 220, 231, 257, 259, 268.

Ассирийский язык—наиболее древний хронологически представитель языков семитской группы; был распространен в Месопотамии с третьего тысячелетия до нашей эры—100, 319.

Аттический диалект древнегреческого языка—диалект Аттики, центром которой являлись Афины,—представлен богатой литературой (главным образом V в. до н. э.), а затем лег в основу общегреческого литературного языка—койнэ (IV—III вв. до н. э.)—55, 58, 242.

Африканские языки—языки туземного населения Африки, принадлежащие к различным группам—80.

Балтийские языки образуют особую группу индоевропейских языков; включают литовский, латышский и исчезнувший древнепрусский язык—208, 267, 279, 280.

Банту—группа, объединяющая многочисленные близкие друг к другу языки туземного населения южной части Африки (главным образом к югу от экватора)—88, 90, 97, 108, 281, 283.

Баскский язык—в Пиренеях, главным образом в пределах Испании, частью во Франции, а также в Андоре; резко расходится с окружающими его романскими языками; обнаруживает связи с яфетическими языками Кавказа—193, 227, 243, 317.

Бенгали или бенгальский—язык, распространенный в восточной части полуострова Индостана; принадлежит к новоиндийской или индоарийской группе индоевропейских языков—256.

Беррийский диалект французского языка—272.

Болгарский—в Болгарии (на Балканском полуострове), входит в южнославянскую подгруппу славянской группы индоевропейских языков; древнеболгарский язык, известный также под именем церковно-славянского, был принят в качестве литературного языка у восточных славян (к которым относятся и русские) с проникновения к ним письменности (XI в.) и до XVII в. включительно. Много элементов церковно-славянского языка вошло в современный русский язык—108, 227, 257.

Бретонский язык—на севере Франции, в Бретани, принадлежит к кельтской группе индоевропейских языков—42, 56, 57, 68, 69, 147, 161, 193, 197, 204, 208, 221, 227, 260—262, 263, 312, 317.

Брокен-инглиш (буквально «ломаный английский») — жаргон английского языка, используемый в сношениях европейцев с туземцами в английских колониях Западной Африки—269.

Валлийский язык—язык части населения в Уэльсе в Англии, принадлежит к кельтским языкам; ныне почти вытеснен английским—68, 79, 81, 101, 111, 115, 123, 124, 161, 188, 191, 192, 193, 195, 198, 204, 207, 208, 266, 299, 312.

Валлонский диалект французского языка (главным образом распространен в Бельгии)—230.

Ведийский диалект образует наиболее раннюю ступень древнеиндийского языка, на нем написаны «Веды»—религиозные гимны брахманистов—90, 97.

Вендский язык—см. Лужицкий.

Венецианский диалект итальянского языка—173.

Венгерский язык—в основном распространен в Венгрии, принадлежит к обско-угрской группе угро-финских языков—87, 117, 121, 160, 227, 234, 319.

Вогульский (мансийский) язык на северном Урале, относится к обско-угрской группе угро-финских языков—117, 319.

Вульгарная латынь или народнолатинские диалекты—нелитературные диалекты, засвидетельствованные и в надписях (с первых веков нашей эры) и распространенные также за пределами Италии в значительном коли-

важнейшие—иронское и дигорское; принадлежит к иранской группе индоевропейских языков, но заключает в себе также много элементов, связывающих его с яфетическими языками Кавказа—47.

Оскский язык—язык древних самнитов на юге Италии, известен по надписям, относится к италийской группе индоевропейских языков—243, 259.

Остяцкий (хантейский) язык на северном Урале принадлежит к обско-угрской группе угро-финских языков. От него нужно отличать остяцкий (селькупский) язык, распространенный по Оби (на севере лесной полосы) и принадлежащий к самоедским языкам, а также енисейско-остяцкий язык на Енисее (кето), принадлежащий к палеоазиатским языкам—319.

Пали—язык древнеиндийской буддийской литературы, близок к пракритским надписям Ашёки, был распространен приблизительно в эпоху VI—II вв. до н. э. Принадлежит к индийской (индоарийской) группе индоевропейских языков—97.

Пенджаби—на северо-западе Индии, в Пенджабе; принадлежит к индийской (индоарийской) группе индоевропейских языков—235.

Персидский язык—основной язык Ирана (Персии), сильно отличается от древнеперсидского языка благодаря аналитическому строю и обилию арабских заимствований; принадлежит к иранской группе индоевропейских языков—97, 279.

Пехлеви—среднеперсидский язык, принятый в качестве литературного языка в Персии эпохи сасанидов, наследовавших ахеменидам—97.

Пиджин-инглиш—ломаный английский язык, принятый при сношениях европейцев с туземцами в английских колониях Дальнего Востока и островов Тихого океана,—269.

Пикардский диалект французского языка—230, 272.

Познанский говор польского языка—246.

Полабский язык—был распространен по Эльбе, известен по памятникам XVII—XVIII вв., а затем был совершенно вытеснен немецким; принадлежит к западнославянской подгруппе славянских языков—262, 263.

Польский язык принадлежит к западнославянской подгруппе славянских языков—155, 204, 246, 259, 266.

Португальский язык—распространен главным образом в Португалии и в Бразилии; принадлежит к романским языкам—69, 244, 266, 267, 273.

Пракрит—под этим именем объединяются различные среднеиндийские наречия более позднего времени, чем санскрит. На пракритских наречиях написаны между прочим надписи Ашёки (III в. до н. э.) и богатая художественная литература—97, 256.

Провансальский язык на юге Франции принадлежит к романским языкам—69, 227, 229, 272.

Пуатевинский диалект французского языка—272.

Романские языки—группа языков, развившихся на протяжении VI—IX вв. н. э. на основе народнолатинских говоров; в состав группы входят языки: французский, провансальский, итальянский, сардинский, испанский, каталонский, португальский, ретороманский, румынский с молдавским—50, 93, 161, 189, 229, 273—276.

Румынский язык принадлежит к романским языкам—257, 273.

Русский язык—принадлежит вместе с украинским и белорусским к восточной подгруппе славянских языков—64, 100, 101, 110, 111, 120—122, 172, 204, 213, 234, 246, 303.

Сабинский язык—язык племени сабинов в древней Италии, недалеко от Рима; известен по единственной сохранившейся надписи и глоссам (отдельным словам, попавшим в памятники других языков); принадлежал к италийской группе индоевропейских языков—243.

Сабир — смешанный французско-испанско-итальянско-греческо-арабский язык, употребляющийся при сношениях между представителями различных национальностей в портах Средиземного моря—269.

Санскрит—древнеиндийский литературный и культовый язык; в нем различаются более древний ведийский диалект, язык Вед, древнейшие

характера; принадлежит к италийской группе индоевропейских языков—68, 243, 249.

Урду—литературный язык, пользующийся широким распространением в западной части Индии, сложившийся на основе западного хинди и насыщенный арабизмами, а также пользующийся арабским письмом. Принадлежит к индийской (индо-арийской) группе индоевропейских языков—167.

Финно-угорские языки—см. Угро-финские языки.

Финский язык или суоми—язык основного населения Финляндии; принадлежит к западнофинской группе угро-финских языков—117, 319.

Фламандский диалект голландского языка в Бельгии—196, 258.

Франко-канадский диалект французского языка—317.

Франко-нормандский диалект—см. Нормандский диалект.

Французский язык относится к романским языкам—27, 32, 33, 37, 38, 41—43, 45, 50—51, 53—55, 57, 65, 67, 68, 70, 77—79, 81, 83—86, 89, 90, 92—99, 101—112, 114, 115, 116, 121, 122, 125—127, 129, 132, 137, 141, 143, 145—148, 152, 154—155, 157, 159—166, 168, 170—174, 177, 178, 181—189, 191—193, 195—197, 199—213, 220—221, 224, 227—229, 233, 243, 247—249, 252—254, 258—262, 265, 271, 272, 300, 302—306, 314—316.

Фригийский язык известен лишь по небольшим надписям; за несколько веков до нашей эры был распространен на север от Греции и в Малой Азии; язык не вполне ясного происхождения; обнаруживает некоторые связи с армянским—23.

Фриульский диалект итальянского языка—около Адриатического моря—190.

Фуль—язык, пользующийся большим распространением в Западной Африке—на Сенегале, во Французской Гвинее и в Камеруне; некоторые лингвисты считают его переходным от хамитских к западносуданским негрским языкам—80, 88.

Хинди—вторая литературная разновидность индустани, наряду с урду, в отличие от которого богата санскритизмами и пользуется старым санскритским письмом, а не арабским—256.

Хорватский язык—близкие к сербским наречия западной части Югославии, пользующиеся издавна латинским письмом—190.

Цаконский диалект новогреческого языка (на восточном берегу Пелопоннеса)—55.

Церковнославянский язык —литературный язык, сложившийся на основе древнеболгарского языка, известный в письменности с X в., получил широкое распространение в качестве литературного языка в различных странах с населением, говорившим на славянских языках. В России церковнославянский язык употреблялся в качестве литературного языка до XVII в. включительно, вследствие чего многие элементы церковнославянского языка находятся и в современном русском языке—98, 123, 204, 207, 213, 231, 246, 296, 303.

Цыганский язык—существуют многочисленные цыганские наречия, разбросанные в различных странах Европы; они принадлежат к индийской (индоарийской) группе индоевропейских языков, но подверглись сильному влиянию тех языков, с которыми им приходилось сталкиваться—167, 234, 267.

Черкесский (кяхский) язык на Северном Кавказе; вместе с кабардинским и абхазским языками относится к западнокавказским яфетическим языкам—268.

Чешский язык в Чехословакии, относится к западной подгруппе славянских языков—197.

Чинук—индейский язык Северной Америки, в штате Ореган; принадлежит к группе языков пенутиа—88.

Шведский язык в Швеции и Финляндии; принадлежит к северной подгруппе германских языков—162.

Штокавские говоры сербского языка—266.

Эолийский диалект древнегреческого языка; был распространен на

Лесбосе и некоторых других островах; это—язык лириков Алкея и Сафо—55.

Этрусский язык был распространен в древней Италии; известен по надписям; обнаруживает связи с яфетическими языками Кавказа—243, 259.

Эфиопский язык—древний язык Абиссинии, носящий также название *Гез*, известный по надписям с IV в. н. э. В качестве культового языка сохранился до настоящего времени; относится к эфиопской группе семитских языков—300, 319.

Японский язык—язык основного населения Японии; взаимоотношения его с другими языками неясны—295.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ПИСЬМО

Редактор *Р. О. Шор* Техред *В. С. Морозов*

Сдано в набор 25/V—1936 г. Подписано к печати 30/XII—1936 г. Формат $62 \times 94^{1}/_{16}$ $25^{3}/_{4}$ п. л., в п. л. 47 616 п. зн. ОГИЗ № 1741. Заказ № 748. Тираж 10.000 экз. Уполномоченный Главлита Б—31857. Цена книги 5 р. 65 к. Переплет 1 р. 25 к.

16-я тип. треста «Полиграфкнига», Трехпрудный п., д. 9.